Цена 90 коп.

Индекс 70331

Читайте:

ЗНАМЯ 1 — 1989

Сергей ЕСИН. Соглядатай. Роман

Рассказы **Джорджа ОРУЭЛЛА, Юрия РЫТХЕУ**

Стихи
Марии ПЕТРОВЫХ, Андрея ВОЗНЕСЕНСКОГО, Петра ВОЙЦЕХОВСКОГО

Рой МЕДВЕДЕВ. Сталин и сталинизм. Исторические очерки

Статьи **Н. ШМЕЛЕВА, Юрия ЧЕРНИЧЕНКО, Сергея ЧУПРИНИНА**

Знамя, 1988, № 12, 1—240.

ISSN 0130-1616



1988
Декабрь



Ежемесячный
литературно-
художественный
и общественно-
политический
журнал

Выходит
с 1931 года

ОРГАН
СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ
СССР

Книга
двенадцатая
ДЕКАБРЬ
1988

Содержание

Москва
Издательство
«Правда»

Леонид Мартынов

ИСТИНА, ПРИРОДА И СВОБОДА...

Цепь

Недоговаривать, скрывать
Довольно трудно разучиться —
Мы так сумели цепь сковать,
Что и сейчас она влачится.
Она теперь не на руках
И даже и не под руками,
Но, не вися на языках,
Она владеет языками.
Давно уже не на ногах,
Но, тем не мене, под ногами,
Не на полях и на лугах,
А все ж, скрипит под сапогами,
Как будто вовсе не страшна,
Но, тем не мене, эти звенья
Лишь только ржавчина одна
Вольна, изъев, предать забвенью.

Двери

Я стоял
Перед вами,
Железные двери,
Всею тяжестью древней блистали вы,
ржавы,
И сплелись головами железные звери,
Чтоб на выгнутых выях держались
державы.

В вас
Впаялись
И рыцарь под тяжким забралом,
И копытистый дьявол, и ангел с
трубою,
Я на миг ощутил себя вашим
металлом,
Суммой ваших деталей, всей вашей
судьбою.

И тогда
Захотелось мне вдруг развалиться,
Распылиться, рассеяться, с воздухом
слиться,

Раствориться в пространстве, как ржавая
птица.
Но, железные двери, какая вы птица!

И не лучше ли
Попросту
Вам распахнуться
И тогда вас никто уж сломать
не захочет —
Разлетаются ангелы, дьяволы
гнутся,
Яркий солнечный свет как ребенок
хохочет.

И совсем
Ничего
Не таится за вами,
Разве только какие-то древние
склепы.
Ну и что же такого. Ведь мы
с головами,
Что бы ни было там — мы рассмотрим,
не слепы.

И упорность свою
Потеряют поверья,
Гипнотичность свою потеряют
привычки,
Только взять и раскрыть эти
древние двери,
Распахнуть, не ища
Ни ключа,
Ни отмычки!

Вечная женственность

Это видно
На любом примере,
Что в подлунном мире не потух
Мужественной женственности дух.
Так на русский слух по крайней мере,
Он в Надежде и Любви, и Вере,
И Республик, как законных
дщерей,

Принимают из утроб Империй
Руки Революций-повитух,
И священны для людского рода
Истина, Природа и Свобода —
Все, за что извечно мы боролись,
Кровь лия, прощая боль измен...

Едва ли!

Пока
Вы готовитесь книгу мою
Тисненью предать в типографии вашей —
Я новую книгу уже создаю,

А эту считаю звездою погасшей
Давно уж, назад уже несколько лет...
Казаться горящей она еще может,
Но свет ее, как запоздалый ответ,
Меня не волнует и вас не тревожит.

Так
Авторы книг, —
Разумеется встарь, —
Рыдали вокруг типографского зданья
В стране опозданья, где сам календарь
Порой появлялся не без опозданья.
И без опозданья не шли поезда,
И без опозданья наград не давали...

А ныне
Мгновенно
Видна вам звезда,
Возникшая в бездне небесной?

Едва ли!

Загадка недр

Мне
Небо
Давно уж не недруг,
Но слышу я голос Земли:

— В моих покопайся ты недрах
И свойства их определи,
Изведав житейские бури
И вновь пролагая свой путь
В моей кристаллической шкуре
Давай-ка попробуй побудь!

Я знаю, что́ пенится в чаре,
Наполненной сладким вином,
А что приключается в шаре,
Что в шаре творится земном?

И с лун мне кричат селениты:

— В граниты, в их бывшую жизнь
Как будто в себя загляни ты,
В кипении лав разберись!

И с Марса кричат марсиане,
Которых я понял, что нет:

— О, ты, изучивший сиянье
Еще не открытых планет,
Ты, бившийся храбро с врагами,
Окреп в этой славной борьбе
И что у тебя под ногами
Пора разобраться тебе!

★

Вы, фонари, напоминали
Об огненном и дымном дне,
Как потускневшие медали
Напоминают о войне.

Хотелось мне чего-то лучше
И я в раздумьи на ходу
Сорвал с небес, одетых в тучи,
Как орден ясную звезду.

Форум

Гляжу
Завороженным взором
На измененье внешних форм:
На белый форум
Черный ворон
Сел. Но какой же мрамор корм?

А если
Этот сорный форум
Посыпать молотым зерном —
Один ли тут заскачет ворон,
Скажи мне, мудрый эконом?

Слетятся
Соловьи и куры,
И разная лесная дичь,
И демоничные натуры,
Как ястреб, и сова, и сыч!

И воспарит
В античном вкусе
Орел, никем непобедим,
И гордо загогочут гуси,
Которые спасали Рим...

О, белый форум,
На котором
Через мучные облака
Нам слух ласкают дружным хором
Все птицы, вплоть до голубка!

Янус

На руинах
Античного города
В одной из современных столиц
Он стоял особенно гордо,
Возвышаясь среди гробниц.

— Вот он, бог выходов, входов
И всяческих новых начал,

И покровитель походов! —
Экскурсовод закричал.

Но величаво двуликий
Бог вдумчиво посмотрел
На храмы, на базилики
В царапинах варварских стрел,
На автобусы и трамваи
И на стоянки такси,
Проговорил, оживая:

— Нет! Путаницы не вноси!
Хоть я и действительно Янус,
Вплетаю в начала концы,
Но должен сказать я, что за нос
Вас долго водили жрецы,
Приписывая мне эту дикость,
Что будто бы людям я враг.

Нет! Служит моя двуликость,
Чтоб вас примирить кое-как,
И если ко мне приглядишься,
Стараясь меня не злобить,
Увидишь: я — бог компромисса,
Да кем же мне, впрочем, и быть!

Публикация Г. Суховой-Мартыновой.

Александр Харитонов

ТЕТКА

ПОВЕСТЬ

Вначале я называл ее «мама». Потом узнал, что она не настоящая моя мать, что зовут ее тетя Клава. Тетя Клава же сказала, что моя родная мать погибла в Днепропетровске при бомбежке, а мой отец — Станислав Викторович Молин — убит в боях под Москвой. Ну и выходило, что живу я у жены моего дяди, младшего брата моего отца.

Я начинаю себя помнить с сорок шестого года, когда вернулся уже не с фронта, а из армии дядя Николай. Помню что-то высокое, усатое, пропахшее дымом и водкой. Уже потом, по рассказам, я узнал, что дядя Николай, вернувшись, с первого же дня стал пить и пить. Он, как сейчас говорят, пил по-черному, как бы убивал себя водкой. Допился до того, что однажды чуть не покалечил меня. С этого момента я и начинаю себя помнить, потому что это была моя первая по-настоящему сильная физическая боль. В памяти как фотография: пыльный двор (это произошло в августе), деревянный забор, двухэтажный каменный дом, где мы жили (наша с тетей Клавой комната на втором этаже), железная пожарная лестница на крышу, под лестницей у стены дома доски, вернее, сучковатый горбыль, и я на этих досках. Тетя Клава говорила, что мне тогда было лет пять, и, вероятно, поэтому я ничего не запомнил из разговора взрослых — в памяти только картинка: дядя Николай поднимает меня, кажется — в невозможную высь, и уже где-то далеко внизу его сердитое лицо с прокуренными усами и пьяные, как бы заполненные мутью махорочного дыма глаза, и потом — боль. Жуткая боль!.. Это дядя Николай то ли выронил меня, то ли бросил на этот горбыль.

Тетя Клава говорила, что это с ним припадок случился и что вот как раз после этого несчастья она и решила сдать меня в детский дом.

— От греха подальше, — говорила она, — он тебя, Валера, в каком-нибудь припадке и убить мог.

Как же я не хотел в детский дом! Я умолял:

— Мама, не отдавайте меня! Мама...

Это я помню: уже оформив в областном центре документы, тетя Клава прощалась со мной в длинном сером коридоре детдома, а я плакал: «Мама, не отдавайте меня». Я уже знал, что тетя Клава мне не мать, но вот, наверно, в силу своего несчастья — ведь настоящей своей матери я совсем не помнил — называл тетю Клаву матерью.

Она оставила меня в детдоме и вернулась домой. Дядя Николай пил уже вторую неделю подряд, ну и понятно — ничем хорошим это не должно было кончиться. Так оно и вышло: в этот же день, как она вернулась, с дядей Николаем случился удар.

— Вошел он вот так в комнату, — рассказывала мне тетя Клава, — а сам весь такой налитой этой водкой, что лица нет! Постоял-постоял и грохнулся на пол. Враз его не стало. Тут и я об пол ударилась, в обморок упала — совсем память отшибло.

Но она очнулась, заголосила, выбежала во двор и там, когда соседи стали ее утешать, опять лишилась сознания. Ее отходили, пообещали, что обмоют и оденут Николая, а ей посоветовали пойти на работу и похлопотать там насчет гроба и подводы.

Работала тетя Клава на железнодорожной станции в столовой уборщицей. Пришла туда, но местному начальству было не до нее — ждали приезда начальника всей железной дороги. Ни слезы, ни причитания не помогали, и тетя Клава, когда появился этот начальник из области, бросилась к нему и прямо на перроне лишилась сознания.

Тут надо сказать, что тетя Клава умела падать в обморок и пользовалась этим своим умением. Нет, она не симулировала — на самом деле, по-настоящему лишалась сознания. В этом у нее был особый талант, потому что даже я, потом уже в юности подметивший выгодную обморочность тети Клавы, все же ни разу не смог уличить ее в притворстве. Тетя Клава умела соблюдать меру обморочности и жалостливости.

Начальник дороги распорядился дать ей подводу с лошадью, а доски для гроба отодрали от потолка полуразрушенной станционной конторы. Так как тетя Клава лишь изредка приходила в себя, то похоронами занимались соседи да извозчик с подводы. Соседка сняла неверную мерку с дяди Николая, и уже дома пришлось разбивать гроб и наращивать его в длину. Ни о какой обивочной ткани не могло быть и речи — у тети Клавы ничего не было, — гроб покрыли зеленой краской.

— Я похорон не помню, — говорила мне тетя Клава (хотя все, что я знаю, это она мне рассказывала). — Вот как поставили гроб на подводу, я как упала и больше не поднялась. Меня Семеныч, извозчик-то, вот так сграбастал да рядом с гробом положил. Так и ехали на кладбище: Николай вот тут, и я рядом...

Много лет спустя тетя Клава как-то обмолвилась:

— Не любила я Николая!

Дня через три после похорон она поехала за мной.

Что-то смутное осталось в воспоминаниях от тех дней, что я провел в детском доме. Кажется, вскоре после того, как тетя Клава меня сдала в областном центре, всех нас, детдомовских, погрузили в вагоны, и мы поехали. В Красноярск. Да-да, вот это незнакомое мне тогда название города особенно запомнилось. В вагоне было холодно, и по ночам мы жались друг к другу и даже менялись местами: кто был с краю, тот в серединку, и наоборот, согреваясь таким способом.

Ехали медленно, с большими остановками — на день, два, и тетя Клава догнала детский дом на одной из узловых станций всего в девяноста километрах от нашего областного центра.

Не знаю, какие документы детдомовскому начальству она на меня предъявляла и что объясняла (она же сама меня сдавала и вдруг требовала обратно), но думаю, что все это тогда было проще: слишком много детей осталось без родителей, а тут все-таки родственница хотела меня взять.

Это было время постоянного недоедания, чувство голода не проходило ни днем, ни ночью. Рядом с бараком, где нас разместили, было овсяное поле, но нас так запугали объездчиком и карами, которые нам грозили, если мы сорвем хоть один колосок, что никто не решался при свете дня подойти к этому полю. Мы просто подолгу стояли и смотрели, как мечутся над метелками овса птицы.

Но овсяное поле было забыто, когда приехала тетя Клава. Ребята мне завидовали. Они думали, что это мама меня нашла. Одна девочка так и прошептала:

— Мама приехала...

И мы все стояли у окон конторы, где тетя Клава разговаривала с детдомовской начальницей, и молчали. Свое тогдашнее молчание я хорошо понимаю: меня словно бы завели в незнакомый лес и оставили одного — и вот вдруг вернулись. Но за мной ли? Ведь один раз, несмотря на мои слезы, меня уже оставили. Я сомневался, боялся ошибиться, поэтому молчал. Но молчание остальных ребят — что оно означало? Может быть, они думали, что я самый счастливый человек среди всех людей у этого овсяного поля?..

Тетя Клава и перед детдомовской начальницей упала в обморок. Она вначале что-то нервно объясняла — начальница не соглашалась, размахивала руками и кричала. Тогда тетя Клава тоже стала махать руками, показывая на нас за окном, и, неожиданно схватив стеклянную чернильницу, ударила ею об стол. Чернила брызнули во все стороны — залили бумагу, начальницу и тетю Клаву. В открытую форточку послышались крики, кто-то вбежал в кабинет, а тетя Клава, схватившись за сердце и повернув к нам забрызганное чернилами лицо, рухнула на пол.

Потом я спрашивал у тети Клавы: из-за чего все это было? Но она всего мне не объяснила. Говорила, что, как увидела нас, детей, разутых и голодных (мы были голодны, но не разуты), как узнала, что с утра нас выгоняют из барака и впускают только на ночевку, а весь день мы вынуждены ходить по холодной улице (насколько помню, днем тогда было тепло), как все это узнала, так и не выдержала!

Позднее, когда мне было уже лет двенадцать, тетя Клава, недовольная моим поведением, распекая меня, сказала:

— Вот уговорила меня свекровь взять тебя из детдома...

Нетрудно было догадаться, что это бабушка, приехавшая через два дня после похорон дяди Николая к нему на могилу, уговорила тетю Клаву забрать меня. Почему бабушка сама не поехала за мной, тогда, в двенадцать лет, я этого не понимал и оправдывал ее тем, что бабушка наверняка сильно болела, ведь через год после смерти дяди Николая и ее не стало.

Дорога обратно была триумфальной. Тетя Клава не знала этого слова и никогда его не употребляла, но по тому, как она часто и с удовольствием вспоминала, как мы возвращались домой, можно было понять, что она испытывала именно это — чувство триумфа.

— Да откуда ты такая навязалась! — со смехом вспоминала тетя Клава слова начальницы детдома. — Поскорее бы ты уехала от нас... — И при этом воспоминании в глазах тети Клавы проглядывала осторожная гордость за свое умение так хитро распоряжаться людьми.

Нам дали мешок, сунули в него кое-что из моей одежды, подарили одеяло и продуктами на дорогу обеспечили. А тетя Клава с чернильными пятнами на лице, слабая от только что случившегося беспамятства, ни от чего не отказывалась и говорила, что какие же все люди хорошие...

— Ботинки эти ты сними, — сказала она мне, когда мы отошли от станции. — Не носи это детдомовское рванье! Я тебе новые куплю.

Но так как новых ботинок еще не было, то я и продолжал шагать в «детдомовском рванье».

Не знаю, то ли поезда редко ходили, то ли тетя Клава решила просто сэкономить на билете, но мы пошли не на станцию, а в местное правление колхоза. И там однорукий председатель — левый пустой рукав в кармане пиджака, — разжалобленный тетей Клавой (она там тоже легонько припадала к стене, и глаза у нее закатывались; кстати, этим она очень пугала и меня), так вот председатель вызвал к себе долговязого мужика в солдатской гимнастерке.

Сейчас-то понимаю, что этому мужику в линялой гимнастерке было лет двадцать семь, ну от силы чуть за тридцать, но тогда — с копной седых волос и такой же седой бородой и усами — он показался мне древним стариком. Где он так поседел?

К сожалению, я не помню всех подробностей и разговоров; эти подробности я как бы угадываю по картинкам, которые остались в памяти, и, сопоставляя их с рассказами тети Клавы, пытаюсь восстановить цепочку событий нашего триумфального шествия.

Молодой старик — буду его так называть — был добрым человеком. Он еще ничего не сказал — стоял и слушал председателя, а я уже почувствовал к нему расположение. Мне нравились его глубоко утопленные в лице грустные глаза, голубоватые, как роднички в овраге, и тяжелые кисти рук с темными длинными пальцами и матово-белыми округлыми ногтями — каждый ноготь как продолговатый, отполированный камушек. Никогда позднее ни у кого я не видел таких красивых рабочих рук. Старик был надежен и крепок — от него исходила молчаливая волна добродушия, что дети, по-моему, чувствуют особо четко и остро. И я это почувствовал.

Он мягко кивнул председателю и мазнул меня ладонью по голове:

— Ну что ж, пошли.

Его снарядили от колхоза везти продукты в областной центр. Он один на двух подводах. Старика провожала совсем молодая жена. Она долго и недружелюбно оглядывала меня и тетю Клаву и что-то нервно говорила старику, а он добродушно отмахивался. Мне его жена не понравилась и жалко было свою тетю, которая то и дело вытирала уголком платка слезы.

Девяносто с лишним километров на тяжелогруженых подводах за один день не проедешь, нам пришлось остановиться в пологой балке у крохотного пруда и заночевать. Из пруда вытекал узкий ручеек. Рядом стояла

сквозная от редко растущих берез роща, а вокруг сметанное в небольшие стожки сено. Мне было хорошо и от сытной еды, и от дороги с запахами пыли, трав и лошадиного пота. За дорогу, хотя я видел чаще круп лошади, а не ее голову (я сидел один на второй телеге), за дорогу я так сдружился со своей лошадью, что даже удивительно было: как же так?.. Столько лет жил и не знал, что вот такая замечательная лошадь есть на свете — с длинным хвостом, светлой челкой и чуткими ноздрями.

Одно меня настораживало и раздражало: мне не нравился тети-Клавин смех, доносившийся с передней телеги. Почти всю дорогу ни старика, ни тети Клавы я не видел — их закрывали от меня молочные бидоны и большие мешки, перетянутые веревкой. Помню, когда был маленький привал, чтобы напоить лошадей, я даже хотел сказать тете Клаве, чтобы она не очень смеялась, а то ведь нас взяли из жалости, ну что мы бедные и нам плохо, а если мы так будем смеяться, то старик не поверит, что нам плохо... Что-то в этом роде мне хотелось сказать, но я не решился, заметив, что старик, кажется, вовсе и не видит ничего плохого в тети-Клавином смехе — он и сам улыбался. А когда мы расположились поужинать перед сном, тетя Клава уже приказывала ему что-то принести и сделать и была недовольна его нерасторопностью, а он добродушно подчинялся. Я не понимал, как это могло все так быстро перевернуться: совсем недавно тетя Клава была жалостливой просительницей и вот уже чувствовала себя хозяйкой. И в этом виделось мне что-то ненадежное и тревожное.

Странно, но кажется, больше заботился обо мне старик, а не тетя Клава. Это он очистил для меня вареное яйцо и посыпал его крупной солью, и молоко из темной бутыли он подливал мне в единственный стакан, отдав свою кружку тете Клаве. Это он заботливо завернул меня в широкую овчинную полость, потрепав на прощанье по волосам:

— Спи.

Думал ли я об отце, когда смотрел в мохнатую щелочку овчинной полости, как идет в вечерних сумерках по скошенной траве этот долговязый молодой старик? Отца я совсем не знал, и сейчас, стараясь угадать свои детские мысли, думаю, что жизнь без отца похожа на картинную галерею, из которой изъято на бессрочную реставрацию самое большое полотно. Ты не знаешь, что это за полотно, и не знаешь его истинной ценности, и не можешь представить, понравилось бы оно тебе, но огромную пустую раму, за которой стена, тебе очень хочется заполнить, и кажется, что это самая ценная картина из всей галереи, и думается, что ты зря побывал на выставке, если не увидел этой картины. Тебя как обокрали в твоих чувствах, и как бы ни были хороши все остальные картины — отсутствующая кажется самой необходимой для тебя, и пустота рамы тревожит и не дает покоя. Конечно, эта пустота заполнялась моим подсматриванием в мохнатую щелочку овчинной полости, и наверняка доброта и мужская ласка старика положили первые мазки на отцовское полотно. Было так тепло и уютно в плотной щекочущей овчине, и что-то доброе виделось мне в том, как молодой старик медленно шел к ближнему стожку, где его поджидала тетя Клава...

Да, это был триумф тети Клавы. В областном центре сам начальник железной дороги сажал нас в поезд. А перед этим старик — какой-то весь обмякший, вялый, такой непохожий на себя — совал тете Клаве деньги, «на мальчонку» (сало, хлеб, яйца он еще раньше положил в наш мешок), и просил не забывать его, и если что, то он всегда готов на все, что угодно.

— Этого-то мне было только свистнуть, — говорила потом тетя Клава о старике, вспоминая поездку в детдом. — Да больно он мне нужен был, такой бородатый.

До своего города мы ехали бесплатно в отдельном купе, и проводница, восхищаясь тетей Клавой, всю дорогу поила нас чаем с сахаром. Кажется, все уже знали, что тетя Клава взяла из детского дома («Специально ездила в неближний конец!») мальчишку почти вовсе ей чужого — сына родственников умершего мужа.

А встречал нас начальник станции и ждала подвода, та самая, что и на похоронах дяди Николая, только теперь ее загрузили нашими вещами. А их много набралось за дорогу: не считая того, что дали в детдоме, овчинная полость от старика, большой сверток, как оказалось, с одеждой для меня и тети Клавы, от начальника дороги да еще много разной мелочи,

прикупленной в областном городе на базаре. Только уселись в телегу — из станционной столовой выбегает повариха с большим бумажным кульком, а в нем котлеты и пирожки.

— Клавонька, бери, не отказывайся!..

А тетя Клава уже в купе стала приплакивать, разбавляя слезы сладким чаем, а тут — когда сам начальник станции, да подвода, да повариха с котлетами, — тут, как говорят, сам Господь велел. И плакала тетя Клава навзрыд от такого человеческого бескорыстия, от людской доброты.

Нет, нельзя иронизировать да и не имею я права на это. Ведь где тут искренние слезы, а где слезы как откупная монета, мол, вы ко мне с добром, а мне платить нечем, так я хоть поплачу (люди, к сожалению, иногда ждут и этого в благодарность за добро), ну поди разберись, где тут то и где другое. Сложно все это, а уж иронии места вовсе нет. Сколько настоящего горя было в то время: настоящего голода, холода, безнадежной черствости обстоятельств, сколько всего этого было, сейчас почти и непонятного. Разве это плохо, что люди искренне помогали тете Клаве и мне в том числе? А если и было что плохое во всем этом, то люди этого не знали. Тогда не знали. И я ничего плохого в тете Клаве тогда не видел. Я был счастлив отдельным купе, подводой с лошадью и теплыми жирными котлетами. Мне до сих пор кажется, что ничего вкуснее этих котлет я не ел.

О плохом (какой-то тайный вздох есть в этом простом слове), о плохом я стал догадываться, когда подрос, где-то в классе пятом-шестом. Правда, мне и до этого не нравилось, что у тети Клавы слишком часто меняются мужья. Нет, никаких проблем нравственного порядка для меня тогда не существовало, ну какие такие проблемы могут быть у пятиклассника. Не знаю, может, кто-то из вундеркиндов морали уже и в моем возрасте осуждал бы тетю Клаву за непостоянство именно с нравственной точки зрения, но я не осуждал. У меня были другие проблемы: футбол, улица, увлечение радиотехникой, ну еще школа со всем ее комплексом проблем для такого свободного от сурового семейного надзора мальчишки, каким рос я. Мне не нравилась просто сама сменяемость мужей тети Клавы. Не успеешь привыкнуть к дяде Вите, как уже надо приспосабливаться к дяде Васе или дяде Юре. Доходило до смешного (правда, это сейчас смешно, а тогда возникали настоящие проблемы), ну к примеру: дядя Витя работал шофером, а тогда машин не так уж много было в городе — естественно, все мальчишки с улицы мне завидовали. Я же дневал и ночевал в кабине пятитонки. Я уже и в моторе стал немного разбираться, мне уже дядя Витя обещал вот-вот доверить баранку машины, я уже расхвастал всем, что не сегодня-завтра сам поведу эту большую грузовую махину. И тут — хлоп! Дядя Витя хлопает дверью нашей комнаты, хлопает и уходит. Нет, он не сам уходит: он узнал о существовании дяди Васи, поставил вопрос ребром перед тетей Клавой, а она указала ему на дверь. Вот так он уходит, а я остаюсь ни с чем, то есть без машины и полным вруном перед ребятами, потому что дядя Витя в упор меня не видит и если едет на своей пятитонке мимо нашего дома, то прибавляет газу. Ну приблизительно такие же истории происходили и с дядей Васей, и с дядей Юрой. В том смысле, что привыкал я к ним трудно, а привыкнув, отвыкать было еще труднее.

Правда, от дяди Юры я так и не сумел отвыкнуть, и мне до сих пор обидно, что он так несуразно распорядился своей жизнью. Это он привил мне любовь к радиотехнике. Он работал радио-, а потом и первым в нашем городке телемастером, поэтому у нас раньше, чем у других, в доме появилась хорошая радиола, а потом и телевизор — КВН с линзой. Кажется, тетя Клава поэтому и сошлась с дядей Юрой: ей нравилось, что у нас есть то, чего нет у соседей. Может, это было и не главной причиной, что она, как сама говорила, «так долго терпела этого горького пьяницу», но, думаю, и не последней — дядя Юра, при всех его недостатках, был заметным человеком в нашем городе, именно из-за своей, тогда редкой профессии.

Мне-то по-мальчишески казалось, что его можно любить. Но это мне так казалось, а роста он был небольшого, худой, с морщинистым, словно изношенным лицом, да и пил здорово, то есть был запойным. Неделю-полторы нормальный человек, и вдруг в нем как что-то соскакивало внутри, сам он говорил — «замыкание у меня». И вот когда случалось это замыкание, то на человека он не был похож.

Тетя Клава в такие дни не пускала его к себе, и он ночевал где-нибудь в кустах под забором или в сарае, прямо на куче торфа, а если была зима, то в подъезде под лестницей. Пил он как-то очень тихо, безобидно, и соседи его не трогали, а я его жалел. Зимой даже отнес под лестницу, тайком от тети Клавы, овчинную полость, доставшуюся нам от молодого старика, ну чтобы дядя Юра не замерз и мягче ему было спать. Помню, как-то поздно вечером стоял под этой лестницей — лампочка тусклая там висела, — смотрел на обезображенное грязью и водкой лицо дяди Юры и никак не мог понять, зачем же он вот такое делает с собой, этот хороший, а сейчас могу сказать, и талантливый человек. Он ведь самоучкой стал радио-, а потом и телемастером. Никаких специальных заведений он не кончал, кроме курсов радистов на фронте. Кажется, он был разведчиком — точно не знаю, потому что он не любил вспоминать войну.

— А ну ее к лешему!.. — говорил он, когда я допытывался, какие геройские подвиги совершал он на войне. И не любил ни смотреть фильмов, ни слушать радиопередач на эту тему. А если при нем заходила об этом речь и он не мог уйти, то в глазах его появлялось что-то остановившееся, почти онемевшее, от чего было страшно за него и сразу хотелось тронуть его за плечо и сказать:

— Дядь Юр, ты что?

Однажды я так и сделал, а он посмотрел на меня этими невидящими, почти онемевшими глазами, встал из-за стола (у тети Клавы были гости) и вышел в коридор. Долго не возвращался — я забеспокоился и пошел за ним. Нашел его в подъезде на лестнице. Он курил свой неизменный «Прибой».

— Дядь Юр... — в тревоге посмотрел я на него.

— Да что ты, Валерка, — грубовато прижал он меня к себе. — Ничего страшного. Ничего страшного... — повторил он и добавил: — Теперь уже ничего страшного нет.

Я и тогда понимал, что он говорит о войне, которой уже давно нет.

Тетя Клава часто ругалась с ним, а в ругани с ехидством повторяла одну фразу:

— К зазнобушке своей торопишься!

Эта фраза могла звучать в начале ругани, в середине или в конце, но она всегда произносилась. Я не понимал ее смысла — это была для меня загадка, потому что никакой зазнобушки, насколько я знал, у дяди Юры не было. И я выдумал романтическую историю о том, как дядя Юра на фронте влюбился в красивую и отважную девушку и вместе с ней они пошли в разведку. Девушка попала в плен, ее пытали, но она не выдала, где находится дядя Юра со своей рацией. Задание было выполнено, но девушка геройски погибла, и вот дядя Юра до сих пор о ней тоскует. А тетя Клава как-то узнала об этом, и ей, конечно, неприятно, что дядя Юра все еще любит ту девушку.

Может, и правда что-то похожее на эту историю было в его жизни, только реальный дядя Юра совсем не соответствовал моей выдумке, особенно когда с ним происходило «замыкание». И все же, как ни странно, это он приобщил меня к журналам по радиотехнике, да и вообще к чтению — книгам. А когда он долго не пил, то для меня наступали светлые дни: он шутил, улыбался, был энергичен и деловит. До сих пор помню радостную картину: тетя Клава на работе, а мы с ним сидим за столом. Зимнее солнце просвечивает пестрые занавески, в комнате тепло и пахнет жженой канифолью, на углу стола стопка журналов «Радио», а в центре посверкивают серебром вывернутые внутренности лампового приемника. И дядя Юра с дымящимся паяльником в руке, похожий на хирурга, что-то сосредоточенно ищет в этих внутренностях и строго командует мне:

— Ну-ка глянь, что там в схеме.

Через три года после того, как тетя Клава его окончательно выгнала, он, пожив еще некоторое время с какой-то другой женщиной, спился и зимней ночью замерз на одной из тихих улиц нашего города.

Я любил его, и если на самом деле человек жив до тех пор, пока его помнят, то дядя Юра еще не умер. Его простые, даже не книжные, а газетно-журнальные истины — «Учись. Не пей. Чужого не бери. Хорошая жена — половина жизни», — истины, которых он сам не придерживался, стали со временем моими истинами. И простота, и понятность этих истин, слу-

чайно брошенных в детскую душу, стали тем фундаментом, на котором могло расти сложное здание жизни. Даже сама его нелепая смерть остерегала меня от опрометчивых шагов и решений, он как бы и после смерти держал вожжи моей жизни — чуть влево, чуть вправо, и можно было повторить его судьбу, а я этого боялся.

Наверное, он мог бы не пить. У него иногда появлялись позывы к трезвой жизни. Помню, он больше месяца не прикасался к спиртному, и мне казалось, что он забыл и думать об этом (может, так и было?), но тетя Клава затеяла отмечать у нас дома какой-то церковный праздник (она многие церковные праздники отмечала), и так бы все ничего, потому что и за столом дядя Юра не пил, но тетя Клава, да-да, именно она как будто нарочно стала его стыдить перед гостями, поддевать: дескать, какой ты мужик, если рюмки выпить не можешь...

Неужели таким способом она хотела освободиться от него? Дело в том, что сразу после дяди Юры появился Кузьмич, о котором сама тетя Клава говорила, что это она свое счастье нашла. Выходит, дядя Юра мешал этому ее счастью. Насколько я знаю тетю Клаву, для нее всегда было важно мнение соседей, и, конечно, одно дело, если она расстается с непьющим мужчиной, тут и ее обвинить могут, — и совсем другое, если бросает алкоголика. Нет, я не утверждаю, что именно этого и хотела тетя Клава — я просто не понимаю, зачем ей было нужно подбивать его к выпивке.

Когда он умер, меня в городе уже не было, но от самой тети Клавы я знаю, что она ходила на похороны.

— Так было жалко его! Так жалко!.. — говорила она. — Я и до кладбища не дошла. Плохо мне стало. Спасибо, там женщины меня до дома довели. Вот она, водка, к чему приводит...

Сама-то тетя Клава любила выпить. Правда, никогда не напивалась, а просто чуть краснела и слегка оживлялась. Но я в эти минуты видел в ней что-то совсем незнакомое и пугающее меня. Сидела за столом довольно стройная, худощавая, вся подобранная женщина за тридцать лет, и в лице ее, не очень красивом, но милом, чистом, ухоженном, проглядывало этакое незнакомо-игривое, изнутри непоседливое, боюсь этого слова, но... хищное, чего я очень стыдился. Не знаю, почему мне было стыдно за тетю Клаву: ничего предосудительного она не делала и на людях, как сама говорила, умела «держать себя в рамках», но видеть ее раскрасневшееся лицо и как она, усмехаясь, покусывает губы своими мелкими, редко поставленными зубами, видеть все это я не мог. И почти всегда уходил из-за стола, когда она начинала покусывать губы.

Еще до того, как шофер дядя Витя хлопнул дверью, как раз за день или два до этого к нам пришел Василий Петрович. Он так назвал себя, а потом-то я стал звать его — дядя Вася. У нас уже были две смежные комнаты. Через стенку старушка умерла — тихо, совсем незаметно умерла, — и тетя Клава сумела расшириться. По-моему, как раз благодаря этому Василию Петровичу, он каким-то начальником был. Он и держал себя как начальник — такой большой, солидный, с толстым подбородком и белыми ботинками. Я особенно запомнил эти ботинки в мелкую дырочку, потому что таких ботинок я ни у кого не видел, да и вообще не представлял, что мужские ботинки могут быть белыми.

Василий Петрович достал из портфеля бутылку вина, закуску в свертках, дорогие конфеты «Каракум». Я их тогда еще не ел — тетя Клава не баловала меня, она была экономной.

— На! — как свечку протянул мне Василий Петрович конфету и, сняв пиджак, по-хозяйски бросил его на спинку стула. — Ну что ж, осмотрим твои хоромы, Клавочка.

А тетя Клава суетилась, щебетала, как воробьиха вокруг выпавшего птенца, только птенец был очень большим и даже казался грозным, когда тяжело и в упор смотрел на тебя.

Они прошли в другую комнату через недавно прорубленную дверь в стене и захлопнули ее. Я слышал, как тетя Клава сказала:

— Может, откушаем?

— Клавочка, не люблю притуплять ощущения, — пробасил Василий Петрович, и там, за дверью, вначале все стихло, потом тетя Клава странно засмеялась, и мне стало почти так же тревожно, как тогда, когда она смеялась на телеге со стариком.

Я стоял долго. Держал «Каракум», как свечку, и не знал, на что решиться. Нет, это все мне уже было известно, что бывает между мужчиной и женщиной, — улица меня многому научила. Да и тетя Клава с дядей Витей, когда у нас была одна комната, не очень-то стеснялись меня. Но в этот раз мне казалось, что над тетей Клавой издеваются, что ее там бьют. Я даже шагнул к двери, но что-то удерживало меня. Наверно, страх, просто страх. Без всякой причины, как бывает после жуткого сна, когда просыпаешься и тут же забываешь, что тебя там пугало. Чего ты там боялся? Силишься вспомнить и не можешь. А страх все еще сидит в тебе, и от этого особенно тяжко, что не знаешь причины страха, что это просто страх.

Я облегченно вздохнул, когда тетя Клава еле слышно засмеялась, и понял, что могу идти куда угодно и что не надо никого спасать. Но я стоял обессиленный, выпотрошенный этим страхом, поэтому и услышал приглушенный бас Василия Петровича:

— А ты, Клавочка, ничего... Ты мне того... — И довольно хмыкнул: — Где научилась-то?

Я не стал слушать дальше и тихо, стараясь никого не вспугнуть, вышел из комнаты.

На следующий день из этой комнаты ушел навсегда шофер дядя Витя, а Василий Петрович поселился у нас.

Через неделю он уже говорил тете Клаве:

— Ну и дура! Да к тому же злая, с подлостью дура!..

Мне не нравилось это, я старался уходить и не слушать, а потом стал защищать тетю Клаву. Но чем и как я мог ее защитить? Да она, кажется, совсем не нуждалась в моей защите.

— Хватит меня дурить! — огрызалась она. — Не дурее тебя. А не нравлюсь, так катись отсюда!

Но Василий Петрович не уходил.

— Я тебя вышколю, — спокойно говорил он. — Это тебе не Витьку дурить, — напоминал он о дяде Вите. — У меня ты будешь...

И все же Василий Петрович ушел сам. Он ударил тетю Клаву. Это произошло не при мне — я с мальчишками в футбол играл в соседнем дворе, и вдруг слышу, мне кричат:

— Валерка, беги! Тетку твою убивают!..

Ну, я рванул к дому, уже чувствуя, что этот гад, дядя Вася, что-то там натворил!.. Прибежал. Во дворе огромная толпа, кажется, все соседи из ближних домов собрались. В середине толпы лежит тетя Клава — халат на груди разорван, кровь на руке. А рядом с ней на корточках, в пижаме и тапочках, сидит Василий Петрович и спокойно так сидит — пульс щупает. Меня это и сбило, что он очень спокоен.

— Ну сердце — нормально, кровь гонит, — сказал он, поднимаясь. — А ну-ка давай, — выхватил он из толпы двух мужиков, — снесем ее в комнаты.

— Да что же ты над ней измываешься-то! — выкрикнул женский голос из толпы.

— Что? — тут же грозно насупился Василий Петрович и вдвинулся в толпу: — Кто это сказал?

И он так строго и властно это спросил, что все промолчали.

— Ну вот то-то, — сказал он и помахал кистью руки мужикам. — А вы несите, несите...

Те понесли тетю Клаву в дом, и я пошел за ними.

— Я же приказал, чтобы «скорую» вызвали! Кто-нибудь побежал? — командовал Василий Петрович во дворе. — В чужую жизнь лезть — это вы все мастаки, а вот помочь, конкретно помочь — тут нет вас...

Приехала «скорая», и тетя Клава очнулась. Она очень боялась уколов.

— Вы лучше мне тут вот и тут... — слабо показала она на лоб и грудь.

Ей сделали компресс, дали таблетку, и «скорая» уехала.

Пришел участковый.

— Степаныч, — сказал ему дядя Вася. — Пойдем поговорим...

Они вышли на улицу, и через минут десять Василий Петрович вернулся один и стал укладывать чемодан.

— Вот что, Клавонька, рыбонька, — сказал он на прощание лежащей на диване тете Клаве. — Симулянточка ты моя!.. Тебя мне не жалко. А вот его, — зыркнул он на меня и словно обжег взглядом, — его мне очень жалко.

Помню, что даже не от его слов, а от его слишком блестящего взгляда мне стало не по себе, словно он дотронулся до моей старой боли. А эта боль у меня была — я только старался не думать о ней.

Наверно, в классе первом-втором, да еще и раньше я иногда забывался, а может быть, и нарочно забывался и называл тетю Клаву «мамой». А она всегда грубо и резко одергивала меня:

— Какая я тебе „мама"! Я твоя тетка. Тет-ка — ясно! — раздельно произносила она вот это «тет-ка», чтобы я лучше запомнил.

Я запомнил. Не сразу, постепенно запомнил, что она моя тетка, но боль от этого грубого окрика осталась.

Вот так у нас и было: дядя Витя, дядя Вася, дядя Юра, а до них еще кто-то, кого я почти и не помнил, и все же тетя Клава нашла свое счастье. Она сама так говорила:

— Это я свое счастье нашла.

Еще бродил по улицам города спивающийся телемастер дядя Юра. Он со мной общался, мимо не проходил, если, конечно, был трезвым, что с ним от месяца к месяцу все реже случалось. Вначале мы с ним разговаривали подолгу, я даже иногда ходил с ним по квартирам, помогал чинить приемники, потом наши встречи стали кратче и в конце концов вовсе прекратились. Он часто говорил, что голова у меня хорошая и что мне учиться надо. И последние его слова были о том же.

— А-а... это ты, — полупризнал он меня и как будто застыдился своего нищенского вида. — Ну ты давай. В ремеслуху давай. Учись, — словно закончил он давно начатый разговор и ушел, шаркая спадающими башмаками без шнурков.

Я его еще изредка встречал на улицах города, но мы уже не разговаривали.

А в наших двух комнатах поселилось «счастье» тети Клавы. Звали это счастье — Егор Кузьмич. Он был старше тети Клавы на десять лет и без ноги.

— Свою левую ногу, — частенько говорил он, — я отдал Родине под Фюрстенбергом. Она и сейчас там недалеко захоронена.

Я поначалу даже не понимал, о какой родине он говорит, если его нога лежит под этим Фюрстенбергом. Но постепенно я научился его понимать, а когда понял совсем и окончательно, он мне стал противен. Но, кажется, это было взаимное чувство.

До сих пор не знаю, что нашла хорошего тетя Клава в этом «Егорушке», как она его ласково называла. Кубастый (так у нас в городе говорили), без шеи, ну почти без шеи, так она была коротка, нижняя губа вывернута, верхняя, наоборот, ввернута в рот — вроде он ее всю жизнь жевал, жевал да так и не сжевал. Я вообще одно-единственное только и видел в нем хорошее — это то, чего у него не было — левую ногу. Все-таки он оставил ее на фронте. Я звал его просто: «Кузьмич». Он вроде бы поначалу был недоволен — ему нравилось, когда его называли по имени-отчеству (для жены он делал исключение), но я упорно называл его Кузьмичом, и все. И он в конце концов махнул на меня рукой.

— Что тут сделаешь, — сказал он как-то тете Клаве обо мне (я при этом присутствовал), — порода ихняя такая, молинская...

И в его скрипучем голосе было столько равнодушного презрения к нашей фамилии, что мне хотелось тут же возмутиться и встать на защиту не только себя, но и родителей, которых я, правда, не знал, но это сути дела не меняло, и за дядю Николая, который тоже был Молин и который прошел не одну войну, а целых две, потому что успел отвоевать и на Дальнем Востоке. Пусть он умер от водки, но это еще неизвестно, почему он, вернувшись домой, запил. Просто так, от нечего делать такие люди не пьют, и наверняка есть причина, почему он убил себя! А это так — он убил себя. Вон и дядя Юра себя убивает — и у него есть причина, только этой причины никто не знает...

Слова переполняли меня, многое хотелось сказать, потому что это был не первый случай, когда Кузьмич с издевкой подсмеивался над «пьяной смертью» дяди Николая, но я ничего не сказал. Потому что наткнулся на кривую, одобрительную словам Кузьмича усмешечку тети Клавы. Меня как хлестанули, когда я увидел эту усмешечку.

Она во всем с ним соглашалась. Кстати, только с Кузьмичом она сразу же расписалась. У него умерла жена, и он, подыскав себе тетю Клаву, оставил квартиру дочери, переселился к нам, и они поженились. А для меня это было удивительно: ведь ни с кем тетя Клава не уживалась, вон какой большой и грозный Василий Петрович хотел, как он сам говорил, ее обломать, и это ему не удалось. А вот одноногий Кузьмич, он же ничего не делал, ну совсем никак не обламывал тетю Клаву, а она вдруг сама собой, без всяких скандалов, раз — и изменилась. Стала почти непохожей на себя: жесткость сменилась мягкостью, резкие слова — раньше, что бы сна ни говорила, все казалось если не ругательством, то грубостью, — слова эти, оставшись теми же словами, стали у нее как бы совсем другими, почти ласковыми. К примеру, я бы никогда не подумал, что тетя Клава может кого-то называть: «Егорушка». Меня она ни разу в жизни ласково не назвала.

Свадьбу они отмечали не у нас, а на бывшей квартире Кузьмича, у его дочери. Меня не позвали, да я бы, наверное, и сам не пошел, но, когда не зовут, все-таки бывает обидно. Тем более мне было — ну сколько там? — тринадцать с хвостиком. Самый обидчивый возраст.

В общем, тетя Клава никогда не баловала, не ласкала да и мало обращала на меня внимания. Делала, что необходимо было делать, «чтобы перед людьми не было совестно» — и все. Конечно, и этого было много — я же знал, что я ей почти никто. До Кузьмича как-то свыкся со всем этим — видел, что она и ко всем другим так же относится. Но когда появился этот Егорушка, я стал все замечать, сравнивать, и сравнения эти были не в мою пользу.

Однажды у тети Клавы в буфете вышла большая недостача, и это даже грозило судом, но вспомнили (кажется, Кузьмич и напомнил железнодорожному начальству), что она воспитывает ребенка из детдома, и суда не было — все обошлось. Тетя Клава устроилась в столовую на прежнее место — уборщицей.

— Да оно и спокойнее, — говорила она. — Подальше от денег — поближе к пище. А нам с Егорушкой и того хватит.

«Нам с Егорушкой» означало только одно — ей и Кузьмичу. Неужели она не понимала, не чувствовала, что этим «нам с Егорушкой» отделяла меня от себя?..

Кузьмич работал на молокозаводе небольшим начальником и тащил оттуда... ну, что только можно было унести, он все нес в дом. Хозяйственный был. Нес на две семьи. Его дочь — такая же кубастая, как отец, довольно молодая женщина, но уже загрузненная сытной жизнью — приходила к нам, как в бесплатный магазин, почти каждый вечер и уносила половину продуктов. Тетя Клава с ней была приветлива, они частенько закрывались в другой комнате и подолгу шептались. По отрывочным — я не подслушивал, но иногда так само получалось, — по отрывочным фразам можно было понять, что Зина (так звали дочь Кузьмича) делится, как это культурно говорят, «интимными подробностями своей жизни», а тетя Клава ее чему-то учит.

Я чувствовал — Кузьмичу не нравится, что я ем то, что он приносит, — и ждал, что вот-вот он это скажет, и старался не притрагиваться к его продуктам, а есть только то, что покупала или приносила из столовой тетя Клава. Это было трудно — мне надо было столько всего учитывать, и естественно, проходило время и я забывался — ел все подряд, пока косой взгляд Кузьмича опять не напоминал мне, что надо ограничивать себя в еде. В общем, поначалу это было молчаливое недовольство, а может быть, я просто долго не слышал, что он говорит без меня обо мне. Но однажды я услышал.

Я прибежал из школы, бросил на стул пальто, шапку, быстро поел (Кузьмич в соседней комнате переставлял фикус, он, кстати, очень цветы любил), выскочил из-за стола, сказал на ходу тете Клаве, что я в Дом пионеров пошел (там радиоклуб был) и, одевшись и нахлобучив шапку, двинул к входной двери. Распахнул ее и тут вспомнил, что кусок олова у меня в куртке. А вешалка прямо перед дверью, ну я захлопнул дверь и стал по карманам куртки шарить. Сейчас-то понимаю, что получилось так, как будто я ушел, ведь дверь хлопнула, а Кузьмич из соседней комнаты меня не видел.

— Ну, и долго мы его кормить будем?..

Услышал я то ли вопрос, то ли выплеснувшееся возмущение, да я, кажется, и не понял вначале, что он сказал. Я просто тут же забыл, напрочь забыл, зачем стою возле куртки. Оглянулся — тетя Клава замерла у стола с тарелкой в руке и на меня смотрит.

Бывают в жизни ситуации, когда ты полностью теряешь ощущение времени, и не знаю, сколько я так простоял — секунду? час? — но сквозь какой-то ненужный, мешающий мне туман, который все плотнее и плотнее застилал мне глаза, я увидел — не услышал — увидел, как тетя Клава что-то там, у стола, говорит мне. Я не понимал, что она говорит — мешала сосредоточиться блестящая пуговица на ее халате, она так и сверкала сквозь этот туман. Потом в тумане появился Кузьмич, он зачем-то стал протягивать ко мне руки. А туман сгущался, и Кузьмича я уже видел как из-под воды. И мне вдруг стало страшно от его длинных протягивающихся рук, жутко как-то, словно он хотел меня утопить или еще что сделать...

Не знаю, как я оказался на берегу реки. Была зима. Надо мной по огромному железнодорожному мосту громыхал порожний товарняк. А за рекой, на высоком берегу, вдалеке виднелась желтая церковь. Там было кладбище, там под жестяной звездочкой лежал дядя Николай. И как же я тогда кричал своим родителям, как же я их обвинял — глупо, уж совсем по-детски, — обвинял их в преждевременной смерти: зачем же они умерли, если родили меня...

Не знаю, что со мной было бы дальше, если б я не увидел, что тетя Клава — простоволосая, в распахнутом пальто — бежит вниз к реке. Она пролезла ко мне напрямик, целиком сквозь сугроб и, схватив мою голову, прижала к своей теплой груди — только пуговица от халата была холодной. Она так резко рванула меня к себе, что слетела шапка. Тетя Клава целовала меня в затылок, темечко и что-то там, вверху, шептала. Руки ее зажимали мои уши, и я не мог разобрать, что она там шепчет. Слышал только:

— Ничего... — и какие-то другие слова. — Ничего... — и опять слова, которых я никак не мог разобрать.

Я считал себя тогда вполне взрослым человеком — мне было четырнадцать лет, — и вдруг по непонятной причине на груди у тети Клавы я почувствовал себя ужасно маленьким и очень беззащитным, но странно — это не пугало, а радовало.

— Ничего, — сказала тетя Клава, когда я успокоился и она тоже — оказывается, она плакала. — Ничего, он перед тобой извинится. Он хороший, он сказал это просто так...

Кузьмич извинился, но я из принципа старался есть только в тети-Клавиной столовой. Да и вообще решил, что мне надо уходить из ихнего дома. Теперь я так и называл две комнаты, где мы жили с Кузьмичом, — «ихний дом». И хотя тетя Клава стала более внимательной ко мне, но осторожно внимательной, украдкой подсовывала мне какое-нибудь лакомство, ну там конфету или яблоко, но это было уже запоздалое внимание, и не нравилось оно мне такое — украдкой от ее Егорушки. К тому же тетя Клава дня через два после этого сказала:

— Вот что, Валера, нам скандалы ни к чему! Если с тобой что случится, меня же будут во всем обвинять.

И я понял, что прибежала она к реке не из-за меня, а из-за себя.

Я решил уехать. Да и потом, через месяца полтора, случилось такое, что мое решение о переезде в другой город, где есть ремесленное с радиотехническим уклоном, созрело окончательно.

Тетя Клава попала в областную психиатрическую лечебницу, и виноват в этом был Кузьмич, по крайней мере мне тогда так казалось. Он частенько говорил:

— Люди хотят жить лучше — надо и нам отдельной квартирой обзаводиться.

И не только говорил, но многое делал: собирал документы, куда-то ходил, где-то хлопотал. Документов у него собралось — справок, заявлений, бланков, характеристик — целая куча; и вечерами они с тетей Клавой, усаживаясь за стол, любовно перебирали официальные бумажки. Кузьмич даже кое-что читал вслух, нацепив на свой мясистый нос очки и устроившись поудобнее, а тетя Клава заслушивалась им и, кажется, в эти минуты была по-настоящему счастлива.

Наступила весна, и Кузьмич решил идти «на приступ горсовета». Он любил выражаться по-военному.

— Претендовать будем на трехкомнатную, — как-то вечером говорил он тете Клаве. — Ее нам, конечно, не дадут, но подумают!.. — тут он многозначительно поднимал вверх кубастый палец. — Подумают — раз они на трехкомнатную идут, что-то тут не то, непросто это. И при должном нашем упорстве они, чтоб отвязаться, дадут нам двухкомнатную.

Мне все это казалось таким бредом, что хотелось рассмеяться, но тетя Клава серьезно слушала своего мужа — она тоже мечтала об отдельной квартире.

День похода в горсовет я хорошо помню. Тетя Клава специально побывала в школе, и меня отпустили с уроков. Так как в горсовете я никогда не был, а мне в самом этом слове слышалось нечто торжественное, приподнятое — я видел на трибунах людей из горсовета, и всегда они были в хороших костюмах, чистых рубашках и галстуках, — вот я и хотел надеть что-нибудь получше, ну там белую рубашку, брюки собирался погладить. Но Кузьмич не разрешил.

— Клавдия, достань ему, в чем он на улице бегает, — сказал он. — Да не очень старайся. Чтоб чисто было, но поношено. И сама тоже — соответственно.

Вот они и стали обряжаться соответственно: тетя Клава в старенькую кофточку, серую юбку и потрескавшиеся туфли-лодочки, а Кузьмич достал свой лейтенантский китель, на котором красовался орден Красной Звезды. У него были и медали, но почему-то он их не признавал, называя «висюльками» (тогда, в пятидесятых годах, не очень было принято носить фронтовые награды, тем более в будни).

— Орден солиднее, — говорил Кузьмич.

Обыкновенно он ходил с деревяшкой и довольно ловко управлялся с ней — если не видеть его ног, то можно было подумать, что идет вполне здоровый человек. Но в этот раз он еще заранее принес с квартиры дочери длинные костыли, а деревяшку отстегнул, и тетя Клава долго прилаживала и пришивала левую брючину к пустой до колена ноге Кузьмича.

Я собирался нехотя — неприятен мне был весь этот маскарад. Так и подмывало спросить: «А костыли-то зачем? И так видно, что ноги нет». Но подумал и ничего не сказал. Сидел на стуле и зашнуровывал ботинок.

— Да! — неожиданно обратился ко мне Кузьмич. Он полулежал на кровати, а тетя Клава стояла перед ним на коленях и зашивала пустую брючину. — Ты у нас дитя войны, так что пионерский галстук обязательно нацепи. Пусть все видят, что ты пионер.

Галстук я носил, хотя и вот-вот должен был вступить в комсомол. Некоторые ребята из нашего класса галстуки уже не надевали — кто стеснялся, а кто считал, что вырос из пионерского возраста. А я всегда думал так: раз положено, значит, надо, и если ты еще пионер, то соблюдай дисциплину. Но Кузьмич сам сказал, чтобы я оделся, как по улице бегаю, а по улице я без галстука бегал, потому что тогда бы тете Клаве пришлось каждый месяц новый галстук покупать. Я и сказал, подражая фразочкам Кузьмича:

— Не та форма одежды, чтобы галстук надевать.

— Что? — дернулся он, и тетя Клава укололась об иголку.

— Да тише вы!..

— Погоди, Клавдия, — приподнял он свое кубастое тело, и я увидел, что верхняя губа у него совсем исчезла во рту — это означало, что он сердится.

— Ты слышишь, — сказал он тете Клаве и повторил: — Слышишь!.. — указывая на меня, как на преступника. — Галстук не хочет надевать!..

Тяжкая пауза повисла в комнате. Он так это сказал, что сразу стало ясно — Кузьмич за пионеров, а я против.

— Да надень ты, надень, — отмахнулась от меня тетя Клава и успокоила Кузьмича: — Егорушка, он наденет, сейчас наденет...

— Нет, не надену, — сказал я, потому что мне противны были все эти приготовления к обману, и уточнил: — Я не против галстука. Но по вашей указке я его не надену!.. — И, словно очнувшись, впервые увидел, как тетя Клава стоит перед Кузьмичом на коленях, а он развалился на кровати, как какой-нибудь хан, и мне вдруг все это показалось таким противным — даже кровать с высокими подушками, никелированная, с пуховиком и большими подзорами стала неприятна мне.

«Мещане» — вспомнил я слово из школьного учебника и сам себе, стоящий посреди комнаты, показался таким одиноко-правильным и честным, что у меня перехватило горло, и я, как это делали в кино разные положительные герои, выступил вперед, на середину комнаты и стал обличать этих мещан, и получилась у меня целая речь, в которой было намешано всякого — и серьезного, и не очень. О чем я только не говорил! И о бессовестном воровстве Кузьмича (как будто есть совестливое воровство), и о фикусе и цветочках как о главных признаках мещанства, и что Кузьмич недостоин своего ордена, если он его продает за квартиру, и что он ничем не отличается от тех нищих, которые выставляют свои безногие ноги (я так и сказал) напоказ, чтобы им бросили копейки в кепку, говорил об электроэнергии, из-за которой они ссорятся с соседями, я даже вспомнил о дяде Вите, который уехал на своей пятитонке на целину — его весь город провожал, и он настоящий мирный герой, потому что там, на целине, решается судьба урожая, — и в конце концов, уже не зная, что сказать, я выкрикнул (это была неправда — я мечтал о ремесленном), выкрикнул, что я и сам уеду на целину, чтобы не видеть Кузьмича, чтобы не жить рядом с такими людьми, которые ничего не делают для других, а все только для себя.

Меня не перебивали, и я, как полагается, хлопнул дверью и ушел. А тетя Клава в своей старенькой одежде и Кузьмич на костылях отправились в горсовет.

Не знаю, какое действие на них произвела моя речь — скорее всего, что никакого. Об этой речи никто из них не вспоминал потом, даже Кузьмич не обиделся, только стал изредка называть меня Целинником. Кажется, все-таки что-то было хорошее в этом Кузьмиче, потому что, когда мы с ним остались на полтора месяца одни, без тети Клавы, он грубовато, но в то же время спокойно сказал мне:

— Ну вот что, Целинник... Я насчет питания. Насчет чего другого — молчу. Ты сам все знаешь, в советской школе растешь. А с едой, ты это из головы выбрось. Все, что есть — ешь. Ты понял?

Это-то я понял, но почему же ему при тете Клаве было жалко своих продуктов? Почему он тогда все то, плохое, говорил?.. Или одно дело, когда нам хорошо, мы можем быть и жадными, и какими угодно, от этого все равно ни от кого не убудет — всем же вокруг относительно хорошо, только умей вертеться; и совсем другое, когда случается беда, тогда уже необходимо быть добрым, чтобы иметь человеческую поддержку... Не знаю, до сих пор не знаю. Сейчас, когда Егора Кузьмича уже нет в живых, я стараюсь делить его на два разных человека: на того, кто потерял на фронте ногу, и на того, кто в мирное время потерял совесть. Но жизнь, конечно, жизнь не делится.

Тетя Клава в горсовете упала в обморок. Нарочно это было или понастоящему — поначалу я не знал. Но в любом случае я уже говорил, что она и притворяясь не притворялась, потому что просто обладала этой способностью лишаться памяти. Правда, сколько я помню, она довольно быстро приходила в себя, а тут, как сказал Кузьмич: «Ее всю прям аж забило!..»

Как я понял, это произошло в кабинете у председателя исполкома. Вызвали «скорую», отвезли вначале в нашу городскую больницу и в тот же день отправили в область, в психиатрическую лечебницу. Я узнал это глубокой ночью, когда вернулся Кузьмич — он сопровождал тетю Клаву до самой лечебницы, — но узнал в общих чертах: Кузьмич не распространялся, из-за чего и почему там все это произошло. Но я догадывался, что без Егорушки тут не обошлось; по нескольким вроде бы незначащим фразам мне стало ясно, что тетя Клава, если говорить языком Кузьмича, «выполняла установку, данную сверху». Да вот, как видно, не рассчитала своих сил.

В воскресенье мы втроем — Кузьмич, его дочь Зина и я — отправились к тете Клаве. Не помню, как доехали до областного центра, потому что дорога туда была для меня как кошмарный сон. Одно лишь слово — психиатрическая — меня пугало сильнее сотни самых страшных слов. Конечно, я не показывал вида, что мне страшно, но чего только не передумал за дорогу, какие только картины тети-Клавиной жизни среди сумасшедших не возникали в моей голове. И мне попеременно то было жалко тетю Клаву, то я боялся ее увидеть.

Была середина апреля, и на улице довольно прохладно. Мы замерзли, пока очутились на окраине города, где в парке, похожем на лес — так он зарос кустами и молодыми березами, — стояла лечебница. Над путаницей нижних веток возвышались сосны с вороньими гнездами в верхушках. Крупные серо-темные птицы перелетали, кружились, и их пронзительные, тревожные голоса полностью соответствовали моему настроению, когда мы увидели за низким заборчиком большой, длинный деревянный дом с зарешеченными окнами.

Оказалось, мы не одни пришли сюда в воскресный день. В комнате с лавками по стенам и маленькими окнами, свободными от решеток, было даже тесно от людей. И ничего особо необычного или страшного при всем моем старании я не обнаружил — больница как больница. Люди сидели, стояли, разговаривали: кое-кто в серых больничных халатах, а кто-то одет, как и мы, обыкновенно, — в основном женщины. Как я потом узнал, это было женское отделение, а мужское находилось в этом же парке, но чуть дальше.

Кузьмич велел нам с Зиной обождать и, простучав своей деревяшкой по дощатому полу, скрылся вправо, за белой дверью. Такая же дверь была напротив нас, в центре. Я заметил, что она без ручки, и удивился этому.

— Жалко их... — прошептала Зина. В ее молодом, оплывшем лице я увидел тот же страх, что владел мной, когда мы шли сюда.

Вернулся недовольный Кузьмич.

— Не пускают к ней, — сунул он дочери клеенчатую сумку с продуктами.

— Как не пускают, — почти возмутилась Зина. — Мы вон откуда приехали, а они не пускают!

— Что ты мне говоришь — пойди им скажи.

— И пойду!..

Когда она скрылась за дверью, Кузьмич тихонько кашлянул:

— Вот так... — и поцарапал кубастыми пальцами щетинистый подбородок. — Лежит она. Мне тут фельдшер сказал, вроде как у нее истощение нервной системы. Даже почти полное...

— Что — «полное»?

Я тогда впервые услышал о такой болезни, но все же смысл ее мне был понятен. Меня только поразило слово «истощение» — я же видел, ну всего два дня тому назад видел тетю Клаву и вроде никакого истощения не замечал. То, что она худая? Так она всегда такая была, да и вообще ни о какой болезни, глядя на тетю Клаву, не думалось, поэтому я скорее не спросил, а удивился:

— Что — «полное»?

— Истощение почти полное, — повторил Кузьмич и шумно выдохнул: — А я тут еще с квартирой затеял...

Больше месяца я не видел тетю Клаву и не из-за того, что не мог — я бы приехал, хотя денег на поезд у меня не было, а у Кузьмича спрашивать не хотелось, но я бы зайцем приехал, не в этом дело. Тетя Клава сама через Кузьмича попросила меня не приезжать. Она вроде бы сказала, так по крайней мере Кузьмич передал, что мне надо учиться и нечего зря болтаться туда-сюда, время терять. Но почему-то я чувствовал, что это не так, что это не из-за времени. Кузьмичу я не доверял — он мог и скрыть от меня что-нибудь, — и мне захотелось спросить у самой тети Клавы, почему она не хочет меня видеть.

Недели через три после нашей поездки у Кузьмича по графику вышел рабочий день в воскресенье, и я не выдержал — отправился на вокзал. Думал, как-нибудь доеду, хоть на крыше.

— Валера!.. — окликнули меня на перроне. — Куда собрался?

Дочь Кузьмича с сумкой, набитой молочными продуктами, подошла ко мне.

— Ты не к тете Клаве, случайно?

— А что? — насторожился я.

— Ой... — перехватила она сумку другой рукой. — Пойдем вон на лавочку.

Мы уселись.

— Что тебе хочу сказать... — пожевала она верхнюю губу точно так же, как ее отец. — Не знаю я всех ваших дел, но только ездить тебе не надо.

— Хм... Почему это? — нарочно усмехнулся я, потому что меня задело это — все, кто хочет, ездит, а я почему-то не могу!

— Не обижайся, — мягко дотронулась Зина пухлой рукой до моего плеча. — Я и сама еще толком не разобралась, но вот чувствую, из-за тебя все это...

Я тут же хотел ответить ей, что вовсе не из-за меня тетя Клава попала в больницу, а из-за ее папаши, но Зина смотрела на меня так жалостливо, столько было в ее глазах переливающейся в меня боли, что слова застряли в горле, и я смог лишь выдавить:

— Почему... из-за меня?..

— Да я ж ничего не знаю. Это я просто подумала, — стала успокаивать меня Зина. — Может, и не из-за тебя. Но ты уж не перечь тетке, пусть поправится. Вот тогда и съездишь. Да ты близко к сердцу не бери, ведь больная она...

Я не поехал.

«Но почему из-за меня?» — думал я, перебирая в памяти все, что было до этого, и ничего не находил. То, что тетя Клава была излишне слезливой, так она вроде бы всегда такой была: и слезливой, и жесткой почти одновременно. Последнее время, когда появился Кузьмич, она стала помягче, но это же не значит, что она заболела? И я тут ни при чем. Я вспомнил, как тетя Клава целовала меня зимой на берегу реки. Она тогда плакала, но ведь ничего плохого в этих слезах не было. Я даже благодарен ей был, что она так поступила, значит, я ей хоть немножко небезразличен. Да если б она тогда не прибежала к реке, то я вообще не знал бы, как жить дальше. И потом это случилось почти два месяца назад. А перед этим злосчастным походом в горсовет, ну чем я ее мог испугать, огорчить или расстроить?.. Если только своей речью о мещанстве. И тут я стал припоминать, что — да, кажется, на самом деле чем-то ее испугал вот именно тогда. Но чем? Неужели всеми этими словами? В конце концов, она могла просто одернуть меня, что она не раз и делала, или даже накричать — хватит, послушали тебя, а теперь замолчи. И я бы замолчал. Значит, дело не в словах. А тогда в чем?.. Я постарался до мельчайших подробностей вспомнить, как я стоял в центре комнаты, весь такой обличительный и еще рукой махал, указывая на Кузьмича, а тетя Клава медленно поднималась с колен и ладонью загораживалась от меня, как будто видела что-то жуткое... Да — жуткое. Но чего она испугалась? Меня, что ли? Что ей меня бояться — мы вон сколько времени живем вместе. Правда, я впервые вот так выступил, можно сказать, с речью, но что же тут страшного?..

Нет, всего я не понимал и решил так: тетя Клава должна была вот-вот заболеть, а мы с Кузьмичом этого не видели, не замечали. Чем-то я тетю Клаву испугал, а Кузьмич со своим обманом горсовета добавил — вот и вышла больница. И, конечно, тете Клаве сейчас тяжело встречаться со мной — я же вроде как одна из причин ее болезни. Кузьмича она любит — это уже давно ясно — и все ему прощает, а меня, что тут сделаешь, видно, не очень любит, так что все правильно, не надо мне к ней ездить.

Это был горький вывод. За столько лет я очень привык к тете Клаве, зная все ее недостатки, обижаясь на нее, злясь, даже иногда ругая, я все же любил ее. Что ни говори, а это был у меня единственный родной, ну пусть полуродной человек на земле.

«Ладно, — решил я, — вот закончу школу и уеду».

И я уехал, тем более что сама тетя Клава сказала мне, чтобы я уезжал. Да-да, так и сказала — впрямую, когда мы с ней разговаривали в парке возле больницы. Я все-таки навестил ее, когда ей стало лучше.

Помню, мы сидели с ней на скамейке под кустом сирени, которая только начала распускаться. Сзади была больница — оттуда доносились разговоры, — и вороны в высоких соснах кружились и каркали, как и в первый раз, но широкий куст закрывал нас с трех сторон, и казалось, что на скамейке полная тишина.

— А ты вырос, — сказала мне тогда тетя Клава. А я и сам чувствовал, что вырос, — мне вот-вот должно было исполниться пятнадцать лет. По сегодняшним меркам младенческий возраст, но я четко помню себя тогдашнего, и я был взрослым человеком, если под этим понимать конкретность выбранной цели и ясность дороги к ней.

— А мне статью дали, — вроде бы похвасталась тетя Клава. Я не понял, что за «статью», и она объяснила: — По документам теперь я совсем больная. Да ты не бойся — это не страшно. Егорушка узнавал, с этой статьей полагается отдельная жилплощадь. Так что, видишь, нет худа без добра.

Она постарела, даже удивительно, как может постареть человек всего за один месяц. Ей тогда было лет сорок, а уже проглядывало немного старушечье. И странно: хотя она сидела свободно, облокотясь одной рукой на спинку лавочки, закинув ногу на ногу и не очень заботясь, что больничный халат у нее разъехался, высоко обнажив колено (я и раньше замечал вот такие, слишком свободные, позы), и хотя в этой позе было что-то зачеркивающее тетю Клаву-уборщицу, которая вытирала жирные столы и уносила грязные тарелки, сквозь все это внешнее, напускное и вальяжное, словно из-за угла, выглядывала старушка, испуганная жизнью старушка. Вообще вот такое смешение молодого и старого, свободного и зажатого, хитрого и простодушного, уверенного и испуганного, внутренней энергии и почти одновременно полнейшей апатии было очень свойственно тете Клаве. Вероятно, все это и родило болезнь, а может быть, было проявлением болезни. Не знаю. Да я тогда, конечно, и не задумывался надо всем этим.

Мне очень хотелось спросить, чем же я ее напугал? Но спрашивать об этом было неудобно, и я пошел окольным путем:

— Теть Клав, а вот в горсовете, там что было?

— Как — что было? — не поняла она.

— Ну, вы там притворялись? — неожиданно спросил я о том, что меня интересовало давно, и испугался своего вопроса.

Но тетя Клава не обиделась.

— Да Господь с тобой, — спокойно посмотрела она на меня. — Зачем мне это?.. — И тут же будто проговорилась: — Это у меня как-то само получается. Как подумаю, какая я несчастная, так и падаю.

— Только от мысли?

— Да разве ж этого мало, — вздохнула она. — А когда у меня памяти нет, мне хорошо...

Она помолчала. Воронье галдело где-то в вышине, за кустом сирени, и в их хрипловатые голоса вплетались более тонкие выкрики галок, а на дворе лечебницы кто-то требовательно звал: «Карпова, на терапию! Карпова, на терапию!..»

Тетя Клава улыбнулась.

— Вот Егорушку Господь послал под мой закат печальный, — сказала она стихи, как собственные мысли, и объяснила: — Тут одна учительница, больная она, по вечерам нам Пушкина читает. Вот не приучена я читать.

— Но вы же учились.

— Да чего там — училась, три класса, — слабо отмахнулась она. — Разве у меня когда в голове учение было. Эх!.. — вытянула она руки, сомкнутые в пальцах, и хрустнула суставами. Что было в этом «эх» — сожаление, неосуществившаяся мечта? А если мечта, то что это была за мечта?

Я подумал, что в общем-то ничего не знаю о самой тете Клаве. Она изредка говорила (не так уж много) о дяде Николае, бабушке, кое-что о моих родителях, а вот о своих родителях и о себе — хотя, бывало, что заходил об этом разговор, — она всегда молчала. И я решил спросить об этом, потому что, кажется, она была расположена поговорить.

— У вас до дяди Николая какая фамилия была?

— А тебе на что?

— Интересно.

— Полухина. Николай-то был из деревни, а я городская. Полухины всегда в городе жили. У нас и дом свой был с флюгером. Ни у кого в городе такого дома не было и флюгера не было. А за домом сад большой, — задумчиво сказала она и с сожалением причмокнула: — Все прахом пошло. Не думала я, что в эту дыру с тобой попаду...

В ее худом, тонко обтянутом кожей лице и в серых в крапинку глазах было что-то остановившееся. И я неожиданно вспомнил дядю Юру — в нем тоже что-то вот такое же — остановившееся — появлялось, когда я его спрашивал о войне.

— А почему вы из своего города уехали?

— Что? — словно очнулась она. — Ты что это? — и испуганно насторожилась. — Что это ты вроде следователя? Не понравилось, вот и уехала. Кормиться там нечем было, — быстро объяснила она, присматриваясь ко мне. — А тебе это все зачем?

Она вроде как обиделась на меня, и я пожал плечами: мол, просто так, любопытно.

Вот тут она и сказала:

— Ты в ремесленное хочешь. Так что школу заканчивай и поезжай — учись. Деньги я там тебе на дорогу отложила. Учись, работай, тетку свою не забывай, — словно заранее прощалась она со мной. — И вот еще, дома нам не надо говорить об этом, но ты... — видно, стараясь не обидеть, она впервые в жизни погладила меня по руке, — ты устраивайся где-нибудь там. Там, — тихо повторила она и виновато добавила: — А то Егорушка с тобой... Ну сам знаешь.

Через два с половиной месяца я уехал и поступил в ремесленное. Тетя Клава поначалу присылала мне деньги — трудно было от них отказаться, но первый раз я просто отослал их обратно, а во второй на почтовом переводе с обратной стороны написал: «Государство нас кормит и одевает». Никаких подачек я не хотел ни от тети Клавы, ни тем более от ее Егорушки. Но, написав это, долго мучился и даже хотел послать письмо, чтобы все объяснить или хотя бы сказать: «Спасибо вам, тетя Клава, что вы меня из детского дома взяли». Подумал-подумал — и ничего не написал, а решил совсем другое — с первой зарплаты отослать им деньги, которые они мне дали на дорогу.

«И никогда, — сказал я себе, — никогда к ним не приеду!»

Но летом приехал. Первый год в ремесленном меня ужасно тянуло домой. Да, домой — вдали от тети Клавы я опять стал называть две комнаты, в которых мы жили, домом.

Приехал и понял, что зря это сделал. Диванчик, на котором я спал, был уже продан. «Вот, — подумал я, — они совсем и не хотели, чтобы я приезжал». И это точно — у них была своя жизнь, и я в эту жизнь не вписывался. Как ни странно, но обрадовался (если это можно назвать радостью, потому что я чувствовал, что все это не настоящее), обрадовался моему приезду Кузьмич.

— Вот те на! Целинник... — даже приобнял он меня. — Проходи, проходи... Ну рассказывай, как ты там?

Тетя Клава пришла позднее. Дверь из комнаты в коридор была приоткрыта, и я слышал, как она, поднимаясь по лестнице, весело разговаривает с соседкой. Кузьмич мне рукой знак сделал: молчи — сюрприз устроим. У меня сильно колотилось сердце. Тетя Клава весело простилась с соседкой и, открыв дверь, еще не видя никого в комнате, сказала:

— Егорушка, ты меня ждешь?

И столько в этом простом вопросе было нежности, веселого покоя и жизненной устойчивости — той самой, которая не боится будущего, — что, наверное, можно было бы и порадоваться за тетю Клаву, что она наконец-то на самом деле нашла свое счастье, но меня эта ее нежность и веселость раздражали и оскорбляли — если ей хорошо, значит, она совсем не думала обо мне.

Тетя Клава вошла, увидела меня и... Странно все это, но мне даже показалось, что кто-то посторонний невидимой рукой медленно стер с ее лица черты веселости и покоя.

Потом в мусоре слов затерялась эта первая секунда встречи, но все равно я чувствовал: надо уезжать, я тут лишний.

Почему я так бился за это право — видеть тетю Клаву и чтобы непременно она относилась ко мне хорошо? Зачем мне все это было нужно? Я же видел, что одним своим присутствием вызываю в тете Клаве угнетенное состояние. Нет, она со мной говорила, кормила, даже спрашивала, как я там живу, но все это было на поверхности. А по одному тому, что за всю неделю (я больше недели у них не выдержал), за всю неделю она ни разу не улыбнулась, по одному тому можно было понять, что мне бежать надо от тети Клавы. Я чувствовал — она вытесняет меня из своего сердца, но не понимал, почему, прожив с ней, если не душа в душу, то в общем-то терпимо, столько лет, я вдруг стал ей так неприятен и даже, кажется, противен?.. Единственная причина — Кузьмич, но он-то как раз относился ко

мне вполне нормально: не жадничал вроде, советовался со мной насчет квартиры.

— Это же противозаконно! — возмущался он тем, что в горсовете при распределении жилплощади не учитывают меня. — Незаконно! Ты учишься, и у тебя площади никакой нет. Неважно, будешь ты потом с нами жить или нет, но они обязаны тебя учитывать. Ничего, — грозил он в сторону горсовета, — я в войну доты прямой наводкой разбивал!..

Да, странно все это. Конечно, я тогда ничего не понимал и винил во всем Кузьмича, который был совсем и не виноват в моих несчастьях.

Я окончательно и твердо решил больше не бывать у них.

Но шло время, и забывались детские обиды. Я отслужил в армии, учился на последнем курсе заочного института, и меня вдруг нестерпимо потянуло в родной город. А тут как раз и случай представился: забарахлил наш станок с программным управлением (дело это тогда было новое, и не все получалось), и меня послали к заказчику, чтобы я на месте во всем разобрался. А поезд проходил мимо моего города. Я еще подумал: «Сойду. На час, на два — посмотрю, как они живут». Купил тете Клаве конфет подороже, торт (она сладкое любила), ну и все, что полагается, когда долго не был и едешь нежданным гостем. Правда, у меня сомнение было — вдруг они переехали на новую квартиру, но решил — если не успею найти, то хоть на город взгляну.

Приехал к вечеру. Была поздняя осень, и сыпал мелкий дождь. Город почти не изменился — он не был крупным административным центром и не стояло рядом с ним ни одного большого завода. Но улицы были чистыми и опрятными, хотя это была чистота старого и опрятность поношенного. Заметил, что на центральной площади наконец-то разобрали разрушенный еще до войны собор. На этом месте теперь был сквер с памятником — кому? Из окна автобуса сквозь моросящий дождь не успел разглядеть.

Какие только мысли и чувства не толклись во мне, когда я подходил к нашему старому дому — трудно было выделить что-нибудь определенное из этой мягкой толчеи. И я думал, что время одомашнивает прошлые обиды, эти обиды уже как бы и радости, ведь, помимо прочего, есть еще и тщеславие обиды: вот что я пережил! Но нет, и это точно, нет уже сильной боли — время обкатало и объездило эту боль. Может, поэтому все, что я видел, казалось мне милым: и железная лестница на крышу, и обшарпанная дверь подъезда, и внутри деревянная лестница на второй этаж, и остро знакомая дверь комнаты в полутемном коридоре.

Тетя Клава была дома. Когда она открыла дверь, я не сразу ее узнал, так она пополнела, расплылась. Из рыхлого, пухловатого лица, как из подушки, на меня смотрели — тяжело это говорить — отупевшие, похожие на пуговицы глаза. Мне даже больно стало, что она так подурнела. Лицо у тети Клавы всегда казалось мне живым, беспрестанно меняющимся, а тут я увидел вполне определенное, сытое лицо пятидесятилетней женщины, довольной жизнью и собой.

Она меня не узнала! Вначале я даже не поверил, что возможно такое, всего-то немногим больше десяти лет прошло — неужели я так изменился? Я растерялся.

— А-а!.. — наконец улыбнулась она вполне добродушно и уточнила: — Ты — Валера?

Честно говоря, мне не по себе стало от этого ее уточнения, но я кивнул.

— Ну проходи, что ж ты стоишь...

В комнатах было почти так же: только никелированной кровати не было — стояла широкая софа — и слоники с буфета исчезли, да заметно прибавилось цветов. Они стояли на подоконниках, табуретках, висели в обливных горшочках по стенам, и, может, от обилия этих горшочков с зеленью комнаты казались тесными и душными.

Я выложил на стол подарки и бутылку поставил. Тетя Клава пить не стала. За чаем я вкратце рассказал о себе. Тетя Клава с пониманием кивала.

— А что с квартирой, не удалось? — спросил я.

— Ой, не до квартиры было, — как от чего-то, что совсем не хотят вспоминать, отмахнулась она. — Егорушку посадить хотели.

— За что?

— Да он же цехом заведовал.— Как я понял, она говорила о молокозаводе.— У них что-то случилось, а все на Егорушку навалили. Все, кто повыше — начальники — сухими вышли. Ну, а им надо же виноватого найти, вот и нашли.

— А сейчас он где?

— Да уже на пенсии. Там же, на заводе, и прирабатывает, теперь в охране он. Понизили,— и глянув на новенький будильник, сказала: — Сейчас должен прийти. Надо это-то,— взяла она бутылку со стола,— убрать. А то он выпьет еще, а ему нельзя.

Я приглядывался к тете Клаве и никак не мог понять, что же с ней произошло. Сначала не признала, а теперь так добродушно общается со мной. Почему? Ведь в последний тот приезд она, кажется, терпеть меня не могла.

Пришел Кузьмич, вернее, я ему помог прийти — он не в силах был подняться по лестнице на второй этаж. И не из-за того, что был пьян. Как он сам сказал:

— Я норму принял наркомовскую — и все.

Подняться же он не мог, потому что у него за пазухой, за спиной под рубашкой, в брючине, заправленной в сапог, и даже на голове под кепкой были: творог, сырники, масло, сыр и в нескольких больших грелках что-то жидкое: сметана или еще что — не знаю. Как он это все унес — понятно, он же сам в охране, а вот как донес — уму непостижимо. Когда все это вывалилось на стол, то была гора молочных продуктов.

— Осуждаешь? — спросил он меня. Я пожал плечами, мол, что тут осуждать, когда и так все ясно.

— Осуждаешь,— утвердительно повторил он и поднял свой кубастый палец вверх.— Не надо осуждать, не надо!.. Я же не в Америку куда-нибудь несу, а все сюда. Значит, не пропадает — все советским людям. Они меня наказали,— кивнул он за дверь, но ясно было, кого он имел в виду.— А я был хорошим начальником. Я и план давал, и людям давал. А теперь мне на ихний план,— он смачно сплюнул.— Вот так. Я теперь в охране.

Они оставляли меня ночевать, но этим же вечером я уехал. В поезде долго стоял в коридоре, смотрел на расчерченное дождевыми каплями стекло и думал, что с Кузьмичом все более-менее понятно. Жалко, конечно, что сам человек не чувствует, что он уже почти и не человек, но где начало этой лесенки, ведущей вниз,— пойди, отыщи это начало в его душе. Нет, меня поразила больше всего тетя Клава и не тем, что изменилась внешне — в конце концов, все мы меняемся, стареем,— но я не узнал ее изнутри. В ней всегда, даже вначале при Кузьмиче, было что-то непоседливое, недовольное этой жизнью, и вот теперь она, кажется, вполне успокоилась. Но и это было не главным. Там, в сумраке коридора, когда она раскрыла дверь и увидела меня, я ошибся, что она не узнала меня, вернее, это не я ошибся, а это она все сделала для того, чтобы я ошибся. Она узнала меня. Да, узнала, только сделала вид, притворилась, что не может меня вспомнить, и нарочно уточнила: «Ты — Валера». Это был обман. Я же заметил в ее глазах страх, испуг при виде меня. Я только не сразу обратил на это внимание — меня сбили ее слова, да и сам вид располневшей тети Клавы был для меня слишком неожидан. Но испуг в ее глазах был. А если испугалась, значит, узнала. Только зачем-то притворилась, что не узнала. Зачем?.. Чтобы сразу и без слов сказать мне, что я ей чужой? Вот, мол, я тебя даже забыла.

Нет, так же, как в детстве, я не понимал ни ее страхов, ни ее притворного добродушия. И подумал, что, конечно, я для нее чужой, я и раньше никогда не был для нее родным, а сейчас...

Мне было жалко тетю Клаву и даже Кузьмича, и мне казалось, что я не имею права осуждать их ни за воровство, ни за то, как они относились ко мне. Кто-то со стороны имеет на это право, а я слишком многим обязан этим людям.

...«Чужой так чужой,— решил я.— Спасибо, хоть не бросили меня».

И, отправляясь спать, я думал, что все связи с тетей Клавой уже разорваны. Как поезд отдаляется от моего родного города, так и жизнь несет меня все дальше и дальше — туда, где прошлым болям нет места и времени. Вот такая ерунда мне представлялась.

* * *

Наташа сказала:

— Счастье — это хорошее здоровье при плохой памяти,— и заглянула мне в лицо, проверяя, согласен я или нет.— Это не мои слова. Это говорила одна знаменитая киноактриса.

Мы гуляли по осеннему лесу (он рядом с нашим домом), а впереди Настя собирала листья — они уже не помещались в ее маленьком кулачке, и она их роняла, но тут же поднимала, старательно засовывала в кулачок и опять роняла. В этой бесполезной работе был тайный смысл, понятный, вероятно, только самой Насте с ее трехлетним опытом жизни. Мы так редко вместе выбирались в лес, а день был солнечный, с еле заметной прохладцей, и, кажется, от сытной еды — мы недавно пообедали,— что-то тихое, умиротворенное было у меня в душе, и я согласился с женой: да, пожалуй, это и есть счастье — жить только вот этим солнечным днем, не помня прошлого и, может быть, не очень задумываясь о будущем.

Но сейчас думаю, что хорошее здоровье при плохой памяти — счастье животных, свинья на гибнущем корабле, чавкающая у кормушки,— на эту свинью один древний грек указывал как на образец для подражания. Доступно ли такое счастье человеку? Есть ли люди, способные равнодушно смотреть на гибнущий корабль, ну хотя бы, хотя бы на свой собственный гибнущий корабль, не думая о прошлом и не сожалея о будущем...

Этот разговор с Наташей я вспомнил потом, когда все самое страшное уже произошло и ничего нельзя было изменить. А начиналось все обыкновенно; теперь мне кажется, что вообще все в корне меняющее жизнь всегда начинается с обыкновенного.

Пришел я с работы часу в восьмом. Слышу, Наташа кричит из большой комнаты:

— Иди сюда! Твой Днепропетровск показывают!..

Откуда она взяла, что Днепропетровск «мой»? Жила в этом городе когда-то моя мать, но я там ни разу не был.

Разулся, сунул ноги в тапочки, прошел в комнату.

— Что тут показывают?

Наташа сидела перед телевизором.

— Какой у тебя красивый город!

Я устроился рядом с Наташей на подлокотнике кресла. Город, действительно, был красив, впрочем, как многие большие южные города, но, в сущности, не мой город. Вероятно, для контраста, чтоб телезритель проникся и осознал, какими трудами досталась эта красота, показали разрушенный войной Днепропетровск. Его бомбили в июле-августе сорок первого, и я уже давно понял, что тетя Клава перепутала год моего рождения. Не мог же я родиться после смерти матери, в сорок втором году, и значит, я на год старше, чем записано в документах.

— Лера! — Наташа зовет меня неполным именем.— А почему бы нам не сделать запрос? Если со стороны твоего отца никаких родственников не осталось, то, может, со стороны матери, а?

Мне приходила такая мысль, но я ее всегда отбрасывал. Мы делали запрос на отца, и нам сообщили лишь то, что я знал давно: что «Молин Станислав Викторович значится без вести пропавшим в декабре 1941 года по сообщению отдела учета сержантского и солдатского состава Советской Армии». Эта справка, выданная военкоматом, будто обрубила что-то живое во мне. Я знал, что отца нет, но когда нет и официальных документов, подтверждающих смерть, то все-таки неуловимо живое еще остается от человека. Короче, я не хотел получать еще бумажку и на запрос о матери.

— Знаешь,— снизу вверх глянула на меня Наташа, у нее замечательно крохотная родинка на носу,— знаешь, даже ради того, чтобы найти могилу матери, надо сделать запрос. А может, и родственники какие есть, а то ты у меня круглый сирота.

— Я уже не сирота.

— Все равно,— твердо пришлепнула она ладошкой мое колено,— запрос надо сделать.

Дня через три в нашем паспортном столе я написал заявление и заполнил бланк: «Карточка на разыскиваемого, потерявшего связь с родственниками». Меня предупредили, что это дело небыстрое, да я и сам понимал, что разобраться в узлах, которые навязала война, совсем не просто, но все

же первый месяц с тайным страхом заглядывал в почтовый ящик. Но прошло восемь месяцев, и за текучкой дел я даже запамятовал, что жду ответа на запрос. Поэтому вначале и не обратил особого внимания на письмо, когда вечером после работы вытащил газеты из почтового ящика. Я ждал официальной бумаги — повестки в паспортный стол или справки, поэтому на ходу (мы живем на третьем этаже, и я не пользуюсь лифтом), перебирая газеты, просто глянул на письмо, еще удивился — от кого бы оно могло быть, вроде никто из знакомых или Наташиных родственников не жил в Запорожье. Но, заметив под обратным адресом свою фамилию с инициалами «В. С.», тут же остановился и вскрыл конверт.

Письмо было большим, на пяти ученических листах, исписанных размашистым почерком.

«Здравствуй, Молин Валерий Станиславович!

Вот написал, а дальше и не знаю, что сказать. Честно говоря, у меня к тебе есть вопросы, а в письме не хотелось бы. Вот тут пишу, а моя половина, ее Варвара Петровна зовут, говорит, что пусть скорее приезжают, тут и разберемся что к чему. Так что ты понял, да? Приезжай. Если семья, давай всем миром. У меня здесь тоже много всякого народа.

А вопрос вот в чем — я тоже Молин и тоже Валерий Станиславович.

Но по порядку: я с утра в милицию сходил. Вызывали меня, это насчет тебя. Вот, говорят, признаете вы его родственником? Хотите встретиться? Ну чудаки они там, как же с тобой не встретиться, если ты Молин и родню разыскиваешь. Они еще интересовались, почему ты тоже Валерий Станиславович. А я сказал, что с этим вопросом мы сами разберемся. А если человек сам ищет родственников, то это тоже кое о чем говорит.

В общем, они мне дали адрес, вот я тебе и пишу, чтоб без них, ну чтобы первому написать, предупредить тебя, если тебя там спрашивать начнут.

А теперь так, чтобы ты подумал, в чем мы сходимся, а в чем, может, и нет.

1. Бабушка моя Молина Екатерина Федоровна умерла в 1947 году. Я два раза был в деревне на ее могиле. Дед умер еще перед войной.

2. Отец мой Молин Станислав Викторович погиб в боях под Москвой. Делали мы запрос, но — могила неизвестного солдата. Сам понимаешь.

3. Мать — Молина Вера Степановна (в девичестве Бацулло) погибла в 1941 году на моих глазах. Ее стеной задавило при бомбежке. Меня она успела вытолкнуть. Но одно время меня считали погибшим вместе с матерью. Ну ладно, при встрече все вспомним.

4. Это самое трудное. Ни сестры, ни брата я не помню и не знал, что они у меня есть. Говорю это точно, потому что, когда погибла мама, я уже кое-что понимал, мне было 6 лет. Я 1935 года рождения.

5. Был у меня еще дядя — Молин Николай. Я о нем в деревне узнал, он сразу после войны умер. Это мне соседка бабушкина сказала. А от чего он умер, соседка не знала, сказала, что бабушка была очень скрытная и никому ничего не говорила.

Видишь, сколько я всего тебе написал. Со стороны мамы у меня близких родственников тоже теперь нет. Был двоюродный мамин брат, я у него в детстве жил, но вот три года как мы его схоронили.

Сам понимаешь, у меня тут в голове разные мысли. Не знаю, какого ты года рождения. Не знаю, на кого думать — на отца или мать. Да и вроде бы и не хотелось ничего такого думать. Но ты не обижайся. В жизни чего не бывает, а мы с тобой, как я понимаю, уже в таком возрасте, что все понимать должны. Короче, что бы там ни было, приезжай, посидим помужски и все, что не ясно, выясним.

Давай. Жду.
Валерий Молин.

Если нет денег на дорогу, дай телеграмму — сразу вышлю».

Я стоял на лестничной площадке между первым и вторым этажом. Громыхал лифт, две девочки внизу о чем-то спорили. Летнее солнце окрашивало одну половину пыльного лестничного окна в розовый цвет. В голове промелькнула совсем ненужная мысль об отпуске и что я устал. Попытался сосредоточиться на письме, но в памяти всплыло кричащее лицо нашего директора — у нас с ним в этот день был конфликт, и я тоже кричал на него.

Я сделал несколько шагов вверх по лестнице, но тут же остро почувствовал — нельзя мне сейчас домой, надо одному, мне необходимо побыть где-нибудь одному. Вышел на улицу. Меня окликнули — я весело махнул рукой (кому?), дескать, некогда, и от домов сразу свернул к лесу. Он тянется вокруг большого пруда, в который впадает узенькая речушка. Я знал, что у пруда много отдыхающих, и пошел в сторону, к бетонному мостику через речку, там почти всегда тихо.

На ходу еще раз перечитал письмо. Кажется, этот мой двойник был неплохим человеком. Что-то внушало мне доверие к нему и его письму, вот он даже остерегал меня, предупреждал: «если тебя там спрашивать начнут». О чем спрашивать? Что я знаю?

«Я знаю только то,— как можно хладнокровнее старался рассуждать я,—знаю только то, что мне говорила тетя Клава. Тетя Клава... Зачем ей было врать? Вот же — понятно, что Молина Вера Степановна не могла быть моей матерью. Но документы?.. У меня же есть документы,—цеплялся я за прошлое, в котором, казалось, было все так ясно, и тут же понимал: — Какие там документы! Горели люди, не то что документы. Да и кто на ребенка будет требовать документы, если их нет. Как сказали, так и записали»,— и мне вдруг абсолютно понятно стало, что не было Днепропетровска в моей жизни. Даже если тетя Клава ошиблась и ошибается этот Молин из Запорожья, и я все-таки родился в сорок первом, то как мог попасть грудной ребенок, один, без матери, из разрушенного Днепропетровска в центр России к какой-то дальней полуродственнице? Вот что главное. Да к тому же, к родному городу тети Клавы тоже подвигался фронт, через месяц там уже были немцы.

«Не было Днепропетровска,— бормотал я, шагая по узкой тропинке, пронизанной, как вздувшимися, узловатыми венами, корнями сосен.— А что же было? И зачем тетя Клава выдавала меня за сына Веры Степановны? Конечно, она могла знать, что Вера Степановна погибла вместе с ребенком. Вот же он пишет, что его тоже считали погибшим. Но зачем было называть меня его именем и вообще выдавать меня за него?»

Я вышел к бетонному мостику. Длинноволосый парень в плавках сидел в центре его, свесив ноги в воду и подставив лицо под мягкое, нежгучее, почти вечернее солнце. А мне необходимо было сосредоточиться, чтобы найти в воспоминаниях зацепку, от которой моя жизнь стала вязаться именно в эту, а не в какую-нибудь другую сторону. Я перешел через мостик. Парень даже не шелохнулся: видно, кроме солнца и воды, омывающей его ноги, для него ничего не существовало. Я миновал небольшое поле и по дороге, еле угадывающейся в высокой траве, углубился в лес.

Ясно было, что Молин из Запорожья мне не брат. Его отец...

«Его отец!..» — как на рогатину, натолкнулся я на эти два слова и осторожно потрогал острые концы рогатины: «Его отец...» Но это так, приходилось мириться и с этим. Его отец погиб в сорок первом, и вряд ли какая-нибудь женщина, если у него была эта женщина, сохранила бы для ребенка фамилию отца. Впрочем, и такое могло быть. Все эти связи, кажется, были такими кратковременными, если они были. «Да и почему вдруг тетя Клава? Откуда тогда взялась тетя Клава?..» — ходил я вокруг и около этого вопроса и никак не мог (а может, не хотел) прийти к тому единственному решению, с которым я все-таки вынужден был согласиться чуть позднее.

«Нет, это все не то,— говорил я себе.— И Вера Степановна не моя мать. Но тогда кто же я?.. Просто ребенок, которого подобрали на улице? Нет, тетя Клава не тот человек, она не будет жалеть чужих детей. Чужих. Чуж, чуженин... Совсем чужого она бы не взяла. Или я ей не чужой...»

Я вспомнил, что взять меня из детдома ее уговорила бабушка, но ведь перед тем я как-то к ней попал, перед тем, как она отдала меня в детдом. «А зачем бабушке было уговаривать тетю Клаву, если она знала, что я ей не внук? Из жалости? Но тогда почему сама не забрала?.. Ах да — она болела. Конечно, болела, ведь вскоре умерла. Нет, это все не то... Тут самое важное, что меня хотели выдать за погибшего Валерия Молина. Если б знали, что он жив, назвали бы по-другому. Но кому это нужно было и зачем? Тете Клаве?.. Для чего ей это?.. А что, если тетя Клава мне не тетя...»

И я вдруг испугался. Я шарахнулся в сторону, как будто что-то увидел жуткое: «Нет, этого не может быть!..»

Но жуткое не исчезало, в нем была логика, с чем не согласиться было нельзя. И все же я не хотел соглашаться!

«Здесь какая-то ошибка»,— говорил я себе и лихорадочно искал ее в своих рассуждениях, но и чувствовал, что уже не способен отыскать эту спасительную для меня ошибку.

Вывод, к которому я пришел, представлялся мне противоестественным. Меня трясло, и казалось, темное и страшное разрастается и наползает на меня всей своей тяжестью.

Вся моя жизнь — от первой сильной боли, когда дядя Николай уронил меня на горбыли, и до сегодняшнего дня,— все мои детские обиды вдруг вспыхнули в памяти искрящимся и обжигающим светом: «мама, не отдавайте меня...» — «какая я тебе мама...»; «долго мы его кормить будем?»; и сугроб, через который перелезала тетя Клава; и «ничего — он хороший»; и «устраивайся где-нибудь там...» И безродственное одиночество всей последующей жизни ясно представилось мне, когда недоедание мало значило, а старая, поношенная одежда заставляла прятаться от прохожих, когда простые знаки нежности и внимания, которых почти не замечали мои товарищи, принимая их от родителей как должное, вынуждали меня отворачиваться, а по ночам плакать, когда сквозь все это — постоянная мысль: «Я должен стать человеком! Я должен доказать им!..»

«Кого винить? — спрашивал я себя.— Кого?..» — и не находил виновного.

Я сидел на краю канавы спиной к почти исчезнувшей дороге. Передо мной стоял ельник. Тонкие стволы и сухие нижние ветки, переплетаясь, словно набрасывали плотную сеть на все видимое в глубине. Крупный лесной колокольчик (как он выжил у дороги?) изредка вздрагивал, наверно, от каких-то невидимых мне прикосновений. Внутри цветка ярко белели тычинки, их живая белизна напоминала мне первое ощущение снега. С диванчика приподнялся, выглянул в окно, а внизу все, что еще вчера было темным — промерзлая земля, двор, крыши сараев, дорога за забором,— все стало белым. Почему? И вроде бы я от кого-то слышал, что зто белое называется «снег», но я знаю лишь слово, а не сам снег. И тихая, но и тревожная радость близкой отгадки, что вот сейчас выйду и узнаю, что это такое — «снег». И хочется выйти, и боязно, ведь совсем еще неизвестно, как примет меня этот снег. И только потом, через преодоление еле уловимых страхов и удивление этой белой, сыпучей водой, приходит ощущение праздника.

«Может, и вся жизнь,— подумалось мне,— как подтаявший снежный комочек, который я слепил в детстве своими руками. И важен только этот первый комочек, а все остальное уже прилипает к нему само собой, пока не образуется тяжелый снежный ком, сдвинуть который никто не в силах. А внутри лишь подтаявший комочек, зажатый всей снежной массой?..— Но тут же я отмахнулся от этих мыслей: — Глупость».

Ельник был дымчато просвечен заходящим солнцем. Вокруг меня сама густая трава звенела, стрекотала, шелестела, и столько было мощи в этом ненавязчивом, никогда не надоедающем травяном звучании, что в сравнении с окружающим меня, огромным, многоцветным миром все мои проблемы вдруг показались такими мелкими и совсем незначащими.

«А что случилось? — спросил я себя.— Разве ты сейчас одинок? У тебя семья — дочь. У тебя есть свой дом. Что случилось? И зачем тебе копаться во всем этом? Сейчас, когда тебе за сорок, какое значение имеет, кто твои родители... Нет их. Нет, и все! И не надо! Вон он наверняка и сейчас там,— стал я обвинять загорающего на бетонном мостике парня,— и для него есть только вода и солнце. И плевал он на проходящих мимо, потому что важно лишь то, что сейчас, в данную минуту, доставляет удовольствие. Разве я не могу так же послать все к черту и жить для себя? Да почему же — очень даже могу!»

Я решил написать Молину из Запорожья, что ошибся, перепутал города или еще что-нибудь в таком роде. И в паспортном столе то же самое объяснить, извиниться и сказать: столько времени прошло — кого память не подводила.

— Что с тобой? — спросила Наташа, когда я вернулся домой.

Говорить правду не хотелось, а на работе на самом деле был конфликт, так что не пришлось ничего выдумывать.

— И правильно,— поддержала меня Наташа.— Давно надо было ему все высказать. Как все плохо, так все шишки на тебя, а как знамена получать, так он первым руки тянет. Он и депутат, он и...

— Ната, не надо, а то на кино похоже: я талантливый и передовой, а он ретроград.

— А кто же он? По-моему, ты для него просто ломовая лошадь. В нашей музыкалке и то говорят...

— Мне придется на три дня уехать,— неожиданно сказал я и только тогда понял, что сказал.

— Куда? — спросила Наташа.

А я еще и сам не знал, куда собираюсь поехать и, главное, зачем.

— Надо мне... В командировку.

Почему я не признался ей и не показал письмо из Запорожья — не знаю. Кажется, мне стыдно было, да-да, почему-то стыдно, словно это было бы признание в собственной слабости. Да и не хотел я вмешивать жену во все это.

На следующий день пришлось зайти к директору. Чем-то наш директор напоминал мне дядю Васю, то есть Василия Петровича — такой же большой, широкий и властный, и звали его Петр Васильевич.

— А зачем на три дня? — забеспокоился он.— Куда?

— Надо,— ответил я.

— Что «надо»,— недовольно буркнул он.— Мало ли что мне надо, а я вот сижу — работаю. У нас тут дел невпроворот, а ты — на три дня. На три часа нельзя оставлять производство без главного инженера! Ты знаешь, что такое в наше время три дня!

Меня немного раздражал его односторонний демократизм, когда он всем говорил «ты», а его почтительно называли по имени-отчеству. Но я знал одно — надо молчать и дать ему время все высказать.

— Так...— кажется, уже выговорился он.— Ну и куда ты?

— Надо,— повторил я.

— А ты...— помедлил он, сурово вглядываясь в меня.— Ты случайно не из-за вчерашнего?..

«Как странно,— подумал я,— еще вчера все мне представлялось серьезным и нужным: ради дела я в конфликте с директором, он побаивается меня, а теперь кажется мелким и смешным».

— Ну, покричал я на тебя. Ты, кстати, тоже кричал. Знал бы, как на нас кричали...

— Извините, Петр Васильевич, я пойду.

Он с сожалением смотрел на меня, как будто в одну эту минуту хотел понять, что же я за человек, но, кажется, не понял и отмахнулся:

— Ладно, ступай. Но только три дня.

В этот же день, вечером, я сел на поезд. По молодости мне много приходилось ездить — сноровка командированного еще не пропала, и хотя время года было жаркое, я сумел достать билет.

Приехал рано утром. Солнце высвечивало старый двухэтажный вокзал, выкрашенный желтым, с голубыми рамами окон. За вокзалом темнела высокая водокачка — ненужная, памятник паровому двигателю. Куда идти? Город совсем мне незнаком.

Напротив водокачки автобусная остановка. Народ с чемоданами, рюкзаками, сумками. Спросил. Сказали, что вот он, собственно, город и есть, но центр его дальше, за рекой. Автобуса ждать не стал — пошел пешком. Пыльное, усыпанное камешками привокзальное шоссе. Почти деревенская улица с небольшими домиками, с кустами отцветающей сирени в палисадниках. Вспомнил: «Я городская. Полухины всегда в городе жили». Но пока эти окраинные улицы не очень отличались от улиц любой деревни.

У перестроенной церкви с вывеской «ДСО „Труд"» свернул влево, впереди открылся шоссейный мост с высокими железными фермами. Справа на крутом холме, как забытая игрушка, стояла «катюша» на сером постаменте. За рекой в зелени деревьев белели, желтели квадраты и прямоугольники домов. Где-то там стоял и родной дом Клавдии Тимофеевны. «А может, его и нет,— подумал я,— этого единственного в городе дома с флюгером. Тут наверняка все было разрушено».

Хорошо понимая, как трудно полагаться лишь на чужое неясное воспоминание, я все же бродил по утреннему, медленно просыпающемуся городу в надежде как-нибудь вдруг, случайно обнаружить дом с флюгером. Петлял по незнакомым улицам, вглядывался в крыши домов. Обошел площадь со старинными торговыми рядами и новеньким Дворцом культуры, прошел по краю длинного тенистого парка. Заметил старую улочку и свернул туда.

На этой коротенькой улочке со мной произошло что-то непонятное. Я всегда с долей скептицизма относился к людям, вспоминающим места, которых они никогда не видели, — память генов, кровь предков... Но, попав на эту улочку, твердо зная, что впервые вижу ее, что никак, никаким образом не мог ее видеть до этого, да и не узнавая ничего из окружающего меня, я все же, наперекор логике, вдруг почувствовал — я здесь был. И не поверил своему ощущению, тем более что ничего примечательного, кроме полуразрушенной церкви с красным от ржавчины крестом над голыми ребрами купола, я на этой улочке не заметил. Левую ее сторону занимали два вполне обыкновенных пятиэтажных дома, как раз за ними высилась церковь, а на правой стороне одиноко, разобщенно стояли четыре ветхих бревенчатых домика с хилыми заборчиками. От них-то улочка и казалась старой. Дома с флюгером среди них не было, но я все же подробно оглядел домики, потом перешел к церкви.

Она была сильно разрушена: в толстой боковой стене зияла огромная дыра, похожая на ворота, а в розоватых кирпичах виднелись глубокие вмятины и выщербы. Я догадался: «Снаряды». Вообще-то я вполне равнодушен ко всем этим церковным делам — меня не захватила мода на иконки и крестики, — но и мне стало немного не по себе, когда я заглянул внутрь церкви. Там была гора мусора и грязи: консервные банки, бумага, коробки, масса пищевых отходов — и над всем этим туча фиолетово-золотистых мух. Видно, церковь стала общим мусорным ящиком для жителей близлежащих домов — благо, что с улицы свалка незаметна, да и вонь не так слышна за толстыми стенами. «Вот тебе и память ген», — усмехнулся я и поскорее ушел оттуда. Конечно, я и не думал, что эта церковь как-то связана со мной.

Нет, сколько я ни ходил по улицам города, ничего похожего на флюгер не обнаружил, и сколько ни спрашивал у местных жителей, никто такого дома не знал. Устал я и, прячась в парке от жаркого солнца, сидел на скамейке и спрашивал себя: «Что ты хочешь найти? Зачем тебе все это?» — и чувствовал, что все равно буду искать и не успокоюсь, пока не узнаю всего.

Мне было известно, что Полухина Клавдия Тимофеевна родилась в этом городе, я знал и точную дату рождения: место жительства, даже если дом не сохранился, узнать было не так уж сложно. И я решил кончать с этим бесцельным кружением по городу, идти в адресный стол (есть же здесь какой-нибудь адресный стол?) или в милицию. Везде люди, а в таком деле обязательно помогут.

«Только не распространяйся насчет своих догадок, — предупредил я себя. — Ты — Молин Валерий Станиславович — ищешь дальних родственников, и все». Но, решив это, я не торопился уходить из парка. Прямо передо мной сквозь стволы деревьев проглядывала четырехэтажная коробка Дома быта, а слева по раскаленной от солнца улице шел нескончаемый поток машин, и не хотелось вновь окунаться в жару, пыль и запахи бензина. «Быстро же ты успел привыкнуть к униформе, — ругнул я себя, снимая пиджак и расстегивая ворот рубашки. — Ерунда какая-то, раз начальник, то непременно в костюме с галстуком. Остальное несерьезно. А сколько абсолютно несерьезных людей ходит по белу свету в очень серьезных костюмах...»

Мысли эти появились как ненужные, посторонние мне, но было приятно в еле уловимой прохладе парковых деревьев хоть на минуту забыть свои проблемы.

Я увидел над собой торчащую из дерева проволоку, заметил и на другой крепкой ветке такую же: «Зачем портить деревья. Качели, что ли?..»

Заметив и на соседнем дереве торчащий огрызок довольно толстой проволоки, я встал и внимательно осмотрел мощную ветку, в метрах двух склонившуюся надо мной.

Нет, это были не качели. Видно, проволоку прикрутили к ветке очень давно, она жгутом перетягивала дерево, мешая ему расти, и на месте перетяжки образовался опоясывающий ветку шрам. Из шрама торчал лишь огрызок проволоки, а все остальное железо вросло и было спрятано внутри дерева. На соседней ветке был точно такой же шрам, и такой же кусок проволоки торчал из него, указывая в землю. Я не понимал назначения этой проволоки, и мне странно было — как это она не заглушила рост ветвей.

Мимо проходил паренек лет пятнадцати в спортивном костюме и с бадминтоновыми ракетками в руке.

— Ты не знаешь, что это за проволока? — Я кивнул на деревья.

Паренек приостановился, глянул на ветки.

— А здесь людей вешали, — спокойно ответил он. — Их тут много. Вон там и там еще, — махнул он куда-то в сторону и уже на ходу с гордостью добавил: — В нашем краеведческом музее и фотографии виселиц есть.

И ушел, помахивая ракетками, а я долго стоял, рассматривая остатки виселиц, к которым, видно, уже привыкли здешние жители и о которых могли, как вот этот паренек, говорить спокойно и даже с гордостью, как об одной из достопримечательностей города.

«Фотографии есть, — вспомнил я слова паренька... — Наверняка в музее есть фотографии довоенного города. Может, я все-таки найду дом с флюгером».

Зачем мне нужен был этот дом, я и сам толком не понимал, но мне казалось — стоит его найти, сразу многое станет ясным. Почему-то в доме с флюгером виделась мне разгадка всего, что мучило меня. Да и, говоря начистоту, не слишком хотелось обращаться в адресный стол или милицию. Могли возникнуть сложные для меня вопросы, на которые я не сумею дать ответа, и кто-то в силу должности вынужден будет найти официальный ответ.

«Нет, — решил я, — надо попытаться самому».

В музее я оказался единственным посетителем. Старушка, выдавшая мне билет, молчаливо следовала за мной из зала в зал. Огромные тапочки то и дело спадали с ботинок, приходилось напряженно шаркать ими по паркету, и это раздражало. Интересовали меня лишь старые фотографии, но старушка так придирчиво следила за мной, что я вынужден был взглянуть и на традиционный бивень мамонта (вот надо же, вымерли!), и на наконечники стрел и копий (этим кого-то убивали), и на кремневые ножи и скребки. «Неужели и наши ножи и кастрюли через тысячу лет станут экспонатами? — мысленно усмехнулся я. — А кажется, так и будет. И наше привычное и обыкновенное сравняется в цене с необыкновенным будущим».

Фотографий старого города — дореволюционного и после — было немного, и не отыскал я на них дома с флюгером. А когда попал в зал «Великая Отечественная», то понял, что никогда и не найду этого дома — город был почти полностью разрушен войной. Около двух лет, с сентября сорок первого и по июль сорок третьего, он был оккупирован немцами. На одном снимке заметил торговые ряды, но разбитые, пустые, безлюдные, а рядом висела та самая фотография, о которой говорил паренек. Правда, ни парка, ни деревьев я не узнал, это было и неважно. Сама фотография показалась мне поразительной по четкости и достоверности.

Есть какая-то странная привычка к такого рода снимкам, на которых повешенные или убитые, а рядом стоит или сидит довольное собой животное в человечьем обличье. Убийцу всегда воспринимаешь как недочеловека, как зверя, и в этом, как ни странно, есть что-то успокаивающее, мол, это же зверь, а не человек — всем понятно, почему он кровожаден, у него и облик зверя. Это нормальное противопоставление человека и зверя усыпляет — нечего бояться — есть люди, а есть звери, и их сразу видно. Но музейная фотография была поразительна тем, что зверя не было видно.

На фоне двух повешенных снялся молодой улыбающийся офицер, и в его лице ничего жестокого, садистского, омерзительного или просто отупевшего от войны и крови — ничего этого не было. Его симпатичное, именно симпатичное, лицо казалось даже интеллигентным, а в прищуре веселых глаз виделся цепкий ум и что он все понимает, понимает и — улыбается.

«Почему,— думал я,— почему он улыбался? Наверняка он жалел собаку, если она у него была. И уж совсем не мог представить себе похороны матери, а если представлял, то гнал от себя эти мысли. Так почему же здесь он улыбается?..»

— Вас карточка заинтересовала?

Старушка стояла рядом и с беспокойством смотрела на меня.

— Тут одна женщина сорвать эту карточку хотела,— вроде бы посочувствовала старушка той женщине.— А потом у директора целый консилиум был: оставлять эту карточку или снимать...

Медленно, как выветривается тяжелый и затхлый воздух из раскрытого подвала, во мне исчезал страх перед фотографией, и панические мысли — «Что эта старушка следит за мной! Что она может знать?» — постепенно сменялись более спокойными мыслями о необоснованности и придуманности моих страхов.

— Я и то иной раз смотрю,— говорила старушка,— и не понимаю: вроде и хороший парень, ну если остального не видеть. А так-то, конечно, сволочь,— мягко, без всякого нажима произнесла она ругательство, как будто и не осуждала, а сказала нечто само собой разумеющееся. И в задумчивости добавила: — Вот так бы каждого, чтобы сзади что-то проглядывало... А то ведь с лица-то их сейчас не разберешь...

У нее было отечное, с мелкой сеткой морщин под глазами лицо, жидкие седые волосы, сплетенные в косичку, придерживались на затылке гребешком.

— А вы случайно не помните дома с флюгером? Он единственный такой в вашем городе был.

— Я не местная,— с сожалением качнула старушка головой.— Здесь шестой год. К дочке приехала с ребенком посидеть, да вот осталась. А вам на что дом этот?

— Родственников ищу.

— Так это в адресный стол или милицию надо. А у нас тут разве чего найдешь...

Я шаркал тапочками мимо благополучных залов современной жизни и успокаивал себя тем, что никаких таких страшных догадок не может быть, по крайней мере пока не может быть. Ведь я не знаю основного: был у Клавдии Тимофеевны ребенок или нет. Да и жила ли она в годы оккупации здесь, а может быть, эвакуировалась перед тем, как вошли немцы.

«Все это пока мои фантазии,—говорил я себе,—домыслы. Во все это, если здраво разобраться, трудно поверить».

Надо было идти в адресный стол и очень не хотелось туда идти.

— Погодите, мужчина! Погодите...— окликнула меня старушка, когда я уже сбросил тапочки в большой фанерный ящик, стоящий у дверей.

— У них есть такой старичок, Григорий Артемьевич, краеведом считается. Он часто в музей заходит. Вот он много чего о городе знает. У меня тут,—выдвинула она ящик стола,—адреса сотрудников, и его вроде...

Местный краевед Григорий Артемьевич Зинзинов жил недалеко от торговых рядов в длинном трехэтажном доме. Но дома его не оказалось, как сказала соседка, сидящая во дворе на лавочке:

— А бог его знает — где он. С рюкзаком куда-то залился с утра. Старый уж, а все бегает, бегает... Ищет чего-то.

Пришлось ждать.

Заставил себя сходить в ресторан — обедать не хотелось, и меня там обругали за чашку кофе, которую я заказал и долго ждал, но все-таки выпил. Потом сидел на лавочке в маленьком сквере, где на постаменте застыл вздыбленный танк Т-34. Много памятников войны было в этом небольшом городе. Я не спешил, чтобы наверняка застать дома незнакомого мне Григория Артемьевича.

Как-то само получалось, что мысленно я возвращался то к жуткой фотографии из музея, то к деревьям — бывшим виселицам. В их шрамах мне виделась настоящая боль, ведь деревья растут.

«А здесь,— я заметил у постамента несколько дешевых венков,— есть ли здесь настоящая боль?»

Видно было, что эти венки стоят давно — неживые цветочки сморщились и посерели от дождя и солнца, а скорбно-героические слова на лентах

расплылись, и невозможно было что-нибудь прочесть. И это значило, что для большинства тех, кто не пережил войны, венки лишь официальная дань памяти. Поставили галочку в праздничной ведомости и забыли.

Так я думал, но думать уже не хотелось — устал я от навязчивых мыслей. Много уже было всего — и деревья, и фотография — много... Все по инерции, по не мной заведенному порядку: непременно всю правду надо узнать...

Девочка, чуть старше моей Насти, подбежала к постаменту. За ней прибежал мальчик — он был повыше и забавно солиднее, но по характеру— ведомый, потому что, подбежав, сразу замер и уставился на девочку с готовностью повторить все ее действия.

А девочка (я не сразу сообразил, что она делает) пошла от венка к венку, звонко целуя бумажные цветы.

— Это мой венок, это мой венок и это мой венок...— деловито прошла она возле постамента.

— Да!..— обиделся мальчик.— Все твои, а мои где?

— Твой вот — один,— указала девочка.— А остальные мои. Они такие, какие были у бабушки,— и опять чмокнула бумажный цветок.

Мальчик насупился — ему не нравилось, что у него только один венок.

— А у меня тоже,—недовольно сказал он,—когда бабушка умрет, тоже будет много венков,— и с опаской приблизившись, дотронулся губами до своего венка.

Девочка заметила, что я за ними наблюдаю, кокетливо вертанула головой, засмеялась и вприпрыжку побежала к маме, и мальчик за ней.

Нет, не мог я разобраться во всем этом. Я себя самого не понимал, а тут... И почему-то вспомнив о мусорной свалке внутри церкви, подумал, что, пожалуй, самое страшное в этой детской игре не отзвук недавних похорон, а привычно-пошловатое, идущее от взрослых—«это мой венок и это мой венок». Вот и мальчику захотелось иметь много «своих» венков.

Не знаю, от солнца, а может, оттого, что две ночи подряд — дома и в поезде — почти не спал, у меня сильно болела голова. И все, что я видел и слышал, вызывало раздражение, беспокойство и внутренний протест против самого себя: «Ну что ты здесь ищешь? Зачем тебе все это? Если хорошо подумать, то не надо тебе всего этого. Не надо!..»

Дверь открыл тщедушный человек возраста неопределенного, качающегося в районе пятидесяти восьми — семидесяти лет. Такое странное ощущение было от этого человека.

— Вы из музея?.. Полина мне говорила о вас.

Как я понял, говорила соседка, что сидела во дворе на лавочке.

— Из какого города?

Я назвал.

— Документы есть?

Почему-то сразу неприятно стало.

— Да. Вот паспорт.

Он сличил меня с фотографией на паспорте.

— Ну, проходите.

И я переступил порог квартиры Григория Артемьевича Зинзинова.

В манере держаться, по тому, как он легко ходил, ловко перекладывал папки и книги, переставлял стулья или быстро спрашивал и отвечал, да и во всей его слишком сухой и маленькой фигуре было что-то мальчишеское — шустрое; но это когда он двигался, а когда сидел или замирал, то сразу выявлялось подмеченное мной вначале тщедушное, и можно было понять, что ему далеко за шестьдесят и что он не так уж и здоров. Но у него не было ни одного седого волоска. По-моему, не я один удивлялся отсутствию седины в его коротко стриженных волосах, потому что, перехватив мой взгляд, он сразу, с ходу, постучал себя по голове:

— Некогда седеть, некогда. Вот проходите сюда. Садитесь тут. Так,— глянул он на меня, как фотограф, примеривающийся к модели, и кажется, остался доволен, что я сижу именно на этом стуле и на этом месте.

— Чем могу служить? — несколько старомодно спросил он, хотя ничего старомодного в его облике не было: легкая спортивная куртка, дешевые джинсы, кроссовки.

Я попытался ответить, но он перебил:

— Извините, я только пришел. Там у меня,— кивнул он куда-то, кажется, на кухню,— там у меня канарейки. Я сейчас...

В комнате с высоким потолком было просторно: стоял круглый стол, диван, в углу у широкого окна, прикрытого белыми шторами, двустворчатый книжный шкаф. Но книг было немного, в основном полки занимали бумажно-газетные кульки и свертки. Сверху на шкафу лежали толстые канцелярские папки. Несколько таких же папок было разбросано на столе. На двух из них я заметил надписи — «Улица Ленина», «Набережная»,— разноцветно украшенные рамочками и виньетками. На голой стене висела единственная фотография — лихого кавалериста в кубанке. Я приподнялся, чтобы лучше разглядеть, но в комнату стремительно вошел Григорий Артемьевич.

— Это не я,— отмахнулся он.— Это последний снимок моего брата. А я в войну за Уральским хребтом отсиживался.— Давняя обида прозвучала в этом его «отсиживался».— Так,— присел он на диван,— чем могу быть полезен?— и опять тут же перебил меня.— Насчет паспорта не обижайтесь. Во-первых, профессиональная привычка интересоваться документами, а во-вторых, меня тут ограбить хотели. Знаете, эти молодые недоумки, к а л е к и ц и о н е р ы,— по-моему, на ходу выдумал он новое слово.— Потом в милиции я спрашивал у одного из них: — Что ты хотел взять? — Иконы,— говорит,— или подсвечники.— Представляете — иконы! Я ему говорю: — Дурья твоя башка, ты хоть историю родного города знаешь? Тут не то что икон — камня на камне не осталось! Вот к чему приводит незнание истории родного края,— кажется, вполне серьезно подытожил он и зацепил меня взглядом.— Так зачем вы ко мне?

Что-то прощупывающее было в его быстрых глазах и, при всей словоохотливости, недоверчивое ко мне. Не хотелось ему открываться, и я еще раз назвав себя (для солидности — и свою должность), сказал, что родился в Днепропетровске, что родители мои погибли, что отец родом из этих мест.

Григорий Артемьевич уточнил:

— А поконкретнее?

— Деревня Пешково.

— Понятно,— кивнул он.— Ее уже нет. Последний дом пять лет тому как снесли. Там сейчас поле.

Промелькнула мысль о Молине из Запорожья: он теперь никогда не сможет приехать в родную деревню бабушки.

— У отца был брат — Молин Николай. Он умер сразу после войны, до войны жил в вашем городе. Вот я и подумал — может, какие дальние родственники остались. Я приехал на один день, а...

— Не оправдывайтесь, не оправдывайтесь,— приподнял Григорий Артемьевич свою сухонькую руку, словно останавливал не меня, а электропоезд и, тут же вскочив с дивана, в волнении заходил по комнате.— Все понятно, все понятно... Вот, так я и знал,— погрозил он кому-то в окно.— Пойдет ко мне народ. Пойдет, потому что я хранитель памяти. Пусть маленькой памяти, одного города, но собиратель и хранитель!— Излишняя восторженность была в старичке.— Я тут с ними воюю,— доверительно сказал он мне.— Не дали на фронте повоевать, так я сейчас воюю. Это же поразительно! — всплеснул он руками.— У меня документов, экспонатов еще на один музей, а им ничего не надо. У них, видите ли, все забито. А у меня... Да вот, пожалуйста,— бросился он к книжному шкафу, но, раскрыв створки, неожиданно замер.

— Может, вам неинтересно?

Я его разуверил. Мне уже ясно было, что я попал к человеку, который на самом деле многое знает; но, как бывает при получении письма, когда оно лежит уже на столе и надо его раскрыть, а ты медлишь и не хочешь этого, как будто все плохое, что ты угадываешь в письме, может в нем и остаться, если его не распечатать, так и я медлил и не хотел торопить Зинзинова.

— Вот,— развернул он передо мной на столе бумажный кулечек. Внутри лежал проржавевший, с комочками земли кусок колючей проволоки.— Это я нашел на месте бывшего лагеря военнопленных,— проникновенно сказал Григорий Артемьевич и указал обеими ладошками на проволоку.— Это, так сказать, немой свидетель. А мне эта музейная директриса... Вы ее не видели? Жаль. Тогда бы все поняли. Она сказала, что такой проволоки километры у любого сегодняшнего склада! Вы понимаете, что́ она сказала! — мне показалось, что слова директрисы отчасти соответствуют истине, но я промолчал.— И самое гибельное,— продолжал он,— да, гибельное... она не одна такая. Вот Пешково, там ведь не только деревня исчезла, но и кладбище. В прошлом году я видел, там свекла росла. О, и вас задело,— указал он на меня пальцем и сразу как бы не согласился с собой: — Нет, никто не говорит — неперспективная деревня и кладбище тоже, можно сказать, неперспективное. Но вот японцы просят нас отдать им прах солдат Квантунской армии, чтобы перезахоронить на родине. А мы у себя под боком запахиваем могилы фронтовиков. Я этого не понимаю. Вы это понимаете? — Он не ждал ответа.— Я написал заметку в областную газету. Заметку не напечатали, а меня в райком вызвали. Что же это вы, говорят, Григорий Артемьевич, с нами не посоветовались. А о чем советоваться, если к ним каждый месяц какой-то коробейник из Москвы приезжает с двумя чемоданами заграничной косметики и в райисполкоме продает. Я знаю, что говорю. И это где! В пасти, можно сказать, самого народного контроля! Вы понимаете, молодой человек, что получается? — горячился Зинзинов.— Памятники стоят, цветочки, веночки по торжественным дням, как положено, но все это косметика. Вот именно — косметика! Внешний вид не соответствует внутреннему содержанию.

Трудно было воспринять сразу такое обилие слов, тем более что говорил он слишком напористо (откуда силы в таком тщедушном теле?), порой почти захлебывался словами, а его манера спрашивать, не выслушивая ответов, утомляла. Он своими вопросами словно держал меня на крючке, совсем не интересуясь, о чем я там, на этом крючке, думаю. Кажется, у него давно не было такого покорного слушателя, как я, и он, что называется, выговаривался. А у меня болела голова, и многое из сказанного им я пропускал, да и не затем я пришел к Зинзинову — все эти, может быть, хорошие и умные слова не нужны мне были сейчас. Но чтобы не обидеть его — а чувствовалось, что он очень нервный и обидчивый человек — я понимающе кивал и даже успел вставить две фразы о забытых венках у Т-34.

— Знаю, знаю,— кивнул он.— Культуры, внутренней культуры не хватает,— постучал он себя сухоньким кулачком в грудь.— Не чувствуют они, не понимают, что не место дешевым венкам у танка, и уж совсем не след забывать о них. Я уже ругался в отделе культуры. Сейчас на день рожденья меньше десятки на подарок не тратят, а тут предприятие, целая организация идет возлагать венок за шестнадцать рублей пятьдесят копеек — я в прошлом году старушке своей покупал,— спокойно пояснил он, и я удивился этому мимолетному пояснению.— Дело, конечно, не в деньгах,— продолжал он,— но и в них тоже. Сейчас ведь какое поколение пошло? Оно всё-всё оценивает и чаще всего — в рублях.

— Ну, не все же такие.

— Не все,— согласился он.— Но, положа руку на сердце, можно сказать — многие. Упустили мы ребятишек-то. Упустили!..— вроде бы даже съехидничал он: мол, вы тут сидите напротив меня и думаете, что ни в чем не виноваты, так я вам скажу — виноваты!

...Все же любопытным человеком был Зинзинов, мне уже и в самой фамилии слышалось что-то совпадающее с его характером — звенящее, словно будильник с колокольчиком наверху. В жизни я встречал нескольких похожих на Зинзинова людей. Совсем недавно и на нашем заводе работал такой же непоседливый старик. Вернее, когда мне довелось поближе с ним познакомиться, он уже был на пенсии, но это для него ничего не значило, и он по-прежнему считал себя работающим. Помню, когда я вступал в должность, меня предупредили: если будет звонить Пранов (такая фамилия была у старика), то вы не возражайте, соглашайтесь со всем, но делайте все по-своему, от него иначе не отвяжешься. И правда, где-то через неделю он позвонил, но не на работу, а мне домой. Я тут же насторожился, напрягся: что же он мне скажет, какой недостаток отыщет в моей работе за столь мизерный срок. Но разговор у нас вышел короткий и неожиданный для меня.

— Валерий Станиславович,— сказал он,— поздравляю вас со вступлением в должность.

Я поблагодарил.

— Главный инженер такого крупного завода — большая честь. Большая честь! — повторил он, кажется, для того, чтобы я проникся сознанием этой чести, и продолжил: — Но я за вами давно слежу и считаю, что вы вполне соответствуете своему назначению. Это я говорю на тот случай, если вы сомневаетесь в себе. Но сами понимаете, это вам аванс — вы должны его еще отработать. Главное — не обрастайте жирком благополучия, и все будет хорошо. Я уверен.

Честно говоря, мне тогда на самом деле не хватало уверенности в себе, и, понимая некоторую несерьезность разговора, я все же был благодарен ему за поддержку. Сейчас не так часто незнакомые люди поддерживают друг друга. И мы с ним, если так можно сказать, сработались. Конечно, бывало, что он звонил совсем не по делу и не к месту, какой-нибудь пустяк — разбитое стекло в цехе — казался ему крушением всего завода, но было и главное — он болел за дело, он не был равнодушен. Однажды он сказал: «Жить для других — это и значит жить для себя», — и в этом парадоксе был весь Пранов. Когда он умер, мне долго не хватало его критических звонков. Он любил давать людям оценки и никогда не ставил выше четверки.

— Пятерку только после смерти, — говорил он. — Если, конечно, человек ее заслуживает.

Нет, ничего лишнего я не говорил, расставаясь с Григорием Артемьевичем Зинзиновым. Произносил, правда, почти механически, но слова нужные, необходимые в таких случаях, когда благодарят за помощь, оправдываются недостатком времени и спешными делами.

Старик сочувствовал мне:

— Что тут поделаешь: как говорят китайцы, копаться в прошлом — это все равно, что чесать голову тигру.

Мы по-доброму простились, и я стал спускаться вниз. На лестничной площадке у меня вдруг остро защемило под левой лопаткой. Никогда раньше я не страдал сердечными болезнями, был уверен, что это сейчас пройдет, и хотел уже идти дальше, но что-то там, под лопаткой, не отпускало, мешало дышать, и я прислонился к стене.

Нет, у меня никак в голове не укладывалось, что ОНА может быть моей матерью.

Я стоял, пережидая боль. Со двора в разбитое окно донесся детский плач — горький, навзрыд. Плач быстро стих — видно, ребенок пробежал под окном. Я вспомнил Настю, как она часто плакала в первую неделю рождения. Намучились мы тогда с женой. Говорят, очень хорошо и полезно, когда ребенок плачет, — может быть, и так, но не оплакиваем ли мы в первые минуты своего рождения тот мир, где мы так прочно и тесно были соединены с матерью... В детстве я часто залезал под стол, накинув на него покрывало, долго, замерев, лежал на диване под одеялом в полной темноте или, притаившись, сидел во тьме платяного шкафа. Может, эти детские схоронения в тьму и ограниченное пространство — бессознательная тоска о том времени, когда я был нерасторжимо связан с матерью...

Боль под лопаткой не отпускала. В подъезде было душно — в углу площадки стояло мусорное ведро, по нему ползали мухи и тянуло гнилью. Я осторожно стал спускаться.

Вышел. У меня рябило в глазах — желтый куб двора, окна, белье на веревках, качели, возле них толкалась малышня — все виделось мне в каких-то мелких точечках. Я не понимал, откуда эта тупая, но раздирающая боль в сердце, отчего, когда я не верил — вопреки всему, что узнал, — не верил, не хотел верить, что ОНА может быть моей матерью.

Прислонясь к стене дома, я пытался сосредоточиться на том, что услышал от Зинзинова, и не мог — в голове была полная мешанина. мысли скакали и прыгали, как малышня с качелей, галдящая во дворе. Чтобы хоть на чем-то сосредоточиться, я уставился на бельевую веревку — там висели черные сатиновые мужские трусы. Невольно усмехнулся: у нашего директора должны быть такие же — дань своему времени и устойчивой привычке. И неожиданно, без всякой связи с предыдущими мыслями, я подумал, что если Клавдия Тимофеевна была моей матерью, то моим...

И недоговоренное мною слово «отец», само слово, которое всю жизнь представлялось мне самым крепким и надежным словом на свете, вдруг

как будто зависло надо мной. И я испугался этого слова, как зависшего над головой паука.

«Что же теперь делать? — спрашивал я себя. — Что ты будешь делать со своим знанием? Пойдешь к партсекретарю?.. „Простите, но я не виноват в том, в чем не был виноват..." Идиотизм...»

И чувствовал, что не смогу жить в вечном страхе, что когда-нибудь это все обнаружится. Я не хотел принимать этот страх по эстафете от НЕЕ, не хотел никого бояться. Но вспомнив о дочери — Господи, на нее тоже падет это пятно! — абсурд, жуть, но это так: человечек растет, еще ничего не знает о жизни, а на нем уже пятно — я от боли катал затылком по стене, раскачивая голову: «Нет! Нельзя признаваться. Надо както скрыть... Ведь я, только один я все знаю», — и уже оправдывал свое будущее молчание тем, что если я все расскажу, то займутся ЕЕ прошлым, проверят, что ОНА там делала с сорок первого по сорок третий. А если ОНА всю жизнь пряталась, таилась, я не имею права ворошить ЕЕ прошлое. Это будет похоже на месть, а я не хочу мстить...

Нет, я не знал, как поступить.

ОНА (никак по-другому я не мог ее называть), ОНА жила в этом городе в годы оккупации, и у НЕЕ был ребенок от немецкого офицера. Мальчик. Григорий Артемьевич, как он сам говорил, в войну находился за Уральским хребтом, но хорошо знал все это по рассказам очевидцев, потому что интересовался ЕЕ отцом, Тимофеем Спиридоновичем Полухиным: он при немцах стал бургомистром. Он исчез в сорок втором.

— Вероятнее всего, партизаны его поймали и казнили, — уточнил Зинзинов.

Мальчика крестили в местной церкви, и власти это событие обставили с большой торжественностью — как единение русских с немцами. Ни о каком формальном браке не могло быть и речи, говорили просто об улучшении русской породы. В церковь нагнали много народа, и дедушка-бургомистр присутствовал при этом. А так как бургомистр тем же летом исчез, то Зинзинов считал, что крестины были в июле, а мальчик, по всей видимости, родился чуть раньше — в мае или в начале июня сорок второго года. А в июле сорок третьего ОНА с ребенком бежала из города вместе с отступающими немцами.

— Вовремя убралась, — сказал Григорий Артемьевич, — слишком на виду все делалось, и в городе нельзя ей было оставаться. Да и солдаты наши не жаловали, мягко говоря, таких женщин. Может, где-нибудь сейчас за границей живет, если, конечно, сумела туда добраться.

Нет, ОНА недалеко отъехала с отступающими немцами. Неизвестно, что там случилось в панике отступления, но ОНА — это точно — оказалась в деревне Пешково, у матери своего первого мужа. ОНА могла бросить ребенка. Допускаю, что и такая мысль ЕЙ приходила в голову. Но ребенок был обузой в городе, где все всё знали, а далеко от города, в той ситуации неразберихи и паники, ребенок уже стал щитом, пропуском, живым документом материнства и беззащитности, и бросать его было невыгодно.

«Что же ОНА за человек? — спрашивал я себя. И как ОНА могла пойти к матери Николая с ребенком от немца, да что там, от немца — от фашиста, гитлеровца, оккупанта. К женщине, у которой оба сына воевали. Это можно сделать, думая только о себе, только о том, как бы выжить. И что же в той деревне было? Скрыла, от кого ребенок?.. — и с ожесточенной радостью я вдруг понял: — Нет! ОНА сказала, от кого ребенок, потому что на этом можно было сыграть! Сказала, только перед этим обессиленная и жалкая валялась в беспамятстве: „Вот что эти проклятые оккупанты со мной сделали". Горем своим ОНА подкупила эту женщину. Тогда же они, наверное, придумали легенду о Валерии Молине, нечаянно воскресив пропавшего в далеком Днепропетровске ребенка».

В памяти возникла картина: пыльный двор, дядя Николай поднимает меня, маленького, беззащитного, кажется, в невозможную высь — и тут же боль. И вдруг эта страшная боль из далекого сорок шестого года, перекинувшись через десятилетия, достала меня здесь, в этом городе.

«Он же хотел меня убить. Он не случайно уронил меня на сучковатый горбыль, убить хотел!» — И я словно захлебнулся этой мыслью; казалось, эта мысль хлынула в меня, как вода внутрь утопающего человека,

казалось, она заполнила меня всего и не давала дышать. Я рванул ворот рубашки — галстук мешал и путался в дрожащей руке. Я куда-то пошел. Куда, зачем — не знаю. Дома, машины, деревья — все окружающее словно сдвинулось, размазалось, и люди, как свечи, оплыли в мареве горячего воздуха. Я шел по невозможно длинной, нескончаемой — без переулков, углов и поворотов — выжженной солнцем улице. Шел и шел...

«Неужели он хотел меня убить?» — защищал я уже не себя, а дядю Николая и понимал, что это так и есть. Я же помнил его мутные, ослепленные ненавистью глаза.

Но если б он во мне видел причину своих мук, то в тот момент, когда занес меня над горбылем, случайностей быть не могло — что ему стоило, столько лет вынужденно убивавшему, уже ставшему профессионалом в этом деле, убить меня. Не смог. Даже пьяный, ненавидящий — не смог. Испугался?.. Или когда держал меня в сильных руках высоко над землей, вдруг сама моя беззащитность доказала ему, что не я причина его мук?

«Не любила я Николая!» — услышал я ЕЕ голос, и в голосе этом было кокетливое раздражение, снисходительная небрежность и довольство собой.

«Зачем он ЕЕ разыскал? — не понимал я. — Зачем! Ведь он все знал — были же у него в этом городе знакомые. Неужели он не понимал, не чувствовал, что не сможет простить предательства, не сумеет забыть. Это же глупость, внутренняя тупость — с первого дня стал глушить свою боль водкой... Бежать надо было, бежать! Зачеркнуть, вырвать — нет, не было и никогда не будет — умерла и все! Зачем ему, пять лет ходившему рядом со смертью, зачем ему было ломаться — из-за чего? Да из-за кого? Неужели он не видел, что не из-за чего было ломаться!..»

«И ОНА моя мать? ОНА моя мать!» — кажется, не понимал я самого вопроса, настолько он представлялся мне бессмысленным. И все-таки настойчиво повторял его, словно пытаясь этим вопросом что-то зацепить внутри себя, но, кроме ожесточения и протеста против этого конкретного человека, которого я хорошо знал, ничего не отзывалось во мне.

Вся ЕЕ жизнь была подчинена собственному «я», лишь бы ЕЙ жилось сытно и счастливо. ОНА стремилась к такой жизни, а жила в постоянном страхе перед разоблачением. Испуганная еще в сорок втором году исчезновением своего отца, ОНА поняла, что расплата неминуема, и страх вошел в НЕЕ, как неизлечимая болезнь. ОНА могла обмануть свекровь, представ перед ней невинной жертвой, но своего мужа Николая уже не в силах была обмануть. Он знал. И как же ОНА ненавидела его за это знание. А потом радовалась, да, должна была радоваться его смерти — еще одно звено памяти исчезло. А когда бабушка умерла, только я своим присутствием, самим фактом своего существования каждодневно напоминал ЕЙ прошлое, которое ОНА хотела забыть, стереть, выдавить из своей памяти. Если б не бабушка, ОНА никогда бы не взяла меня из детдома. Но маленького меня еще можно было терпеть, можно было даже поверить в собственный обман, убедить себя, что я на самом деле дальний полуродственник. Представляю, как ЕЙ трудно было это сделать! Но я рос, взрослел, и теперь понятно, что ЕЕ так испугало, когда я с юношеским задором обличал мещан. Может быть, в ту самую минуту, когда я разрушил ЕЕ безмятежное счастье, подле Егорушки, ОНА поняла, что никогда не сумеет забыть прошлого, если я буду торчать перед ЕЕ глазами — я, так страшно похожий на немецкого офицера.

Нет, я не признавал ЕЕ своей матерью. Кроме случая у реки, когда ОНА плакала вместе со мной, ничто не доказывало мне, что я ЕЕ сын. Но и тогда ОНА плакала о себе, а не обо мне: вот, мол, какая я несчастная.

И все же в какой-то момент я попытался убедить себя, внушить самому себе, что ОНА моя мать.

«Да, ОНА моя мать», — твердо сказал я себе и вроде бы уже согласился с этой мыслью, но лишь согласился, как меня тут же всего передернуло от омерзения и ненависти к самому себе, своему телу, которым я был связан с ними — с НЕЙ и тем офицером. Мне уже казалось, что это тот самый улыбающийся офицер с музейной фотографии, хотя ничего похожего на себя в его лице я не увидел, но мне казалось, что это именно он, тот, кого приходится называть отцом. А во мне все бунтовало против

этого. Я с брезгливостью смотрел на свои руки и не мог понять — как же это получилось, что вот этой кожей, пальцами, ногтями, сухожилиями, кровью я обязан тем, кого ненавижу?..

Все дальнейшее походило на бред. Я совершенно не помню, где шел и куда шел. То мне представлялось, что я стою на кладбище, могилы которого буйно заросли свеклой, то я видел свою дочь, как она отбрасывает куклу: «Не люблю я эту куклу!» — и жест, с которым она отбрасывала куклу, и голос дочери были страшно похожи на ЕЕ жесты и на ЕЕ голос. То я почему-то вспоминал слова Зинзинова о скорби.

— А вы никогда не задумывались, отчего у нас все памятники, посвященные этой войне, скорбные? Даже в тех, что прославляют героизм, вы вглядитесь, скорбь! Не прижились Триумфальные арки на Руси, не прижились. И всегда, во все времена Государства Российского лучшим памятником прошедшей войне был собор или церковь. В соборе, если и радость победы, то скорбящая радость. Чувствуете нашу душевную традицию?

...Но слова эти раздражали меня своим тайным всепрощением, а я не хотел никого прощать. Я вглядывался в темноту, где копошились два тела в липкой духоте одеяла, и это было для меня изуверством, потому что там не было любви. Там, в темноте, качались повешенные, а под кроватью лежали убитые, искалеченные, раненые, и никто и ничто не могло оправдать этого копошения под одеялом.

Как в бреду, когда в горячке срывают бинты с незаживших ран и чувствуют минутное облегчение, так я с самоубийственным ожесточением нагромождал одно обвинение на другое. Но обвиняя, я защищался. Так же, как в детстве, когда я обличал ЕЕ и Кузьмича в мещанстве, свято веря, что именно обличаю и ничего больше, а на самом деле этим обличением лишь неумело прикрывая, замазывая одиночество, обиду и мальчишескую ревность, точно так же и теперь я старался прикрыть свою теперешнюю боль. И чем жестче и злее было обвинение, тем оно, казалось, надежнее закрывало меня от этой боли.

Насколько же надо быть слепым, чтобы не видеть повешенных? Насколько надо быть глухим, чтобы не слышать стонов... Они слышали только себя — там все заглушалось похотливыми вскриками и сладострастными просьбами («Клавочка... Где научилась-то...»), и в стоны умирающих вплетался чужеземный говор победителя, а побежденная рассыпала смех, и он сыпался с кровати на мертвяков, как песок в оседающие могилы. И среди этого темного, потного, приторно-сладкого ада возникал я. Меня еще не было, я не существовал, но уже стучали печати и впивались в мое тело клейма этой ночи...

— Мужик, закурить есть?

Два паренька стояли передо мной, но я не понимал, чего им от меня надо.

— Витьк, пойдем. Больной что ли...

Я сидел на той же парковой скамейке, что и в первый раз, под бывшими виселицами. Как я сюда попал — не знаю, но не испугался и не удивился этому. Показалось, что именно сюда и шел.

Пареньки вразвалочку уходили по аллее, как по длинному стволистому коридору, а в стороне от них, наискосок, через парк спешила полная женщина с хозяйственной сумкой. Из сумки выглядывало горлышко молочной бутылки, и крышка серебристо вспыхивала, попадая в солнечные пятна под листвой деревьев.

Все, к чему я стремился, чего добивался и что успел построить в жизни, — все это может рухнуть, и я понимал, что даже наверняка рухнет, потому что как многообразна доброта, так многообразно и скотство этой жизни. Я продирался к своей цели без пугливого оглядывания, твердо уверенный в отце и матери — теперь у меня такой опоры не было. Даже поверив мне, поверив, что я никого не обманывал, люди все же будут стыдливо опускать глаза, словно стесняясь своего здоровья передо мной — неизлечимо больным.

— Но почему это так? Отцы ели кислый виноград, а у детей оскомина... Откуда это?

И думал, что причиной всему — ОНА. Ясно, что ничего юридически наказуемого ОНА в этом городе не совершила. Зинзинов об этом не го-

ворил, значит, наверняка ничего такого не было. А был только страх, панический страх за себя: дочь бургомистра, ребенок от немца и ненавидящая ЕЕ толпа в церкви. И каждый взгляд как выстрел. И чем дальше от НЕЕ была эта толпа, тем она казалась ближе и опаснее, потому что память, как пузырь, истончаясь, надувалась всеобщим страхом тогдашнего времени. Но ведь даже и тогда люди отстаивали свое кровное родство и не соглашались быть чужими. А ОНА предала меня. Предала!..

— Не тебя вчера вечером в милицию забирали? Вон оттуда...

— Что?— переспросил я и подумал: ,,Зачем это?''

— Выходит, не тебя,— женщина лет шестидесяти, в светлом плаще, подсела ко мне, поставив под ноги клеенчатую сумку, звякнули пустые бутылки.— А так похож, под лавочкой лежал. Я-то по своему делу подошла,— говорила женщина,— гляжу, у него бутылка еще целая. Пол-литра полная. Ты, говорит, бутылку мне за пояс засунь. И сторожи меня, а то убью. Бутылку я сунула. А сторожить, да на кой черт он мне сдался,— подхихикнула она.

Нет, ей было гораздо больше шестидесяти. Просто она очень хотела выглядеть моложе и, кажется, сделала для этого все, что считала нужным: легкая, кокетливо повязанная косынка, слой пудры на лице, густо-малиновая помада на губах и как бы случайно выбившаяся рыжая прядка на лбу. Но волосы крашеные, жидкие, верхняя губа от морщин сжата в гармошку, и пудра не скрывала лопнувших синеватых жилок под пористыми ноздрями и старческих пятен на лице.

Что-то странно-неприятное, опасное угадывал я в раскрашенной старушке. Бровей не было, дуги их, прямо по коже, были обозначены черной краской. Как румянец на щеках покойника говорит не о жизни, а лишь о желании приукрасить истинное лицо смерти, так и эта размалеванная маска говорила об ужасе перед старостью.

— Выходит, не ты был,— игриво заглядывала она мне в лицо, придвинувшись и легонько поглаживая и пожимая мое колено.— А похож,— подвинулась она еще плотнее.— Такой же худощавый. Последний мой таким был. Я многих любила...

Безотчетный, почти детский страх сковал меня. И в этом страхе было чувство жалости (как же это можно — дойти до такого?) и презрения к старухе, и чувство гадливости от ее близости.

— Мужики в парке такие нахальные,— засмеялась вдруг она, подталкивая меня в бок, и дрожащие пальцы семенили по моему бедру.

Меня затошнило. Я схватил ее руки и с силой выдернул их вверх. Я долго тряс старуху, но ничего, ничего не мог произнести. А когда резко оттолкнул ее от себя, то это было просто испуганное жалкое существо; все накрашенное с нее словно сползло.

На ее вскрики кто-то уже бежал, но всего этого я вроде и не слышал. Я шел, твердо зная, куда и зачем иду. Мне почему-то казалось, что надо непременно, вот прямо сейчас, пойти и вычистить все дерьмо из той полуразрушенной церкви, где меня крестили. Я шел и со злостью думал, что вот так же прочно, как ржавая проволока виселиц в деревьях, сидят во мне слова: «Какая я тебе ,,мама''!»

— Тет-ка, тет-ка,— раздельно повторял я, стараясь выговорить это слово точно так, как меня учили в детстве, но оно не успокаивало — оно гулко отзывалось совсем другим словом, которое я хотел задавить в себе, но которое все равно еще жило, билось внутри меня, комком подступая к горлу.

Я не успел далеко отойти — какой-то парень цепко ухватил меня сзади за плечо, развернул и, с перекошенным от гнева лицом, прохрипел: — Подонок! Ты же... старуху... Ты беззащитную старуху...—глаза его отяжелели от наворачивающихся слез, и, не договорив, он с силой ударил меня.

Меня били трое или четверо рослых, крепких парней. Но точно не помню, сколько их было.

«Здравствуй сыночек Думала что письма мои не нашли тебя я же адрес с той открыточки переписала где ты нас с Егором Кузьмичем поздравляешь октябрьским великим праздником Думала может неправильный адрес может ты переехал на другое жительство открыточка давнишняя но раз ты деньги прислал значит письма мои отыскали тебя Вот ты кроме денег ни словечка не написал а я все равно рада значит помнишь меня Мне ведь денег не надо но спасибо тебе Они сейчас лежат передо мной па ты их трогал и я их трогаю Что же ты не пишешь я от тебя ничего не прощу а только видеть В первых письмах я не написала что Егора Кузьмича давно нет два года как умер Господь его сразу прибрал и он не мучился А жили мы с ним хорошо я его плохим словом не могу помянуть Он был уважительный и меня не оскорблял Сыночек ты наверное обижаешься что я тебя не признала тогда когда ты последний раз приезжал Я признала я тебе хотела еще тогда все рассказать да при Егоре Кузьмиче было нельзя Он о тебе ничего не знал Это мой грех на себя и приму а только я всегда думала о тебе Я себе судьбу испортила а тебе не хотела портить я тебе хотела только счастья Если бы не Николай я сама тебя в детдом не сдала Это его мать заставила меня приписать тебя своей невестке а я тогда и сама была согласна потому что для тебя спокойнее Я о твоем будущем думала Сыночек ты всего не знаешь а приедешь я тебе все расскажу Люди все злые и верить никому нельзя а так ты в комсомол вступил и партию можешь Егор Кузьмич говорил что тебе в партию обязательно надо Сейчас без нее сытно не проживешь Да ты уж сам большой все понимаешь А если тебе надо узнать кто твой отец то я скажу когда приедешь а писать об этом нельзя Сейчас у тебя жизнь наладилась и можно все рассказать Я тебе зла не хочу Я писала что Зина хлопочет с документами чтобы в дом престарелых меня пристроить Туда у нас трудно попасть только по знакомству вот она и хлопочет А я не хочу я еще не очень старая только ноги болят и падаю часто теперь редко из дома выхожу больше лежу Зина она ко мне хорошо а все же чужой человек Чужим людям мы за деньги нужны У меня на сберкнижке лежат а зачем чужим отдавать Все отдай а они потом и стакана воды не принесут Если ты приедешь все отпишу тебе Только ты Зине ничего про это не говори А я и на пенсию проживу ее если без баловства то на все хватает Ты не высылай у тебя наверно жена а может и сыночек имеется их тоже кормить приходится Сейчас пока сижу дома у окна где твой диванчик стоял Я твою тетрадочку нашла когда ты в школе учился Еще старые журналы радио если журналы нужны ты напиши я вышлю Сейчас старое в цене Сыночек что же ты молчишь я тебе уже третье письмо Думала может адрес неправильный Я столько в жизни мучилась не пожелаю такого врагу своему лютому Все хотела забыть и не забывается Я перед тобой виноватая но когда расскажу тебе что я пережила может ты меня простишь А так я очень болею Все накопленное отдам тебе если приедешь Клавдия Тимофеевна твоя мама».

г. Ногинск

Владимир Леонович

ОСНОВА

По правилам войны

Ты, дерево, прости людей:
мы вырастали без корней
и мы не знали, что́ творили
и сколько жизни уморили.
Тебя обрыли с трех сторон,
вершину тросом захлестнули,
машину подогнали, гнули...
Был произведен твой урон.
Тебя распилят, приберут,
распишут по графе расценок
ненужный и недобрый труд.
Ты был нестар, силен и цепок,
лет семьдесят глядел в пруд...
Я узнавал, ходил в конторку:
они стеклянную обжорку
на этом месте возведут.
Дела идут согласно сметы,
хотя по правилам войны,
где никакие не нужны
сомнительные сантименты...

Основа

В лесу далёко пахнет гарью,
чернеет в озере вода,
и нас за тридцать верст к Макарью
несет какая-то нужда.

Однако посреди разрухи,
где негде встать и негде сесть,
поют паломницы-старухи,
и странно слышать эту песнь.

И плат белеет, где подвижник
за нас предстательствовал в вышних
и украшал иконостас.
Они поют в последний раз,

они поют в разбитом храме
«о гневе буйных» ветхий стих,
мучительными голосами
помилуй — молят — и прости их...

И тот районный активист,
столкнувший восемь колоколен —
плюгав же был и неказист —
перед Макарием отмолен.

Наследники его вины,
и мы с тобою спасены
молитвою о всех бесстрашных
среди болот и дебрей важных.

Тропой черничною, гуськом,
с котомкою и посошком
плетется воинство христово...
Семидесятые года
его поглотят навсегда —
продлится — чистая основа.

★

Попивая коньячок,
худощавый маньячок
всаживает, как дробинку,
в эту женщину зрачок.

У ней коса расплетена.
По улице пойдет она,
и останется за нею
солнечная сторона.

За столом она сидит,
на меня светло глядит,
ничего не понимает —
может, сына мне родит.

...Я бы рад тебе помочь —
простоял твою бы ночь
на коленях перед бездной...
Может, сына, может, дочь.

Мгновенье слабое

Гляжу на безобразье сброда:
распни — вот ясная нужда.
Отец небесный, нет народа
и не бывало никогда.

Меня гнетет их помраченье,
их немладенческое зло.
За них погибнуть — тяжело.
Горька, однако, соль ученья...

Здесь ничего вместить не могут
мозги Матфея и Луки.
Здесь останавливает омут
теченье ясное реки.

Ленивое веретено —
и неизбывное одно
вытягивается мгновенье,
и сладок обморок сомненья.

Всё бесконечно — всё равно
частице темного круженья.

...Вперед, мужи! Во имя братства
и милосердья впереди!

Теперь
спокойно
перейди
горы сутулое пространство.

Отец, прости мне святотатство:
мгновенье слабое прости.

Давид Гай

ДЕСЯТЫЙ КРУГ*

жизнь, борьба и гибель минского гетто

Если можно признать, что что бы то ни было важнее чувства человеколюбия, хоть на один час и хоть в каком-нибудь одном, исключительном случае, то нет преступления, которое нельзя было бы совершить над людьми, не считая себя виноватым...

Л. Толстой

...есть такие преступления, которые всегда и везде, по всевозможным законам, с начала мира считаются бесспорными преступлениями и будут считаться такими до тех пор, покамест человек останется человеком.

Ф. Достоевский

ОТ АВТОРА

Эта повесть вобрала в себя голоса тех, кому выпала доля в минувшую войну пережить минское гетто. Пережить в прямом и переносном смысле. Автору удалось найти большинство этих людей весьма преклонного возраста, и он записал их рассказы. Некоторые ушли из жизни раньше, но, как правило, оставили свои воспоминания родственникам, детям с надеждой, что когда-нибудь кому-то понадобятся. И вот — понадобились. И ныне здравствующие, и уже умершие — для меня живые свидетели.

1

Я не вижу перед собой никаких классов и никаких сословий, но только общность людей, связанных единством крови.

Гитлер

Они выползали на свет божий скрюченные, похожие на собственные тени, истерзанные безысходностью, но не расставшиеся с робкой, как пламя коптилки, надеждой, они слепли от июльского солнца, прикрывая ладонями глаза, привыкшие к темноте подземелья, они все еще не верили в свое избавление и потому не могли выражать радость, произносить простые безыскусные человеческие слова.

Их осталось тринадцать — мужчин, женщин, детей, переживших гетто, почти девять месяцев скрывавшихся в пещере возле кладбища, добровольно сойдя в землю, укрывшись в ней, найдя защиту и приют.

Почти 260 суток они спали днем и бодрствовали ночью — так им

* Журнальный вариант.

казалось безопаснее, дышали миазмами и пили тухлую воду, хоронили под нарами умерших и в снах видели хлеб и луковицу. Полсуток набежали лишние: при освобождении города их обнаружили не сразу, а сами они не могли подать о себе весть.

Это были последние оставшиеся в живых узиники минского гетто. Кроме тех, кто ушел в партизаны, взял в руки оружие, став из узников мстителями.

19 июля 1941 г. в самых людных местах Минска было вывешено распоряжение полевого коменданта.

ПРИКАЗ

о создании еврейского района в городе Минске

1

Начиная со дня издания настоящего приказа, в городе Минске выделяется особый район, в котором должны проживать исключительно евреи.

2

Все евреи — жители города Минска обязаны, после опубликования настоящего приказа, в течение 5 дней переселиться в еврейский район. Евреи, которые по истечении этого срока будут обнаружены в нееврейском районе, будут арестованы и строжайше наказаны. Неевреи, проживающие в пределах еврейского района, обязаны немедленно покинуть еврейский район.

3

Разрешается брать с собой домашнее имущество. Кто будет уличен в присвоении чужого имущества или грабеже, подлежит расстрелу.

4

Еврейский район ограничивается следующими улицами: Колхозный переулок до Колхозной улицы, далее вдоль реки до улицы Немига, исключая православную церковь, до Республиканской улицы с прилегающими улицами: Шорная, Коллекторная, Мебельный пер., Перекопская, Низовая, еврейское кладбище, Обутковая, 2-й Апанский пер., Заславская улица до Колхозного переулка.

5

Еврейский район, сразу же после переселения, должен быть отгорожен от города каменной стеной. Построить эту стену обязаны жители еврейского района, используя для этой цели в качестве строительного материала камни с нежилых или разрушенных зданий.

6

Евреям из рабочих колонн запрещается пребывание вне еврейского района. Означенные колонны могут выходить за пределы своего района исключительно по специальным пропускам на определенные рабочие места, распределяемые Минской городской управой. Нарушение этого приказа карается расстрелом.

7

Евреям разрешается входить в еврейский район и выходить из него только по двум улицам — Апанской и Островской. Перелезать через ограду воспрещается. Немецкой страже и охране порядка приказано стрелять в нарушителей этого пункта.

8

В еврейский район могут входить только евреи и лица, принадлежащие к немецким воинским частям, а также к Минской городской управе и то лишь по служебным делам.

9

На юденрат возлагается заем в размере 30 000 червонцев на расходы, связанные с переселением из одного района в другой. Означенная сумма, процентные отчисления с каковой будут определены позднее, должна быть внесена в течение 12 часов после издания настоящего приказа в кассу Городской управы (ул. Карла Маркса, 28 [1]).

10

Юденрат должен немедленно представить жилищному отделу Городской управы заявку на квартиры, которые евреи оставляют в нееврейском районе, и еще не занятые арийскими (нееврейскими) жильцами.

11

Порядок в еврейском районе будет поддерживаться особыми еврейскими отрядами порядка (специальный приказ об этом будет своевременно издан).

12

За переселение всех евреев в свой район несет полную ответственность юденрат города Минска. Всякое уклонение от выполнения настоящего приказа будет строжайше наказано.

Не успели ознакомиться с этим приказом, появился новый — о желтой «заплате» (ее сразу стали называть по-белорусски «латой»). Указывался размер: десять сантиметров в диаметре, ни больше, ни меньше — немецкая пунктуальность; место, на которое она должна быть нашита,— левая сторона груди и спины. «За неисполнение приказа — смертная казнь».

Скоро, совсем скоро в гетто окажутся все евреи Минска, потом к ним добавят согнанных из близлежащих местечек, потом прибудут евреи из Германии (их станут называть «гамбургскими»), на небольшом кусочке земли скопятся более ста тысяч изгоев, и начнется для них отсчет другого времени.

Находились ли такие, кто не хотел жить в гетто? Находились, их было немало. Но судьба неумолимо толкала их к собратьям по несчастью.

Белла Пруслина:

Когда у тебя на руках двое малюток, годовалая девочка и шестилетний мальчик, первый вопрос: чем их кормить? Нам не удалось далеко уйти из Минска. Вернувшись домой после бомбежек и обстрелов с самолетов, после всего этого ужаса я нашла свою комнату пустой. У нас не было абсолютно ничего, не было даже чем укрываться. Мы ходили по домам, нищенствовали, и я спрашивала себя: боже, со мной ли это происходит?

Идти в гетто я не хотела. Не могла себе представить, как смогу жить взаперти, в положении раба, чем буду кормить детей. Здесь, в городе, есть хорошие знакомые, они не чураются меня, помогают, чем могут. А что будет там?

Однако нашлись и иные соседи. Выбили у нас стекла, однажды в наше отсутствие набезобразничали, нагадили в комнате, делали все, чтобы мы ушли. В конце концов нас кто-то выдал. В комнату вошел полицейский, разговаривавший на смеси немецкого и польского, и начал допрашивать, почему я нахожусь в чужом районе.

— Ты ведь жидовка?

— Да, но у меня муж русский.

Было так тяжело на душе, что весь страх пропал. Его удивило мое спокойствие.

— С кем ты живешь? — спросил он.

[1] Улица эта к тому времени не была переименована оккупантами.

Я указала ему на девочку, сидевшую на полу, позвала мальчика.

— Мне собираться?

Он ничего не ответил и все смотрел на меня.

— Почему ты не идешь в гетто?

— А что мне там делать? Умирать с голоду? Если погибать, то можно и здесь, мне все равно.

Он покрутился по комнате, вдруг резко повернулся ко мне:

— Живи тут.

Ко мне несколько раз приходили из домоуправления, требовали документы, на основании чего я живу здесь. Мне нечего было им показать.

— Или хлопочи об аусвайсе, или уходи,— настаивали они.

И я ушла на Комаровку, к моим бывшим соседям Барсукам. Белорусы, они сами кое-как перебивались, голодали и все же помогали, делились последним куском. Такие это были люди...

Я не сидела дома, кружила с детьми по городу. С тех мест, где нас принимали, сын не хотел уходить и выговаривал мне:

— Мама, почему мы уходим? Нас же не прогоняют!

Он еще не понимал, в каком положении мы находимся.

Однажды, когда мы с Леной Барсук пекли на кухне картошку, раздался сильный стук в дверь. У меня сердце оборвалось. Накинула на себя платок, повязалась так, чтобы во мне не узнали еврейку. В комнату вошел хорошо одетый человек средних лет. Увидев его, Лена незаметно ущипнула меня. Я все поняла. По ее рассказам, рядом живет неприятный тип, немецкий холуй, его надо опасаться. Это он и был. Непрошеный гость походил по комнатам, будто искал что-то, вернулся на кухню и начал потирать руки:

— Ох, и погрелся я сегодня!

— Что это значит? — спросила Лена.

— В Пуховичах помогал евреев ловить.

Он пробыл недолго, на прощание сказал:

— Живем дом к дому, дай, думаю, зайду, посмотрю, кто же здесь обитает,— и при этом странно посмотрел на меня.

Положение стало невыносимым, и я решила оставить у кого-нибудь детей: пусть хоть они выживут, а я уйду в гетто. К тому времени уже знала, что там находятся мой брат Мотя и сестра Ася.

Мой мальчик не был похож на еврея, и я отдала его в белорусскую семью Яциновичей. Когда я собирала его вещички, мальчик, видимо, все понял и разрыдался. Потом мне передали, как он приставал к хозяйке с расспросами:

— Тетя Маруся, почему мама не приходит?

Пришлось ей выдумать историю о том, что наш дом рухнул и я погибла.

Когда становилось тревожно, он говорил им:

— Не беспокойтесь, я скажу так, как меня учили: маму убило, папа пропал на войне.

Годовалая девочка постоянно плакала, страдала от голода, заболела, начался понос, головку она совсем не держала, становилась все слабее и без конца просила: «Дай, дай». Мне посоветовали подбросить ее.

С трудом я решилась на это. Рассказывали: многие евреи выносят детей из гетто, оставляют их на улице и что благодаря нашим людям, работающим в Городской управе, этих детей забирают в детдом. Но как это сделать? Днем могут увидеть, ночью девочка замерзнет. От этой картины у меня стыла кровь.

Выхода не было.

До войны в бухгалтерии завода имени Кирова работали две русские девушки. Они хорошо ко мне относились. Я учила их бухгалтерскому учету. Бродя из дома в дом как побирушка, я столкнулась с одной из них. Рассказала ей, что хочу оставить Дину. Та расплакалась, начала отговаривать:

— Как вы можете бросить родное дитя?

— Аня, ты знаешь меня, знаешь, какая я была мать. Меня ведь убьют, пусть хоть она останется в живых.

Я начала просить ее помочь, она отнекивалась, говорила, что одна

не сможет. Я ухватилась за соломинку: «Ты только не отказывайся, я найду кого-нибудь».

Начала расспрашивать о другой девушке, Наде. Она дала мне ее адрес. Я тут же пошла к Наде и рассказала ей обо всем. Она согласилась помочь.

Назавтра мы собрались у Ани. И надо же случиться, что в это время к Ане приехала на подводе ее мать, направлявшаяся в деревню менять вещи на продукты. С ней ехал один мой знакомый, тоже раньше работавший на заводе имени Кирова.

Узнав о том, что мы задумали, мать Ани велела положить девочку на подводу, а самим уйти. Я послушала ее. Дала девочке кусок хлеба в руки, чтобы она не плакала, а в кармашек положила записку, что ее зовут Нина Лепчикова.

Уйти далеко не было сил. Зашла за угол и стала ждать. Старуха пошла в ближайший полицейский участок, сказала, что ей подбросили ребенка, и показала записку. Пришли двое полицейских и забрали ребенка. Аня и Надя находились во дворе и делали вид, что эта история их не касается. Полицаи заставили девушек нести ребенка. С направлением из управы они передали ребенка в детский дом.

А я пошла в гетто.

Обитатели его жили своей особой, ни на что не похожей, казавшейся немыслимой и, однако, вполне реальной жизнью.

Еврейский район обтянули колючей проволокой в пять рядов. О строительстве каменной стены не было и помину. Выход из-за проволоки карался расстрелом. Общение с городским населением — расстрел. Всевозможная торговля, покупка продуктов в городе — расстрел. Не допускалось хождение по тротуарам — только по мостовым. Запрет на пользование общественным транспортом, на посещение театров, музеев, библиотек и прочих культурных учреждений.

Однако и за проволоку выходили — охрана на первых порах была менее бдительной, и в городе меняли вещи на продукты. Ходили, меняли, встречались с друзьями, знакомыми, рискуя жизнью.

В семье рабочего Черно было четверо маленьких детей. Жена Черно Анна, не вынеся голодных ребячьих глаз, пошла в город к знакомым просить помощи. На обратном пути ее остановили полицейские, отобрали продукты, повели в тюрьму и там расстреляли.

Такая же участь постигла Розу Таубкину, вышедшую за проволоку для встречи с родственниками мужа — русскими.

Уже действовал юденрат, насчитывавший шесть отделов: труда, снабжения, опеки, паспортный, пожарный и служба охраны порядка. Подобран был штат юденрата. На улицах (еще до окончательного переселения в гетто) поймали нескольких евреев — мужчин, привели их в комендатуру и объявили, что отныне они представляют еврейский комитет, обязанность которого — беспрекословно выполнять все распоряжения властей. За малейшую провинность — расстрел.

Председателем юденрата стал Илья Мушкин — в наказание себе за допущенную оплошность: дал понять офицеру комендатуры, что немного знает немецкий. На глазах поседел, сгорбился Мушкин, стал отворачиваться от соболезнующих, а чаще негодующих взглядов.

Каждое утро из ворот гетто отправлялись в город колонны. Использовали их на самых тяжелых работах, в основном на разгрузке и погрузке. Дневная плата — похлебка и сто граммов хлеба. Кто не работал, а таких в гетто было немало (старики, пожилые женщины, дети), не имел ничего. Кроме того, несколько сот фахарбайтеров — квалифицированных рабочих объединили в мастерские. Их труд пока был нужен, потому кормили их лучше остальных. Хотя понятия «лучше» и «хуже» выглядели весьма относительными.

Со всем этим еще можно было мириться. Совсем иное началось в августовские дни. Ночные нападения на дома яснее ясного показали, что ждет гетто. По сравнению с этим все прочее переставало иметь какое-либо значение.

Крики «Спасите!» будили по ночам и без того тревожно спавшее гетто. Немцы и полицейские (украинский и латышский батальоны предателей, позже к ним присоединился литовский; хватало и прочей нечисти) врывались в дома. Кровь будоражила кровь, требовала крови.

Бывало, однако, когда безоружные давали отпор вооруженным. Да и полицейские попадались разные.

Борис Хаймович:

Однажды в дом наш по Зеленому переулку ввалились двое: один в красноармейской форме без петлиц и с винтовкой, другой в гражданском с повязкой полицейского на рукаве, без оружия. Ставят нас к стенке. «Красноармеец» загоняет патрон в канал ствола и выкрикивает: «Гельд, гольд, зильбер, ур!» — а полицай переводит: «Немедленно сдать деньги, золото, серебро, часы, а иначе вам всем хана».

Я отвечаю: мы беженцы из Белостока, ценностей у нас нет. Тогда «красноармеец» стреляет поверх голов и повторяет свое требование «по-немецки», а полицай опять «переводит». Я снова отвечаю: ничего нет. Во мне все кипит от ненависти. Вооруженный вновь заряжает винтовку и концом ствола бьет меня в живот. От боли перехватывает дыхание. Инстинктивно хватаюсь за ствол, отвожу дуло вбок и тяну винтовку к себе. «Красноармеец» теряется, лепечет по-украински: «Пусты!» Я ему: «Сопляк, я сейчас научу тебя, как стрелять!» «Дяденька, пусты, я бильше не буду, я уйду».

Убей я его, и враги уничтожат всех жильцов дома, весь переулок, и я выпускаю ствол. Предатели сматываются.

Через день опять входят в дом, на сей раз другие. Начинается обыск, я не выдерживаю и заговариваю с одним:

— Как тебе не стыдно? Ты здесь грабишь нас, а где-то у тебя на родине такие же, как ты, грабят твоих родителей!

Смотрю: топчутся на месте, поворачиваются и вон из дома. Видно, не всю совесть еще потеряли.

14 августа разнеслось: «ловят мужчин». Операцию проводили гестаповцы. Окружив часть гетто, они вламывались в квартиры с криком: «Меннер!»

Облавы повторились 26 и 31 августа. Всех пойманных расстреляли. По некоторым сведениям, погибло около пяти тысяч человек.

Быт гетто складывается из сотен мелочей, он чуток к моментально меняющейся обстановке. После августовских облав начинается повальное сооружение убежищ — «малин», как их здесь называют. Люди исхитряются как могут. Фантазия их не знает предела.

Одни строят тайники в чуланах, на чердаках, маскируя их всевозможными способами. Другие роют норы в погребах. Некоторые делают «двойные стены». В «малинах» прячется одна-две семьи, иногда и больше. Местонахождение их тщательно скрывается.

Немцы и полицаи, вламываясь в пустые квартиры, неистовствуют, но редко находят убежища.

А беда подстерегает со всех сторон. Иногда она приходит оттуда, откуда ее не ждут.

Анна Мачиз:

Такое мое счастье: в один день натолкнулась на обоих.

Серебрянский вынырнул из-за угла вместе со своими подручными и вырос передо мной. Бежать было поздно, я обмерла. Хотя и знала, что он в гетто и такая встреча может произойти, внутренне оказалась к ней не готовой. Единственно, не подала виду, что знаю его. Он тоже вздрогнул и отвернулся.

Зяма Серебрянский когда-то до войны жил недалеко от нас, наши матери были знакомы. И надо же случиться: я, следователь прокуратуры Белоруссии, участвовала в процессе над ним и над его братом. Речь шла

о растрате государственных денег. Братья пытались через мою маму уговорить меня помочь им избежать суда. Из этого, разумеется, ничего не вышло.

Освободился после отбытия наказания Серебрянский за пять дней до начала войны. В гетто он командовал еврейской службой охраны порядка, по малейшему поводу переходил на крик, размахивал палкой или плеткой — оружия ему и его «оперативникам» не полагалось. И вот ему-то я, коммунистка, бывший следователь, попалась на глаза.

Ладно бы этим день кончился. Так нет же. Увидел меня во дворе дома другой, мною ранее судимый, и тоже за растрату — кассир Монисов. Его я, впрочем, опасалась куда меньше Зямы — возможности у него не те, мы с ним в одинаковом положении.

Переполох, суета. Куда бежать от Серебрянского, где прятаться? Пока судила-рядила, пришла знакомая девушка, бывшая студентка юридического факультета, проходившая когда-то у меня практику. Отозвала меня в сторону: «Я к вам, Анна Семеновна, от Серебрянского. Просил передать — он ни в коем случае не злоупотребит своей властью, и если у вас возникнет нужда, чтоб дали ему знать, он поможет, ибо он советский человек и не собирается мстить».

Вот как обернулось. Уже позже узнала: Зяма был связан с коммунистами гетто, помогал партизанам, передавал в отряды одежду и оружие. Он сообщал людям, когда ожидаются «акции», и многие успевали прятаться. А злобный вид был не более чем маска.

А вот от Монисова натерпелась... Он доносит в СД. Приходит запрос в юденрат: где находится Мачиз? Доставить ее в гестапо. Покопались в картотеке и отвечают: «в списках не значится». Дело в том, что я при регистрации в юденрате записалась девичьей фамилией.

Что происходит дальше? А дальше Монисов попадает в облаву и гибнет. С тех пор я перестаю прятаться.

Такое оно, гетто: люди остаются людьми, одни чтут понятие порядочности, другие на краю гибели пытаются счеты свести. Общая беда, конечно, сплачивает, но она же и разъединяет — правде надо смотреть в глаза. Кое-кто только о своей шкуре начинает заботиться. Низкие инстинкты наружу выглядывают...

2

> Он мог совершенно спокойно произнести во время обеда между супом и овощным кушаньем: я хочу уничтожить евреев в Европе. Эта война есть решающая схватка между национал-социализмом и мировым еврейством. Один из них будет уничтожен, но это определенно будем не мы.
>
> Из воспоминаний о Гитлере нацистского преступника Шпеера.

В гетто продолжалась жизнь, вернее, не жизнь, а нечто такое, чему нельзя было дать определения, неволя особого рода, рождающая безысходность.

И, однако, многие стали задавать себе простой до очевидности вопрос: как себя вести, чтобы не быть уничтоженными? Сидеть сложа руки и ждать неизвестно чег , вздрагивая от каждого шороха, панически забиваясь в «малины» при малейшем намеке на появление немцев?

По одним данным, в гетто находилось около трехсот коммунистов и комсомольцев. По другим — значительно больше. Разве дело в количестве... Иные всеми способами пытались скрыть довоенное прошлое. Таких ведь гестаповцы вылавливали и беспощадно уничтожали. Другие приглядывались, присматривались к окружающим, исподволь зрело сопротивление.

Борис Хаймович:

По натуре я человек решительный, привык действовать, а не мусолить: надо, не надо. То в мирной жизни. А в гетто приходится каждый свой шаг сто раз обдумывать, анализировать. Любая ошибка, любой малейший просчет — и конец. Горький опыт учит — осторожность нужна.

Научен и я им, опытом. В концентрационном лагере Дрозды под Минском стали делить гражданских на евреев и неевреев, решил я к неевреям прибиться, полагая — их долго держать в лагере не будут. Так один тип, работали мы вместе в Белостоке, побежал доносить на меня фашистам. На махорку польстился — немцы объявили: кто выдаст замаскировавшегося еврея, пачку махорки получит. Или просто подлец оказался. Хорошо, вовремя сориентировался я, нырнул под канат и затерялся среди отобранных евреев...

Доверять в такой обстановке только тому можно, кого знаешь, как себя. Вот мы и решили собраться, несколько белостокских коммунистов, волей судеб попавших в гетто. Квартира надежная, на дворе устанавливаем дежурство, на всякий случай. Дума у нас одна — организовать подполье.

Яша Киркаешто — до войны отделом пропаганды заведовал в Белостокском горкоме партии, парень что надо. Меер Фельдман — подпольщик со стажем, в Западной Белоруссии работал, устанавливал там Советскую власть. Евсей Шнитман, мой добрый товарищ, с которым Дрозды пережили, — тоже, как и я, директор текстильной фабрики. Не всех называю, есть и другие партийцы, с которыми уже в гетто познакомился.

Начинаем совещание наше. У кого какое мнение по созданию подполья? Молчат все смущенно: организация без руководителя, печатного органа, связей с людьми, в условиях гетто, где каждый день траур, — реальна ли она... Беру инициативу на себя. Подполье нужно не ради подполья, говорю, а с целью выйти самим и вывести других из гетто, достать оружие, уйти в партизанские отряды для борьбы с ненавистным врагом. Нет печатного органа — не беда, можно писать листовки от руки. Нет связей — наладим, нашли же мы друг друга.

— Раздобыть бы радиоприемник и сообщать населению правду о положении на фронте.

Молодец Киркаешто, дельная мысль.

— По почерку могут обнаружить автора листовок. Неплохо бы на пишущей машинке размножать.

— Фельдман прав. Значит, понадобится машинка.

Итак, наши главные задачи. Первое — создать хорошо законспирированное подполье. Второе — связаться с коммунистами вне гетто. Третье — раздобыть оружие. Четвертое — найти действующих партизан и начать выводить людей в лес. Пятое — вести агитацию среди узников гетто.

Появилась организация. Шел конец августа сорок первого.

В нее вливались новые и новые люди. Стихийно возникали подпольные группы: главный принцип отбора — полное доверие. Объединялись соседи, друзья, коллеги по довоенной работе. Руководители групп искали связи, нащупывали, находили друг друга. Поддержка, взаимовыручка становились необходимой, неотъемлемой частью совместных действий.

Руководящий центр возглавили Яков Киркаешто, Натан Вайнгауз, Ефим Столяревич (подпольная кличка, настоящая его фамилия — Григорий Смоляр). Комсомольцев организовала 20-летняя Эмма Родова. Она стала хранительницей всей сети связей, челноком между гетто и городом.

Абрам Туник:

Нечаянная радость — встретил Вайнгауза. Нашего Нотке, как все его зовут. Жили когда-то давно, до войны, неподалеку, он редактор еврейской газеты «Юный ленинец», я печатался в ней. Нотке Вайнгауз... Приземистый, плотный, подвижный, как ртуть, живчик, словом, темная вьющаяся шевелюра с седыми колечками (это у него, говорят, после

тюрьмы), не лишен, правда, бравады, обожает шум, треск, тарарам, но такой уж он человек. Любят его все, особенно молодежь, он ее кумир. Вечно ходил с ребячьими ватагами, распевал песни.

Нотке мне:

— Абраша, ты, кажется, электрик? А в приемниках разбираешься?

— Немного разбираюсь.

— Нужен приемник, позарез.

Не стал я выпытывать, кому нужен и зачем. И так понятно. В городе висело объявление: всем сдать радиоприемники. Склад расположился в зале оперного театра. Я устроился туда чернорабочим. Присмотрел неплохой аппарат системы Телефункен — «Гейналь». Как вынести? Он внушительных размеров, в карман или за пазуху не положишь. Сунул его в мешок, обложил щепками — и на плечо. Немец у ворот: «Что несешь?» «Щепки и немного угля для печки. Впрок». Дал он мне пендаля, и я прошел в гетто.

Назавтра рассказал о приобретении Вайнгаузу. Тот обрадовался, как ребенок.

— Где хранить будешь?

— Не знаю. Пока на чердаке. Дом у нас большой, несколько семей живет. Народу много, боюсь засыпаться.

Один печник, старый коммунист, которому я не побоялся открыться, нашел выход: «Я сделаю фальшивый лежак». А ведь здорово придумал! От русской печки и от голландки шли два лежака к общему дымоходу. А он соорудил третий лежак, фальшивый. В нем я и замаскировал приемник, а антенну вплел в бельевую веревку.

Теперь черед батарей. Скульптор Бразер, я знал его, взялся помочь. Принес четыре батареи и наушники в придачу. И заработал приемник.

Нотке стал записывать сводки Совинформбюро, передовицы «Правды». Писал он очень быстро, строчил, как автомат. Потом мы размножали от руки, распространяли в гетто и в городе. Машинку бы пишущую...

Появилась и машинка. Украл ее в жандармерии Квятковский, тезка мой. Ходил туда с колонной из гетто выгружать уголь. Кочегар-военнопленный помог, вдвоем они с б о м б и л и — популярное в гетто слово — машинку.

Сколько мог, продержал я приемник у себя. Стало небезопасно. Соседи косятся: чем это он с друзьями на чердаке занимается? Я к Борису Фунту — приятелю, жившему по соседству: выручай. Тот: «Ты не один, еще с кем-то слушать будешь?» «Не один». «Абрам, там, где трое, там секрета нет». «Ты что, Боря, Вайнгаузу не доверяешь?» «Нотке? Тогда другое дело».

Перенесли приемник к Фунту на чердак. Оттуда — к Хонону Гусинову, в подземное укрытие.

При передаче листовок в городе был схвачен Фунт, расстреляли Гусинова. А приемник и машинка переходили из рук в руки, и голос Москвы звучал в гетто. Таких приемников и машинок в гетто было несколько.

А тем временем другая группа занялась и вовсе, казалось, невозможным в условиях гетто — устройством нелегальной типографии.

Елена Майзлес:

— Все понимают, на что идут? — спросил Наум Фельдман, руководитель группы.

Еще бы не понимать. Выход за проволоку в город уже пахнет расстрелом. Можно попытаться подкупить полицая или немца — смотря кому попадешься, придумать что-нибудь, отвертеться — немало таких случаев. Но если пойман со шрифтом...

В группе нашей в основном бывшие печатники типографии имени Сталина, до войны самого крупного полиграфического предприятия Белоруссии. Технический директор Чипчин, начальник литографского цеха Окунь, наборщики Опенгейм, братья Капланы, Прессман... Немцы их по

специальности используют, в типографии «Прорыв». Рядом — военнопленные. Один из них, Андреем Ивановичем назвался, как-то подходит к Иосифу Каплану и предлагает помочь вынести шрифт в гетто, чтобы наладить выпуск листовок. К таким предложениям обычно относятся с недоверием — похоже на провокацию. Мы не дали ответа. Ждем. Дня через три приносит картошку. Дорогой подарок. Посовещались мы с нашими и решили рискнуть.

В начале сентября Фельдман и я встречаемся с Андреем Ивановичем (потом выяснили — настоящая его фамилия Иванов, Николай Иванович). Раз, другой. Обо всем договариваемся. Каплан подключает жену знакомого журналиста Глафиру Суслову.

Шрифт выносится так. Андрей Иванович и трое его друзей скрытно заходят в подвал типографии, набивают шрифтом небольшие пакетики и прячут их за пазуху или в карманы. Заканчивается рабочий день, колонну ведут в гетто, они вместе с евреями выходят незамеченными за ворота. Аусвайсы у них имеются, но попадись они на улице патрулю, который захочет их обыскать...

Шрифт прячут у Сусловой в сарае среди торфяных брикетов. К ней приходят связные из гетто и забирают пакетики. Просто. Смертельно просто.

Связные наши — комсомольцы, отчаянные ребята: Миша Àроцкер, Марк Бразер — сын скульптора, Давид Герциг по кличке Женька.

Шрифт доставляют и наши печатники. Иногда прячут его на татарских огородах, и комсомольцы потом приносят ко мне и Окуню.

Очень удобно располагается «Прорыв»: за типографией течет Свислочь, рядом мост, начинаются огороды, в конце которых гетто. Это облегчает добывание шрифта.

Выносят в разобранном виде части печатного станка, наборную кассу.

И заработала типография! Под носом у немцев. Отвечал за нее Михаил Чипчин. Наладили выпуск периодического листка «Вестник Родины». Маленького формата, вмещал он сообщения с фронтов, обращения партизан к населению Минска...

Листовки расклеивались по городу, жадно читались в гетто, свидетельствуя: мы не смирились со своей участью, мы боремся.

Одним из тех, к кому особенно тянулись в гетто, был Натан Вайнгауз. Он, уехавший из Белоруссии в Биробиджан, в Еврейскую автономную область, вернулся домой незадолго до начала войны. Сопутствовали этому сложные обстоятельства.

В июле тридцать восьмого Натан Вайнгауз, его коллега по радиокомитету писатель Григорий Добин и Гольденберг — редактор газеты «Биробиджанер штерн» были арестованы как враги народа. Их обвинили в шпионаже. Все трое «хотели воцарения в Биробиджане японского императора». Около села Михайло-Семеновское был крохотный мостик через речку, которую и курица могла перейти. Так вот они «собирались взорвать этот важный стратегический объект».

Через два года их освободили. Вернули партийные билеты. Вайнгауз и Добин уехали в Белоруссию: Натан в Минск, где жила его семья, Григорий — в Белосток.

И вот попали за проволоку в гетто.

Все их мысли были направлены на одно: быстрее найти выходы на коммунистов Минска и партизан. И вот в начале ноября первая радость. Вездесущий Герциг-Женька сообщает: с подпольщиками хочет увидеться товарищ из города. Отряжают на встречу Столяревича. Проникнув за проволочное ограждение и сняв латы, Женька и Столяревич идут на Обутковую улицу (она на границе с гетто). В условленном месте их ждет человек, назвавшийся Славкой [1]. Его интересуют два вопроса: по чьей иници-

[1] «Славка» — псевдоним Исая Павловича Казинца — еврея по национальности. Он активно участвовал в создании подпольной организации в Минске, возглавлял так называемый доппартком — дополнительный партийный комитет. Казинец и его соратники немало смогли сделать: наладили деятельность подпольных

ативе создан руководящий центр подполья и что намерены предпринять? Славка полностью соглашается с Ефимом; надо выводить боеспособных мужчин в партизанские отряды.

Кое-какая связь с партизанами уже наметилась. В сентябре в гетто пришел посланец из леса. Фамилии своей не назвал; сказал только: круглый сирота, детдомовец, еврей, зовут Федя.

Провели его в котельную инфекционного отделения больницы, служившую своего рода явочной квартирой. Федя скинул куртку и сразу превратился в шустрого бойкого хлопца. Хлопец этот вмиг посерьезнел, едва речь зашла об отряде. Рассказывал: приходится быть постоянно в движении, не хватает оружия, теплой одежды, медикаментов. Трудности велики, отсюда вывод: пополнение из гетто должно быть крепким, стойким, желательно с военной выучкой.

Отослали с Федей письмо его командиру, в котором сообщали: гетто готово предоставить в распоряжение отряда все свои наличные силы. Как только командир даст знать, он тут же получит все, вплоть до оружия. Есть немало людей, которые хотят при первой же возможности уйти с этим оружием в лес.

...Первые потери у подпольщиков. В одно из воскресений Киркаешто участвовал в конспиративной встрече, уходил огородами и нарвался на полицейских, прочесывавших дворы в поисках мужчин. Его окликнули. Мог бы, наверное, рвануться обратно, попытаться спрятаться в «малине», где только что разговаривал с группой коммунистов. Но побежал в противоположную сторону — отводил от места, где находились товарищи. И не стало Яши...

Вместо него ввели в состав руководящей тройки Михаила Гебелева, бывшего работника Сталинского райкома.

3

> ...Мы должны развивать технику обезлюживания. Если вы спросите меня, что я понимаю под обезлюживанием, я скажу, что имею в виду устранение целых расовых единиц. И это то, что я намерен осуществить, это, грубо говоря, моя задача. Природа жестока, поэтому и мы можем быть жестокими. Если я могу послать цвет германской нации в пекло войны без малейшего сожаления о пролитой ценной германской крови, то, конечно, я имею право устранить миллионы низшей расы, которые размножаются, как черви!
>
> Гитлер

Над гетто нависла тишина. Она пала внезапно, как темнота перед смерчем, впитала голоса, шорохи, скрип дверей и, казалось, накрыла территорию за проволокой непроницаемой звукоизолирующей оболочкой.

Можно было бы назвать эту тишину *мертвой*, но она была живой, ибо в домах существовали люди, настороженно прислушивающиеся к внешним звукам, проникающим через стекла и приоткрытые форточки с улиц. Чтобы внятно, без задержки уловить звуки, а от этого зависело много, они невольно, не сговариваясь, повинуясь инстинкту, сжались и смолкли.

Тогда они еще не вывели правила, ни разу потом не обманувшего: внезапная тишина всегда сопутствует «акции». Просто по гетто будто прошелестело: немцы что-то замышляют. Ссылались на верный источник — юденрат, на услышанное в городе во время работы. Сходились в одном: разве оставят фашисты «неотмеченной» годовщину Великого Октября?

И еще один признак безошибочно указывал — быть беде. Внезапно из концлагеря на Широкой нагрянул Городецкий: чернявый, статный, в кожане, до скрипа затянутом ремнями, как всегда, с улыбочкой, гулявшей на красиво вылепленных губах. Его уже знали в гетто. Частенько врывался он сюда со своей ватагой. Избивал, насиловал, грабил. И всегда с улыбочкой. Хмурым его никто ни разу не видел.

На сей раз Городецкий не разбойничал, был деловит и сосредоточен. Предъявил юденрату список мастеровых, узнал, кто где живет, обежал дома, забрал нужных ему людей и увез к себе в лагерь. Туда же перебралась часть юденратовцев.

Мало кто в гетто спал в эту ночь. Забившись в «малины», судорожно прислушивались: как там, на улице?

На рассвете 7 ноября в гетто въехали большие черные закрытые машины. Следом прибыли полицейские и гестаповцы. И началось... Оцепив часть улиц: Республиканскую, Островского, Немигу, Шевченко, Хлебную и некоторые другие,— ворвались в дома, повыгоняли всех и начали погрузку. Набивая машины до отказа, вывозили людей за город в Тучинку, в старые бараки, и возвращались. Весь день курсировали машины из гетто в Тучинку. Скопилось в бараках в неимоверной тесноте и духоте тысяч двенадцать, никак не меньше. Их держали много часов без еды и воды, а потом расстреляли у заранее вырытых ям. Никому из тех, кто попал в лапы гестаповцев, не удалось спастись.

Это была первая из запланированных в гетто крупных «акций» по уничтожению населения. За ней последовала новая — 20 ноября. Немцы объяснили кому-то в юденрате: «7-го план оказался недовыполненным».

20-го, однако, многим удалось уцелеть.

Евсей Шнитман:

Немцы учились распознавать наши «малины». Входя в дом, первым делом простреливали стены, потолки, полы. Что оставалось? Делать еще более надежные *скрыты* в самых неожиданных местах.

У меня с Хаймовичем родилась такая идея. В сарае хранился запас колотых дров, сложенных в два ряда. К сараю примыкал туалет, одна стена у них была общая. Мы оторвали три доски со стороны туалета, из внутренней кладки выбрали часть дров, образовавшуюся нишу укрепили кольями.

Едва пронесся слух: эсесовцы опять готовят «акцию», а слухам можно было верить,— я и Хаймович забрались в нишу. С трудом втиснулись. Сидели, согнувшись, лицом друг к другу и в обнимку — иначе не поместиться. Моя мать прибила доски на место, и скрыт изолировал нас. Так мы провели ночь на двадцатое ноября.

Забрезжило, стали смотреть в щели, что происходит вокруг. Дворы голые — заборы использовались на дрова, округа хорошо просматривалась. Примерно в десять часов со стороны Юбилейной площади показалась цепь эсэсовцев. В наш двор вошли два немца.

— Во зинд ди меннер? — спросили у моей матери.

— Нет мужчин,— ответила она на идиш, и немцы поняли.

Они обшарили углы, привычно постреляли по стенам и чердаку (это мы слышали и частично видели), заглянули в сарай и никого не обнаружили. Один захотел в туалет, открыл дверцу, другой остановил его, объяснив, что, по его мнению, еврейская уборная хуже цыганской. Они стали справлять нужду на ту стенку, за которой мы прятались.

Сердце у меня бешено колотилось, и я отчетливо слышал, как напряженно бухало сердце Бориса. В стене были довольно широкие щели, сто-

---

звеньев («десяток») и групп, установили связи с железнодорожниками, рабочими ряда предприятий города, помогли в создании подпольной типографии, где в основном трудились печатники-евреи, вышли на связь с партизанскими отрядами.

Славка неоднократно бывал в гетто, встречался с его представителями.

В конце марта 1942-го Казинца и нескольких его товарищей арестовали. Аресты продолжались и в апреле. Исая Павловича страшно пытали. Его повесили 7 мая 1942-го в Центральном сквере Минска. Последние слова Казинца: «Да здравствует Красная Армия!».

8 мая 1965 года, то есть через двадцать три года и один день после гибели, Казинцу посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза. Его именем названа улица столицы Белоруссии.

ило немцам внимательно посмотреть, и все решила бы короткая автоматная очередь.

Беспомощное сидение «в малине» ускорило наше решение уйти в партизаны.

Григорий Добин:

Утро выдалось туманное, промозгло-холодное. Я поднялся и пошел на работу, а числился сапожником в мастерской при украинском полицейском батальоне лагеря на Широкой. В мастерской, кроме сапожников, были портные, туда нас ежедневно водили из гетто.

Вижу сквозь туман: какие-то люди стоят кордоном. Немцы. Говорю: «Мне нужно идти на работу»,— и показываю аусвайс. Эсэсовец: «Жена у тебя есть?» «Есть»,— отвечаю, хотя о жене своей после того, как осталась она с сыном в Белостоке, не имел никаких известий. «Иди домой, не надо идти на работу, сегодня не надо»,— делая нажим на «сегодня».

Жил я на Замковой в семье Пикусов, отдавал им скудный паек — мастеровых немцы хоть как-то кормили. Состояла семья Пикусов из стариков-родителей, трех дочерей (одна замужняя с ребенком) и сына. Одну девушку — Иду — знал раньше: была она секретарем в редакции газеты «Октябрь». Она-то и приютила меня. Вернулся домой; Пикусы мне: что случилось, на тебе лица нет. Плохо, отвечаю, погром будет. Следом немец заскакивает: «Выходите все» — и гонит нас на площадь.

Площадь у Замковой кишмя кишит людьми. Кто с вещами, кто раздетый. Вопли, стоны. Операцией руководят немецкие офицеры в красных, как кровь, шарфах на шее, участвуют полицейские. Пробую кинуться к полицаю и получаю удар прикладом. Немцы кого-то отбирают и уводят в сторону. Вижу там знакомого, вместе в мастерской работаем. Ага, смекаю, рабочих они хотят сохранить. Нужны мы им п о к у д а.

Я к офицеру: так, мол, и так, имею аусвайс. Офицер читает справку, могущую служить пропуском, а мозг мой мысль высверливает: как помочь кому-нибудь из Пикусов. Как?!

Офицер в шарфе отдает справку.

— Жена у тебя есть?—повторяет вопрос, который час назад мне уже задавал другой немец.

— Есть,—и показываю на Иду Пикус.

Немец отпускает нас. Я успеваю выхватить у сестры Иды ребенка, отдаю его все понявшей Иде, и мы выходим из оцепления.

Дарья Ваппэ:

Незнакомая женщина подходит ко мне и абсолютно спокойно, рассудительно, мягко так, и н т е л л и г е н т н о, точно вопрос ее касается сугубо бытовой темы:

— Извините, ради бога, как вы думаете: нас будут здесь расстреливать, на площади, или поведут колонной?

Я на нее смотрю как на умалишенную.

— Какое это имеет значение?

— Простите, пожалуйста, но мне кажется—имеет. Если нас поведут, есть шанс укрыться в какой-нибудь подворотне.

Для людей сам акт массового расстрела превращался во что-то обыденное, вызывал даже не страх, а нечто иное, чему я не могу дать определения. Вспомню ту женщину, и спазм в горле.

Софья Гродайс:

В «акциях» мог выжить тот, кто боролся за себя и близких до последней минуты, до последнего вздоха. Что означало для нас, безоружных женщин, да еще с детьми, бороться, когда тебя гонят под автоматами на убой? Прежде всего не терять ясность ума, не поддаваться паническому страху, использовать любую возможность для спасения.

Меня вели на расстрел в колонне таких же обреченных. Многие покорились судьбе, шли понуря голову, с печатью смертного ужаса на лицах. Им уже ничем нельзя было помочь. Я же лихорадочно искала выход. Аусвайс свой (вынуждена была стирать белье в немецком штабе на Комаровской улице, чтобы с дочкой не погибнуть от голода) впопыхах оставила дома, когда всех выгоняли. Машинально ощупала карманы пальто и обнаружила ключи. Ключи от бельевой!

Я к гестаповцу, начинаю ему объяснять на смеси идиш и немецкого: без этих ключей никто не сможет попасть в комнату, где хранится чистое белье для господ офицеров (будь они трижды прокляты). Понял меня гестаповец и вывел из колонны.

Абрам Туник:

Мы не успели спрятаться в «малине», эсэсовцы вывели нас из дома и сообщили: вас выселяют в другой город, берите с собой теплые вещи и ценности. Я им, конечно, не поверил.

Построили в колонну по десять человек и повели. Я иду, мама, жена старшего брата с двумя детьми. Мама мне: «Можешь—спасайся», а жена брата с безысходностью: «Если суждено погибнуть, так всем вместе».

Подходим к улице Опанского. Край гетто. Если сейчас не бежать, потом поздно будет. Охраняют колонну полицейские.

Не одного меня мысли о спасении будоражат. Начинаем тихонько переговариваться, готовиться. Терять-то уже нечего. Повинуясь стихийному порыву, часть колонны бросается на стоящих к ним ближе всех полицейских. Те от неожиданности размыкают цепь. Стреляют нам уже в спины. Прячемся, где придется. Краем глаза вижу женщину, укрывшуюся на огороде в борозде, другие забегают в дома, сараи...

За мной вдогонку полицай бросился, я стал петлять, ему стрелять на ходу неудобно. Так мы с ним в беге и состязались. Я ловчее оказался, забежал в уборную, полицай след мой потерял. Переждал я минут пятнадцать, высунулся и надо же—чуть ли не нос к носу с тем же полицаем столкнулся. Опять наперегонки пришлось...

Прибежал я к знакомой татарке Соне, попросил ее спрятать меня. Та сказала, что боится: если немцы меня обнаружат, ее и всех близких расстреляют. В общем, отсиделся, отлежался на задах ее огорода и ночью вернулся в гетто.

Циля Ботвинник:

В самом начале ноября я родила. Роды оказались тяжелые, перенесла горячку. В таком состоянии с новорожденным скрывалась в «малинах».

Второго ноябрьского погрома избежать не удалось. Меня вместе с родителями и моим двухнедельным ребенком поставили в колонну.

Когда колонна подошла к концу улицы Опанского, мы поняли: гонят на расстрел. Отец заговорил со мной: «Доченька, ты молода и должна жить и бороться. Беги!» И мы организовали прорыв.

Не помню, как я оказалась в каком-то сарае. Ночью в сарай вошла русская женщина, принесла немного еды, а ребенку сладкой водички. Сказала, что из колонны бежало много людей, немцы обыскивают весь район, мне опасно здесь находиться. И я перебралась в гетто.

Утром увидела знакомую, которой чудом удалось легкораненой выбраться из-под трупов. Вернувшись в гетто, она подтвердила: после прорыва возникла суматоха, убежать смогли многие. Рассказала и про моих близких. У мамы внезапно наступило психическое расстройство, она начала петь, кричать нечеловеческим голосом. Ее застрелили на дороге. Отец не захотел оставлять маму и его убили рядом с ней.

Арон Фитерсон:

Беспокойно становится в гетто. Слухи ползут: за городом в Тучинке ямы роют. Не однажды видим: куда-то отряды полицейских направляются, с лопатами и бравыми песнями.

Узнаю я (было это восемнадцатого ноября): требуются рабочие на обувную фабрику. Надоело прятаться, попробую найти тех, о ком скрытая молва доносит: действует подполье. Да и от голода сильно страдаю, а там, на фабрике, баланду дают и хлеб. Но очень уж не хочется на немцев работать. Впрочем, работать можно по-разному, думаю про себя.

У меня товарищ есть, тоже сапожник, Рольбин. К нему за советом: идти мне на фабрику или не идти. Я тогда, естественно, не знал, что он с подпольной организацией связан. Рольбин говорит: иди.

Выдают мне аусвайс для выхода в город. Двадцатого появляюсь у ворот, чтобы на фабрику пойти, вижу: масса людей толчется, ждут, когда на работу отправят. Кроме полиции, немцы присутствуют, в касках, с автоматами. Есть пропуск, нет пропуска — стой и жди. Начинаю подозревать неладное.

Мимо движется колонна, кто во что одет, у некоторых узелки, ведут детей. Меня и других, толпившихся у ворот, пинками загоняют в колонну. Оглядываюсь, осматриваюсь, куда это я попал. Замечаю издали сестру свою с двумя детьми: рослым подростком и малышом, которого она за руку держит. Рядом муж ее, Кива. Пробираюсь к ним.

Ведут нас по гетто. Тишина кругом, словно вымерло все. Проходим улицу Опанского. Говорю Киве: «Кива, нас ведут на смерть. Пока идем мимо домов, надо попытаться бежать, потому что в чистом поле не скроешься».

...В прорыв бросаемся — я, Кива и старший племянник Рува. Бежим без оглядки, перепрыгиваем через какой-то забор, видим крыльцо дома и забиваемся под него. А Рува не успевает перепрыгнуть, пуля настигает его, и он на заборе повисает.

Увидев сына, истекающего кровью, Кива мне:

— Арон, я пойду на смерть вместе с сыном, — и выходит из укрытия.

Останавливается колонна, беглецов бросаются искать. Хозяин дома, под чьим крыльцом прячусь, выдает меня. Вытаскивают, начинают избивать сапогами и прикладами.

Двигаюсь дальше с колонной. Вижу Киву. Несет на себе сына.

Часам к двум дня приводят нас в поле, где большие ямы вырыты. Немцы и полицаи с ручными пулеметами. Командуют: сесть возле ям. Садимся. Отбирают группы, человек по пятнадцать — двадцать, подводят к краю ям и расстреливают. Некоторые идти не хотят, пытаются сопротивление оказать.

Не помню, как случилось: то ли толкают меня, то ли, услышав пулеметную очередь, сам кидаюсь в яму. Оказываюсь на груде трупов. Вроде живой.

На меня расстрелянные валятся, в агонии руками меня бьют, заливают кровью... Я стиснут со всех сторон, нет возможности пошевелиться, болит спина от тяжести тел и воздуха не хватает.

У меня на всякий случай яд припасен, чтобы не мучиться. Но теперь я его принимать не стану. Вдруг жив останусь.

Потихоньку выбираюсь из месива тел. Хоть дышать теперь могу. Лежу до тех пор, пока немцы и полицейские не уходят, оставив на мое счастье ямы открытыми.

Вылезаю из ямы и натыкаюсь на Киву. Узнаю его по черным усам. Он еле жив, бредит. «Кива, ты узнаешь меня?» Он успевает прошептать: «Арон, где моя Фрида?»

Ничем помочь я ему уже не могу. Бреду назад той же дорогой, которой нас вели в Тучинку. В придорожной канаве пугаюсь насмерть, увидев женщину, всю измазанную в крови. Видно, выгляжу я не лучше — женщина смотрит на меня с ужасом. Тоже, как и я, с того света возвращается. И опять в гетто.

Сам удивляюсь, как смог вынести такое и не сошел с ума. Правда, потом заболел, скрывался в «малине». Поправился и начал выполнять задания подпольщиков.

Память моя, память пишущего о гетто, иная, нежели память его узников. Моей памяти нет, ее просто не может быть. Я не видел тех ужасов, сужу о них по воспоминаниям других. Но постепенно во мне происходит некая подмена восприятия, и начинает казаться, что все происходило со мной в яви: и угон в колоннах, и отчаянное бегство под автоматами сквозь охрану, и поимка, и последний миг на гибельном краю, и падение в яму под сухой расстрельный треск, и внезапный толчок, обмирание в груди — жив! — и выползание из груды еще дышащих теплых тел... И потому память моя — СО-переживания, СО-участия, СО-страдания и СО-дрогания.

После двух кряду погромов территория гетто уменьшилась. Словно безжалостная рука хирурга отсекла обескровленные, омертвелые капилляры улиц. Очищенный квартал по приказу гестапо отошел в «русский» район. Узников поделили: в одном месте поселили фахарбайтеров, работников юдената, включая охрану порядка, в другом — прочих. Установился четкий порядок уничтожения: мастеровых не трогали, «выполняя план» за счет прочих.

Подпольщики постарались перевести к фахарбайтерам как можно больше семей. В этом им помогали свои люди из жилищного отдела юдената.

В часть обезлюдевших домов вселялись прибывающие эшелонами евреи из Германии. Их отделили от остальных колючей проволокой. Образовалось как бы гетто в гетто.

Борис Хаймович:

Лес. Он манил нас, рисовался единственным прибежищем. В лесу действовали партизаны, пока отдельные, разрозненные, немногочисленные отряды, но они существовали, сражались, и мы завидовали их бойцам.

Наша группа с согласия руководства партийной организации гетто и с помощью городских подпольщиков начала готовиться вывести людей в лес.

26 ноября сорок первого мы собрались на квартире Шнитмана. Кто присутствовал? Евсей, я, Ефим Столяревич, Леонид Окунь, бывший офицер, капитан, он предпочел гетто концлагерю на Широкой, два товарища из города: Жан[1] и Иван[2]. Проникали они в гетто регулярно, нацепляя желтые латы. Ночевали в нашем доме по Зеленому переулку, прятались от гестапо. Немцам и в голову не могло прийти, что русские подпольщики скрываются у нас под видом евреев.

План таков. Первыми в лес уходят человек пять-шесть. Забирают спрятанные на кладбище Кальвария оружие и боеприпасы. В Руденском районе организуют базу, прежде всего строят землянки и высылают в Минск проводника. Проводник связывается с Жаном. Тот достает на радиозаводе, где работает ряд подпольщиков, грузовую машину. Машина заезжает в гетто и забирает часть нашей группы — женщин и физически слабых людей. Остальных под видом рабочей колонны выводят Федя, тот самый партизанский посланец, приходивший в гетто в сентябре[3], и Иван.

Но как уйти к товарищам в лес налегке? Без теплой одежды, медикаментов? И тогда мы обратились к Мушкину. Да-да, к председателю юдената. Направился к нему Федя; Мушкин сразу согласился помочь. Федя, как условились заранее, заехал на лошади, погрузил умело оформленные Мушкиным неучтенные излишки готовой одежды: телогрейки, варежки, ватные брюки, бурки и доставил их в квартиру Рудицеров на Ратомскую. Другую партию одежды добыла Дора Бейненсон в швейных мастерских. Гриша Гордон, санитар инфекционного отделения больницы, принес лекарства, Абрам Релькин где-то достал шесть килограммов сала.

9 декабря на Ратомской во дворе дома Рудицеров появились телеги. Весь день ушел на оборудование в одной из них тайника. У меня имелся наган, больше оружия ни у кого не было. А ведь в пути всякое может случиться, из тайника же винтовки быстро не вытащишь. Пришлось с этим смириться.

На рассвете 10 декабря мы двинулись на двух телегах по улице Опанского в направлении Кальварии. Для маскировки пристроились к колонне извозчиков, каждый день уезжавших на работу к немцам. Благополучно добрались до кладбища. В указанном Иваном месте раскопали землю и достали со дна ямы 13 винтовок и ящики с патронами — четыре тысячи штук. Целое богатство. Спрятали в тайник, прикрыли соломой.

[1] Отважный разведчик и диверсант Иван Кабушкин. Посмертно стал Героем Советского Союза.
[2] Даниил Кудряков.
[3] Шедлецкий Федор Давыдович.

Пока мы откапывали оружие, на дороге началось движение. Одиноко стоявшая у кладбища вторая телега могла привлечь внимание немцев. Тогда Гинзбург, выполнявший роль извозчика, решил отъехать. И тем не менее он попал под подозрение. Обстоятельства сложились так, что ему пришлось спешно вернуться в гетто.

На кладбище мы сняли латы, дабы нас приняли за крестьян, ездивших в город менять еду на одежду. Не обнаружив Гинзбурга, все же решили продолжать намеченный маршрут. А Иван вернулся в Минск.

Двигались мы так: метров за сто впереди попеременно шли двое, затем телега со мной и Релькиным, сзади метрах в ста еще двое. Какой смысл? Если немцы пристанут к передним, остальные успеют повернуть обратно или уйти в сторону. Если к замыкающим,— другие рванут вперед. Кому-то придется погибнуть, однако иного выхода нет. Одним наганом много не навоюешь.

Деревни мы старались обходить. Сначала следовали по Раковскому шоссе. Миновали Барановщину, повернули на юг, проехали до Щемыслицы, потом на восток и оказались на Слуцком шоссе. Изредка проезжали немецкие военные машины. Одна затормозила перед самой лошадью, мы едва успели остановиться.

— Руссише бауэр,— гоготали немцы неизвестно отчего и показывали на нас пальцами.

Мы прикинулись ничего не понимающими дурачками. Я показал знаками — курить. Немцы угостили нас сигаретами, посмеялись, завели машину и уехали. Чего они от нас хотели?.. Я посмотрел вперед. Наш головной дозор сидел на обочине. Оглянулся назад: замыкающие тоже на обочине. Знаками показал — двигаться вперед.

Стало смеркаться. Лошадь устала. Остановилась. Движение на шоссе уже прекратилось. Нужно было свернуть в деревню, чтобы достать сена или овса для лошади, да и самим попросить еды. Ведь все сало осталось на второй телеге. Только Релькин имел буханку хлеба и брусок сала около полукилограмма.

Собрались вместе, обсудили положение. Впереди виднелся поворот с шоссе на проселок, указатель с надписью «Бахровичи». Быстро темнело. Лошадь еле тащилась. Расстояние между задними, передними парами и телегой сократилось метров до двадцати — иначе потерялись бы в темноте. Впереди замаячили контуры деревни.

Вдруг послышался окрик:

— Хальт!

Передние рванулись было бежать, Релькин круто повернул лошадь, она не хотела идти. Не бросать же оружие! Вшестером уперлись в телегу и покатили ее вместе с упиравшейся лошадью. Вслед прогремело несколько винтовочных выстрелов. Очевидно, часовой был один и преследовать нас побоялся.

Мы вновь выскочили на Слуцкое шоссе. Вскоре в стороне от шоссе увидели одинокий дом. Свернули к нему. Дом был недостроен, но уже накрыт крышей. Не было, правда, дверей, окон, пола, печи. Оставили лошадь на подворье, бросили ей остатки сена с телеги. Сами забрались на чердак и провели там ночь.

Едва забрезжил рассвет, запрягли лошадь — и проселком в сторону леса. Заехали в чащу, выбрали место поглуше, разгрузили телегу, разобрали второе дно, перекусили. Несмотря на то, что почти сутки голодали, ели очень экономно: сала кот наплакал, а сколько нам предстоит ждать своих товарищей, неизвестно.

Отправили в Минск связного-проводника Мишу Рудицера, а сами соорудили землянку, в ней сделали нишу для костра, вывели дымоход. Разложили костер в землянке, чтобы огня не было видно снаружи. При свете костра почистили винтовки, выставили пост.

Рудицер вернулся в Минск. Машина с радиозавода, присланная Славкой, подошла к границе гетто — Колхозному переулку. В машине находились минские подпольщики, командиры Красной Армии, медики, часть нашей группы. Сопровождавший машину Миша Рудицер потерял ориентир нашего местонахождения и привел людей в отряд Сергеева. Сергееву сообщили о нас: шесть человек с винтовками и боеприпасами находятся где-то неподалеку в лесу. Сергеев выделил поисковую группу, в которую включили Мишу. Они наткнулись ночью на нашего часового. Мы тут же снялись, партизаны помогли нам нести оружие и боеприпасы.

Через несколько дней Иван и Федя привели оставшуюся часть группы.

Из числа узников гетто Сергеев создал пулеметный взвод — тридцать человек. Я был назначен помкомвзвода, командиром — Леонид Окунь. Вскоре состоялось партийное собрание, на котором меня выбрали секретарем партийной организации отряда.

Так началась наша партизанская жизнь.

4

> Интернационализм наносит ущерб и ослабляет наличное расовое ядро, демократия разрушает личность, а пацифизм парализует естественную силу самообеспечения народов.
>
> Гитлер

Вами, евреями, заквасили, нами, белорусами, замешивать будут,— говорили в ту пору.

Вместе бедовали, вместе боролись, вместе гибли. Что могли бы подпольщики гетто без помощи местного населения? И наоборот: как радовались в партизанских отрядах каждому влившемуся в ряды мстителей посланцу гетто. Каждой винтовке, каждому нагану, каждому флакону йода, принесенным с собой.

Факты, факты... Возле ограды гетто по Зеленой улице ходит белорусский крестьянин. «Как там семья Янкеля Слоуца?» «Расстреляна». «Ах, ты, господи... Погодите...» Снимает с подводы мешок картошки, капусту, свеклу, перебрасывает через проволоку. Вез одним, а отдал другим мученикам.

В концлагере на Широкой гибнут заключенные, особенно евреи. Им тяжелее других сопротивляться улыбчивому изуверу Городецкому и его банде. Тогда школьный учитель, ставший в лагере шофером, тайно начинает вывозить евреев.

На конспиративных городских квартирах Ясинской, Герасименко, Гороховой, Мелентович, Каминской, Серовой и многих других встречаются подпольщики гетто, находят приют и кров. И наоборот, Михаил Гебелев прячет в гетто русских товарищей, беглецов из лагеря.

Многие русские и белоруски, жены евреев, не разлучаются с мужьями, живут за колючей проволокой, носят желтые латы.

Дора Альперович:

Седьмого ноября, в погром, удалось мне отдать своего шестилетнего сына знакомой — Марии Васильевне Бабич. Та устроила Леню в русский детский дом. Его выдали. К кому бежать за помощью? К Щасному, больше не к кому. Тот выслушал, взял бутыль самогона, сало, яйца и в полицию.

— Ошибка вышла. Это мой племянник, глядите, он же необрезанный.

Спас Николай Романович Леню и передал своей сестре.

Познакомилась я с Николаем Романовичем перед войной. Был он завхозом в детском доме на станции Ратомка под Минском, а я заведовала врачебным участком. Жена Щасного ждала шестого ребенка. Роды не совсем удачно прошли, при смерти она оказалась. Я отдала свою кровь, спасла и ее, и новорожденного. После этого мы еще больше сблизились.

Под первые бомбежки готовили мы с Николаем Романовичем госпиталь для раненых бойцов. Он мне:

— Дора Борисовна, надо уходить в лес. Перенесем раненых, а то всех разбомбят.

И мы ушли в лес. Немцы обнаружили госпиталь, раненых доставили в минскую городскую больницу. Конечно, не из гуманных соображений. Едва красноармейцы поправлялись, их немедля переводили в концлагерь на Широкой. Я и другие врачи, перебравшиеся в больницу, пытались спасать раненых. Собирали одежду, включая и женскую, переодевали бойцов, подлечившимся помогали убегать, многих переправили к Щасному в Ра-

томку. Тот их прятал. Помогал ему в этом сын Леокадий — пастух. Набирал он в торбу вареную бульбу, соль, хлеб и уходил в лес, где скрывались бойцы.

В детском доме, где Николай Романович хозяйствовал, жили десятки еврейских сирот. Понимал Щасный: погибель их ждет. И тогда он подделал документы: против каждой фамилии написал — «белорус, о родителях сведений нет». Всего таким образом спас шестьдесят детей.

Вскоре я попала в гетто. Щасный не забывал меня, помогал продуктами, и не только. Привезет, бывало, полмешка картошки, а туда вложит медикаменты. Где брал? В Ратомке разбомбили аптеку, собрал оставшиеся лекарства и спрятал. Как они пригодились потом!

Стена больницы выходила на улицу Опанского. В заранее установленный час я следила за появлением Щасного на подводе. Увижу его, подбегу к стене, он мигом перебрасывает мешок, а в нем вата, бинты, йод, сульфидин...

Светлый человек Щасный, не могу без слез благодарности вспоминать о нем. Много было таких, как он, иначе бы гетто погибло гораздо раньше и никакой помощи партизанам оказать не смогло. Однако находились и другие.

Обратилась я как-то к своему бывшему сокурснику Жизневскому, он тогда заведовал минским горздравом, как сейчас эта должность именуется. Выбраться в город не просто, кругом полиция. Рискуя, пошла к нему, попросила помочь медикаментами. Жизневский почувствовал: речь идет не только о больнице, но и о снабжении партизан. Отказал он мне:

— Я нiчога агульнага з гэтымi брудными людьми не маю.

И все же таких, как Щасный, оказывалось больше.

Полина Айзенштадт:

То, что выглядит нормой сейчас, тогда выглядело мужеством. Например, пустить чужого человека, тем более еврея, переночевать. И пускали, и прятали, и делились последними крохами. Однако... Правда о том времени — она как одеяло из лоскутов: один такой, другой сякой, нет двух похожих.

Перед первой «акцией» седьмого ноября сестра Рива с ребенком ушла из гетто к своей подруге. Та ребенка взяла, а ей отказала. Побоялась. Моя золовка русская вообще нас не приняла. «У меня у самой ребенок, поймите... Не немцев боюсь — соседей. Донесут, что прячу евреев».

Попадая в безвыходное положение, шли мы к Бубнову.

Виктор Александрович, до войны железнодорожник, жил одиноко, бобылем. Пробавлялся обменом вещей на еду. Познакомились мы случайно и обрели в нем верного друга, защитника. Седьмого ноября ночевали у него, а жил он за товарной станцией. Так и спаслись.

Сыну Ривы исполнилось одиннадцать месяцев. Голодал он, как и мы, страшно. Если бы не Бубнов, не выжить нам. Он и к проволоке приносил еду, и одежду давал.

Началась эпидемия тифа. С высокой температурой слегла я у Бубнова дома. Он бы и рад меня приютить, но ведь лекарств никаких. И тогда пожилой человек буквально на себе приволок меня в гетто, помог перебраться через проволоку и успокоился лишь тогда, когда узнал, что я в больнице.

Потом тифом заболела Рива. Получила осложнение — тромбофлебит. Нога превратилась в колоду. Бубнов продолжал приносить продукты к проволоке, подкармливал нас.

Феликс Липский:

Что мы ели? Варили крапиву, траву, когда перепадали картофельные очистки — «лупины» по-белорусски, был праздник. Голод мучил сильнее страха. К страху привыкали, и он исчезал, вернее, притуплялся, а вот к голоду... Я это состояние хорошо помню, хотя мне всего-то четыре года было.

Помогала нам Фата, Фатима Ибрагимовна, татарка. До войны работала вместе с моей мамой. Не то чтобы дружили, просто хорошие знакомые. И вот отрывала от себя последнее, поддерживала нас, чем и как могла. Однажды мне перепал от нее кусок белого хлеба. Представляете, настоящего белого хлеба! Такое не забывается...

Анна Серова:

Осталась я на оккупированной территории с двумя маленькими детьми. Коммунистка с 1929 года, сразу включилась в подпольную работу — иначе своего существования не мыслила. Квартира моя на Московской улице вскоре превратилась в конспиративно-явочную. Что только у меня не хранилось! Винтовки, гранаты, патроны, затворы, пишущая машинка, аккумуляторы, радиоприемники, бланки для паспортов и прописки, медикаменты, подпольная литература, листовки, газеты, сводки Совинформбюро...

Регулярно встречалась с евреями гетто. Анна Карпилова доставала в больнице вату, бинты, хирургические инструменты, приносила мне на квартиру, а я переправляла партизанам. Работавший на немецком складе Лайтайзен передавал оружие.

А дети... Их отдавали в «русскую» часть города, пытаясь сохранить им жизнь. Через городскую управу я устроила в детский дом сначала троих еврейских ребятишек от двух до восьми лет, потом еще одного мальчика-сироту. Остались они живы.

Однажды, едва начало смеркаться, заявились ко мне немецкий жандарм и полицейский-белорус. Увидели свет в окнах и решили проверить, есть ли у меня разрешение на пользование электричеством. Едва начался разговор, входит подпольщица и партизанская связная Настя Веремейчик, вернувшаяся из леса. Вот так встреча. К счастью, жила она у меня на легальном положении. Жандарм и полицай проверили ее паспорт, где была указана прописка в моем доме по Московской, освобождение с биржи труда, ничего подозрительного в документах не обнаружили, обшарили глазами комнату, но обыск проводить не стали.

А в эти минуты во дворе прятался бежавший из лагеря на Широкой Михаил Карпилов, брат Ани. Увидев в моих окнах свет, он осторожно заглянул и отпрянул при виде непрошеных «гостей». Переждал, пока они уйдут, и объявился. Я его накормила и отправила на чердак. Утром он и еще двое военнопленных из лагеря, тоже скрывавшиеся у меня, ушли с Веремейчик к партизанам. Не с пустыми руками — захватив оружие, гранаты, патроны и радиоприемник.

Во время очередного погрома евреев прибегает из гетто Аня Кристаль. Раньше приносила мне боеприпасы, лекарства, все, что удавалось доставать, хорошо знала мой дом. К кому же еще бежать?.. Прячу ее на чердаке. Буквально через час по Московской улице ведут колонну евреев на расстрел. Из колонны вырываются двое, один из которых Лайтайзен. Заскакивают в дом и прямо на хорошо известный им чердак. Тут же передо мной, стоящей с ребенком на руках возле ворот, вырастает полицейский с револьвером. «Куда бежали два еврея?» Говорю, что побежали они дальше по Рабкоровскому переулку.

Всех троих немедля переправила в лес.

Тяжелой выдается зима сорок второго для гетто. К голоду прибавляются холод в нетопленых квартирах, тиф, фурункулез, другие болезни. Особенно голодают коммунисты-подпольщики, не выходящие в колоннах на работу.

В гетто активизируется еврейская милиция, так называемая служба охраны порядка. «Оперативники» страшнее гестаповцев, ибо вынюхивают то, что можно скрыть от немцев. В подпольной типографии выпускается листовка, разоблачающая всех их поименно.

Новый удар — арест Мушкина и Серебрянского. Нашелся-таки провокатор. Работая в юденрате, как могли, помогали они подпольщикам и партизанам, сохраняя видимость нормальных отношений с немецкими властями. Мушкина долго мучили — ни единым словом не выдал он товарищей. Через месяц после ареста его вывезли из тюрьмы и, согласно проникшим в гетто сведениям, при попытке к бегству убили. Было ли это на самом деле или «бегство» инспирировали?.. Погиб и Серебрянский.

Но сопротивление растет, крепнет.

На Зеленой улице без призора стоит старая хата, в ней никто не живет. Хату растаскивают на дрова. Арон Фитерсон тоже отправляется «по дрова» и видит на полу кусок брезента. Тянет его и, к величайшему своему изумлению, обнаруживает под полом склад оружия: шесть винтовок, несколько сот патронов. Раздумывать некогда, коль свалилась такая удача. Он укрывает оружие в расположенной неподалеку яме.

Ночью он и Рольбин с сыном перепрятывают найденное в «малину».

В городе действуют оружейные мастерские. Одна из них — в помещении бывшего правительственного гаража. У Фитерсона там друг — Евгений Станкевич. Воевали в одном батальоне в гражданскую. Узнав, что Фитерсон в гетто, Станкевич приносит ему картошку, крупу. Однажды передает через проволоку в корзине наган и двенадцать патронов к нему. Оружие есть, говорит, только нужны деньги, чтобы его выкупить.

Группа Рольбина собирает немецкие оккупационные марки. Станкевич добывает пять наганов.

В эту же мастерскую по заданию подпольщиков затем устраиваются работать Циля Ботвинник и Катя Цирлина. Ходят они в огромных резиновых сапогах — чтобы упрятать больше затворов, подающих механизмов, лент с патронами. Берут с собой большие банки с двойным дном для баланды. Туда тоже прячут, что можно.

В обед Цилю и Катю вместе с остальными ведут в столовую. К ним незаметно пристраивается 12-летний Гриша Каплан по прозвищу «Сорванец», забирает полную запчастей банку и отдает взамен свою, пустую.

Воровать становится все труднее. Немцы ужесточают слежку за работающими. Нескольких военнопленных в назидание другим вешают прямо во дворе мастерской. Вместе с ними висят и двое евреев из гетто, взятых с поличным.

Хасю Фридлянд больше знают по кличке «Пекарка». До войны работала в пекарне, так и повелось — «Пекарка». Но что печь в гетто, когда нет муки?

Часто к Хасе в дом приходит Толя Ривкин, потерявший родителей. Он связан с комсомольцами в городе, часто пробирается к друзьям, возвращается то с гранатой, то с патронами и прячет у Хаси. Если она не одна, заводит примерно такой разговор:

— Хася, я принес вам кило муки.

Та раскричится:

— Зачем мне твоя мука? Мне нечем с тобой расплатиться.

Толя только рукой махнет:

— Подумаешь, позже заплатите. Я бы нашел охотников до муки, но меня тянет к вам, может когда угостите парой пирожков.

В кульке, естественно, не мука.

Уходят из гетто в лес новые и новые группы вооруженных людей. Уходит и группа, возглавляемая Матвеем Пруслиным, бывшим работником Сталинского райкома партии, заменившим погибшего Вайнгауза в руководящем центре еврейского подполья. Восемнадцать человек с интервалом в пять — десять минут удачно минуют проволочные заграждения, охраняемые теперь гораздо бдительнее, чем раньше, срывают с себя опостылевшие латы.

Не для всех благополучно складывается начало пути. Яков Цитвер, коммунист, кожевенник, нарывается на полицейских и попадает в участок. Лат на Цитвере нет, но и документов тоже нет. Какой-то чин, к которому попадает Цитвер, гонит его взашей: «Катись, чтоб я тебя больше не видел». Спутал с кем-то. Словом, спасся Яков.

Вот и бывший Сторожевский рынок — условленное место встречи. А проводника нет. В разных местах рынка топчутся люди и ждут. Ждут час, другой, третий. Наконец, появляется проводник.

Идут около двух суток. На север Минской области. Первую ночь коротают в придорожном лесу. Мороз около тридцати градусов. Разжигают костер, не боясь полицейских,— ночью в стужу их из хат не выгонишь.

Заходят в деревни, несмело, с оглядкой. Подкармливаются, отогреваются. И все-таки трое сильно обмораживают ноги: Пруслин, Фридман, Баскин.

Наконец, долгожданная встреча с отрядом. И немое изумление — партизан всего шестеро. И семнадцать выходцев из гетто (одну обессилевшую девушку пришлось оставить в деревне, иначе погибла бы в дороге).

Что делать с обмороженными? В соседнем отряде «Мститель» под командованием «дяди Васи» — Василия Трофимовича Воронянского находится врач по фамилии Щеглов, еврей из Минска. Дают ему знать. Он делает, что в его силах: пинцетом рвет куски мяса с пальцев ног обмороженных, накладывает повязки. Вот-вот начнется гангрена. Спасти людей можно в гетто, где есть врачи и нужные медикаменты. На подводу усаживают всех троих, и мальчишка-возница трогает лошадь.

Немцы перехватили подводу и повесили Пруслина и Баскина. Тело Фридмана, изрешеченное пулями, партизаны нашли весной — очевидно, он пытался спастись бегством.

Вскоре гетто покидает новая большая группа во главе с Израилем Лапидусом. Часть людей едет на машине, другие движутся пешком в направлении Слуцка. Обходится без потерь. Обживают временный лагерь будущего отряда имени Кутузова. Лапидус становится его командиром.

Следом идут 25 человек в Заславльский район. Ведет их Наум Фельдман. В Старосельском лесу начинаются их партизанские будни.

Софья Гродайс:

Упрямо стоит перед глазами женщина, с которой познакомилась в гетто. Не помню ни имени ее, ни фамилии, ничего, кроме того, что учительница, мать двоих детей. Младшенький, помню, без конца просил: «катотика», «катотика» — «картошечка».

Она выглядела обреченной, эта женщина, потому что не имела сил бороться за себя и своих малюток. Продавать и менять ей было нечего — потому и голодала с детьми. Ходить в колоннах на работу за баланду с куском хлеба? Пробовала. А кто будет сидеть с детьми, кто их накормит? Брать же детей с собой в колонны строго-настрого запрещалось. И никого из близких не осталось, неоткуда ждать помощи...

Однажды я подошла к ней и предложила:

— Я смотрю, как вы мучаетесь. Давайте переправим ваших детей в «русский» район, в детдом. Я вот свою дочку пристроила под белорусской фамилией.

Она отказалась. «Когда мы вместе, мне спокойнее,— ответила.— Отдам их — и изведусь от неизвестности. Да и кто гарантирует, что они там выживут».

Тоскливо у меня на душе сделалось. Протягиваю руку помощи и натыкаюсь на холодное отчаяние, опустошенность и безысходность. И вдруг откуда-то изнутри, из самой глубины приплыло отчетливое и устрашающе-ясное: можно спасти лишь тех, кто сам хочет спастись. А она *не хотела*. И многое мне в этот миг открылось...

Возможно, это стало ее протестом, протестом слабой, растерянной, разуверившейся женщины, протестом возвышающим, очищающим и искупляющим. Чем *так* жить, лучше никак не жить.

Гестапо вывесило приказ: кроме желтой латы, каждый еврей обязан носить белый номер с указанием улицы и дома, в котором живет. Неглупый со стороны немцев ход. Белый номер еще более усложнил жизнь подпольщиков. Ворвавшись теперь в любой дом, гестаповцы и полиция могли сразу определить, нет ли тут посторонних.

Комендант ввел воскресные «аппели» — переклички. Все население сгоняли в Юбилейную площадь слушать проповеди. Кто оставался в домах, расстреливали на месте. О чем вещал комендант Готтенбах? Пугая партизанами (узников гетто — партизанами?!), уговаривал не уходить в леса, где ждет неминуемая смерть от голода и холода, сулил прекратить массовые «акции» — только добросовестно работайте... Обещал вознаграждение за каждого выданного подпольщика или того, кто намеревается уйти в лес. А потом выталкивал вперед певца Горелика. Начиналась «музыкальная пауза».

Горелика слышно было всем. Специально не убивали его — пусть поет, бередит еврейские души. И он пел под оркестр. И как пел! Начинал

с молитвы «Бмоцээй йойм мнухо», обычно исполнявшейся в синагогах на исходе субботы. «На исходе дня отдыха удали всякую печаль и стенания, пусть грядущая неделя принесет довольство и спасение, пусть в этом месяце будут слышны голоса радости и веселья, и пусть будут удовлетворены все наши потребности». Это в гетто — голоса радости и веселья...

В квартире на Торговой улице в начале мая Гебелев встретился с уцелевшими после арестов подпольщиками. Увидел знакомых — Ватика, Омельянюка, Сайчика, Хмелевского... Подытожили работу за полгода, пришли к выводу: не все было продумано, учтено, взвешено: «Десятки» оправдали себя, пожалуй, лишь в гетто. Нужны более тесные связи с важнейшими предприятиями — на них в первую очередь ориентироваться. Ну и, понятно, конспирация. Вот где наиболее слабое место. Был избран новый городской партийный комитет. Образовали пять подпольных райкомов. В том числе в гетто, где секретарем назначили Гебелева.

Работать все труднее. Гестаповцам известны имена подпольщиков, их разыскивают. У Гебелева имеются всякие документы, но и это может не спасти. Со Столяревичем же вышла такая история.

Немцы пригрозили юденрату: если не поможете его найти, всех вас уничтожим. Тогда кто-то догадался заполнить чистый бланк паспорта на Ефима Столяревича, вымазал его в крови и отдал в гестапо: дескать, паспорт извлечен из одежды убитого в одном из домов, где ночью произошел погром. Немцы вроде успокоились.

А вот Зяма Окунь, пробираясь в испытанную «малину» на Замковой улице, попал в руки еврейских «оперативников» и был передан в гестапо. Еще одна потеря. Увы, не единственная.

Арестовали Евеля Рольбина — руководителя «десятки». Работник с мыловарни таскал ему мыло, дочь Лена продавала мыло на рынке, на вырученные деньги покупали оружие, теплую одежду, лекарства. Все шло хорошо до тех пор, пока рабочему с мыловарни не взялся помогать один тип по имени Янкель: невысокий, коренастый, чернявый, больше похожий на цыгана. Рольбина предупредили — будь с ним осторожен. Поздно.

Утром первого июля дом окружили гестаповцы с собаками. В «малине», которую выдал Янкель, ничего не нашли. Принялись зверски избивать Евеля и его сына Михаила. Ударом приклада Евелю разбили голову. Потом натравили на них овчарок. Миша побежал, гестаповцы подстрелили его. Воспользовавшись суматохой, жена и дочь Рольбина через пролом в заборе заскочили в соседний двор и скрылись.

Предателя Янкеля приговорили к смерти и вскоре уничтожили.

Елена Рольбина:

В начале августа я получила сообщение, что мой отец повешен в районе Комаровки. Рискуя жизнью, я с подругой Лилией Копилович пробралась на Комаровку и там в последний раз увидела отца. Я узнала его сразу, хотя он был буквально растерзан. На груди у него висела табличка: «Повешен за связь с партизанами».

Гебелева арестовали в июле сорок второго в момент, когда он готовил уход к партизанам нескольких десятков военнопленных. Случилось это у проволоки. Михаил успел спрятать «еврейский» пиджак с латами и пропуском на имя Русинова. В тюрьме он оказался как русский. Тайник раскрыли. В гетто объявили: кто укажет, чей это пиджак и кто такой Русинов, получит вознаграждение. Никто не откликнулся.

По свидетельству подпольщицы Мелентович, Гебелев прислал из тюрьмы записку. Он хорошо знал Мелентович, встречался в ее квартире со Славкой. Записка предназначалась Николаю Шугаеву, секретарю Советского подпольного райкома партии. Гебелев просил Шугаева с помощью знакомого ему полицейского принять меры к его освобождению. Михаилу стали готовить побег. Предложили охранникам большие деньги. Ничего из этого не вышло.

Погиб Гебелев, очевидно, в августе. Посмертно он был награжден орденом Отечественной войны второй степени.

Дети гетто. Сколько их было: тысяча, две, десять? И кого считать детьми, до какого возраста? За колючей проволокой быстро седели, старились — и взрослели тоже. Достоевская слезинка замученного ребенка капля за каплей рождала море слез — во имя фашистской «высшей гармонии».

Феликс Липский:

В гетто мне исполнилось четыре, потом пять лет. Я помню чувство страха и чувство голода. Боялись немцев, полицаев, «оперативников». Есть хотелось всегда, даже во сне. Мне иногда неловко садиться за стол в гостях: мигом сметаю все, что в тарелках. Ничего не могу с собой поделать — это от того времени.

Страх быстро улетучивался, вернее как бы тускнел, становился привычным и оттого менее страшным. К голоду же привыкнуть оказалось невозможно.

Мы рано становились понятливыми, сообразительными. Если прятались в «малинах», понимали — надо молчать. Молчать во что бы то ни стало. Если попадали в лапы немцев, кожей ощущали — надо бежать, бежать во что бы то ни стало.

В один из погромов возле кладбища стояла «душегубка». Хватали и запихивали в нее, кто попадется, без разбора. Маму и меня тоже втолкнули. Улучив момент, мужчины изнутри сильно ударили по двери, часовой упал, мы выпрыгнули и побежали. До сих пор помню этот бег. Потом, когда спрятались, у меня начался понос.

Роза Липская:

Подпольщики принесли мне домой мешочек со шрифтом. Я его спрятала под подушку. Кроме кровати, у меня ничего не было. На ней я спала с сыном Феликсом. Рядом стояла кровать соседей. Сосед, на мой взгляд, был нехороший человек, я его опасалась.

Пришел Феликс и лег на кровать. Стал поправлять подушку, вдруг из-под нее выпал мешочек и шрифт рассыпался. Мой сын мигом спрыгнул с кровати и скорее начал собирать шрифт. Ребенок уже все понимал...

Циля Ботвинник:

Когда мы садились переписывать листовки, Феликс без чьей-либо подсказки выходил из комнаты, садился на крылечке и охранял нас. Сигнал о чем-то подозрительном подавал так: начинал петь или плакать.

Я пришла к Розе, его матери, с частями от винтовки, а ее не оказалось дома. Уйти с таким грузом я не могла. Феликс увидел мою растерянность и говорит: «Тетя Циля, не бойтесь, положите мне этот сверток под подушку, а я буду лежать, пока мама не придет, а если ребята позовут играть, скажу, что заболел».

Мы покинули гетто в июле сорок третьего. Никто не верил, что пятилетний мальчик, истощенный, похожий на свечечку, сможет дойти до места, где нас ждут партизаны. Сколько же мужества он проявил! Единственно просил: «Мамочка, не отставай от группы, пойдем скорее, я очень хочу жить».

Сотни детей гетто с помощью подпольщиков оказались в «русских» детских домах. Любой ценой родители хотели сохранить им жизнь и сознательно разлучались. Потом, после освобождения Минска, находили или начинали искать. Иногда долгие годы.

Софье Гродайс посчастливилось: она нашла дочь.

Лилия Гродайс:

Трех с половиной лет от роду я получила новое имя — Маня Жук. Мама смогла записать меня белоруской и переправить в детский дом.

Что я помню? Помню детдомовский сад с крупными антоновскими

яблоками. В бомбежку деревья горели, яблоки запекались на ветках и падали в траву. Стоял немыслимо вкусный запах...

Еще помню: дети вокруг говорили, что у евреев кровь черная. Я боялась нечаянно порезать палец или разбить коленку: вдруг потечет кровь и все поймут, что я еврейка.

Постоянно голодали. Однажды воспитатели нарочно покрошили мыло, чтобы отучить нас собирать объедки. Мы приняли за хлебные крошки и съели.

Поп в рясе учил молиться.

Приходили немцы, спрашивали у меня: где твои родители? Я, видимо, вызывала у них подозрение. Отвечала — не знаю. Я все понимала, абсолютно все, хотя сейчас это кажется невероятным.

Тяжелее всех приходилось тем, кто, как Циля Ботвинник, рожали в начальную пору гетто. Они производили на свет обреченных. Новорожденные жили месяц, два, от силы четыре.

Дарья Вапнэ:

Родовые схватки начались у меня ночью. Как врач, я понимала — спасти меня могут только коллеги. Пошла к больнице, перелезла через забор (сейчас не верю, что такое было возможно). Лаяли собаки, я думала, что меня найдут и прикончат. Обошлось...

Сын мой прожил четыре месяца. Я приняла горькое известие без слез, понимая — иная судьба мальчику не суждена. Бесконечные погромы, утрата родителей, сестер притупили мою боль.

В гетто к смертям мы относились иначе. Условия существования вырабатывали своего рода иммунитет, невосприимчивость к ним, иначе бы мы все в одночасье сошли с ума.

Полина Айзенштадт:

На территории гетто тоже существовал детский дом. После очередных облав и погромов прибавлялось сирот. Врачом здесь работала Сима Чернис. Моя тетя дружила с Симой и после того, как я переболела тифом, устроила меня к ней.

Кормились скудно. Смертность была высокой. Умирали дети от дифтерита, других заразных болезней. Их заворачивали в простыни и хоронили. Я носила такие узлы на кладбище. Думаете, мне было страшно? Нет, привычно. Что-то, данное от природы, вековечное отмирало в нас. Особая реакция воздействия на психику, дотоле никем не изученная.

Детский дом обезлюживал дважды — второго марта сорок второго и в апреле сорок третьего. Второй раз — окончательно.

...Днем второго марта внезапно всех нас вместе с детьми стали выгонять на двор. Мы уже знали: в гетто царит кровавый разгул, и нам спасения нет. Но чтобы детей?! В момент высшего напряжения, стресса мозг мой начинал работать с удесятеренной энергией. Держу аусвайс в вытянутой руке, сую под нос эсесовцу: «Я пойду помочь одевать детей». Вхожу и вижу Чернис в белом халате. Лицо у нее цвета халата. И аккуратно так, неторопливо, добротно завязывает шарфик ребенку. Чтобы не простудился...

Мне чудом удалось спастись.

Детей живыми кидали в яму и засыпали песком под душераздирающие крики. В воспоминаниях одного из узников гетто говорится: приехал сам обер-палач Белоруссии Кубе, швырял конфеты детям, которых вот-вот бросят в могилу. Факт этот ничьими другими воспоминаниями не подтверждается. Кубе действительно бросал конфеты детям, но в тот ли день, в тот ли момент? Впрочем, имеет ли это значение...

Обезлюдевший 2 марта детдом снова стал наполняться голосами — нужно было куда-то девать остающихся без родителей и родственников. Через год он смолк окончательно.

Михаил Столяр:

В детдоме я подружился с еврейским мальчиком из Польши по прозвищу «Гот». Бог, значит. Набожный он был, знал массу песен, стихов. Я его подкармливал. А приходил я в детдом помыться и переночевать. Вся жизнь моя и моих сверстников — таких же заполошных пацанов — проходила на вокзале. Что мы там делали? Это отдельный разговор.

Тот апрельский день сорок третьего выдался удачным. Я кое-что сбомбил в товарняке, продал, накупил пончиков и угощал ребят. «Гот» пел, дурачился.

Легли спать. Снится: кто-то обнимает и целует меня — «Мишка, прощай!». Просыпаюсь: стоит «Гот» и впрямь обнимает и целует меня. Выглядываю в окно. Машины внизу, фонарики высвечивают немцев, полицаев. Я схожу на первый этаж. «Гот» и еще несколько ребят за мной. Там лючок, мы в него заползаем и сваливаемся в какую-то яму.

Слышу: кто-то продирается к нам. Три выстрела. Чую — дело худо. Начинаю выбираться и выскакиваю наружу. Полицай — за мной. Юркнул я от него и вжался в фундамент здания.

Кто-то рядом со мной: «Ой, холодно...». Оказался инвалид, тоже спасался. Дело в том, что одну половину здания детдом занимал, вторую — инвалидный дом.

Нас обнаружили. Немцы фонариками светят, гогочут, а полицаи пляшут на лежащем инвалиде, уминают его сапожищами. Я бросаюсь резко в сторону и даю деру что есть духу. Стреляют по мне. Что-то сильно обжигает. Бегу, а сам думаю, что мертвый.

Стучусь в первый попавшийся дом. Не открывают. Стучу в другой. Открывают, видят меня окровавленного: «Детдом убивают!» Забинтовывают царапину от пули — неглубокая, к счастью, оказалась — и прячут в погреб. До утра.

Утром выхожу на свет божий перебинтованный, голый, босый, а на улице заморозки. Меня толпа обступает. Кто-то по-еврейски: «Лучше бы его пристрелили, чтоб не мучился». Выбираюсь из толпы и проходными дворами в направлении детдома. По дороге встречаю приятеля по вокзалу Оську. Он мне: «Детдом пустой. Детей и инвалидов в «душегубки» загнали».

Дом и в самом деле пустой. Около лючка нахожу чьи-то ботинки. Надеваю. Сверху на меня капать начинает — через пол кровь стекает. Подхватываю одежонку — и на вокзал, к своей шатии-братии.

Рядом с детдомом инфекционный барак находился с заразными детьми. Их той же ночью полицейские ножами исполосовали. Всех. А нас, как потом выяснилось, всего трое спаслось. Из трехсот пятидесяти.

Есть боль недуга. Есть боль грусти, тоски. Есть боль любви, сладчайшая и горчайшая. Есть боль горя, отчаяния, утраты, разлуки. Есть боль неминучая и проходящая. А есть боль запредельная.

Я не могу писать о том, как в «малине» задушили начавшего пищать четырехмесячного ребенка — плач мог навести немцев. У ребенка не было имени — при рождении его никак не нарекли.

Я не могу писать о том, как шестилетний Яша вылез из-под груды облитых бензином, горевших трупов (среди них и его родители) и, закоченев, обогревался у этого огня.

Я не могу писать о том, как сидели в крохотном скрыте двадцать человек, спасаясь от четырехдневного июльского погрома сорок второго, слыша за стеной крики и выстрелы, сидели в духоте и спертости, без еды и без воды, и изнемогшие дети пили мочу. После этих четырех дней у четырехлетнего Феликса Липского появились седые волосы.

Я не могу писать о том, как гестаповец Менцель, иногда проверявший рабочие колонны и не допускавший присутствия в них матерей с маленькими детьми, вырвал из рук женщины малыша, наступил ногой на его головку и разорвал тельце пополам.

Я не могу писать о том, как офицер Авсей Лупьян получил на фронте известие о гибели в гетто всей семьи и начал в перерыве между боями писать своим мертвым детям — двум мальчикам и девочке.

Лет двадцать назад ломали дом, в котором семья Лупьян жила до войны и куда он не захотел, не смог вернуться после фронта. В подвале он нашел детские пинеточки и башмачки. Они по сию пору хранятся у Цили Ботвинник, также потерявшей близких, и на которой потом женился Лупьян. У них были общие дети.

За два часа до смерти у Авсея Семеновича, перенесшего третий инфаркт, резко упало давление. Сын Ян, врач, ввел отцу нужное лекарство, тот порозовел. «Есть бог на свете, раз я пришел в себя»,— прошептал он. И после паузы: «Нет, все-таки бога нет. Если бы он был, он покарал бы Гитлера, а не моих малюток».

Умирая, он вспоминал троих своих детей, погребенных в гетто.

Я не могу писать об этом, а пишу...

Детям в гетто приходилось совсем круто. Главное, где и как добыть пропитание? От этого зависело: жизнь или смерть. Путь был один — в город.

Владимир Рубежин:

Так случилось, что в гетто я оказался один-одинешенек. Мать с моим младшим братом смогла эвакуироваться, отец ушел на фронт, успев вывезти меня в Минск из пионерского лагеря. Словом, надеяться не на кого.

Роста я был маленького, но коренастый, шустрый. В обиду себя не давал. Ежедневно ходил на Комаровский и Суражский базары с мешком. Менял вещи (покуда имелись) на муку, лук, хлеб. Целыми днями пропадал в городе. Носил я тогда челку, на еврея не походил. А вечером возвращался в гетто. Или втирался в колонну возвращавшихся с работы, или пролезал под проволоку. Как когда.

Еще одно место сбора пацанья — вокзал. Как и остальные, я попрошайничал. Иногда из проходивших мимо немецких эшелонов бросали огрызки хлеба, остатки консервов. Тем и питался.

К ватагам я не присоединялся. Сам по себе. Когда встречал немца и полицейского, никогда не убегал, не переходил на другую сторону улицы. Они ведь точно собаки — чувствуют, когда их боятся. Пер нахально на них и глаз не отводил.

Жизнь учила наблюдательности. Бывало, подойду к гетто: что-то много охраны. Идти опасно. Возвращаюсь в свой родной довоенный двор, отдираю доску от сарая и ночую внутри.

Однажды оказался в облаве. Полицаи шмон устроили. Отдал отцовские часы. Отпустили.

Второй раз, помню, на Юбилейную площадь согнали людей. На смерть. И я туда попал. Убежал.

Михаил Столяр:

В семье нашей девять детей было. Отец раньше жил за границей, владел английским, немецким, французским. Человек образованный, начитанный, люди к нему тянулись. В гетто он работал в портняжной мастерской. Русские соседи по старой квартире помогали, носили картошку к проволоке. Я, в свою очередь, частенько уходил в город менять оставшиеся вещи на продукты.

Второго марта сорок второго побежал навестить друга и попал в облаву. Русоголовый, получил плеткой по спине и полицейское напутствие: «Вон отсюда!». Не признал полицай меня за еврея.

Убежал через проволоку на вокзал, переночевал там, а когда вернулся — дом пустой. Все погибли. Только одна сестра смогла спрятаться в «малине». Сидела там и старшая сестра. Сама добровольно вышла из укрытия и — в колонну вместе с близкими. Погибать — так вместе.

Ходил с мальчишками на пассажирскую и товарную станции. Воровали, меняли, выклянчивали. Объединялись в ватаги, шайки. У всех клички. У меня — «Черт». Опекал меня «Капиталист» — русский хлопец лет шестнадцати. Что собирал, половину ему отдавал. А он меня за это защищал.

Стоит на путях товарняк. Делаем дырку в вагоне, шарим руками, достаем, что можем,— в мешки и на рынок. Так и существовали.

Немцы облавы на нас устраивали. Собак пускали. Мы — под вагоны и врассыпную. Если русских ловили, часто отпускали, евреев же — в машину и на еврейское кладбище. Там и расстреливали. Я, видно, за русского сходил — дважды отпускали. А вот Мишка Тайц побывал-таки в машине. Выпрыгнул на ходу. Эсэсовец выстрелил — на Мишкино счастье осечка.

Запомнилось вот еще что. До войны в моем классе учился мальчик по фамилии Бат. Плохо учился, а я хорошо. Меня закрепили за ним. Семья его была неблагополучная, отец пьянствовал, мы же с ним сдружились. Тогда, надо сказать, мы не интересовались, кто какой национальности. Я не знал, что он, оказывается, немец, он не знал, что я еврей. И вот в сорок втором встречаю его в городе. Обрадовались. Завязали разговор. Он меня, между прочим, спрашивает:

— Ты кто по национальности?

— Еврей.

— Еврей? — делает удивленные глаза, демонстративно поворачивается и уходит.

Однажды в «русском» районе окружила меня ватага пацанов.

— Жид, давай золото, а то убьем!

Начали меня колошматить. И вдруг окрик:

— А ну, разойдитесь!

Это оказался Бат — вожак ватаги. Ничего мне не сказав, не поздоровавшись, он тем не менее увел пацанов.

Ну, а дальше — детдом, куда я пришел, дойдя до ручки, обовшивев, изголодавшись, апрельский погром и уход в лес.

С каждым месяцем гетто охраняется все строже. А связь подпольщиков с городом и партизанами не должна обрываться. Несмотря на провалы, гибель преданнейших людей. Коммунисты гетто используют в роли связных и проводников мальчишек и девчонок. Они участвуют в сопротивлении наравне со взрослыми.

Попадает в лапы гестапо Давид Герциг, бесстрашный Женька. Его пытают, но он никого не выдает.

Гибнет пятнадцатилетний Нонка Маркевич. В его квартире по Зеленой улице — склад патронов, радиоприемник. Гестаповцы забирают Нонку, его мать и младшего братишку.

Гришку Каплана — «Сорванца» ловят, когда он перелезает через проволоку.

На их место встают новые бойцы — именно так хочется назвать юных мстителей гетто.

Боня Гаммер, Давидка Клионский, Леночка Рольбина и десятки других. Мальчики и девочки, десяти — двенадцати лет — глаза и уши подпольщиков, партизан. Сколько же тягот выпадает на их долю!

Володя (Вилик) Рубежин везет из Дома печати на саночках через весь город мешок, на четверть набитый типографским шрифтом. Адрес подсказан Брониславой Загало — связной одного из отрядов. Идет Вилик, впрягшись в сани, и думает об одном: как бы миновать полицаев и немцев. А они, как назло, на пути. Страшно? Наверное, страшно. Только не дрейфить, глядеть гадам прямо в глаза, не подавать вида, что внутри каждая жилочка напряжена.

На краю города ждет «тетя Броня» на подводе. Вилик отдает ей шрифт. Еще одно задание выполнено.

Подпольщица Ася Пруслина узнает: у одного человека есть большой запас патронов. Он готов их отдать при условии, если его отправят к партизанам. Условие принимается. Пруслина просит помочь комсомольцев Сашу и Вову Барсуков — детей ее знакомой, прятавшей евреев, помогавшей сестре Белле.

Ребята грузят цинковые ящики — девятнадцать штук — на сани, едут по условленному конспиративному адресу. И надо же случиться: на Долгобродской улице тяжело груженные сани ломаются. Парни теряются и убегают — выдержка, она не на пустом месте рождается.

Целый день сани с патронами мерзнут на улице. Из дальней подворотни Саша и Вова следят за ходом событий. Никому и в голову не приходит поинтересоваться грузом.

Вечером, убедившись, что никакой слежки нет, парни перегружают ящики на другие сани и отвозят.

Массовый уход в партизаны требует новых и новых проводников. Выводит людей из гетто и Вилик Рубежин. Система отлажена: утром через проволоку и — цепочкой, с интервалами десять — пятнадцать метров, в направлении аэропорта. Там очередную группу встречает «тетя Броня».

Были проводники, особо «ценившиеся» и у немцев. За поимку 13-летней Симочки, племянницы члена подпольной группы Арона Фитерсона, назначили большую награду.

Серафима Водзинская:

На окраине Минска были кирпичные заводы. Фашисты гоняли туда людей на работу. Пристроюсь к колонне и прохожу в город. Так же и обратно. На завод гоняли не только из гетто. Находились там и белорусы, и русские.

Однажды в марте сорок третьего, помню, еще не стаял снег, на заводе в обеденный перерыв молодежь грелась у костра. Девчата напевали какой-то мотив, угостили меня печеной картошкой. Я возьми и запой негромко песню про бойца, о подвиге которого знает Сталин. Немец-охранник услышал слово «Сталин», бросился ко мне, пнул ногой, стал кричать на ломаном русском: «Ти ест партисан».

Потом убежал — видно, кого-то позвать. Мне говорят у костра: «Девочка, тебя расстреляют. Вон в заборе лазейка, тикай»...

И я убежала, но не домой, а в Старое село. Слышала, что там бывают партизаны. Уже стемнело, когда на околице меня остановили. Спрашивают: «Ты чего по ночам такая маленькая бродишь? Заблудилась?» Я вначале решила — полицаи. Потом увидела: девушка с автоматом. Была не была, думаю, расскажу, как есть, кто я и откуда. Так я попала в отряд имени Пархоменко.

А в апреле первый раз отправилась с заданием в Минск, в гетто. Вывела группу людей. Делала это неоднократно. На всякий случай имела «нееврейские» документы и маленький дамский пистолет.

Арон Фитерсон:

Сказали, что в одном доме меня ждет человек. Кто, что? Теряюсь в догадках. Раз ждет, надо идти. Захожу к моему знакомому Канторовичу. В комнате стоит высокая, застланная красивым покрывалом кровать, похожая на свадебную. Меня это удивило. «Жениться собрался?» — спрашиваю Канторовича. И вдруг кровать зашевелилась, оттуда выскакивает Симочка и бросается мне на шею: «Дядя, я пришла за вами, мне велено отвести вас в лес!».

Я отказался идти один без Розы Липской и ее сына Феликса. После того, как я в погроме потерял семью, мы сблизились. Оставить их я не мог.

Симка, чертенок, кружит вокруг меня, веселая, возбужденная. «Будь осторожна», — только и сказал я ей на прощание.

Серафима Водзинская (продолжение):

Предатель, видно, донес на меня. Хватало мрази в гетто. Я не знала тогда еще об этом и завернула к нашему дому предупредить маму, чтобы готовилась к уходу в лес.

Вижу в окно: во двор входит Готтенбах с полицейским. «Мама, это за мной». Прячусь под периной в самую глубину кровати. Готтенбах — главный гестаповец, отвечающий за гетто, спрашивает маму: где дочь? Потом вдвоем принимаются ее избивать. Два меньших братика плачут, да разве слезы фашистов остановят...

У меня чуть сердце не разрывается. Хочу выйти, попросить, чтобы маму не мучили: мол, вот я. Но тут же сама себе: маму они все равно не отпустят.

Увел Готтенбах маму и братиков. Я убежала в лес. На квартире немцы засаду устроили — потом мне рассказали. По возвращении в отряд посмотрела на себя в зеркало: наполовину седая. В тринадцать-то лет.

5

> Кто виноват в том, что кошка жрет мышь, мышь, которая ни одной кошке не сделала никакого зла? Мы не знаем, в чем смысл этого, но мы хотим видеть еврейский народ в состоянии разгрома.
>
> Гитлер

На Обутковой улице, входившей в черту гетто, была больница. Состояла она из трех отделений: инфекционного и — напротив него, через дорогу — терапевтического и хирургического. Руководил больницей коммунист Кулик. И вовсе не случайно вокруг него сформировалось ядро врачей, с первых же месяцев активно помогавших подполью, а затем партизанам.

В основном — бывшие преподаватели мединститута, недавние выпускники вуза, студенты. Хорошо знали друг друга, кто чем дышит, на кого можно надеяться, а кого следует и поостеречься. Соответственно подбирали *коллектив*, как ни странно звучит близкое советскому человеку понятие, соотнесенное с бытом и порядками, насаждаемыми фашистами в гетто.

Кулик предложил Дарье Вапнэ перейти из терапевтического отделения в инфекционное. «Зачем?» — не поняла она. «Так надо, Даша». Больше она вопросов не задавала.

Точно так же появились в больнице и другие, выполняя то, что от них требовалось. И даже больше.

Анна Карпилова:

Я начала работать стажером в больнице в августе сорок первого. Почему стажером? В июне я только-только закончила мединститут. В больнице находились куда более знающие врачи, известные всему Минску.

Мы непременно хотели вырваться к своим за линию фронта или уйти в лес. Не помню ни одного настроенного на сотрудничество с врагами.

Сбор медикаментов — первое задание, полученное нами от подпольщиков. Часть лекарств припрятали в самом начале оккупации. Другой источник — аптека. Заведовал ею провизор Хаютин, помогавший нам. По заявкам мы выписывали гораздо больше лекарств, чем требовалось. Так создавался фонд, особую ценность которого мы осознали, когда начались массовые уходы в партизаны.

Передавали мы медикаменты разными способами. Например, таким. Иногда нас колонной водили в баню на Долгобродской улице. Я заранее подготавливала партию лекарств и перевязочного материала. В черте города незаметно пристраивалась связная Анна Серова, я передавала ей сверток или сумку, и она выбиралась из колонны.

Однажды чуть не произошла беда. По дороге случайно раскрылась сумка, посыпались пузырьки, флаконы, бинты. Идущая рядом Дора Альперович, не мешкая, упала на землю и стала запихивать лекарства за ворот платья. Увидела бы охрана — нам конец.

В гетто начался тиф. Если бы об эпидемии узнали немцы, они уничтожили бы не только больных, но и больницу — так панически боялись всяческой заразы. Ситуация отчаянная. С одной стороны, надо скрывать эпидемию, с другой — задушить ее, не дать широко распространиться.

Когда больные снимали с себя одежду со вшами, она *шевелилась*.

Мы не спали сутками. Делали возможное и невозможное. Почти все врачи сами переболели сыпняком.

Дарья Вапнэ:

Перейдя по просьбе Кулика в инфекционное отделение (там ему особенно нужны были свои, преданные люди), я вскоре заболела тифом. Ставший впоследствии моим мужем Ефим, санитар в отделении — перед войной он закончил третий курс мединститута,— ухаживал за мной, подкармливал. Однажды принес бутерброд с маслом. Где уж достал его... Я страшно удивилась и не смогла съесть, настолько нереальным, точно приснившимся выглядел бутерброд в тех условиях. А у самой голодные отеки...

В гетто объявился гестаповец Рыббе — наш сущий бич, адское наказание. Немного выше среднего роста, гладкий, с животиком, белесый, водянистые глаза. Никогда не повышал голоса, подчеркнуто невозмутимый. Холодом могильным веяло от него. Ходил с плеткой, часто с овчаркой, и любил во все совать нос.

Вечером внезапно появляется в нашем отделении. Я дежурю. На койках все сыпнотифозные — новая волна эпидемии. Честно сказать, теряюсь, слова вымолвить не могу. Тут к нему медсестра Жито подбегает и на немецком в смеси с идиш:

— Мой дорогой господин,— отвешивает низкий поклон,— это легочный больной, это тоже легочный, и это легочный...

Гестаповец обводит нас ледяным взором и уходит.

Мария Кирзон:

Рыббе был утонченный изверг. Обожал спектакли, особого рода мистификации, обычно кончавшиеся гибелью «подопытных», а иногда изображал из себя чуть ли не гуманиста. Перед погромами он всегда бывал н е ж е н.

К нам, врачам, тем не менее относился лучше, нежели к остальным. То ли по каким-то внутренним, нам не ведомым личным мотивам, то ли потому, что желал избегнуть массовых эпидемий на вверенном ему о б ъ е к т е. И однако жертвами в нескольких «акциях» оказались и врачи — не без участия Рыббе.

Как-то собрали группу врачей и под предлогом того, что имеется новая работа, повели нас на биржу труда. Одна из нас, ослабевшая от голода, отстала. Рыббе стал пенять нам чуть ли не отечески-заботливым тоном:

— Ну, что вы за люди! Почему не поможете коллеге?

«Гуманист» — одно слово.

Привели нас на биржу и стали делить. Меня и еще двенадцать человек — в основном пожилых и специалистов по детским болезням — направо (Рыббе почему-то любил число тринадцать, в этом мы не раз убеждались). Нам, похоже, грозило уничтожение. И тут к нему подходит один из еврейских «оперативников» и говорит, указывая на меня, что я попала в число тринадцати случайно, будучи единственным в гетто специалистом-венерологом. Рыббе понимающе кивает: «Гут». И меня отпускают.

Ефим Фейгельман:

Доктор Кулик знал меня до войны. Оба мы — коммунисты.

— Ефим, будешь кочегаром в котельной,— говорит он мне.

До меня там находились братья Брудперы — трое настоящих кочегаров. Под каким-то предлогом Кулик переводит их из котельной и ставит меня. Я понимаю — неспроста. Одному, однако, работать за троих тяжело. И тогда получаю в помощники Ефима Столяревича.

Я не знаю, кто он и что он, только помощник из него никудышный. Я к Кулику: «Кого ты мне прислал?» А он мне: «Фейгельман, так нужно».

Начинаю присматриваться. Заходят к нему какие-то люди, шушукаются. Меня вроде остерегаются. Обидно становится: разве я не советский человек, не партиец?

— Ты меня не бойся,— обращаюсь к Столяревичу.— Я коммунист.

— Знаю. Просто есть правила конспирации.

И становится наша котельная своего рода штабом. И минские подпольщики сюда приходят, и партизаны. Некоторые прячутся, пока в городе обыски и аресты идут.

Больница гетто являла собой приют для нуждающихся в особой помощи. В январе сорок второго гитлеровцы гнали через Минск огромную колонну военнопленных. Часть из них тут же, на глазах у минчан, расстреляли. На протяжении нескольких километров валялись трупы. Солдаты еле шли, а немцы приказывали: «Шнель, шнель!», заставляли петь. Женщины бросали пленным картошку. Гитлеровцы в ответ стреляли.

Один раненый упал возле проволоки гетто на улице Опанского. Ему помогли проползти под проволокой, перенесли в больницу, записали евреем и поставили на ноги.

Немало тяжело раненных партизан, не имевших возможности вылечиться, привозили из леса в гетто и скрывали в больнице.

Конечно, долго так продолжаться не могло. В конце июля сорок второго дошла очередь и до больницы.

Дарья Вапнэ:

Нахожусь в инфекционной палате и вижу через окно: к терапевтическому отделению подкатывают машины. Высыпают гестаповцы, полицаи. Из дверей выходят врачи, показывают аусвайсы. Раньше пропуска спасали, теперь же... Загоняют врачей в машины и увозят. Затем — черед больных.

Все до единого были уничтожены. Погибли замечательные люди: профессор Дворжец, Сиротина, многие, многие...

Анна Карпилова:

Когда мы увидели машины, тут же приготовили истории болезней, градусники, лекарства — думали, проверка, могут зайти и к нам, в инфекционное. Не зашли...

Терапевтическое и хирургическое отделения двадцать восьмого июля перестали существовать.

Довелось мне стать очевидцем гибели и нашего отделения. Произошло это в начале апреля сорок третьего. К тому времени сотни и сотни узников гетто уже сражались в партизанских отрядах. Немало было среди них и врачей. Но из инфекционного отделения мы не уходили. Кто, кроме нас, мог продолжать снабжать отряды медикаментами?

И вот однажды... Прихожу я на дежурство — издали вижу Рыббе с овчаркой. Прячусь в туалет и сквозь щель наблюдаю. Входит он в больницу и через минут пять назад. Жду, пока его след простынет. Подруга моя Маня Рубенчик встревоженно:

— Рыббе приходил. Сказал, что с медперсоналом ничего не случится. Можете, говорит, оставаться на своих местах.

Мы почувствовали — беда. Немедленно начинаем связывать бельевые веревки, простыни, чтобы успеть спустить по ним больных с третьего этажа на задний двор, если здание окружат. Все, кто может ходить, разбегаются. И тут же появляется Рыббе со своими помощниками. Часть больных мы все же успеваем спустить на веревках и простынях.

Нас изолируют в комнатке, где обычно кипятим шприцы, готовим лекарства. В помещении начинается бойня. Выстрелы, крики, стоны. Лежачих пристреливают прямо на койках. Стреляют и на улице.

Долгое время после войны снилось гетто пережившим его — каждому свое. Снится, наверное, и по сей день. Дарью Вапнэ, например, преследовал такой сон: Рыббе стреляет в нее, а она плюет ему в физиономию. Анна Карпилова во сне всегда пряталась, причем старалась укрыть только голову — чтобы н е   в и д е т ь   и х.

6

> На обеде в имперской канцелярии... Геббельс неожиданно начал рассказывать Гитлеру о настроении берлинцев: «Введение еврейской звезды дало результат, обратный тому, на который мы надеялись, мой фюрер! Мы хотели исключить евреев из нашего народного сообщества. Но... люди не сторонятся их, напротив! Они проявляют повсюду симпатии к ним. Этот народ просто еще не созрел и все еще полон сентиментальности».
>
> Из воспоминаний о Гитлере немецкого преступника Шпеера

Напротив, народ, отравленный идеологией фашизма, *созрел* быстро, даже слишком быстро, и это по сей день составляет неразрешимую загадку, своего рода психологический феномен. Как в течение считанных лет удалось такое множество людей превратить в нелюдей?

Всех, однако, не перекроили. Были антифашисты, были те, кто отказывался участвовать в массовых убийствах, наконец, те, кто просто сочувствовал и помогал жертвам.

Ареной доселе невиданного поединка становилась душа человеческая, изнемогавшая под бременем зла, насилия, страха и — вопреки всему — сохранявшая в каких-то своих, недоступных ничьему вмешательству и проникновению недрах сострадание, надежду, любовь.

Они были разные, люди, в чьих жилах пульсировала *арийская* кровь. Разные, несмотря на тщательно проращиваемые в них семена расовой ненависти. Немец далеко не всегда оказывался тождествен фашисту. Понимали это и в гетто.

Борис Хаймович:

Когда ты ежедневно подсыпаешь в масло наждачный порошок и немецкий автомобиль выходит из ворот мастерской, чтобы вскоре оказаться с расплавленными подшипниками, беду для себя ждешь в любой момент, внутренне готов к ней.

Мы с Евсеем Шнитманом устроились ремонтировать машины на Комаровке. Как мы их чинили, понятно. К нам присматривается начальник мастерской. Лет тридцати, блондин, голубоглазый, худощавый, с чистым лицом. Немец как немец. Ну, думаем, дело наше швах. И тут происходит такое, во что поверить никак не можем. Немец начинает нас подкармливать. Мы подвох чуем, хлеб его и суп поперек горла встают. Однако идут дни, мы потихоньку продолжаем портить машины, а отношение немца к нам все лучше и лучше.

Почему он выделил именно нас из двух десятков рабочих? Ломаем головы, ответить не можем.

Вдруг он говорит: «Сегодня в гетто не возвращайтесь — будет облава на мужчин». Ведет нас в недействующую душевую и прячет на ночь. Единственно просит курить в рукав.

И так несколько раз. Вечером приносит еду в душевую, утром пораньше выпускает.

Так мы и не узнали, почему он к нам так относился.

Григорий Добин:

В мастерской, где я работал сапожником (вспомнил старую специальность), шили сапоги, латали обувь для полицаев. Бок о бок с нами находились и портные. Нас хоть немного кормили — голод мучил меньше, чем других.

Я, мой помощник Заскин — бывший секретарь одного из райисполкомов вблизи Минска, и портной Гельман были участниками подполья. Перед нами стояла задача узнавать все, что происходит в полицейском батальоне, когда готовятся «акции», чтобы живущих в гетто беда не застала врасплох.

Я передавал сведения Ефиму Столяревичу. В частности, смог предупредить его о готовящемся погроме второго марта сорок второго. А как быть нам самим? И вот здесь произошло неожиданное. Вахмистр — заведующий мастерской, по национальности австриец, не пустил нас второго марта домой в гетто, оставил ночевать в мастерской. Благодаря этому мы уцелели.

Спасал нас, возможно, не из сочувствия или жалости, а потому, что ему нужны были рабочие руки. А может, присутствовало в нем и какое-то человеческое чувство. Кто знает?..

Циля Ботвинник:

В мастерских, откуда я и Катя Цирлина таскали оружие, работал немец. Вилли-маленький его звали. Был еще Вилли-большой. Так вот у маленького мы сбомбили пистолет. В обеденный перерыв.

Вернулся он с обеда, видит — пистолета нет. Подзывает Катю и говорит ей тихо: «Этот пистолет дал мне починить русский полицейский. Если не вернуть, он поднимет крик». То есть замечал, как мы воруем оружие, и молчал, словечка не проронил.

А Вилли-большой засек, как мы сыпали в мазь для прочистки стволов песок и всякую дрянь. Мог спокойно сдать нас в гестапо. А он как бы невзначай: «Вы некачественно прочистили стволы, придется перечистить».

Рива Айзенштадт:

В здании прежнего Дома правительства размещались различные немецкие подразделения, в частности железнодорожное. Нас, группу девушек, водили туда мыть полы. Командовал нами офицер Рудольф Ян из Вены. Человека сразу видно, хороший или сволочь последняя. Ян оказался добрым. Останется на кухне суп — он нам его отдает. И «гамбургским» евреям помогал.

Ян обычно приходил за нами в гетто и вел на работу. Если был бледен, мы понимали: опять готовится погром. Он нас спасал. Однажды оставил ночевать в подвале, не пустил в гетто, где шли запланированные убийства.

Набралась я смелости и решила с ним поговорить в открытую.

— Мне нужна ваша помощь.

— Чем я могу тебе помочь?

— Достаньте пистолет и пишущую машинку.

И то и другое было необходимо нашей группе, уходившей в лес.

— О, это серьезный вопрос,— ничуть не удивился Рудольф моей просьбе, лишь подчеркнув трудность ее исполнения. И на всякий случай предупредил: — Никого больше не проси об этом, особенно моего заместителя. Он — фашист.

На следующий день Рудольф незаметно передал мне маленький сверток. В нем был наган.

Но были и другие, в ком текла *арийская* кровь.

Анна Мачиз:

В самом конце сорок второго в минское гетто прибыли 53 еврея из Слуцка. Их привезли как «специалистов». Они рассказывали о постепенной ликвидации гетто в Слуцке и часто упоминали Рыббе — офицера гестапо, отличавшегося особой жестокостью.

А в начале января в гетто появились две незнакомые фигуры. На их одежде были отличительные знаки гестапо. Проходя по улице днем, они остановили женщину, обыскали ее, забрали найденные восемь марок и пошли дальше.

Навстречу им попалась еще одна женщина с четырехлетним ребенком. Они остановили ее и спросили, почему она не на работе. Та предъявила справку об освобождении. Тогда те двое накинулись на нее, избили, потащили на кладбище и там расстреляли.

Возвращаясь с кладбища, встретили подростка лет пятнадцати с двумя поленьями. «Откуда дрова?» «На работе шеф дал». И его потащили на кладбище и там убили.

Зверствовали двое гестаповцев до вечера. Вернувшиеся с рабочими колоннами слуцкие евреи опознали их. «Это Рыббе со своим переводчиком Михельсоном. Они начинают ликвидацию гетто».

Это было еще хуже массового погрома. Рыббе со своей сворой без устали носился по гетто, вламывался в дома. Нашли немецкую булочку — расстрел. Кусочек масла для больного ребенка — расстрел. Географическую карту или советскую книжку для чтения — расстрел.

Именно Рыббе пришла в голову идея «карнавала». Возможно, она посетила его при осмотре колонн немецких евреев, весьма отличавшихся от местных. Нас выжали основательно, а те еще не потеряли человеческого облика.

Однажды Рыббе прошел вдоль колонн, возвращавшихся в гетто, и лично отобрал двенадцать самых красивых женщин, прибывших из Германии. Больше его «изысканному вкусу» никто не потрафил. К ним он добавил минчанку — Лину Ной.

Рыббе приказал собрать их завтра в десять часов у биржи труда и иметь там столько же еврейских «оперативников», помоложе и посимпатичнее.

В назначенный час он подъехал к бирже и приказал каждому молодому «оперативнику» взять под руку красавицу и медленным шагом, чинно, степенно пройти от биржи по Сухой улице. Простонал кто-то, понял — на кладбище.

И двинулись пары, одна за другой, словно на карнавал. Рыббе следил, чтобы не спешили и соблюдали интервал.

У ворот кладбища одна из женщин попросила разрешения попрощаться с мужем. Рыббе дал согласие. Тотчас послали за мужем.

Пришли на кладбище, остановились. Гестаповец приказал «оперативникам» раздеть женщин догола. Некоторые плакали, одна крикнула: «Я хочу жить!»

— Кавалеры, приглашайте дам на вальс, смелее, смелее... Обнимите их за талию, нежно и робко, начинайте...

«Оперативники» повели женщин в танце. Рыббе напевал мелодию из «Венского леса», дирижируя правой рукой, в которой держал пистолет. «Оперативники» подхватили мотив, и пары закружили...

В это время доставили мужа женщины, желавшей с ним попрощаться. Вальс прекратился. Рыббе дал им возможность обняться, поцеловать друг друга и тут же приказал расстрелять мужа. Плач усилился.

Рыббе построил красавиц отдельно, вынул пистолет и методично их расстрелял. Достреливать помогал Михельсон.

Уходя с кладбища, Рыббе поднял чей-то лифчик. Повертел его и положил в карман.

— На память от красивой еврейки,— улыбнувшись, бросил он на ходу.

...Рыббе постепенно ликвидировал гетто. Методично, пунктуально со знанием дела.

С июня сорок третьего начинаются изъятия рабочих колонн. На радиозаводе собирают семьдесят женщин. Пятьдесят из них отправляют в гестапо. Рыббе строит их на дворе и объявляет: «Вас погрузят в машину и повезут за город на работы, где хорошо накормят». Подъезжает машина, женщины видят — «душегубка». Повинуясь инстинкту, разбегаются кто куда. Но от гестапо не убежишь. Всех расстреливают, одной только Лиле Копелович удается спрятаться.

Ликвидируют в спешном порядке остатки «гамбургских» евреев. Рисуют им радужную перспективу возвращения домой, в Германию. Те собирают пожитки, далее — та же «душегубка».

Выход один — бегство в леса, где действуют многие десятки партизанских отрядов. Бегут все, кто еще может держаться на ногах, стар и млад. С проводниками и без проводников. Бегут куда глаза глядят — только бы вырваться за постылую проволоку.

Групповой снимок: двое в штатском, остальные в кителях, у всех на груди медали, ордена. Губы чуть растянуты в намеке на улыбку: снимок делался, очевидно, в самом конце войны, и, как ни хотелось позирующим оставаться сугубо серьезными, приличествующими своему положению, губы невольно выдают радость. Комиссар отряда имени Лазо, комиссар 208-го отряда, комиссар отряда имени 25-летия БССР, командир диверсионной группы отряда имени Буденного, комиссар 106-го отряда... Ефим Столяревич, Борис Хаймович, Наум Фельдман, Владимир Кравчинский, Ефим Фейгельман... Все они — выходцы из минского гетто.

На фотографию я наткнулся, знакомясь с многостраничным изданием, повествующим о концлагерях и гетто времен войны. Материала за годы гитлеризма накопилось изрядно, оттого издание такое пухлое. А увидело оно свет на немецкой земле, в ГДР. Не обойдено вниманием и минское гетто — одно из самых больших на территории Европы.

Во многих отрядах сражались его узники, превратившиеся в мстителей. По крайней мере семь отрядов создавались при прямом участии подпольщиков гетто. 106-й был сплошь еврейским.

Ефим Фейгельман:

В апреле сорок третьего из отряда имени Буденного, входившего в состав бригады имени Сталина, был выделен кавалерийский взвод для сбора разрозненных групп населения, скрывавшихся в лесах от оккупантов. Так началась биография 106-го отряда.

Первое время находился он возле деревни Скирманово. В первых числах июня перебазировался в Налибокскую пущу, расположился близ деревни Клетище Ивенецкого района. Были выделены проводники для вывода из гетто оставшихся людей. В основном мальчишки и девчонки, Миша Столяр, Маша Васкович и их друзья.

Когда я пришел в отряд, в нем насчитывалось шестьдесят человек. Вначале меня назначили командиром взвода, потом роты, с июля — комиссаром отряда. 106-й рос, как говорится, не по дням, а по часам. Уже в июле нас было около трехсот, затем отряд увеличился почти до семисот человек.

Мы собирали по лесам детей-сирот. Немало их бродило — обездоленных, потерявших все, что только можно было потерять в войну.

Произошел раздел отряда на боевой и семейный. Боевой насчитывал 137 партизан. Немалая сила. Охранял он стариков, женщин, детей, участвовал в операциях: перехватывал немецкие обозы, уничтожая полицейские участки.

Вместе с другими отрядами 106-й разоружил и пленил несколько сот белопольских легионеров, перешедших на сторону фашистов. Подрывная группа выходила на железную дорогу Столбцы — Минск, спустила под откос четыре эшелона с вражескими солдатами и техникой.

Конечно, несли мы и потери. Одиннадцать партизан однажды попали в засаду. Каратели хотели взять их живыми. Евреи предпочли смерть плену и вступили в неравный бой. Погибли девять человек. Двое тяжелораненых, очнувшись на вторые сутки, смогли доползти до деревни Теребейня, где базировался боевой отряд. Подлечившись, вновь взяли в руки оружие.

Отряд обеспечивал себя многим необходимым. С едой, конечно, было плохо. Белорусские деревни вокруг в большинстве своем были сожжены, крестьяне ушли в пущу. Мы иногда находили в ямах картошку. Собирали созревший урожай на полях возле пепелищ. Есть зерно, а как его молоть? Соорудили нечто вроде мельницы. Мельничный круг вращался с помощью лошади.

Женщины и старики несли на себе основные хозяйственные заботы. Появились у нас мастерские: портняжная, сапожная, оружейная, пекарня. В госпитале работали врачи из гетто.

Зимой жили в землянках, вырытых в сохранившихся траншеях первой мировой войны, летом — в шалашах. Конечно, не до комфорта было. Внезапно началась чесотка. Думали-гадали, чем лечить, и надумали. Взяли железную бочку, внутрь — березовую кору, много коры, затопили, пред-

варительно сделав боковые отверстия. Оттуда потекла густая темная древесная смола — деготь. Ею и мазали людей. И побороли чесотку.

Имелось у нас и стадо коров, голов пятьдесят — шестьдесят. Большое подспорье, особенно если учесть, что из гетто к нам попадали сплошь страдающие дистрофией. Помню смешной случай. Пятилетний Феликс Липский подлез под корову и начал ее доить. Молоко стекало ему в рот. Увидавшие это женщины испугались, что корова затопчет его. Но та стояла спокойно. Я распорядился давать Феликсу ежедневно стакан молока — вместе с больными и ранеными.

Дети как могли помогали взрослым. И все-таки их нужно было чем-то занять. Решили открыть для них школу. Да, школу, только, естественно, без парт, учебников, тетрадей, мела, ручек... В отряде находились и бывшие учителя, они-то и стали заниматься с ребятишками. Писали на обрывках бумаги и даже на песке.

Все, что партизанам удавалось достать, в первую очередь поступало детям. Скажем, из парашютного шелка пошили им рубашки и блузки. Ходили ребята в пионерских галстуках — бойцы где-то раздобыли красный шелк.

Организовали пионерскую дружину. Пионервожатой стала Лиля Копелович. Пионеры отправили в Москву свой рапорт, в нем рассказали о муках и страданиях, которые им, еврейским детям, довелось испытать.

В начале августа сорок третьего отряд попал в блокаду. Пришлось покинуть насиженное место. Выпустили коров, лошадей, уходили налегке. Семейный отряд становился легко уязвимым. Немцы знали это и стремились нас уничтожить. У одного убитого карателя мы нашли планшетку с картой. На карте было намечено наше расположение и написано: «Юден-отряд, маловооружен».

Нашим спасением стал остров Красная горка. Попасть туда можно было только через трясину. Мы пилили лес, гатили дорогу, переходили по бревнам, потом растаскивали их, снова пилили, гатили и так до самого острова.

Немцы в трясину лезть побоялись. А мы после снятия блокады вернулись в старый лагерь, вновь собрали скот.

Шестого июля сорок четвертого (Минск уже был освобожден) мы приняли последний, неравный бой в районе хутора Борки.

Из дальнего дозора передали — группа немцев движется в нашем направлении. Оказалось, разведка. За ней шла хорошо вооруженная большая группа гитлеровцев, прорывавшихся на запад. Что делать, открыть им дорогу? Ведь с нашими силами ставить заслон бесполезно. Мы приняли решение — сражаться до последнего.

Бой выдался жестокий. Мы потеряли шесть бойцов, немцы оставили убитыми около сорока человек. Затем мы начали их преследовать. Помогли другие отряды. В итоге группа была уничтожена, несколько десятков фашистов взяты в плен.

...В Минск выходили мы с огромным трудом. Леса кишели немцами. Еда у нас кончилась. Пришлось зарезать и съесть лошадь. Костры разводить боялись — летали немецкие бомбардировщики. Кое-как на углях запекли мясо, ели полусырым.

Выбившиеся из сил, мы шли по лесам, прикрывая семейный отряд, отстреливаясь от внезапно появляющихся немцев. Душевное состояние наше передать словами невозможно. Столько горя перенести и вот так погибнуть — не укладывалось в голове. Я поседел буквально на глазах, за два часа.

Несколько раз меняли маршрут, избирая наиболее безопасный. Мы обязаны дойти до Минска, сохранив людей, — говорил себе каждый. С озера Кромень пошли на Столбцы. Там и соединились с частями Красной Армии. Радость наша не знала границ...

Командир полка, которому я представился, обнял меня. В его глазах я прочитал невысказанный вопрос: как вам всем удалось выжить? Он выделил нам сухари, консервы и с автоколонной отправил в Минск.

Бойцы 106-го участвовали в партизанском параде в освобожденной столице Белоруссии. Вместе с ними на параде незримо присутствовали наши погибшие товарищи. Несколько братских могил оставил 106-й в Налибокской пуще. Стоит там памятник, возле которого ветераны отряда ежегодно встречаются.

Беседуя с партизанами — выходцами из гетто, читая их воспоминания, я нет-нет и сталкивался с фактом, невольно толкавшим к размышлениям. Для многих первым безопасным приютом на пути к лесным мстителям являлось Старое село, километрах в двадцати от Минска.

В записках одного из руководителей подполья, а потом храброго партизана, читаю: «В гетто говорили: есть такая деревня — Старое село, — «партизанское царство», там чувствуешь себя, как при Советской власти».

Разгадка пришла неожиданно.

Арон Скир:

В 1920 году моя бабка вышла замуж за овдовевшего жителя Старого села Иону Миленького. Евреев в некоторых местечках часто награждали ехидными, уничижительными фамилиями-прозвищами. В данном случае, вероятно, сделали исключение. «Миленький» — о чем-то говорит, не правда ли?

Шел Ионе сотый год. Несгибаемый был старик, жизнелюбию его мог позавидовать каждый. Природа иногда позволяет себе вольности, выделяя кого-то из общего людского ряда. Так вот Иону наделила она не только богатырским здоровьем, но и умом, а главное, добротой.

Раньше держал он в селе корчму. При Советской власти с корчмой расстался. Кроме него, в селе жили, если не путаю, только два еврея: мельник и пчеловод.

День его обычно складывался так. Сделав необходимые дела по хозяйству, он с аппетитом съедал бабушкину стряпню, выпивал стопку водки домашнего изготовления, брал палку и отправлялся на прогулку.

Гуляние Ионы заключалось в том, что он обходил дворы, а было их не меньше полусотни. И не просто обходил, а собирал «цорэс», то есть горести. И не просто собирал, а помогал перемочь лихо. Сдохла у соседа корова — Иона, как бы ныне сказали, организует сбор средств и, разумеется, первым вносит свои. Заболел кто — Иона немедля зовет фельдшера. Ну и далее в том же духе.

Авторитетом у сельчан старик пользовался необычайным.

Началась коллективизация. Приехали в село уполномоченные. Собрали сход. На предложение записываться в колхоз крестьяне в один голос: «Як Иона, так и мы».

Уполномоченные к Ионе:

— Записывайся, дед, покажи пример, на тебя другие смотрят.

— Помилуйте, мне сто десять лет, какой из меня колхозник.

Опять сход собирают. Крестьяне твердо на своем стоят: як Иона, так и мы.

Снова уполномоченные уговаривают Миленького: тот отказывается.

Тогда берут его под белы руки и ведут на край села. Там яма с дождевой водой. Сажают его в яму и приговаривают:

— Будешь здесь сидеть, как миленький, покуда не запишешься.

Никого к нему не подпускают: ни бабку с обедом, ни сельчан.

Вскоре все это перегибами назвали, «головокружением от успехов». А тогда...

Двое суток старик просидел в яме. Я мальчишкой гостил у бабки, все видел собственными глазами. Жалко мне было Иону до слез.

В итоге записался Иона в колхоз, за ним — остальные, кроме одного, по фамилии Попка.

Надо отметить, в Старом селе хорошо жили. Сытно. По семь десятин земли каждая семья имела. А луга какие... И отдыхали по-доброму, весело. В клубе музыка звучала, даже спектакли ставились.

Стал я наезжать в село каждое лето. Вижу: многое меняется буквально на глазах. Поля неухоженные, трава-мурава нескошенная, обобществленных коров под нож. И песен не слышно. И дед какой-то скучный. После обеда гулять не идет, сидит себе сиднем.

— Ты чего, дедушка? — спрашиваю.

— Стыдно мне перед людьми. Если бы не моя слабость, такого колхоза не было бы. Лучше бы я в той яме сгинул.

Прожил он после этого недолго. Однажды заснул и не проснулся.

Бабушка из села переехала в город. А потом — война. Погибла она в гетто, а вместе с ней мои отец и мать. Мы, трое братьев, воевали на фронте, стали офицерами. И все вернулись живыми.

Текли годы. По разным поводам виделся с теми, кто бежал из гетто, кто с оружием в руках мстил палачам. В разговорах то и дело проскальзывало: «Уходили мы в отряд через Старое село. Принимали нас там, как близких, кормили, оставляли ночевать. Сельский полицай и тот молчал, не доносил».

Однажды с оказией попал я в Старое село. Нашел Попку, того самого, кто в колхоз на первых порах отказался вступать. Он все больше о себе, о своей тяжелой жизни в оккупации, а о деде коротко:

— Ну, вы же помните, какой это был человек...

Дескать, что слова попусту тратить, двух мнений об Ионе быть не может.

Лет десять — двенадцать назад приехал ко мне двоюродный брат из Ленинграда. Сидим, вспоминаем. Потом отправились в село. Там сейчас совхоз.

От дома Миленького только фундамент остался. Крепкий, вполне пригодный, чтобы избу поставить. Только никто не строит...

Разговорились со стариками — их по пальцам перечесть можно. Спрашивают нас: вы кто будете? Внуки Ионы, отвечаем.

— О, Иона, это был человек!

— А скажите, почему в Старом селе евреев прятали, относились к ним, точно к родным? Ведь головой рисковали: узнай немцы, все село спалили бы.

Вопрос, пожалуй, не из удачных получился. неподдельное изумление застыло на лицах стариков. Долго они так смотрели на нас, наконец один ответствовал:

— А Иона?..

Да, Иона. По нему судили о всем народе.

7

> Но когда все более отчетливо становилось видно, что военная победа в России недостижима,— тогда он стал все более стремиться к тому, чтобы одну задачу выполнить — «окончательно решить еврейский вопрос».
>
> Г. Пикер. «Застольные беседы Гитлера в Главной квартире»

Осталось перевернуть последнюю страницу нашего повествования и рассказать о конце гетто.

Называют разные даты его полного уничтожения — 21 сентября, 1 октября, 21 октября сорок третьего. В один из таких дней в гетто вошли гестаповцы и полицейские. Немногих оставшихся погрузили в машины и увезли. Кое-кто успел попрятаться в «малины». Оперативники кричали: «Евреи, выходите! Все равно мы вас найдем!»

Немцы взрывали дома, кидали внутрь гранаты. Смерть находила людей и в «малинах».

И все же погибли не все. Тринадцати удалось спастись. Около девяти месяцев провели они в подземелье. В *схроне*, как его называли, вкладывая в название двоякий смысл: здесь они схоронились сами и схоронили близких. Теперь в это не верится, но это сущая правда.

Борис Добин:

Домик наш стоял неподалеку от кладбища. Кирпичный, одноэтажный, невзрачный. Четвертый и последний наш приют в гетто. Внизу был большой подвал — «малина». Отец сложил печку наподобие голландки с духовкой. Через духовку мы и забирались вниз.

Мы — это отец Пинхус Яковлевич, или просто Пиня, мама, бабушка, я — четырнадцатилетний хлопец, брат Сеня, на два года моложе меня, мамина сестра с сыном, некоторые другие родственники. Что до той поры пережили в гетто, не рассказать. На волосок от гибели много раз, но судьба миловала. Помню, во время июльского погрома сорок второго мы с отцом находились в рабочей колонне, нас домой не пустили. Когда вернулись, пришлось двор песком посыпать — и все равно кровь выступала.

Отец мой, печник, считался профессором своего дела. Звали его в округе Пиня-дер кейсер — царь значит. Он же и переделал «малину» в схрон с нарами. Конечно, не один — мы ему по мере сил и умения помогали. Чувствовалось: гетто доживает последние дни, медлить было нельзя.

Оставили узкий, тщательно замаскированный лаз, спустились в схрон и замуровали себя, отсекли от внешнего мира. Вместе с нами и другие люди очутились в подземелье — случайно подвернувшиеся. Всего двадцать шесть человек. Взяли с собой запас воды, кое-какую еду, в основном сухари, коптилку. И началась наша новая *жизнь*.

Воздух проникал внутрь через специальное отверстие — отец все предусмотрел. Труба дымохода нижним концом утыкалась в схрон, по еле различимому свету, исходившему из нее, мы ориентировались, день сейчас или ночь.

Вначале был страх. вдруг обнаружат? Прислушивались к каждому шороху наверху. Страх этот мы принесли с собой из внешнего мира, от которого добровольно отрезали себя. Он присутствовал в крови как некий химический элемент, оплел невидимой паутиной мозг, незримо руководил нашими мыслями и поступками. Руководил там, наверху. А здесь он постепенно глох, слабел, растворялся.

Уже не страх — нечто иное сопровождало нас в схроне. Оцепенение, отрешенность, пустота. Время словно остановилось. И полное неведение: что там наверху?

Вскоре умерла бабушка. Надо хоронить. Где, как? Отец вырыл могилу возле нар — другого места не нашлось. Две новые смерти — два новых холмика.

Когда мы только спустились в схрон, то могли стоять и ходить в полный рост. К концу девятимесячного пребывания передвигались, согнувшись в три погибели,— настолько вырос слой земли. Могильный слой. Всего мы похоронили тринадцать человек.

Крысы объедали у мертвых уши и носы. Поэтому решили: едва человек умрет, тут же его закапывать. Никаких долгих прощаний.

...Кончилась вода. Мы перестали мыться. Кожа покрывалась коростой, нарывами. Мы слабели с каждым днем. Новая беда — перестал существовать лаз. В нашем дворе стоял маленький деревянный домишко, в котором обитали беженцы. Они, конечно, не догадывались о схроне. Увидев, что наше жилье опустело, они устроили в нем загон для скотины и завалили наш лаз. Случайно.

Тогда отец с помощью ножниц — других инструментов не было — начал вынимать кирпичи. пытаясь соорудить новый лаз. Каторжная работа. И все-таки он добился своего. В новое отверстие свободно пролезал ребенок, но так как все страшно исхудали, лазом могли воспользоваться и взрослые.

Где взять воду... Без нее нас ждала гибель. И, о чудо, из свежевыкопанной могилы просочилась влага. Отец разрыл землю — забил родниковый ключ. Мы даже не могли громко радоваться — сил не было. Кое-как налили воду во все имевшиеся сосуды.

А вода все прибывала, грозя потопом. Неужели погибель придет к нам из земли, укрывшей нас? Вскоре ключ перестал бить. Сам по себе. Точно господь бог распорядился дать нам шанс выжить.

Немного повеселели люди. То здесь, то там шепот: попробовать бы выбраться наружу. Еда кончилась, на воде долго не протянуть.

Потихоньку стали выползать на свет. Ночами. Первый раз, когда я вылез из схрона и глотнул морозного воздуха, то чуть не упал. Лежал снег, я зачерпнул его в пригоршню и начал жадно глотать.

Еле добрел до Старо-Виленской улицы, где мы жили до войны. Соседи, увидев меня, стали заикаться. Дали мне картошки, муки, хлеба. Обратно лезу и думаю: не забыть бы замести следы на снегу. Для этого имелась палка, обмотанная тряпкой. Пошебаршил ею, разровнял снег — и в лаз.

Верили ли мы в спасение? Верили. Однако силы таяли. Порой кто-то, отчаявшись, предлагал пойти и сдаться. Пусть быстрее кончатся наши муки. Отец пресекал малодушные разговоры, поддерживал в нас веру. Отец мой, он оказался сильным духом, хотя внешне вовсе не производил такого впечатления.

Тетка моя Рахиль и еще одна девушка — Муся тоже начали выходить наружу. Не только ночью, но иногда и днем. Крались к кладбищу, сторонясь людей, искали рынок, где хоть что-нибудь можно было выменять на продукты. Лица закрывали платком, чтобы прохожие не видели их землистого цвета. Хотя таких, как они, погибающих от голода, хватало...

Муся раньше работала на обувной фабрике. Однажды встретила знакомую с фабрики, белоруску. Та ее с трудом узнала. Позвала к себе, накормила ее и Рахиль. Услышав рассказ о пещере-схроне, выдавила сквозь рыдания: «Вы — единственные евреи, оставшиеся в городе».

Место схрона Муся и Рахиль ей не сообщили. Знакомая сама выведала, проследила. И стала помогать. Вместе со своей подругой меняла на базаре вещи, часть которых брала у нас, приносила нам еду. Если бы не ее помощь, превратился бы схрон в могилу для всех.

Жизнь в нас едва теплилась. Единственно поддерживала надежда дождаться освобождения. А оно было совсем близко.

...Мы услышали стук над головами. Он усиливался. Почувствовали: не немцы — наши. Помочь открыть не могли — лежали пластом на нарах. Даже крикнуть не могли.

Вытаскивали нас на руках. Обдало нас жарой, июльское солнце слепило до слез. На носилках нас перенесли в кузов машины и куда-то повезли. Оказалось, под Оршу, в военный госпиталь.

По дороге началась бомбежка. Вот ужас: столько пережить, спастись и погибнуть в день освобождения под фашистскими бомбами. Это было бы уж слишком несправедливо.

А справедливость на свете все-таки существует: мы не пострадали.

...С Борисом Добиным шагаем по заснеженной Сухой улице к кладбищу. Дорогой смерти, по которой много раз следовали мученики минского гетто. И улица другая, шире той, прежней, и кладбища уже нет, и все вокруг иное, современное.

— Сюда,— показывает Борис. Мы сворачиваем в Слободской переулок, заваленный сугробами, останавливаемся у какого-то строения.

— Вот он, наш схрон,— говорит Борис.

Железные ворота окрашены жгучей ярко-синей краской. За ними — дворик и неказистый, невзрачный серо-оштукатуренный дом. В нем не живут, похоже, тут автомастерская с гаражом.

— Дом надстроили,— поясняет Борис.— Тогда он был ниже. Видите трубу на скате крыши? Тот самый дымоход, по которому мы время суток определяли.

Из соседней деревянной хибары (некогда в ней жили соседи Добиных — беженцы, нечаянно завалившие лаз в схрон) выходит женщина, одетая в казенное, вохровское.

— Кого ищете? — любопытствующе и вместе с тем подозрительно.

Как ей объяснить... Поворачиваемся и покидаем дворик.

Еще раз оглядываю дом, в схроне которого скрывались и выжили тринадцать последних узников гетто и где осталось тринадцать могил, наверное, никем по сию пору не найденных. Борис — рядом, тоже смотрит на дом не мигая, что-то в его глазах тускнеет, блекнет, мертвеет, а губы вышептывают словно клятву:

— Если мы позабудем павших, пусть память о нас самих исчезнет вовеки.

Наум Коржавин

ТАНЬКА

Седина в волосах.
Ходишь быстро. Но дышишь неровно.
Все в морщинах лицо —
только губы прямы и тверды.
Танька!
Танечка!
Таня!
Татьяна!
Татьяна Петровна!
Неужели вот эта
усталая женщина —
ты?
Ну, а как же твоя
комсомольская юная ярость,
Что бурлила всегда,
клокотала, как пламень, в тебе! —
Презиравшая даже любовь,
отрицавшая старость,
Принимавшая смерть
как случайную гибель в борьбе.
О! Твое комсомольство!
Без мебелей всяких квартира,
Где нельзя отдыхать —
можно только мечтать и гореть.
Даже смерть отнеся
к проявлениям старого мира,
Что теперь неминуемо
скоро должны отмереть...
...Старый мир — не погиб.
А погибли друзья и подруги,
Весом тел
не влияя ничуть
на вращенье земли.
Только тундра — цвела.
Только выли колымские вьюги,
И под мат блатарей
невозвратные годы ушли.
Но опять ты кричишь
с той же самою верой и страстью.
В твоих юных глазах
зажигается свет бирюзы.
— Надо взяться!
Помочь!
Мы вернулись — и к черту несчастья...
Ты — гремишь.
Это гром
отошедшей,
далекой грозы.
Хочешь в юность вернуться.
Тебе до сих пор непонятно,
Что у гроз,
как у времени,
свой,
незаказанный путь.
Раз гроза отошла,

то уже не вернется обратно, —
Будут новые грозы,
а этой — твоей — не вернуть.
— Перестань! —
ты кричишь, —
ведь нельзя,
ничего не жалея,
Отрицать-обобщать.
Помогай,
критикуй,
но — любя! —
Все как раньше:
идея,
и жизнь — матерьял для идеи...
Дочкой правящей партии я вспоминаю тебя.
Дочкой правящей партии,
— не на словах, а на деле
Побеждавшей врагов,
хоть и было врагов без числа.
Ученицей людей,
озаренных сиянием цели, —
Средь других,
погруженных всецело
в мирские дела.
Как они тормозили движенье,
все эти другие,
Не забывшие домик и садик —
не общий, а свой.
Миллионы людей.
Широчайшие массы России,
Силой бури взметенной
на гребень судьбы мировой.
Миллионы на гребне!
Что поднят осеннею ночью
К тем высотам, где светит
манящая страны звезда.
Только гребень волны
— не скала
и не твердая почва.
На такой высоте
удержаться нельзя навсегда.
Только партия знала,
как можно в тягучести буден
Удержать высоту
в первозданной и чистой красе.
Но она забывала,
что люди —
и в партии люди.
И что жизнь — это жизнь.
И что жизни подвержены — все.
А ты верила в партию.
Верила ясно и строго.
Без сомнений.
Отсутствием оных
предельно горда.
И тебе не казалось,
что раньше так верили в Бога...
Слишком ясные люди
тебя окружали тогда.
Танька! Танька!
Ты помнишь, конечно,
партийные съезды.
И тревогу в речах меньшинства
за любимый твой строй.

И в ответ на тревогу
глумливые выкрики с места:
— Не желаим!
— Здесь вам не парламент!
— С трибуны долой!
В тех речах было все
так тревожно,
запутано,
сложно:
Хорошо бы пройти в эти дали,
да вряд ли пройдем.
Ну, а Вождь отвечал
очень ясно:
для нас —
все возможно!
Коммунисты — пройдут!..
Ты, конечно, пошла за Вождем.
Тебе нравилось все:
высший смысл...
высший центр...
дисциплина...
Пусть хоть кошки скребут,
подчиняйся,
зубами скрипя.
Есть прямая дорога.
Любые сомненья —
рутина...
Дочкой правящей партии
я вспоминаю тебя.
Помнишь, Танька,
была ты в деревне
в голодное лето?
Раскулаченных помнишь,
кто не был вовек кулаком?
Ты в газету свою написать
не решилась про это,
Чтоб подхвачено не было это
коварным врагом.
Создаются колхозы,
и их возвеличивать нужно.
Новый мир все вернет
расцветающим жителям сел.
А ошибки — простят...
Эти фразы сгодились для службы
Людям старого мира —
он быстро сменять тебя шел.
Старый мир подступал,
изменяя немного личину.
Как к нему подошло
все, что с болью создали умы:
Высший смысл.
Высший центр.
И предательский культ дисциплины,
И названья идей...
Танька, помнишь снега Колымы?
Танька,
Танечка,
Таня!
Такое печальное дело!
Как же ты допустила,
что вышла такая беда?
Ты же их не любила,
ведь ты же другого хотела.
Почему ж ты молчишь?
почему ж ты молчала тогда?

Как же так оказалось:
над всеми делами твоими
Неизвестно в какой
трижды проклятый
месяц и год
Путь открытый врагам —
эта хитрая фраза: «во имя» —
Мол, позволено все,
что, по мысли, к добру приведет.
Зло во имя добра!
Кто придумал нелепость такую!
Даже в страшные дни!
Даже в самой кровавой борьбе! —
Если зло поощрять,
то оно на земле торжествует —
Не во имя чего-то,
а просто само по себе.
Все мы смертные люди.
Что жизни
все наши насилья?
Наши жертвы
за счет ослепленных
ума и души!
Ты лгала — для добра,
но традицию лжи подхватили
Те, кто больше тебя
был способен к осмысленной лжи.
Все мы смертные люди.
И мы проявляемся страстью.
В нас, как сила земная,
течет неуемная кровь.
Ты любовь отрицала
для более полного счастья.
А была ль в твоей жизни
хотя бы однажды любовь?
Никогда.
Ты всегда презирала пустые романы.
Вышла замуж.
(Уступка —
что сделаешь: сила земли.)
За хорошего парня...
И жили без всяких туманов.
Вместе книги читали,
а после и дети пошли.
Над детьми ты дрожала...
А впрочем — звучит, как легенда, —
Раз потом тебе нравился очень
без всяких причин,
Вопреки очевидности, —
худенький,
интеллигентный
Из бухаринских мальчиков
красный профессор один.
Ты за правые взгляды
ругала его непрестанно.
Улыбаясь, он слушал
бессвязных речей твоих жар.
А потом отвечал:
«Упрощаете вещи, Татьяна!»
И глядел на тебя.
Еще больше тебя обожал.
Ты ругала его.
Не звучали слова, как признанья.

И с годами бы вышел, наверно,
из этого толк.
Он в политизолятор попал.
От тебя показаний
Самых точных и ясных
партийный потребовал долг.
Дело партии свято.
Тут личные чувства не к месту.
Это сущность.
А чувства, как мелочь,
сомни и убей.
Ты про все рассказала,
задумчиво,
скорбно и честно
Глядя в хмурые лица
ведущих дознанье людей.
Что же — люди, как люди.
Зачем же, сквозь эти «во имя»
Проникая
в сомнений неясных
разбуженный вал,
Он глядел на тебя
добрый, честный,
глазами родными
И казалось,
серьезный и грустный
вопрос задавал.
Ты ответить ему не смогла,
хоть и очень хотела.
Фразы стали пусты,
а ты стала немой, хоть убей.
Неужели же мелочь —
интимное личное дело —
Означало так много
в возвышенной жизни твоей.
Скоро дни забурлили в таинственном приступе
гнева.
И пошли коммунисты на плаху,
на ложь и позор.
Без различья оттенков:
центральных, и правых, и левых
Всех их ждало одно впереди —
клевета и топор.
Ты искала причин.
Ты металась в тяжелых догадках.
Но ругала друзей,
повторяла, что скажет печать...
— Было б красное знамя...
Нельзя обобщать недостатки.
Перед сонмом врагов
мы не вправе от боли кричать.
Но сама ты попала...
Обида и мрачные думы.
Все прощала.
Простила.
Хоть было прощенье невмочь.
Но когда ты узнала,
что красный профессор твой умер —
Ты в бараке на нарах
проплакала целую ночь.
Боль, как зверь, подступала,
свирепо за горло хватала.
Чем он был в твоей жизни?
чем стал в твоем бреде ночном?

Жизнь прошла пред тобой.
В ней чего-то везде не хватало.
Что-то выжжено было
сухим и бесплодным огнем.
Ведь любовь — это жизнь.
Надо жить, ничего не нарушив.
Чтобы мысли и чувства
сливались в душе и крови.
Ведь людская любовь
неделима на тело и душу.
Может, все коммунизмы —
одна только жажда любви.
Так чего же ты хочешь?
Но мир был жесток и запутан.
Лишь твое комсомольство
светило сквозь мутную тьму
Прежним смыслом своим,
прочной памятью...
Вот потому-то,
Сбросив лагерный ватник,
ты снова рванулась к нему.
Ты сама заявляешь,
что в жизни не все еще гладко.
И что Сталин — подлец;
но нельзя ж это прямо в печать.
Было б красное знамя...
Нельзя обобщать недостатки.
Перед сонмом врагов
мы не вправе от боли кричать.
Я с тобой не согласен.
Я спорю.
И я тебя донял.
Ты кричишь: «Ренегат!»
Но я доводы сыплю опять.
Но внезапно я спор обрываю.
Я сдался.
Я понял —
Что борьбе отдала ты
и то, что нельзя ей отдать.
Всё:
возможность любви,
мысль и чувство,
надежду и совесть, —
Всю себя без остатка...
А можно ли жить
без себя?
...И на этом кончается
длинная грустная повесть.
Я ее написал,
ненавидя,
страдая,
любя.
Я ее написал,
озабочен грядущей судьбою.
Потому что я прошлому
отдал немалую дань.
Я ее написал,
непрерывной терзаемый болью, —
Мне пришлось от себя отрывать
омертвевшую ткань.

1967

Мемуары. Архивы. Свидетельства

А. М. Ларина

НЕЗАБЫВАЕМОЕ

В камере, еще и еще раз осмысляя свой разговор-допрос с Берией, возвращаясь к каждой фразе, я отчетливо поняла, насколько справедливы были мои слова о том, что, не будь я дочерью Ларина, я не стала бы женой Бухарина.

Ларин и Н. И. были знакомы еще со времен эмиграции, впервые встретились в Италии в 1913 г., куда Н. И. наезжал из Австрии, в течение года (с лета 1915 по лето 1916) они жили по соседству в Швеции. В то время их уже связывала идейная близость — борьба с оборончеством. Затем с 1918 г. до середины 1927 г. мы жили одновременно в «Метрополе». Отец и Н. И. не всегда сходились во взглядах, но это никогда не нарушало их дружбы. Они были предельно откровенны друг с другом, старались спокойно доказать правоту своих взглядов по различным экономическим вопросам. Н. И. относился к отцу с большой нежностью. Часто приходя и заставая его без посторонних, целовал в голову. Придумывал Ларину всевозможные прозвища — «Ларчик, который непросто открывается», Ларингит, Ландрин. Или же звал его просто Мика, как все родные, а уж если по имени и отчеству, что бывало в тех случаях, когда разговор происходил в возбужденном тоне, то обязательно Юрий Михайлович, а не Михаил Александрович. Именно поэтому нашего сына, в память о моем отце, по желанию Н. И., мы назвали Юрий.

Я не открою секрета, если скажу, что из всех многочисленных друзей отца, бывавших у нас дома, моим любимцем был Бухарин. В детстве меня привлекали в нем неуемная жизнерадостность, озорство, страстная любовь и знание природы, а также его увлечение живописью. В то время я не воспринимала Н. И. вполне взрослым человеком. Это может показаться смешным и нелепым, тем не менее думаю, что я правильно передаю свое детское отношение к нему. Если всех самых близких товарищей отца я называла по имени и отчеству и обращалась к ним на «вы», то Н. И. такой чести удостоен не был. Я называла его Николаша и обращалась только на «ты», чем смешила и самого Н. И., и своих родителей, тщетно старавшихся исправить мое фамильярное отношение к Бухарину, пока они к этому не привыкли.

Обстоятельства знакомства с Н. И. мне хорошо запомнились. В тот день мать повела меня в Художественный театр смотреть «Синюю птицу». Весь день я находилась под впечатлением спектакля, а когда легла спать, увидела во сне и Хлеб, и Молоко, и загробный мир — спокойный, ясный и совсем не страшный. Слышалась мелодичная музыка Ильи Саца: «Мы длинной вереницей идем за синей птицей». И как раз в тот момент, когда мне привиделся Кот, кто-то дернул меня за нос. Я испугалась, ведь Кот на сцене был большой, в человеческий рост, и крикнула: «Уходи, Кот!» Потом сквозь сон услышала слова матери: «Н. И., что вы делаете, зачем вы будите ребенка!» Но я проснулась, и сквозь кошачью морду все отчетливее стало вырисовываться лицо Бухарина. В тот момент я и поймала свою «синюю птицу» — не сказочно-фантастическую, а земную, за ко-

Окончание. Начало см. «Знамя» №№ 10, 11 за 1988 год.

торую заплатила дорогой ценой. Разбудивший меня Н. И. весело смеялся и неожиданно для меня повторил слова, которые я произносила, когда жила в Белоруссии и в сосновом бору видела множество дятлов: «Дятей носом тук да тук, тук да тук». К дятлам я имела особое пристрастие за пестрое оперение, красную головку и трудолюбие, о чем мать рассказала Н. И. как большому знатоку птиц. Н. И. забавляло, что я говорила «дятей носом», а не клювом «тук да тук».

Н. И. забегал к отцу чаще ненадолго, по характеру своему он был непоседа, да и время поджимало, но бывало, что и засиживался. Приходил и со своими учениками. В более позднее время хорошо помнятся Ефим Цетлин, Дмитрий Марецкий, Александр Слепков. Компания была шумная. На двери ларинского кабинета висело написанное моей рукой под диктовку отца объявление: «Спорить можно сколько угодно, курить нельзя». Ну и спорили действительно сколько угодно...

Я всегда в детстве огорчалась, когда Н. И. уходил от нас, и все чаще и чаще забегала сама к нему. Он жил этажом ниже, под нами, в 205-м, таком же трехкомнатном номере. Квартира была расположена в конце коридора, а коридор упирался в фонтан, отгороженный стеклянной стенкой. После революции фонтан бездействовал, и Н. И. превратил его в зверинец. То там летали огромные орлы, то жила обезьяна-мартышка, то медвежонок. Все, кроме обезьяны,— охотничьи трофеи Н. И. В то время, т. е. в 1925—1927 гг., я часто заставала Сталина у Н. И. Как-то раз там я слышала его циничную шутку, обращенную к отцу Н. И.: «Скажите, Иван Гаврилович, чем вы своего сына делали? Я хочу ваш метод позаимствовать, ах какой сын, ах какой сын!»

Однажды Сталин вытащил из коробки с масляными красками Н. И. цинковые белила и написал ими на куске красной тряпки: «Долой троцкизм!» Тряпку привязал к лапе медвежонка и пустил его на балкон. Медведь старался освободить лапу от тряпки, махал привязанным «знаменем» с лозунгом на злобу дня. Троцкий в то время представлял для Сталина главную опасность, черед «правой» опасности еще не пришел.

Отец радовался, когда я бывала у Н. И., говорил: «Пошла в отхожий промысел». Ему всегда казалось, что его болезнь омрачает мою жизнь, что я не добираю детской радости. Да и сам он старался меня к Н. И. «подбрасывать». Летом 1925 г. мы с родителями и Н. И. были одновременно в Сочи, а в 1927 г.— в Евпатории. По желанию отца и с согласия Н. И. я жила больше у него, чем у родителей. Ездила с ним в горы, он брал меня с собой на охоту, на этюды, мы вместе ловили бабочек, жуков-богомолов, он учил меня плавать. Какое прекрасное то было время.

По мере того как я подрастала, моя привязанность к Н. И. все усиливалась. Меня уже не удовлетворяло довольно частое пребывание Н. И. у нас. К тому же мне было ясно, что я есть нечто сопутствующее Ларину, ко мне бы он не приходил (так было до 1930 года), и я тосковала. По приезде из Сочи (в ту пору мне было одиннадцать лет) я написала Н. И. стихи:

Николаша-простокваша,
Так начнется песня наша.
У Николы много дел,
Весь от дел он похудел.
От бумаг карман распух,
Как в подушке мягкий пух,
Едет в Сочи поправляться
И на море любоваться...

и т. д., всего не помню, но конец такой:

Видеть я тебя хочу.
Без тебя всегда грущу.

Показала стихи отцу, он сказал: «Прекрасно! Раз написала, пойди и отнеси их своему Николаше». Но пойти к нему с такими стихами я постеснялась. Отец предложил отнести стихи в конверте, на котором написал: «От Ю. Ларина». Я приняла решение: позвонить в дверь, отдать конверт и тотчас же убежать. Но получилось не так. Только я спустилась по лестнице с третьего этажа на второй, как неожиданно встретила Сталина. Было ясно, что он идет к Бухарину. Недолго думая, я попросила его захватить Бухарину письмо от Ларина. Так, через Сталина я передала Бухарину свое детское объяснение в любви. Сразу же раздался телефонный звонок. Н. И. просил прийти. Но я пойти к нему не решилась.

1927 год был для меня очень печальным. По настоянию Сталина Н. И. переехал в Кремль. Пройти туда без пропуска было невозможно. Требовался предварительный звонок Н. И. в проходную у Троицких ворот. И хотя впоследствии Н. И. оформил для меня постоянный пропуск, застать его дома в ту пору было почти невозможно. Я специально изменила свой маршрут в школу, шла более длинным путем, лишь бы пройти мимо Коминтерна (здание Коминтерна находилось против Манежа, возле Троицких ворот Кремля) в надежде встретить Н. И. Мне не раз везло, и я, радостная, устремлялась к нему.

Время было напряженное, внутрипартийная дискуссия достигла крайнего накала — XV съезд ВКП(б)... До меня ли было! Н. И. заходил к отцу реже, но задерживался дольше, беседуя о текущих партийных делах. Их взгляды в то время совпадали. Меня же в ту пору ничто не тревожило. Мои волнения начались позже, когда я стала старше и под обстрелом был Н. И.

Я уже подробно описывала историю с «Гималаями», однако не упомянула, к каким последствиям она привела. А это как нельзя лучше характеризует атмосферу тех лет. Придя с заседания, на котором Сталин в присутствии членов Политбюро отказался от слов, сказанных Бухарину: «Мы с тобой Гималаи, все остальные — ничтожества» и кричал: «Лжешь, лжешь, лжешь», Н. И. рассказал об этом Ларину в присутствии матери и моем. Мать имела неосторожность рассказать своей знакомой, та, вероятно, сообщила «куда следует», так или иначе через несколько дней все стало известно Сталину. Он вызвал Н. И. к себе, кричал, что он распространяет клеветнические слухи и что ему, Сталину, все стало известно со слов Лариной. «А Ларина — честная женщина и лгать не будет» (Позже, когда это событие осталось далеко позади, Н. И. шутя называл мою мать «Еленка, честная женщина»). Трудно передать, в каком смятении прибежал Н. И. к нам и как были взволнованы родители. Мать призналась в своей оплошности.

Отец пережил это событие необычайно глубоко. Его волновало не только то, что неосмотрительность матери навлекла крупные неприятности на Н. И. Нравственным потрясением была для отца и самая возможность того, что его семья может способствовать отвратительной политической интриге. Он писал длинное письмо Сталину, затем порвал написанное и ограничился одной фразой: «Мы доносами не занимаемся. Ю. Ларин».

21 января 1924 г. поздним вечером позвонил из Горок Бухарин и сообщил, что жизнь Владимира Ильича оборвалась. Я еще не спала и видела, как две слезы, только две, катились из скорбных глаз отца, по его мертвенно-бледным щекам. Ночью он не спал и писал траурную статью. Она была одной из первых опубликованных в «Правде» и заканчивалась такими строками: «Вечно будет гордиться наш пролетариат, вечно будет гордиться наша страна, что здесь, с нами, жил и боролся, учил и трудился человек, имя которого стало легендой и надеждой для угнетенных всех стран еще при его жизни и останется маяком и знаменем в борьбе пролетариата вплоть до полной победы социализма повсюду».

Меня, девочку, потрясло, конечно, не понимание тяжести утраты, изменившей ход истории, а необычность впечатлений: глаза отца, точно от боли страдающие и померкшие, навзрыд плачущий Бухарин, похороны Ленина.

День похорон 27 января, совпавший с моим днем рождения, нарушил мой детский праздник. Отец сказал мне: «твой день рождения 27 января отменяется (будто бы это был очередной декрет Советской власти), теперь это навеки день траура. Твой день рождения отмечать мы будем 27 мая, когда природа пробуждается и все цветет». Самое интересное заключается в том, что отец вместе со мной поехал в ЗАГС на Петровку, чтобы заменить мне метрическое свидетельство. Изумленный просьбой Ларина, сотрудник ЗАГСа долго упирался, советуя день рождения отмечать 27 мая, но документ не менять. Наконец, сдался. Вторично я была зарегистрирована спустя 10 лет после своего рождения. По этому метри-

ческому свидетельству мне выдали паспорт, в котором и по сей день значится датой моего рождения 27 мая.

Вместе с отцом я была в Колонном зале Дома союзов, где стоял гроб с телом Ленина. Машина проехать не могла, и я помогала отцу добраться пешком. Ответственных партийных работников вызывали по телефону к назначенному часу. Мы вошли в комнату позади Колонного зала. Там застали Надежду Константиновну, Марию Ильиничну, Зиновьева, Томского, Калинина, Бухарина — остальных не помню. У Зиновьева и Бухарина глаза, покрасневшие от слез. Я с волнением повела отца к гробу Ленина, пристроилась где-то сбоку. Заметила старшую сестру Ленина — Анну Ильиничну. Она стояла ближе к изголовью неподвижно, точно изваяние. Вглядывалась в лицо брата и, казалось, старалась не упустить ни единой минуты прощания. Мне известно от Н. И., что все Ульяновы были против бальзамирования тела Ленина и в Мавзолее не бывали.

Похороны Ленина забыть невозможно. Об этом много написано и стихами и прозой. Но я была свидетелем всему этому. Лютый мороз, горящие костры, возле них прыгающие, чтобы согреться, красноармейцы в длинных серых шинелях и глубоко надвинутых на лоб буденовках. Ходоки-крестьяне, их было множество, в лаптях, с заиндевевшими от мороза бородами, с замерзшими слезами на глазах. Всенародное горе. Круглосуточное шествие в Колонный зал было видно из окон нашей квартиры в «Метрополе». Я встала ночью с постели и смотрела на нескончаемый людской поток, освещенный пламенем ярких костров, движущийся к Дому союзов. Незабываемая, впечатляющая картина.

Смерть Ленина его ближайшие соратники переживали невероятно болезненно. Они, как теперь мне представляется, походили на мечущихся перед землетрясением, инстинктивно чувствующих приближение чего-то неведомого, но страшного. Конечно же, они не могли предвидеть, что в недалеком будущем в большинстве своем окажутся сброшенными Сталиным на свалку истории.

Справедливую мысль высказал при разговоре со мной Илья Григорьевич Эренбург: «Ближайшие товарищи Ленина совершили огромную ошибку. После смерти его они обожествили Ленина, чем воспользовался Сталин, и благодаря своему великому умению зачислил их всех в крамольники».

Сталину льстило, когда его угодливо называли «Ленин сегодня», что вовсе не означает, что Ленин был «Сталиным вчера».

Трудно передать мое состояние в камере. Я переосмысляла свое поведение при разговоре с Берией. Перед кем же я бисер метала! В памяти всплывали бериевские фразы, на которых при допросе я не успевала задержать внимание, но сейчас казавшиеся особенно кощунственными. Как он смел сказать мне такое: «Дочь Ларина мало того, что вышла замуж за врага народа, но еще и защищает его». Но не только частое упоминание имени Ларина — даже кисть винограда, свисавшая из наркомовского пакета, напоминала об отце. Он любил свою родину — крымское побережье, где море казалось ему ярче Средиземного, крымские степи, весной алеющие от цветущих маков, самые душистые крымские розы, самый вкусный крымский виноград, выращенный умелой рукой татар, и как раз именно этот сорт — александрийский мускат. «Волшебный край! Очей отрада...» — часто повторял он строки Пушкина.

Как-то в Крыму в августе 1931 г. поздним вечером Ларина отвезли на машине к берегу моря. Самостоятельно добраться туда по крутой дороге он не мог. Было полнолуние. Серебристая дорожка вырисовывалась удивительно четко. Оставив отца сидящим на скале у самой воды, я уплыла довольно далеко в море. И вдруг меня охватило чувство приближающейся смерти. Я круто повернула назад, стараясь скорее приплыть к берегу. Подплывая, я уже посмеивалась над своим необъяснимым страхом. И только решила рассказать об этом отцу, как нахлынула волна и смыла его. Я пыталась его удержать, но это оказалось не в моих силах. Нас потащило в море вместе, и мы погибли бы оба, если бы шофер издалека не услышал моего отчаянного крика. В тюремной камере это происшествие стало казаться мне тяжким предзнаменованием: отец после него не прожил и полугода.

К его болезненному состоянию мы уже привыкли, но ничто не предвещало

столь скорого конца. 31 декабря он настоял, чтобы я встречала новый, 1932 год с молодежью. Обычно новогодний вечер я проводила с родителями. На этот раз пошла к моему сверстнику — Стаху Ганецкому, сыну известного революционера. Только я переступила порог квартиры Ганецких, как раздался телефонный звонок отца: «Немедленно возвращайся домой, я умираю!» В волнении я помчалась домой. Там передо мной предстала картина, которую трудно вообразить: отец, который обычно с трудом передвигался, бегал по квартире из комнаты в комнату в бешеном темпе. Что привело его в такое состояние, для меня и по сей день остается тайной. Мать и я заподозрили психическое заболевание. Вызвали известного невропатолога проф. Крамера, тот явился в нарушение своих новогодних планов в двенадцатом часу ночи, но психических отклонений не обнаружил. Врачи-терапевты поставили диагноз — двустороннее воспаление легких. Две недели отец мучительно умирал, сидя в кресле — лежа дышать не мог. Это была пытка.

В камере вспоминать последний день отца было, возможно, даже тяжелее, чем пережить, ибо все происшедшее я рассматривала под иным углом зрения.

Утром 14 января положение резко ухудшилось. Мать сообщила об этом ближайшим товарищам Ларина. Пришли А. И. Рыков с женой Ниной Семеновной, В. П. Милютин, Л. Н. Крицман[1]. В это время неожиданно позвонил Сталин и попросил Ларина к телефону. Но он был не в состоянии взять трубку. «Как жаль, как жаль,— сказал Сталин,— а я хотел его наркомземом назначить. А раз болен, срочно пришлю Поскребышева (личный секретарь Сталина) для организации лечения, а после окончания заседания Политбюро сам приеду навестить его»[2].

Отец до последней минуты был в полном сознании, и мать сказала ему о звонке Сталина. Все присутствовавшие были крайне удивлены. Ни по своему характеру, ни по состоянию здоровья для должности наркомзема отец не подходил. Да и не было между Сталиным и Лариным такой близости, которая позволяла бы думать, что Сталин навестит больного Ларина. Но больше всех поражен был Владимир Павлович Милютин, т. к. видел Сталина на днях и сообщил ему, что Ларин очень плох, похоже, что умирает. «Неужто забыл?!» — произнес Милютин и в недоумении пожал плечами.

Вскоре явился Поскребышев, с ним вместе будущие «врачи-отравители» (осужденные впоследствии вместе с Бухариным кремлевский доктор Левин и известный кардиолог профессор Плетнев). Оба сочли положение отца безнадежным и быстро ушли. Поскребышев почему-то остался и вместе с матерью был возле отца до самой его кончины. Я же сидела у открытой двери, ведущей из кабинета в спальню, видела его отражение в зеркале, но подойти от волнения не решалась, пока отец сам не позвал меня. При мне он попросил мать передать Сталину через

---

[1] Бухарин был в отпуске, в Нальчике. Я вызвала его телеграммой слишком поздно. Он приехал только на следующий день после похорон отца. Сталин, встретив Н. И., сказал ему: «Зачем прервал свой отпуск? Ларина приехал хоронить? Мы и без тебя его хорошо похоронили...»

[2] Кстати, мне помнятся еще два весьма примечательных телефонных звонка Сталина Ларину. В первом случае Сталин звонил в 1925 г. (об этом при мне потом вспоминали много позже) и просил Ларина выступить против Бухарина на четырнадцатой партконференции по поводу его лозунга «обогащайтесь». При личном разговоре отец высказал Н. И. мнение, что формулировка «обогащайтесь» неудачная, лучше бы выразиться «богатейте», ибо «обогащайтесь»— терминология буржуазная. Насколько мне помнится, Н. И. согласился с этим. Заслуживает внимания сам факт обращения Сталина к Ларину перед XIV съездом РКП(б), собравшимся вскоре после конференции, проходившей в совместной борьбе Сталина и Бухарина с «новой оппозицией». Между тем сам Сталин в выступлении на съезде расценил этот лозунг как малозначительную ошибку. «Я знаю,— сказал он,— ошибки некоторых товарищей, например, в Октябре 1917 г. (имея в виду Каменева и Зиновьева.— **А. Л.**), в сравнении с которыми ошибка тов. Бухарина не стоит даже внимания».

В таком случае какова же цель сталинской просьбы? Не сомневаюсь, что, выступая совместно с Бухариным против Зиновьева и Каменева, Сталин одновременно закладывал фундамент для политического уничтожения Бухарина.

Другой телефонный звонок Сталина отцу последовал месяца за три-четыре до его смерти. «Товарищ Ларин,— сказал Сталин,— в ближайшее время вы будете избраны действительным членом Академии наук СССР»— так избирали... Отец рассказал об этом звонке Н. И., тот заметил: «Для Сталина «избрание» в Академию наук СССР образованных большевиков-марксистов — это водворение их на историческую свалку, т. е. политическая смерть».

Ларина вывели из ЦИКа и ВЦИКа, где главным образом он работал, и он фактически оказался не у дел вскоре после того, как в декабре 1929 года на конференции аграрников-марксистов он обменялся со Сталиным не только шапками, но и полемическими речами — осмелился высказать мнение, что колхозы не являются предприятиями последовательно социалистического типа, поскольку в основе их лежит не государственная собственность, а обобществленная, но частная и что таковыми, т. е. предприятиями последовательно социалистического типа, являются совхозы.

Поскребышева папку с его очередным экономическим проектом, что она сделала. Затем обратился ко мне. Вопрос умирающего отца меня поразил и озадачил:

— Николая Ивановича ты все еще любишь? — спросил он, зная, что с марта 1931 г. мы не виделись. Я была смущена тем, что должна была дать ответ в присутствии Поскребышева, и взволнована потому, что мне хотелось, чтобы мой ответ удовлетворил предсмертное желание отца, которого я не знала. Но солгать я не могла и ответила утвердительно, не исключая, что отец огорчится и скажет: «Надо забыть его!» Однако глухим, еле слышным голосом он произнес:

— Интересней прожить с Н. И. десять лет, чем с другим всю жизнь.

Эти слова отца явились своего рода благословением.

Затем жестом он показал мне, чтобы я подошла еще ближе, т. к. голос его все слабел и слабел, и скорее прохрипел, чем сказал:

— Мало любить Советскую власть, потому что в результате ее победы тебе неплохо живется! Надо суметь за нее жизнь отдать, кровь пролить, если потребуется (как я поняла, отдать жизнь в случае интервенции против Советского Союза)! — С большим трудом он чуть приподнял кисть правой руки, сжатую в кулак, сразу же безжизненно упавшую ему на колено: — Клянись, что ты сможешь это сделать!

И я поклялась.

За мгновение до смерти отец повернул голову в сторону Поскребышева. Смотреть на него уже не мог, голова беспомощно болталась. Он пытался что-то сказать, но это был уже жалкий, невнятный лепет. Нам удалось понять лишь следующее: «Прах мой развейте с самолета»[1], и «Мы победим!» Последний вздох, и сердце его перестало биться.

Произнесенные отцом слова привели меня в гордое волнение. Какой великой фанатической верой в более совершенное общество жили, душевно горели большевики!

В тюремной камере, вспоминая предсмертные слова отца, я содрогнулась. Во что и в кого оставалось верить? Все, во что я верила, было убито, втоптано в грязь. Миллионы заключенных, бесконечные этапы, переполненные тюремные камеры, инсценированные судебные процессы над теми, кого в недалеком прошлом называли большевистскими вождями, и восседающий на троне диктатор.

Я далека была от мысли, что жизнь моя изменится в лучшую сторону. То казалось, что она вот-вот оборвется, то я чувствовала себя обреченной на пожизненное одиночество. Так усердно меня прятали, что можно было и это предположить. Порой, после пережитого в антибесском лагере, у оврага, когда по непонятной для меня причине я избежала расстрела, я фантазировала, убеждая себя в том, что смерти я не подвластна, а подобно Агасферу — Вечному жиду, осужденному богом на вечную жизнь и скитания за то, что тот ударил Христа по пути на Голгофу, осуждена Отцом народов на вечное скитание из одной одиночной камеры в другую за то, что не прокляла Бухарина.

И вдруг — перемена, ознаменовавшая конец моего одиночества.

«Собирайтесь и пошли»,— сказал тюремщик. Вещей не было, лишь те, что на мне, да пакет с фруктами. И есть их было невмоготу и кинуть жалко. На этот раз пакет несла сама. Шли по холлу второго этажа, обрамленному балконом. По внешнему виду ничто не напоминало тюрьму, но ввели меня в камеру. Судя по проникавшему через зарешеченное окно свету, было утро. На кровати сидела женщина средних лет, худощавая, с небольшими светлыми выразительными глазами, подстриженная по-мужски. Она с удивлением посмотрела на мою ношу (которой довольно скоро мы полакомились) и сосредоточенно окинула меня взглядом. Наученная горьким опытом, на этот раз я решила внять совету Берии и больше помалкивать.

Первой заговорила со мной сокамерница:

[1] Пришедшему тотчас же после смерти отца Авелю Сафроновичу Енукидзе я передала последнюю волю отца — развеять его прах с самолета. Но Енукидзе воспринял это как очередную ларинскую фантазию, чудачество. Место похорон — Красная площадь — было продиктовано по телефону Сталиным.

— Я вас где-то видела, не у Ларина ли? — спросила женщина.

— Возможно, у него.

— Если не ошибаюсь, вы дочь его?

Я подтвердила.

— Я помню вас еще девочкой и знаю, чья вы жена.

Так сразу же я была «расшифрована».

— Какой ум он уничтожил! Как только рука поднялась,— произнесла взволнованно женщина и тут же рассказала мне свою историю.

Это была съездовская стенографистка Валентина Петровна Остроумова. Она стенографировала выступления на партийных съездах, съездах Советов, партийных конференциях. Остроумова приходила к отцу править стенограммы его речей, знала многих большевиков, теперь погибших. В последние годы Валентина Петровна работала на Севере секретарем Игарского комитета партии. Летом 1938 г. прилетела в отпуск в Москву и зашла на квартиру к М. И. Калинину, поскольку была дружна с его женой Екатериной Ивановной. Встретились и поговорили — отвели душу. Сталину дали заслуженную характеристику: «Тиран, садист, уничтоживший ленинскую гвардию и миллионы невиновных людей» (передаю ее слова точно). Не могу припомнить, присутствовал ли при разговоре кто-либо третий, или же стены на квартире М. И. Калинина «слушали». Так или иначе, арестовали обеих. Остроумову — в аэропорту, когда она после окончания отпуска улетала на Игарку, Екатерине Ивановне, как мне рассказывали в камере, ордер на арест предъявили у входа в Кремль, в проходной у Троицких ворот.

Оказавшись в одной камере с Остроумовой, я была свидетелем драматического развития следствия по ее делу. Валентина Петровна из ненависти к Сталину готова была подтвердить все, что говорила о нем, но была озабочена положением жены Калинина. Подтверждение такого разговора, как она полагала, могло привести к неприятностям и для самого Калинина. Только из этих соображений Остроумова некоторое время отрицала происшедший разговор. Впоследствии выяснилось, что и следователь, и Берия, вызывавшие Валентину Петровну на допросы, были осведомлены до малейших подробностей о содержании беседы, причем Берия заявил, что ему все это известно из признаний жены Калинина. Остроумова, поверившая Берии, наконец подтвердила состоявшийся между ними разговор, после чего следователь устроил очную ставку Е. И. Калининой и В. П. Остроумовой. На очной ставке Валентина Петровна убедилась, что была обманута Берией. Екатерина Ивановна все отрицала. Так по крайней мере выглядит эта история в изложении Остроумовой. Я пробыла с Валентиной Петровной недолго. Ее увели из камеры в неизвестность. Судя по тому, что я прочла о ней уже в шестидесятых годах, из лагеря она не вернулась.

Екатерину Ивановну Калинину мне довелось видеть в Бутырской тюрьме после вынесенного ей приговора. К сожалению, только видеть, а не разговаривать. Перед повторной отправкой в лагерь в начале 1941 года меня перевезли в Бутырскую тюрьму. В камере, куда меня сначала ввели, не было ни одного свободного места, и я случайно села у ног спящей Екатерины Ивановны. Знакома с ней я не была, но в лицо знала. Она выглядела изможденной и постаревшей. Меня перевели в другую камеру до того, как она проснулась. Ее сокамерницы успели рассказать мне, что Екатерина Ивановна получила большой срок чуть ли не за шпионаж (А почему бы не за шпионаж? В чем угодно обвиняли безвинных людей.) Якобы ей было предложено написать о помиловании в Верховный Совет, на что она гордо ответила: «Я требую оправдания, а не помилования!» За достоверность этих сведений не ручаюсь. Мне известно, что Екатерина Ивановна была освобождена незадолго до смерти Калинина, скончавшегося летом 1946 г.[1]

Несколько дней после исчезновения Остроумовой я находилась в этой же ка-

[1] В связи с арестом жены Калинина мне вспоминается интересный случай: в томском лагере, где содержались в заключении только жены так называемых изменников Родины, в большинстве своем расстрелянных, была одна белая ворона — жена неарестованного московского профессора, по-видимому, попавшая к нам по ошибке. Профессор долго, но тщетно хлопотал об освобождении жены. Наконец он добился приема у Калинина. Когда он изложил свою просьбу, Калинин ответил: «Голубчик, я нахожусь точно в таком же положении. Я, как ни старался, не смог помочь своей собственной жене. Не имею возможности помочь и вашей». Вот какой властью обладал Всесоюзный староста...

мере с женой Белова [1] (она сутками беспрерывно рыдала и билась в истерике головой об стенку), потом меня перевели в общую камеру.

Я села на единственную свободную койку, и заключенные женщины сразу же рассказали, что до меня это место занимала няня внука Троцкого от его младшего сына Сергея [2]. Рассказывали, что няня была очень привязана к ребенку и сквозь слезы повторяла: «Ничего, ничего, Левушка (внук был назван в честь деда), приедет дедушка, нашлет на них войско, на этих извергов, и нас освободит».

В той же камере я встретилась с секретаршей Ежова — Рыжовой. Так, вопрос, который я не раз задавала Берии, прояснился окончательно. Рыжова рассказала мне о своем допросе у Берии. Тот объявил ей: «Ваш хозяин — враг народа, шпион», на что Рыжова ответила, что никогда бы не могла этого подумать, он же выполнял указания самого Сталина. А Берия прикрикнул: «Плохо думали, не умеете распознавать врага!» Рыжова сказанное Берией приняла за чистую монету и сделала наивный вывод, сказав мне в утешение:

— Если мой Николай Иванович (имея в виду Ежова) оказался шпионом, то вашего Николая Ивановича оправдают хотя бы посмертно.

Мне оставалось только молчать.

Напротив меня сидела старуха, жена военного, вся в синяках от побоев. Ее мучили галлюцинации: «Ваня, Ваня! — кричала она,— товарищи, смотрите в окно, его ведут на расстрел!» Мы все старались убедить несчастную, что это ей кажется, но крик периодически повторялся.

Рядом со мной оказалась Наталия Сац. Ее, «жену изменника Родины», так же, как и меня, привезли на переследствие. Переболевшая в лагере тифом, истощенная до предела, она походила на щупленькую девочку, но уже с седой головой. Ее мучила тоска по созданному ею детскому театру, которому она отдала много сил и таланта. Любовь к театру была страстной и ревностной. Ей больно было сознавать, что кто-то иной, посторонний человек вторгся в ее театр, словно отобрал рожденное ею дитя. Стремление вернуться в театр было настолько сильно, что, казалось, очутись Наталия Ильинична снова в нем, даже под конвоем, это до известной степени ослабило бы чувство несвободы и принесло бы ей удовлетворение. Наряду с этим она так же, как и мы все, была озабочена судьбой своей матери и детей. Своего мужа, наркома внутренней торговли Вейцера, впоследствии расстрелянного, она вспоминала с большой любовью и теплотой: «Где мой Вейцер, неужто погиб мой Вейцер?» Как часто, разговаривая со мной и тяжело вздыхая, повторяла она эти слова. И вместе с тем, несмотря на тяжкие обстоятельства, Наталия Ильинична (для меня Наташа) сохранила творческую энергию, юмор, любила шутку, меня называла Ларкина-Бухаркина, читала мне стихи, сочиненные ею перед отъездом из лагеря в московскую тюрьму:

Прощай, Сибирь, прощай буран и вьюга,
Безоблачного неба бирюза!
Прощай, Жиган! [3] Ты лучшим был мне другом.
В последний раз гляжу в твои глаза.

От Наташи я снова услышала французскую песенку, ту же, что любил напевать Н. И. в Париже: «Comme ils étaient forts tes bras qui m'embrassaient» (как были сильны твои обнимающие руки).

В этой же камере судьба свела меня с Софьей Абрамовной Кавтарадзе — женой Серго Кавтарадзе [4]. На склоне лет она сохранила красоту тонкого интеллигентного лица, а ее выразительные глаза излучали благородство. Я сблизилась

---

[1] Белов И. П.— советский военачальник, командарм I ранга, командовавший войсками ряда военных округов. В июне 1937 г.— член суда над Тухачевским, Уборевичем, Якиром и др. Расстрелян в 1938 г.

[2] Бронштейн Сергей Львович — инженер. Работал в Наркомтяжпроме у Серго Орджоникидзе. Политической деятельностью не занимался. Расстрелян, жена была арестована, а ребенок забран в детский дом. Дальнейшая их судьба мне неизвестна.

[3] Излюбленная кличка воров и бандитов.

[4] Кавтарадзе Серго (Сергей Иванович). Один из руководителей борьбы за Советскую власть на Кавказе. В 1922—1923 гг.— Председатель Совнаркома Грузии. В 1924—1928 гг.—первый зам. прокурора Верховного суда. Участник троцкистской оппозиции. Был известен как один из образованнейших большевиков Грузии. В годы террора арестован, затем освобожден по распоряжению Сталина — беспрецедентный случай для человека такой биографии. После освобождения с 1941 г.— зам. министра иностранных дел, затем — посол в Румынии.

с ней. Софья Абрамовна учила меня французскому языку. Мы пользовались библиотекой и французский текст читали по Л. Н. Толстому в «Войне и мире». Наши занятия прекратились, когда в один прекрасный день она пришла от следователя радостная. Собирая вещи, она сообщила нам о своем освобождении. Все оторопели: событие необъяснимое, не соответствующее нравам времени. Этот случай был единственным за все мое многолетнее заключение.

У противоположной стенки сидела жена комкора Угрюмова. (Я не совсем верно отображаю обстановку в камере, когда употребляю слово «сидела», имея в виду — сидела в тюрьме; мы больше валялись на койках, чем сидели). Угрюмова была единственным человеком в камере, с которым я раньше была знакома. И я, и она начали свой лагерный путь в Томске. По внешнему виду ей было около семидесяти. Когда меня привели в камеру, она спала, а я не обратила на нее внимания, всматриваясь в лица сидящих ближе ко мне. И вдруг я услышала:

— Дорогая моя девочка, и ты здесь! А мы-то все гадали, куда же тебя увезли!

Она кинулась ко мне, пробираясь сквозь тесно стоящие кровати, и, рыдая, обнимала и целовала. Угрюмова тепло относилась ко мне в лагере, подкармливала меня, когда получала продовольственные посылки от родственников. Из томского лагеря ее увезли намного позже, чем меня, но сразу же в Москву, поэтому прибыла она во внутреннюю тюрьму НКВД значительно раньше. Мы не виделись около девяти месяцев и делились пережитым за это время. Угрюмова была приятельницей матери Михаила Васильевича Фрунзе, и с ее слов рассказала в лагере кому-то из заключенных о том, что Сталин преднамеренно погубил Фрунзе, настояв на операции язвы желудка, операции, которая Фрунзе была не нужна. В последнее время Михаил Васильевич чувствовал себя здоровым. Вскрытие показало, что язва была зарубцована. И умер Фрунзе сорокалетним, не проснувшись после наркоза,— сердце не выдержало. Доносительство в томском лагере цвело пышным цветом, поэтому Угрюмову сразу же отправили в Московскую следственную тюрьму и обвинили в злостной клевете на Сталина. Мне эта версия смерти Фрунзе показалась маловероятной, хотя «Повесть непогашенной луны» Б. Пильняка подтверждает ее. Но в то время, когда была опубликована и сразу же изъята эта повесть, я была мала и ее не читала. Не имею понятия, какие основания имелись у матери, да и у жены Фрунзе для таких обвинений против Сталина. Возможно, та же повесть Б. Пильняка, а может, наоборот, они сами явились источником информации для писателя. В 1938 году в кровожадности Сталина у меня сомнений не было, однако в причастности его к смерти Фрунзе я усомнилась. Казалось, что в 1925 году у Сталина не могло быть столь зловещих планов.

— Но почему он начал с Фрунзе? — спросила я Угрюмову.

— Он убрал его потому,— пояснила она,— что Михаил Васильевич, по словам его матери, до последнего времени признавал авторитет Троцкого и с большим уважением относился к нему.

Мать Фрунзе, по рассказу Угрюмовой, была полна ненависти к Сталину и говорила ей, что смогла бы задушить его собственными руками. И мать, и жена Фрунзе вскоре после смерти Михаила Васильевича скончались... Все это было поведано мне шепотом, чтобы никто не услышал.

Рассказ Угрюмовой мне напомнил эпизод из далекого детства.

В первую годовщину Октябрьской революции после смерти Ленина, 7 ноября 1924 года, отец был на Красной площади. В то время праздник на трибуне Мавзолея встречали не только члены Политбюро, но и более широкий круг партийных работников. Я, как и во многих других случаях, сопровождала отца, помогая ему добираться. Так я оказалась на трибуне. Из присутствовавших там мне запомнились лишь трое: Троцкий, Фрунзе и Сталин. Моей забывчивости способствовал случай, для меня в ту пору очень огорчительный. Как только мы с отцом поднялись на левую трибуну Мавзолея, ко мне подошел Троцкий и сказал: «Ты что на себя нацепила?» — и дернул рукой мой пестрый шарфик (красный в голубых цветочках), который мать не без моего желания повязала мне поверх пальто, чтобы я выглядела нарядной.— «Где твой пионерский галстук?! Ты, очевидно, не знаешь, почему пионерский галстук красного цвета! Красный цвет — символ

пролитой крови восставшего рабочего класса!» Он произнес эти слова строгим, грозным тоном, будто по меньшей мере я была проштрафившимся солдатом Красной Армии, которого ждет кара. Я до такой степени смутилась и так была взволнована, что праздник был отравлен, и у меня было лишь одно желание — поскорее вернуться домой. В свое оправдание я сказала Троцкому: «Это мама повязала мне шарфик вместо галстука». «Неплохая у тебя мама,— ответил Троцкий,— а совершила такое зло!» Так и выразился — «зло». Мамино «зло» еще больше огорчило меня, и у меня брызнули слезы. Отец, увидев мой жалкий вид, заступился за меня: «Посмотрите, Лев Давыдович, какие огромные красные банты в косах моей дочери, так что «крови» более чем достаточно». Оба они рассмеялись, и мне показалось, что глаза Троцкого стали добрее. Но из страха, что он снова принесет мне какую-либо неприятность, мой взгляд был прикован к нему и невольно к тем, кто стоял рядом. Это оказались Сталин и Фрунзе, Троцкий посередине.

С Троцким знакома я не была. Ни у отца, ни у Н. И. он не бывал, но не раз приходилось мне его видеть у здания Реввоенсовета на Знаменке (теперь ул. Фрунзе). Школа, где я училась, находилась напротив, и в полуподвальном помещении Реввоенсовета собирался наш пионерский отряд. Помню, как-то в первомайский праздник нас, младшее пионерское звено, отправляли на грузовой машине прокатиться по праздничной Москве. К машине подошел Троцкий и сказал нам: «Ребятки! Обязательно пойте песню: «Так пусть же Красная сжимает властно свой штык мозолистой рукой!» Он произнес слова этой песни с такой революционной страстностью, что, вдохновленные наказом Троцкого, всю дорогу, не переставая, мы хором громко пели эту песню с непередаваемым энтузиазмом. Кончали и начинали вновь.

Тогда Троцкий показался мне величественным и молодым. Глядя на него на трибуне Мавзолея, я заметила в нем разительную перемену. Сорокапятилетний Троцкий был бледен, поседевшие виски виднелись из-под буденовки. Он выглядел старичком. Во всяком случае, такое впечатление он произвел на меня на одиннадцатом году жизни.

Стоя на трибуне, и Фрунзе и Троцкий о чем-то оживленно беседовали. Сталин же стоял рядом с Троцким молча. Он то приветствовал рукой демонстрантов, то отходил в глубь трибуны и, заложив руки за спину, шагал взад и вперед, устремляя свой пристальный взгляд на Троцкого и Фрунзе. В те дни я не понимала, что политическая карьера Троцкого была на закате: заместителем Председателя Реввоенсовета был назначен Фрунзе с тем, чтобы в ближайшее время заменить его, что и случилось уже в январе 1925 г., а в октябре этого же года Михаил Васильевич скончался.

Рассказ Угрюмовой ясно вызвал из глубин памяти этот эпизод, на который я теперь смотрела другими глазами.

Мои детские воспоминания о самом Троцком могут показаться не стоящими внимания. В строгом замечании Троцкого по поводу моего «бескровного» шарфика, заменившего пионерский галстук, я видела лишь просчет своей матери, но отнюдь не «зло»; в том, как повелительно приказал он пионерам петь о Красной Армии, я ничего, кроме случайности, не видела. Однако теперь, оглядываясь назад, в этих мелочах я усматриваю проявления характера Троцкого.

В камере внутренней тюрьмы на Лубянке я просидела более двух лет. В нее приходили с воли, а уходили в лагеря, в изоляторы, на расстрел. Но в памяти сильнее всего первое впечатление, когда после одиночки в общей камере несколько заключенных казались мне целым полком, и, окунувшись в море человеческого страдания, я ненадолго отвлеклась от своего собственного.

Врезалась в память первая арестованная, приведенная к нам с воли при мне,— лесничая из брянского леса. Румяная, свежая, она резко отличалась от нас, просидевших в тюрьмах и лагерях месяцы и годы,— бледных, изможденных, серых. Она походила на только что сорванную лесную ягоду. Я дала ей прозвище Земляничка, так все стали ее называть, хотя ягодка быстро увяла. Ну, а следователь называл ее «лесная шпионка». Это была непосредственная, неглупая женщина, из крестьянской семьи. После ареста из Брянска ее сразу же отправили в московскую лубянскую тюрьму. В тот же день ее допрашивал следователь, а после допроса привели к нам.

Она вошла растерянная и окинула всех подозрительным взглядом. Прежде чем заговорить, она спросила, за что нас арестовали. Кое-кто промолчал, другие ответили:

— Ни за что.

— Вот и меня ни за что,— сказала лесничая и, облегченно вздохнув, добавила: — Теперь, видно, мода пошла ни за что сажать.

Она стала рассказывать о своем допросе, грубом и глупом поведении следователя. Передаю ее рассказ.

— Беда еще в том, что следователя дурака дали, надо просить умного (будто бы это изменило ее положение). Сказал он мне: «У тебя не голова, а сундук с клопами»,— надо же такое придумать, и что я лесная шпионка.— Лесничая сквозь слезы рассмеялась.— И как я ему, дураку, ни объясняла, что у нас глухомань, людей не видать и сведений у меня никаких нет, кому нужна такая шпионка? «Знала,— говорит,— сколько деревьев имеется на твоем участке, вот тебе и сведения, ты и есть лесная шпионка!» Следователь не сказал только, какой стране передавала она эти «бесценные сведения». Когда та пыталась убедить его, что такие сведения ни одной стране не нужны, и заявила, что он говорит чушь, следователь крикнул: «Я тебе покажу чушь! Сделаю так, что ты заговоришь! Ты Бухарина знала?» «Откуда я могла знать его, он к нам в лес не ездил». «Что прикидываешься дурочкой, будто бы не слышала, что враг народа Бухарин был?» «Слыхать-то слыхала. И про врага народа и про раньше («и про раньше» — точно так она выразилась). «Что значит «про раньше»! Я тебе «про раньше» всыплю! Каким он был, «про раньше» — забыть надо. Бухарин три месяца не признавался, все говорил «ничего не знаю, ничего не ведаю», сидел как божок! А когда посадили его в особую камеру, только тогда он стал давать показания. Камеры этой еще никто не выдерживал. Посадим тебя туда, и ты сознаешься».

Рассказ лесничей о допросе изобиловал невероятно грубыми, оскорбляющими женщину подробностями. Вот персонаж, по которому можно судить, кто в ту пору мог стать следователем в главной тюрьме НКВД. Безусловно, не все такие были. Были и утонченные. Но, к сожалению, результат «следствия» от этого ничуть не менялся. Мягко стелили, но жестко было спать.

После того, как лесничая упомянула Н. И., взоры моих сокамерниц были обращены на меня. И хотя Н. И. уже не было в живых, рассказ Землянички стоил мне бессонных ночей. Кто знает, пугал ли следователь несчастную женщину, или за его словами об особой камере стояло то, что произошло на самом деле. Последнего не исключаю. Скорее склонна думать, что именно так оно и было. И глупый следователь раскрыл тайну, которая так тщательно скрывалась.

Все познается в сравнении. Казалось бы, при сложившихся обстоятельствах роптать было не на что: и люди, и книги, и койка с бельем, и кормили значительно лучше, чем в лагере, и подвалы позади. Но душу точно червь точил. Ежедневно я была в напряженном ожидании вызова к следователю. Часто двери камеры отпирали, и дежурный надзиратель вызывал: «Кто на «мы», «Кто на «сы» и т. д. Мною же не интересовались. Лишь один раз, через несколько дней после свидания с Берией, в первых числах января 1939 г., я была вызвана к следователю, и он преподнес мне новогодний подарок.

— Подпишите протокол допроса,— сказал он.

Я была крайне удивлена, ибо ни в Новосибирске, ни при разговоре с Берией протоколов «допросов» не вели. Но еще больше я была поражена, когда следователь подвинул ко мне чистый лист бумаги.

— Я пустые листы не подписываю,— заявила я с возмущением.

Тогда он перевернул бумагу, и я увидела отпечатанный на машинке протокол моего допроса — вопросы следователя и ответы за меня:

Вопрос: Состояли ли вы в контрреволюционной организации молодежи?

Ответ: Не состояла.
Вопрос: Занимались ли вы контрреволюционной деятельностью?
Ответ: Не занималась.
Вопрос: Занимались ли вы контрреволюционной агитацией?
Ответ: Не занималась.— И т. д., всего не помню.

Несомненно, «протокол» был продиктован сверху, и такой я подписала.

— Возможно, скоро Москву увидите,— сказал, улыбаясь, следователь, решивший, что только в целях освобождения мне было предложено подписать такой документ.— Соскучились по Москве?

Я в недоумении пожала плечами. Меня охватило чувство величайшей тревоги и страха. Попасть на ту волю, да еще прокаженной... Лучше здесь равной среди равных. Ведь даже в лагере и тюрьмах находились такие, которые старались держаться от меня подальше, хотя их было немного. Однако опасения мои оказались напрасными, протокол этот ни к каким результатам не привел.

Шло время. Наконец к исходу сентября 1939 г., т. е. через десять месяцев моего пребывания в московской тюрьме, меня вызвали на допрос. Опять-таки допросом, т. е. объективным расследованием дела для выяснения истины, мой разговор со следователем назвать никак нельзя. Вместе с тем это не был типичный для того времени допрос с пристрастием, с применением пыток или психологического воздействия, с целью умышленного получения заведомо ложных показаний. Скорее это были перепевы тех же мотивов, что звучали при разговоре с Берией. Тем не менее первый вызов после длительного «покоя» точно обухом по голове ударил.

Я вошла в кабинет, где когда-то уже побывала. За письменным столом сидел все тот же Матусов — тот самый, который вместе с заместителем Ежова Фриновским (к этому времени уже арестованным, возможно, уже и расстрелянным) разговаривал со мной, убеждая в необходимости ехать в астраханскую ссылку добровольно, чтобы избежать применения насильственных мер. Этот на вид нежный херувимчик пережил почти всех ответственных сотрудников НКВД со времен Ежова (быть может, работал и при Ягоде) и, как я потом узнала, умер своей смертью. Не знаю, в какой должности он был, но не рядовым следователем.

— Здравствуйте, Анна Михайловна! Рад вас видеть!— произнес Матусов непонятно восторженным тоном, будто мы были давнишними приятелями и я к нему в гости пришла.

— А я вовсе не рада видеть вас,— ответила я на его глупое приветствие.— Вы не выполнили обещаний, данных мне перед высылкой в Астрахань. Там не оказалось «ни заботы, ни работы, ни квартиры». Кроме того, вы не выполнили главного: не дали мне свидания с Н. И. после окончания следствия. А ведь обещали для этой цели вызвать меня из Астрахани. Не дали проститься с ним.

В этот момент дверь в кабинет Матусова открылась и вошел Андрей Свердлов. «С какой целью?» — мгновенно пронеслось у меня в голове. Я сразу же предположила: он арестован и вызван на очную ставку со мной. Ведь в моем «деле» в связи с информацией, поступившей из Новосибирска, Андрей Свердлов, якобы с моих слов, фигурировал как член контрреволюционной организации молодежи. И хотя я это опровергала перед Берией, опасалась, что в случае повторного ареста Андрей подтвердит существование контрреволюционной организации молодежи. Будет клеветать на самого себя и на меня. Случай для того времени типичный. Однако, приглядевшись к Андрею, я пришла к выводу, что он не похож на заключенного. На нем был элегантный серый костюм с хорошо отутюженными брюками, а холеное, самодовольное лицо говорило о полном благополучии.

Андрей сел на стул рядом с Матусовым и внимательно, не скажу — без волнения, вглядывался в меня.

— Познакомьтесь, это ваш следователь,— сказал Матусов.

— Как следователь! Это же Андрей Свердлов! — в полном недоумении воскликнула я.

— Да, Андрей Яковлевич Свердлов,— подтвердил Матусов удовлетворенно. Вот, мол, какие у нас следователи! — Сын Якова Михайловича Свердлова. С ним и будете иметь дело.

Сообщение Матусова показалось мне ужасающим, я пришла в полное замешательство. Пожалуй, легче было бы пережить мое первоначальное предположение об очной ставке.

— Что, не нравится следователь? — спросил Матусов, заметив изумление и растерянность на моем лице.

— Я как следователя его не знаю, но знакомить меня с ним нет необходимости, мы давно знакомы.

— Разве он был вашим другом? — с любопытством спросил Матусов.

— На этот вопрос пусть вам ответит сам Андрей Яковлевич.

Другом своим я бы Андрея не назвала, но я его знала с раннего детства. Мы вместе играли в детские игры, бегали по Кремлю. И сейчас вспоминается мне, как однажды осенью Адька, как мы звали его в детстве, сорвал с моей головы шапку и удрал. Я бросилась за ним, но догнать не смогла. Забежала за шапкой к нему домой (семья Я. М. Свердлова жила и после смерти его в Кремле). Андрей взял ножницы, отрезал верхнюю часть шапки — она была трикотажная — и бросил мне в лицо. Андрею было приблизительно около тринадцати, а мне около десяти лет. Возможно, тогда-то он и совершил свой первый злой поступок, и жестокость была заложена в его натуре.

В юности мы одновременно отдыхали в Крыму. Андрей не раз приезжал ко мне в Мухалатку из соседнего Фороса. Это было еще до его женитьбы и моего замужества. Мы вместе гуляли, ходили в горы, плавали в море.

Никаких подробностей нашего знакомства Матусову я не рассказала. Ответила кратко:

— Я знакома с Андреем Яковлевичем достаточно хорошо. В таком случае, насколько мне известно, он не может быть моим следователем, я имею право на его отвод.

Но Матусов повторил, что моим следователем будет, несмотря на обстоятельства, именно Свердлов.

Видеть Андрея Свердлова в качестве следователя НКВД для меня было мучительно, потому что он был сыном Якова Михайловича, большинство соратников которого к тому времени пали жертвой террора; были репрессированы также и дети известных партийных деятелей, принадлежащих к окружению Андрея, в том числе его близкий друг Дима Осинский, когда-то впервые отведавший тюремную похлебку одновременно с Андреем, а в дальнейшем, в 1937 г., вторично арестованный вслед за отцом. Наконец, особую драматичность приобрело мое свидание со следователем Андреем Свердловым в застенках внутренней тюрьмы НКВД и потому, что не кто иной, как Н. И., ходатайствовал перед Сталиным об освобождении Андрея после его первого ареста[1]. Знал бы Н. И., как пал Андрей, этот «юноша, подающий надежды»,— так он характеризовал его Сталину. Ах, знал бы он!..

Андрей молча слушал мой диалог с Матусовым, затем решил высказаться:

— Что ты там про меня болтала? — спросил он уверенным тоном, давшим понять, что моя «болтовня» никак не повлияет на прочность его положения, не отразится на его карьере. А по натуре он, несомненно, был человеком с карьеристскими наклонностями.

Я лишь выражала опасение, пояснила я Андрею, что его первый арест повлечет за собой повторный, и на этот раз сфабрикуют контрреволюционную организацию молодежи, занимающуюся террором, вредительством и т. д., и что к этой организации причислят и меня. Я полагала, что наше знакомство будет способствовать этому и не улучшит положения ни его, ни моего.

— Как вы выражаетесь,— заметил Андрей (обращаясь ко мне на этот раз на «вы»),— «сфабрикуют контрреволюционную организацию» — мы здесь ничего не фабрикуем.

Я в ужасе промолчала и, как ни странно, только в тот миг окончательно поняла, что между нами — пропасть. На этом наше первое свидание окончилось.

[1] По возвращении в Москву в 1959 г. я узнала, что А. Я. Свердлов был арестован еще дважды (не убеждена, что эти сведения точны), последний раз при Берии. Вот те методы, которыми Сталин довел Андрея Свердлова до падения. Но это — смягчающее обстоятельство, которым мог бы воспользоваться адвокат. Я же его обвинитель.

Вторично мы встретились через два-три дня. И уже не так остро ощущалось потрясение от неожиданности видеть А. Я. Свердлова в роли своего следователя — ко всему привыкаешь. Другое мучило меня: встретившись с ним с глазу на глаз, я не сразу смогла сказать ему в лицо, что я о нем думаю. Я была возмущена до крайности, был даже порыв дать ему пощечину, но я подавила в себе это искушение. (Хотела — потому что он был свой, и не смогла по той же причине...) Вместе с тем я понимала, что падение Андрея — отнюдь не досадное недоразумение, за этим скрывался безнравственный и беспринципный характер.

Мое вторичное свидание с Андреем не застало меня врасплох, как допрос у Берии, когда я силилась доказать то, что не требовало доказательств, то, что для самого Берии было аксиомой. Хотя мне удалось заметить, что разговор со мной произвел на него впечатление. Многое, рассказанное мною, он мог узнать только от меня. К свиданию с Андреем я готовила себя заранее и решила быть более сдержанной, но это никак не удавалось.

Допрос оказался не таким, каким я себе его представляла. На этот раз Андрей был мягче, смотрел теплее. Проходя мимо, сунул мне в руку яблоко, но все же про свои обязанности следователя не забывал. Он сидел за письменным столом в небольшом узком кабинете. Мы смотрели друг на друга молча. Глаза мои наполнились слезами. Казалось, что и Андрей заволновался. Возможно, мне хотелось хотя бы это в нем увидеть.

У нас были схожие биографии: оба мы были детьми профессиональных революционеров. У обоих отцы успели умереть вовремя; оба мы в одинаковой степени были верны советскому строю; оба мы с восхищением относились к Н. И. На эту тему у меня был разговор с Андреем еще до моего замужества. Наконец, обоих нас постигла катастрофа. Безусловно, различная, но все-таки катастрофа.

Деятельность Андрея Свердлова нельзя было расценить иначе, как предательство. На меня смотрели глаза Каина. Но виновником катастрофы и его, и моей было одно и то же лицо — Сталин.

Молчание Андрея было невыносимо, но и сама я на некоторое время потеряла дар речи. Наконец взорвалась:

— О чем будете допрашивать, Андрей Яковлевич? Н. И. уже нет, и добывать ложные показания против него не имеет смысла, после драки кулаками не машут! А моя жизнь — она у вас как на ладони, не вам о ней допрашивать. И ваша, до определенного времени, мне была достаточно ясна. Именно поэтому я защищала вас, заявляя, что к контрреволюционной организации вы не могли быть причастны.

Андрей, облокотившись о письменный стол, ссутулившись, смотрел на меня загадочным взглядом и, казалось, пропустил сказанное мимо ушей. И вдруг он произнес слова, никоим образом не относящиеся к следствию, возможно, правильней сказать, к теме нашего разговора:

— Какая у тебя красивая кофточка, Нюська! (Нюсей меня называли родители и все мои сверстники.)

Пожалуй, в этот момент я почувствовала жалость к предателю, подумав, что и он в ловушке, только зашел в нее с другой стороны.

— Так кофточка моя тебе понравилась (я тоже обращалась к Андрею то на «вы», то на «ты», в зависимости от того, какие эмоции брали верх), а что же не нравится?

Андрей тотчас же собрался и, проявляя свои следовательские черты, проговорил знакомые казенные слова, слышанные мною не один раз из других уст:

— Вы распространяете вредные антисоветские измышления, будто процессы есть судебная инсценировка и ваш Бухарин никаких государственных преступлений не совершил.

Все один и тот же мотив. Однако слышать эту песню от Андрея Свердлова было несравненно тяжелее, чем от Сквирского или Берии.

— А вы думаете,— воскликнула я,— что большевики предали дело всей своей жизни? Думайте, если вам так выгодно думать и легче жить. Неужто вы искренне считаете, что ваш близкий друг Дима Осинский — контрреволюционер, а вы нет! Что Стах Ганецкий — враг народа, а вы друг! Вероятно, вы их тоже допрашивали! Да разве только их, не меня же одну? [1]

— Вас не касается, кого я допрашивал! — крикнул Андрей.

Затем, как и Берия, он фиксировал внимание на моих разговорах с Лебедевой.

— Болтала слишком много, и стихами, и прозой, а из этой болтовни наворотили гору лжи.

Ясно, лжи, если о нем, Андрее Свердлове, следователе НКВД, было показано, что он состоял членом контрреволюционной организации молодежи. Главная моя вина заключалась в том, что я перед Лебедевой компрометировала процессы. В ответ на это утверждение Свердлова я высказала полную уверенность, что по вопросам о процессах вообще и о Н. И. в частности наше мнение совпадает. У меня была неудержимая потребность высказать это свое убеждение, потому что за столом следователя сидел сын Якова Михайловича Свердлова. Хотя я и Берии сочла нужным это заявить. Нет сомнения, что Андрей стал бы в ярости опровергать мои слова, но не успел. Я сразу же сообщила ему, что «враг народа» Бухарин после его, Андрея, ареста звонил по телефону Сталину и просил за него.

Мой следователь изменился в лице, покраснел от волнения.

— Неужели? — переспросил он, хотя великолепно понимал, что это правда, и я подтвердила сказанное. На этот раз мое сообщение положило конец разговорам на следственные темы, и Андрей переключился на семейные. Сказал, что его жена Нина (дочь Подвойского), которую я знала, преуспевает на ответственной комсомольской работе и якобы она, как он выразился, «между прочим», шлет мне привет. «Привет, между прочим», кроме раздражения, никаких иных чувств у меня не вызвал. Предполагаю, что жена Андрея и не знала о нашей драматичной встрече.

Однако я в долгу не осталась и на один привет ответила несколькими. Передала привет от тетки Андрея — сестры Якова Михайловича — Софьи Михайловны, с которой побывала в томском лагере; привет от двоюродной сестры Андрея — дочери Софьи Михайловны, жены Ягоды. С ней в лагере я не встретилась, но все равно привет передала. Рассказывали в лагерном мире, что жена Ягоды до процесса была в колымском лагере, после процесса была отправлена снова в Москву и расстреляна. Наконец, передала привет от племянника Андрея — сына его двоюродной сестры, рассказала и о трагических письмах Гарика бабушке из детского дома в лагерь: «дорогая бабушка, миленькая бабушка, опять я не умер»...

Своими сообщениями-приветами ничего нового Андрею я не открыла. Только о страшных письмах он знать не мог. Однако получать эти приветы через меня, как я предполагаю, для него было не большим удовольствием. Но пробрал ли его душу озноб, как это бывало со мной в минуту особо острых переживаний? Понял ли Андрей, что не за тем столом сидит? В этом я сомневаюсь.

Наш разговор подходил к концу, и я нашла момент подходящим, чтобы попросить своего следователя позвонить по телефону моей бабушке и спросить от моего имени, не знает ли она, жив ли, где и у кого находится ребенок. Эту просьбу Андрей выполнил. Звонил при мне. Так я узнала, что Юра, которому в ту пору шел четвертый год, живет в Москве, у моей тетки — сестры матери. И, несмотря на тяжесть разговора с Андреем, я ушла из его кабинета окрыленная.

Своего следователя я видела еще трижды. Но если поначалу мне удавалось заметить в Андрее хоть проблески человечности, то в дальнейшем и они исчезли.

Я снова была вызвана на допрос лишь через полтора года, в феврале 1941 г. Все три последующих допроса были краткими. Андрей встретил меня суровым взглядом и непонятным криком:

— Скоро будете давать показания?

В этом возгласе не было ни логики, ни смысла: полтора года назад Свердлов не требовал от меня никаких показаний.

[1] К моменту моего допроса мне было уже известно, что сын Осинского и сын Ганецкого арестованы. О том, что оба они были расстреляны, я узнала лишь по возвращении в Москву из ссылки.

— Мы вас еще как следует не допрашивали! Посадим в Лефортовскую тюрьму, тогда заговорите!.. Это военная тюрьма, там вы поймете, что такое следствие! — кричал Свердлов.

Так, к 1941 г. А. Я. Свердлов превратился в опытного следователя и выражался стандартными заученными формулировками [1].

Об ужасающих пытках в Лефортовской тюрьме я слышала от сидевших одновременно со мной в томском лагере жен сотрудников НКВД. Я не успела спросить у А. Свердлова, для какой цели он хочет подвергнуть меня пыткам, как вдруг, по-видимому от сильного потрясения, оттого, что со мной так разговаривает именно Андрей Свердлов, я почувствовала, что теряю зрение: сначала все помутнело и закружилось, затем, кроме светового пятна горящей лампы на письменном столе следователя, я ничего уже не видела.

— Самую страшную пытку вы уже совершили, Андрей Яковлевич, я ослепла!

— Что вы симулируете! — крикнул Андрей.

— Я не симулирую, я вас не вижу,— дрожащим голосом произнесла я.

Я слышала, как Андрей звонил врачу. Кто-то, очевидно, тюремщик, привел меня под руку в кабинет врача. Перед глазами зажигали лампу, спички, и снова, кроме светового пятна, я ничего не видела. Так продолжалось два дня. На третий зрение постепенно восстановилось. Тюремный надзиратель усиленно наблюдал за мной. «Глазок» почти беспрестанно шуршал. Товарищи по камере помогали мне во всем. Как только надзиратель убедился, что я прозрела, на следующий же день меня вызвали на допрос.

Андрей на этот раз был предупредителен и вежлив. Интересовался моим здоровьем, особенно зрением. Я не жаловалась. Спросила, что в конце концов от меня требуется.

— Анна Михайловна,— ответил на мой вопрос следователь (он впервые назвал меня по имени и отчеству),— вам предстоит написать о последних месяцах жизни Бухарина перед арестом.

Я была крайне озадачена.

— К чему это теперь понадобилось? Ведь Н. И. уже нет. Кроме того, до ареста он решительно отрицал какую-либо причастность к контрреволюционной деятельности. Другого я не напишу, а это вам не понравится.

— Пишите, как было, если отрицал, так и пишите: «отрицал».

Он подвинул ближе ко мне листы бумаги. Но сию же минуту, в присутствии следователя, я писать отказалась. Попросила дать мне время, чтобы все хорошо обдумать и вспомнить. Кроме того, предоставить мне возможность писать наедине. Через два дня меня завели в бокс, и там, сравнительно кратко, я написала о последних месяцах жизни Н. И. О многом преднамеренно не упоминала, например, о его письме «Будущему поколению руководителей партии», многое выпало из памяти от сильного волнения; сдерживало и то, что ни цели, ни смысла в получении документа такого характера после казни Н. И. я не понимала.

— Кому это нужно? — спросила я Андрея при нашем последнем свидании, когда принесла написанное.

— Хозяину.— коротко ответил он.

Я не убеждена в этом. Возможно, это было любопытство Берии.

О последних месяцах жизни Бухарина до ареста я собираюсь рассказать теперь, через десятилетия после драматических событий. Только сейчас, по прошествии многих лет, я могу взяться за перо, чтобы воссоздать картину трагической гибели Н. И., стараясь не упустить ни малейшей детали.

Мобилизовать свою память и направить ее в русло событий, где господствовали ужасающее вероломство Сталина и не поддающиеся описанию страдания

погибающего Бухарина, не так легко. Человеческий язык беден, чтобы передать силу катастрофы. К тому же это означает пережить заново трагические дни, когда доносившийся со Спасской башни Кремля бой часов упорно напоминал о приближающемся конце и звучал для меня траурным маршем.

Погружаюсь в то мрачное время лишь потому, что никто, кроме меня, не сможет оставить такого свидетельства. Это мой долг перед историей и перед Бухариным.

Отсчет последним месяцам жизни Бухарина я веду с августа 1936 года, когда на процессе Зиновьева и Каменева были упомянуты имена Бухарина, Рыкова, Томского. В те дни Бухарин осознал, что голова его положена на плаху.

Безусловно, явное подготавливалось тайным. Последней крупной тайной акцией (из тех, что мне известны), приумножившей обвинения против Бухарина и Рыкова, явилась провокационная командировка Бухарина за границу.

Николай Иванович был командирован за границу в феврале 1936 года, ближе к концу месяца, для покупки архива Маркса и Энгельса. Архив принадлежал немецкой социал-демократической партии и после прихода Гитлера к власти был вывезен из Германии в другие страны Европы. В связи с тем, что и это не обеспечивало надежного хранения архива из-за опасности войны с Германией, а может быть, и по материальным соображениям, решено было архив продать Советскому Союзу. Для покупки архива за границу была направлена комиссия из трех человек: В. В. Адоратского, директора ИМЭЛ, А. Я. Аросева, в то время председателя ВОКСа, и Бухарина.

Николая Ивановича вызвал Сталин, сообщил ему о предстоящей командировке и выразил желание получить не только те документы Маркса и Энгельса, которых у нас вовсе не было, но и те, которые у нас имелись в копиях, назвал цену, за которую можно было купить архив. «Аросев несомненно торговаться сможет, но в знаниях Адоратского я сомневаюсь, ему могут подсунуть что угодно вместо Маркса. Проверить рукописи сможешь только ты»,— сказал Сталин.

Николай Иванович и заподозрить не мог, что поездка его за границу была задумана с провокационной целью. При встрече Сталин, казалось, был настроен дружески, заметил даже:

— Костюм у тебя, Николай, поношенный, так ехать неудобно, срочно сшей новый, теперь времена у нас другие, надо быть хорошо одетым.

В тот же день позвонил портной из мастерской Наркоминдела:

— Товарищ Бухарин (говорил портной с сильным еврейским акцентом), мне надо как можно скорее снять мерку, чтобы срочно сшить вам костюм.

Н. И. попросил сшить костюм без мерки и пытался объяснить, как сильно он занят:

— В три часа дня «летучка» в редакции, и дел перед отъездом уйма!

— Как это без мерки? — удивился портной.— Поверьте моему опыту, товарищ Бухарин, еще ни один портной без мерки не шил.

— Сшейте по старому костюму,— предложил Николай Иванович.

Такой выход из положения был неосуществим прежде всего потому, что единственный старый был на нем, предыдущий, совсем изношенный, я успела выкинуть; отдав старый костюм портному, Николай Иванович смог бы явиться в редакцию только в нижнем белье.

— По старому? По старому выйдет плохо. И знаете, я всегда мечтал увидеть хоть раз живого Бухарина — не на портрете. А теперь представляется такой случай, такой случай! Доставьте мне удовольствие, товарищ Бухарин!

Так переплетается трагическое с комическим. «Удовольствие» портному Николай Иванович доставил, в новом костюме он ездил в Париж, в нем был арестован, в нем и расстрелян, если для такого события Сталин не распорядился сшить еще один костюм.

Все казалось правдоподобным. При встрече с Николаем Ивановичем Сталин вручил ему постановление Политбюро, в котором были указаны цель командировки, состав комиссии по покупке архива и, если память мне не изменяет, перечислены лица, с которыми члены комиссии должны будут встретиться для веде-

[1] Одна из сестер моей матери была женой В. П. Милютина, погибшего во время террора, и прошла тот же адов путь, что и я. Она была вызвана из лагеря в Московскую внутреннюю тюрьму в связи со следствием по делу Мейерхольда. Поскольку Мейерхольд бывал у Милютина, от нее потребовали показаний против Всеволода Эмильевича. После своей реабилитации и возвращения в Москву она рассказала мне, что следователем ее был Андрей Свердлов. Он обращался с ней грубо, грозил избить, махал нагайкой перед ее носом.

ния переговоров. Во всяком случае, абсолютно точно помню, как, придя домой после разговора со Сталиным, Н. И. сообщил мне, что ему придется встретиться с австрийским социал-демократом Отто Бауэром, одним из лидеров II Интернационала и австрийской социал-демократической партии, с которым Николай Иванович не раз скрещивал полемическое оружие, идеологом австро-марксизма, а также с видным австрийским социал-демократом, секретарем II Интернационала Фридрихом Адлером, русскими меньшевиками-эмигрантами, издававшими в Париже «Социалистический вестник», Ф. И. Даном и Б. И. Николаевским. Н. И. сказал по этому поводу:

— Ну, Коба, выкинул номер! Анекдотический случай: я — и Дан!

Ф. И. Дан — один из лидеров меньшевистской партии, член ее ЦК. После Февральской революции — член исполкома Петроградского Совета и президиума ЦИК (поддерживал Временное правительство), в конце 1921 года был выслан за границу, участвовал в организации II Интернационала. Редактор эмигрантского журнала «Социалистический вестник», издававшегося в Париже, затем в Америке. Б. И. Николаевский, близкий Дану человек, историк,— фигура значительно менее крупная в меньшевистской партии.

— С этими типами надо быть сугубо осторожным, они способны на любую провокацию и могут снова (имелась в виду публикация в «Социалистическом вестнике» записи разговора Бухарина с Каменевым. — **А. Л.**) принести мне неприятности. Иметь с ними дело я буду только при свидетелях — Аросеве и Адоратском.

Для того, чтобы объяснить такую позицию Н. И., приведу несколько выдержек из его работ:

1917 год.

Мало кто теперь знает, что Манифест VI полулегального съезда РСДРП(б), состоявшегося в августе 1917 года, написан Бухариным. В нем говорилось:

«Меньшевики и эсеры, исполняя волю буржуазии, разоружили революцию и тем самым вооружили контрреволюцию. Им буржуазия предоставила заняться грязным делом усмирения и разгрома. С их молчаливого согласия были спущены с цепи остервенелые псы гнусной буржуазной клеветы против славных вождей нашей партии. Это они вели позорный и постыдный торг головами пролетарских вождей, выдавая их одного за другим рассвирепевшим буржуа. Это они отдали сердце революции, которое стучало на весь мир, столицу России, на растерзание юнкерам и казакам...»

1924 год.

Выступая против тех, кто принял «крах иллюзий», связанный с концом военного коммунизма, и переход к нэпу за крах коммунизма, Бухарин, давая им, с его точки зрения, наихудшее определение «Либерданы», пишет:

«И все эти почтенные люди и «Даны», и «Заря», и эсеры, и «дезертиры», все в одну дудочку кокетничают с антинэповскими мотивами, хотя политически требуют нэповской демократии.

Все это пропащие люди».

1925 год.

Бухарин выступает с резкой критикой идеолога II Интернационала К. Каутского. В ответ на его брошюру «Интернационал и Советская Россия» он публикует полемическую работу «Международная буржуазия и Карл Каутский, ее апостол». В этой брошюре Бухарин обрушивается и на Дана. Переход к нэпу привел и Каутского, и Дана к выводам, что большевистский режим зашел в тупик, большевики делят монополию на эксплуатацию русского народа («к чему сводится весь их коммунизм») с капиталистами:

«Налицо капиталистическое перерождение государства Советов, власти коммунистической партии, явная измена пролетариату. Иллюзии развеялись по ветру, проза жизни осталась, и эта проза — проза капиталистической эксплуатации...»

«Что именно такое толкование надо придавать словам Каутского,— пишет Бухарин,— видно и из существующих комментариев его гувернантки, прогуливающей нашего старца по садам советской «действительности», г. Ф. Дана. Гражданин Дан не так стар, не так глуп и не так далек от жизни, как г. Каутский.

Г-н Ф. Дан не отрицает факта нашего хозяйственного восстановления. Он только утешает себя тем, что восстановление это идет якобы вопреки стараниям нашей партии».

Или: «г. Дан задним числом оправдывает вандейские восстания, в то время, когда по Каутскому происходила война реакции с революцией».

Мне могут возразить, что я пользуюсь старыми высказываниями Бухарина, оторванными от времени, о котором идет речь, поэтому считаю нужным воспользоваться более поздней публикацией Николая Ивановича.

1934 год.

«А за ними (выстрелами мировой войны.— **А. Л.**), как по генеральной команде, позор и падение социалистических партий... неизмеримая подлость и банкротство II Интернационала. Отрезанный от России, прошедший сквозь австрийские тюрьмы, неутомимый и отважный, начинает Ленин борьбу не на живот, а насмерть с предательством социалистов, с океаном гнуснейшего шовинизма, идя «против течения» с горсткой единомышленников. Так рождаются ослепительно дерзкие лозунги гражданской войны («превращение империалистической войны в войну гражданскую»), братания в траншеях пораженчества; так идет разгром идеологии «защиты отечества», идеологии, под знаменем которой лакейски поползли на коленях вчерашние «борцы» против войны, разрыв с которыми стал непременной заповедью революционера».

Такова была идеология большевиков, определившая их отношение к представителям II Интернационала вообще, к входящим во II Интернационал меньшевикам-эмигрантам в особенности. Думаю, теперь становится ясно, почему Бухарин предстоящее свидание с Даном охарактеризовал как «анекдотический случай».

По пути в Париж Н. И. остановился на два-три дня в Берлине. Жил в посольстве, тепло был принят нашим послом в Германии Я. З. Сурицем (чего нельзя сказать о после во Франции — В. П. Потемкине), ездил по Берлину с корреспондентом «Известий» Дмитрием Бухарцевым [1], купил много книг, авторами которых были различные фашистские идеологи.

В одной из фашистских газет (или журнале) было сообщение о приезде Н. И. Бухарина в Берлин; писали, что Бухарин похож на аптекарский пузырек, перевернутый вверх дном, но что, надо признать, он один из самых образованных людей в мире. «Пузырек» Николая Ивановича очень смешил, но комплиментов он боялся. «Коба очень завистлив и мстителен».

Поскольку архив был рассредоточен по разным странам Европы, члены комиссии направились сначала в Вену, Копенгаген и Амстердам, где хранилась большая часть документов Маркса и Энгельса, которые Николаю Ивановичу пришлось просматривать.

Во второй половине марта Бухарин приехал в Париж. Никто из членов комиссии, кроме него, не имел дипломатического паспорта. Лица с дипломатическим паспортом, как правило, жили в посольстве, но от Потемкина поступило указание, чтобы Николай Иванович поселился вместе со своими товарищами в гостинице «Лютеция», потому якобы, что переговоры должны происходить в этой гостинице, а меньшевиков-эмигрантов приглашать в наше посольство неудобно. Почему Н. И. не мог приходить из посольства в «Лютецию» для ведения переговоров — непонятно, но возражать не имело смысла.

Вместе с Н. И. за границу я не поехала; он не считал удобным тратить на меня государственную валюту. К тому же я была беременна на последнем месяце. Но время шло, командировка затягивалась. Неожиданно, в первых числах апреля, Семен Александрович Ляндрес, секретарь Бухарина, пригласил меня в редакцию «Известий» для телефонного разговора с Н. И. Поздно ночью меня соединили с Парижем. Н. И. сказал, что готовит доклад, который будет издан брошюрой, и он получит за нее гонорар. В связи с этим Николай Иванович просил (по телефону из Парижа) Ежова, в то время зав. Орготделом ЦК ВКП(б),

[1] Д. Бухарцев был арестован и в январе 1937 года «свидетельствовал» на процессе Пятакова, Радека и других.

разрешить мою поездку в Париж без дополнительной валюты. Ежов обещал это устроить. Действительно, Ежов позвонил мне и сказал:

— Пойди в Наркоминдел, оформи визу для поездки в Париж, твой влюбленный муж соскучился, он жить без молодой жены не может!

Вульгарность тона меня удивила, но, как мне показалось, Ежов сообщил мне о разрешении ехать в Париж доброжелательно.

В Париж я приехала 6 апреля, через три дня после доклада Бухарина в Сорбонне об основных проблемах современной культуры.

Н. И. встречал меня вместе с А. Я. Аросевым. На вокзале он познакомил нас:

— Это мой друг Аросев. В Москве в 1917 году мы с ним завоевывали Советскую власть, а теперь в Париже стараемся «отвоевать» архив Маркса.

— Цветы от Николая Ивановича,— и Аросев преподнес мне гвоздики,— этот «безусый юноша» дамам цветы не дарит, стесняется, и поручил это сделать мне.

Н. И. покраснел. Я любила в нем эту юношескую застенчивость.

На машине мы проехались по весеннему Парижу. Каштаны уже покрылись густой зеленью резных лапчатых листьев и разбросали гордые свечи, устремленные ввысь. Я была очарована красотой Парижа. Проехав мимо бульвара Сен-Жермен и бульвара Распай, где сидели за своими этюдниками художники, против сквера Бусико, мы остановились у гостиницы «Лютеция».

Члены комиссии жили в соседних номерах. Адоратский заходил к Бухарину только тогда, когда этого требовали дела. Аросев же часто забегал к нам, любил побеседовать да и просто весело поболтать с Н. И. В противоположность сухому, догматичному Адоратскому он был личностью яркой, талантливой. Человек разносторонних интересов, до революции, в эмиграции он учился в Льеже, затем продолжил обучение в Петербургском психоневрологическом институте. Писал повести и рассказы. До моего приезда Николай Иванович и Аросев проводили много времени вместе, бродили по Парижу, не раз бывали в Лувре; оба жизнерадостные, они много шутили.

Три недели моего пребывания в Париже я не могла использовать так, как хотелось бы. Мы выбрались в Лувр, но, увы, у «Монны Лизы» я потеряла сознание. Николай Иванович был так взволнован, что в дальнейшем без Аросева со мной нигде не бывал. Вместе с ним мы поехали посмотреть Версаль. Неожиданно похолодало, помрачнело, и на цветущие деревья стал падать снег. Дворцы были закрыты, фонтаны не работали, ветер сбивал с ног. Поэтому, да может, и потому, что я была нездорова, Версаль показался мне менее красивым, чем наш Петергоф. Николай Иванович сказал, что я великая патриотка. На обратном пути изо всех сил он старался поднять мое настроение, был весел, пел и, заложив два пальца в рот, пронзительно свистел, как мальчишка, несмотря на увещевания Аросева.

Как-то поздним вечером мы поехали, опять-таки с Аросевым, на Монмартр. Оттуда открывалась панорама огромного города, светящегося мириадами огней. По Монмартру прогуливались влюбленные и целовались на виду у прохожих. Н. И. пожимал плечами, даже возмущался.

— Ну и нравы! Самое сокровенное — на глазах публики!

Однако конец прогулки был неожиданным. Он повернулся ко мне и сказал:

— А разве я хуже других?..

Ошеломленный Аросев не знал, куда направить свой взгляд. Неожиданно Николай Иванович встал на руки и, привлекая внимание прохожих, прошелся на руках. Это был апогей его озорства.

В первый день моего приезда в Париж Николай Иванович делился впечатлениями о своем докладе. Он сказал:

— Мог бы значительно лучше выступить.

Н. И. неплохо владел французским, свободно объяснялся, читал без словаря. Тем не менее выступить по-французски без письменного текста он не решился. Доклад был написан по-русски, переведен и отредактирован А. Мальро. Это создало искусственную рамку, в пределах которой должна была развиваться его речь. Бухарин — страстный трибун, в своих выступлениях он развивал свои мысли так, что одна порождала другую. Увлеченный сам, он увлекал свою аудиторию. Возможности Бухарина-оратора из-за языкового барьера были недоиспользованы. Но он рассказывал, что тем не менее его тепло встретили и еще теплее провожали. Среди слушателей были рабочие, интеллигенты, много французских коммунистов. После доклада оказалось столько желающих побеседовать с ним, что он с трудом выбрался из Сорбонны.

Николай Иванович рассказал как сенсацию, что к нему приходил специально приехавший в Париж из провинции, где он жил, Рудольф Гильфердинг. Книга Гильфердинга «Финансовый капитал» издавалась в Советском Союзе и, с точки зрения большевиков, содержала ценный теоретический анализ империализма, была рекомендована для изучения в высших экономических учебных заведениях, правда, с оговорками. Его теория организованного капитализма всегда критиковалась как ошибочная, и Бухарину приписывали «сползание» на его позицию, хотя сам он не считал их взгляды по этому вопросу тождественными.

Ни единого слова о продаже архива с ним не было произнесено, беседовали на теоретические темы. Но Н. И. опасался, что об этой встрече узнают в Москве, поскольку она не была предусмотрена. «Но не выгонять же мне его в конце концов,— сказал он мне,— и беседовать с ним было чрезвычайно интересно».

Никто из немецких социал-демократов в переговорах о продаже архива не участвовал. Австрийцы Отто Бауэр и Фридрих Адлер дали возможность Адоратскому и Николаю Ивановичу изучать документы. Фридрих Адлер, как говорил Н. И., приезжал в Копенгаген и Амстердам. О присутствии там Николаевского мне Николай Иванович не рассказывал. В Париже в течение апреля 1936 года просмотра документов не было. Если они там и хранились, то небольшая часть, которая была проработана до моего приезда. Переговоры касались только стоимости архива — «условий продажи» — так называл их Николаевский; «постыдный торг» — характеризовал Бухарин. После приезда в Париж состоялась встреча членов комиссии с Даном и Николаевским, пришедшими в «Лютецию». Все последующие переговоры проходили там же. Свидание с Даном в присутствии Аросева и Адоратского было до моего приезда, поэтому пишу о нем со слов Н. И.

Дан подчеркнуто холодно и с нарочитым равнодушием смотрел на Бухарина, остальных он вовсе не замечал. Чтобы разрядить атмосферу, Николай Иванович воскликнул:

— Как вы похудели, Федор Ильич!

— Это потому,— ответил Дан, — что большевики выпили всю мою кровь, вы по этой причине так располнели.

— Но и вы моей хорошо попили! — заметил Николай Иванович.— И не только в 1917-м, но и в 1929 году (он имел в виду опубликованную в «Социалистическом вестнике» запись разговора с Каменевым), но, как видите, я в форме.

После такого «дружеского» диалога состоялся короткий разговор о документах и о цене архива. Дан заявил, что дальнейшие переговоры будет вести только Николаевский и что он участия в них больше принимать не будет. Ни с Даном, ни с Николаевским Н. И. знаком не был. Николаевского увидел впервые в Париже, Дана хоть и видел в 1917 году, но никогда с ним не разговаривал.

Обычно Николаевский, позвонив по телефону, договаривался об очередной встрече. Время согласовывалось с остальными членами комиссии. Однажды, не застав Аросева и Адоратского, Николай Иванович свидание отменил. Во всех случаях, кроме одного, которого я коснусь, речь шла только о цене архива.

Я не присутствовала при всех встречах Бухарина с Николаевским, поскольку приехала в начале апреля, а Н. И. прибыл из Амстердама в Париж примерно в середине марта, но я была свидетелем в с е х переговоров, происходивших после моего приезда. Поэтому я имела возможность почувствовать их атмосферу, узнать содержание и понять, мог ли Николай Иванович разговаривать с Николаевским наедине на политические темы или он их избегал и строго придерживался запрограммированного еще в Москве поведения: без свидетелей не разговаривать.

Немецкие социал-демократы назвали очень высокую цену архива. Возмож-

но, справедливы были предположения, в особенности Аросева, что русские меньшевики-эмигранты как посредники сами хотели хорошо заработать на архиве.

После того, как Дан и Николаевский запросили, по выражению всех членов комиссии, «бешеные деньги», Бухарин по телефону из посольства связался со Сталиным. Сталин заявил, что таких денег Советский Союз заплатить не может.

— Торговаться не умеете, Аросев пусть нажимает, ты, Николай, на это не способен.

И действительно, в моем присутствии из-за цены архива шли горячие споры. Аросев старался изо всех сил.

Первый разговор с Николаевским после моего приезда состоялся до согласования вопроса со Сталиным; Николай Иванович не сразу смог с ним связаться. Но, независимо от мнения Сталина, члены комиссии считали запрашиваемую цену очень высокой и стремились повлиять на Николаевского, чтобы немецкие социал-демократы уступили в цене, но ответа он не давал, очевидно, выжидал, в надежде, что Москва заплатит дороже.

Второй раз Николаевский пришел уже после разговора Н. И. со Сталиным. Опять-таки беседа происходила в присутствии остальных членов комиссии и при их участии. Н. И. сообщил, что Сталин не считает возможным заплатить больше той цены, о которой уже шла речь. Аросев предложил Николаевскому подумать и заявил, что если цена не будет снижена, комиссии придется безрезультатно возвратиться в Москву.

В Версале я простудилась и слегла с высокой температурой. Аросев пригласил дочь Г. В. Плеханова. Она и ее муж, француз, были врачами. Валентина Георгиевна — кажется, именно так ее звали (возможно, я ошибаюсь) — обнаружила у меня плеврит и предложила увезти меня в санаторий ее мужа под Парижем. Мы сразу же поехали туда. Николай Иванович был возле меня неотлучно и в Париж не выезжал. Температура доходила до 40°, что при моем девятом месяце беременности было опасно. Валентина Георгиевна в первые дни болезни заходила и ночью. Своим скорым выздоровлением я обязана только ей. От платы за мое пребывание в санатории она отказалась и ограничилась лишь маленькой просьбой — передать ее матери, Розалии Марковне, проживавшей в Ленинграде, посылочку с медикаментами, что Николай Иванович охотно выполнил. Через неделю мне стало легче, и мы вернулись в Париж. Как-то в санаторий приехал Аросев и сообщил, что Николаевский никак не проявляет себя, молчит, и, видимо, придется уехать в Москву без архива.

После нашего возвращения из санатория, предварительно позвонив по телефону, появился Николаевский. На встрече присутствовали все члены комиссии. Переговоры происходили как всегда у нас в номере гостиницы. На этот раз Николаевский солидно уступил в цене. Все радовались, особенно Н. И., он был убежден, что архив будет куплен. Разница между ценой, которую установил Сталин, и той, за которую были согласны продать архив представители II Интернационала, стала незначительной. Договорились, что Адоратский или Н. И. свяжутся со Сталиным для окончательного согласования цены.

Сталину звонили и Бухарин, и Адоратский, но к телефону он больше не подходил. Николай Иванович дозвонился только до секретаря Сталина Поскребышева, которого просил передать Сталину, что Николаевский уступил в цене и назвал сумму. Поскребышев обещал сообщить в посольство решение Сталина. Ждали, ждали, а ответа от Сталина так и не поступало. Н. И. нервничал. «Мне эта история уже начинает надоедать!» — рассерженно воскликнул он как-то, стукнув кулаком по столу. В следующий раз звонил Адоратский. Со Сталиным ему так и не удалось связаться, но Поскребышев сообщил, что Сталин настаивает на первоначальной цене.

Все были расстроены, не хотелось возвращаться безрезультатно. Когда мы остались одни, Николай Иванович сказал: «Коба, разве он в чем-нибудь уступит! Торговаться из-за такой суммы это же бессмысленно для государства». Оставалась одна надежда на Николаевского.

Он явился без предупреждения, объяснив это тем, что случайно проходил мимо. Николай Иванович пошел за товарищами, но никого не оказалось дома. Ему

очень не хотелось разговариввть с Николаевским только в моем присутствии, без остальных членов комиссии.

— Жаль,— сказал он,— что вы пришли без предупреждения, товарищей в гостинице нет, а я не имею полномочий разговаривать в отсутствие остальных членов комиссии, я послан только в качестве эксперта (руководителем комиссии считался Адоратский), цена архива — это не моя миссия.

— Но вы, вероятно, цену согласовали со Сталиным,— возразил Николаевский,— а соглашение мы оформим, когда все будут в сборе.

Николай Иванович вынужден был сказать, что Сталин снова настаивает на прежней цене. Он мог бы и воздержаться от такого сообщения, отложив встречу до прихода остальных, но это было не в его характере.

— Дешево же вы цените Маркса, Николай Иванович,— неожиданно заявил Николаевский.

От таких слов Николай Иванович рассвирепел и перешел от обороны к атаке:

— Это мы дешево ценим Маркса! — возмущенным тоном сказал он.— Мы архив покупаем, а вы его продаете, кто же его дешево ценит?

Николай Иванович стал взволнованно ходить по комнате; так всегда бывало, когда он нервничал.

— Но вы же знаете, какие обстоятельства заставляют нас продавать архив,— оправдывался Николаевский.

— Я бы нашел место для хранения архива и никогда бы его не продавал.

Николаевский поинтересовался, где бы Николай Иванович ему посоветовал хранить архив.

— Ну, допустим, в Америке. Хранить, а не продавать, денег вам там никто не заплатит. Америке эти документы не нужны, но хранить их там можно. Ну, а если вы так не считаете, Борис Иванович, и думаете, что архив в опасности, обеспечить надежность хранения его нельзя, что же вы торгуетесь из-за этого гроша. Это же постыдный торг, постыдный торг!

— Но и Сталин хватается за этот грош,— заметил Николаевский. — Вы здесь представляете государство, для которого ваш «грош» не урон; а вот для немецкой социал-демократической партии этот ваш «грош» — не грош, они очень нуждаются в деньгах.

— Но если архив в опасности, ценнейшие документы Маркса могут погибнуть, то во имя спасения их я бы на вашем месте их даром отдал, подарил бы Советскому Союзу, а вам предлагается немаленькая сумма.

— Даже даром? — И Николаевский иронически улыбнулся.

— Я бы заплатил вам вдвое больше, чем вы просите, если бы у меня была такая возможность, лишь бы спасти архив и прекратить торговлю.

— Вот в этом я нисколько не сомневаюсь,— подчеркнул Николаевский, намекая на зависимость от Сталина.

Бухарин продолжал:

— Я ведь вовсе не исключаю нападения Гитлера на Советский Союз, думаю, что военный конфликт с Германией неизбежен, к нему нужно готовиться, и не только в области военной, созданием мощной технически оснащенной армии, но и созданием необходимой психологии тыла. А трудности в деревне уже позади. Поэтому, я думаю, хоть война предстоит тяжкая, но победа будет за нами, и при огромных просторах нашей страны мы архив сохраним.

— Мы больше не уступим ни франка,— эта последняя фраза есть точное выражение Николаевского.

Делать вывод, что немецкие социал-демократы передумали продавать архив, никак не приходилось. По-видимому, члены комиссии справедливо предполагали, что Николаевский был заинтересован в большей цене, так как меньшевики-эмигранты как посредники хотели заработать на архиве.

— Кто это «мы»? «Мы» — представители II Интернационала, «мы» — русские меньшевики или «мы» — немецкие социал-демократы?

Так рассказывал Николай Иванович своим товарищам о заключительном разговоре с Николаевским, обращая внимание на его выражение: «Мы не уступим ни франка!»

На этом переговоры об архиве закончились. Николаевский перевел разговор на другую тему. Ясно было, что это его последнее свидание с Николаем Ивановичем, и он спросил о своем брате. Брат Николаевского, Владимир Иванович, был женат на сестре Рыкова и жил в Москве, поэтому Б. И. Николаевский мог предполагать, что Н. И. встречал его у Рыкова. Но Н. И. ничего рассказать не мог. С Рыковым он встречался в последние годы от случая к случаю: на пленумах ЦК, на съезде партии. На квартире у Рыкова не бывал. Рыков у Бухарина тоже не бывал. Перед отъездом в Париж Николай Иванович не видел Рыкова. Поездка была организована скоропалительно. Рыков, возможно, и не знал о ней. Но если бы даже Николай Иванович и видел его, Рыков никогда не стал бы передавать приветы Николаевскому, не такие были у них отношения, а Николай Иванович не считал себя вправе сделать это за Рыкова.

Не получив ответа на вопрос о брате, Николаевский спросил:

— Ну, как там жизнь у вас, в Союзе?

— Жизнь прекрасна,— ответил Николай Иванович.

С искренним увлечением рассказывал он в моем присутствии о Советском Союзе. Его высказывания отличались от выступлений в печати в последнее время лишь тем, что он не вспоминал многократно Сталина, чего он не мог не делать в Советском Союзе. Рассказывал о бурном росте индустрии, о развитии электрификации, делился впечатлениями о Днепрогэсе, куда ездил вместе с Серго Орджоникидзе. Приводил на память цифровые данные, рассказывая о крупнейших металлургических комбинатах, созданных на востоке страны, о стремительном развитии науки.

— Россию теперь не узнать,— сказал в заключение Николай Иванович.

Чувствовалось, что Николаевский ждал другого разговора, и для него увлеченность Николая Ивановича, возможно, была неожиданной.

— А как же коллективизация, как же коллективизация, Николай Иванович? — спросил он.

— Коллективизация уже пройденный этап, тяжелый этап, но пройденный. Разногласия изжиты временем. Бессмысленно спорить о том, из какого материала делать ножки для стола, когда стол уже сделан. У нас пишут, что я выступал против коллективизации, но это прием, которым пользуются только дешевые пропагандисты. Я предлагал иной путь, более сложный, не такой стремительный, который тоже привел бы в конечном итоге к производственной кооперации, путь, не связанный с такими жертвами, обеспечивающий добровольность коллективизации. Но теперь, перед лицом наступающего фашизма, я могу сказать: «Сталин победил». Поезжайте в Советский Союз, Борис Иванович, вы сами, своими глазами посмотрите, какой стала Россия. Хотите я помогу вам организовать такую поездку через Сталина?

— Увольте, увольте — замахал руками Николаевский.— Я к вам никогда не поеду. У меня лишь маленькая невинная просьба: передайте этот пакет Рыкову.— И он протянул пакет, завернутый в желтую бумагу.

— Рыкову? — удивился Николай Иванович.— А что это такое?

— Не пугайтесь, Николай Иванович, это не конспиративные документы. С Рыковым у нас связи нет никакой, меня он не признает. Это луковицы голландских тюльпанов; ваш бывший председатель Совнаркома большой любитель цветов, и я решил, несмотря ни на что, послать ему тюльпаны. Впрочем, весьма возможно, что он не посадит «меньшевистские» луковицы,— пошутил Николаевский,— но попробуйте передать, я убежден, что, посаженные руками Алексея Ивановича, они дадут только большевистские всходы.

На этом разговор с Николаевским закончился.

На прощание Н. И. сказал ему, что еще попробует дозвониться Сталину из Парижа, если же не выйдет — поговорит обязательно в Москве.

Когда мы остались вдвоем, он высказал уверенность в том, что Николаевский знал об отсутствии в гостинице остальных членов комиссии (звонил им предварительно по телефону) и пришел специально в такое время, чтобы побеседовать наедине. Он, очевидно, предполагал, что Н. И. будет менее связан, станет свободнее излагать свои мысли и ему будет удобней узнать о своем брате.

— И эти тюльпаны...— в недоумении пожимал плечами Николай Иванович.— Все-таки я сболтнул ему лишнее — о дешевой агитации,— заметил Н. И.

Такой была единственная, насколько мне известно, встреча Бухарина с Николаевским без остальных членов комиссии. До моего приезда в Париж, как рассказывал Н. И., встреч наедине тоже не было. Беседу эту я запомнила хорошо и передала с максимальной точностью. Сам характер беседы в достаточной степени доказывает, что она была единственной: неужто при многократных встречах «наедине» Николаевский не нашел случая раньше поинтересоваться положением в Советском Союзе в интерпретации Н. И., не нашел времени разузнать о своем брате, а сделал все это при последней встрече в моем присутствии в самом конце командировки Н. И.?..

За несколько дней до нашего отъезда из Парижа позвонили из канцелярии президента Франции, а затем из посольства и предупредили, чтобы Бухарин ни в коем случае не выходил из гостиницы, так как поступили сведения, что немецкие фашисты готовят покушение на него. Доклад в Сорбонне был антифашистским. Французское правительство распорядилось охранять гостиницу. Я сама видела, как «Лютеция» была окружена полицейскими. Дня три-четыре Н. И. не выходил в город, но никакая опасность не могла удержать его. Забавно было наблюдать: охрана еще стояла у гостиницы, а охраняемый бегал по Парижу.

Он старался вытащить в город перепуганного Адоратского.

— Владимир Викторович! Пойдем прогуляемся, в случае чего вы прикроете меня своей мощной грудью,— шутил Н. И.

Узнав, что на Бухарина никакие предупреждения не действуют, его обязали переехать в посольство. Там мы прожили несколько дней, а потом из ЦК поступило распоряжение: членам комиссии немедленно вернуться в Москву. Германия дала Бухарину разрешение только на транзитный проезд, без остановки в Берлине. Это лишило его возможности еще раз посетить книжные магазины Берлина. Он был огорчен, потому что задумал писать книгу о фашизме.

Из Парижа до Берлина нас сопровождали немецкие шпики, ехавшие в соседних купе; в Берлине на вокзале радио передавало: в таком-то поезде и вагоне, проездом из Парижа в Москву, находится бывший руководитель Коминтерна Николай Бухарин, посланный Сталиным во Францию для организации там революции.

В Москву мы прибыли перед Первым мая 1936 года. Н. И. сразу же связался со Сталиным по телефону и сообщил ему, что документы чрезвычайно интересны и представляют большую ценность для Советского Союза; советовал больше не торговаться, а приобрести архив.

— Не волнуйся, Николай, не надо торопиться, они еще уступят,— ответил Сталин.

Итак, архив приобрести не удалось. Однако в командировку Сталин отправлял Н. И. не напрасно: поездка, не сомневаюсь, была организована с провокационной целью и в этом смысле оказалась успешной.

В декабре 1936 — январе 1937 года, то есть через несколько месяцев после возвращения Бухарина из Парижа, «Социалистический вестник» напечатал пространное анонимное «Письмо старого большевика». От имени редакции было сделано примечание, что письмо якобы получено перед самой сдачей номера в печать.

Истинный автор анонимного «Письма», подписанного «Y.Z.», сделал все возможное, чтобы авторство фальшивки можно было приписать только что приехавшему из Парижа после свиданий с Николаевским Бухарину.

Все увеличивающийся неслыханный террор внутри большевистской партии, естественно, стал центральной темой «Письма», но в текст были введены вопросы коллективизации, освещенные под определенным углом зрения, к началу 1937 года уже потерявшие актуальность, но необходимые для того, чтобы документ достиг цели:

«Ужасы, которыми сопровождались походы на деревню, об этих ужасах вы имеете только слабое представление, а они, эти верхи партии, все были в курсе

всего совершившегося,— многими из них воспринимались крайне болезненно»; «Это было в конце 1932 года, когда положение в стране было похоже на положение во время Кронштадтского восстания»; «В самих широких слоях партии только и разговоров было о том, что Сталин своей политикой завел страну в тупик, «поссорил страну с мужиком» и что спасти страну можно, только устранив Сталина».

«Поссорил страну с мужиком» — фраза, взятая в кавычки, принадлежит действительно Бухарину. «Завел страну в тупик» — следовало бы тоже написать в кавычках. Однако все эти мысли, высказанные Бухариным, относятся к 1928 году и хорошо известны.

Для того, чтобы не оставалось сомнений в авторстве письма, очень тонко продуманы высказывания о правах в Советском Союзе: «Не случайно в ходу острота, что право на летнюю охоту — это единственное из завоеванных революцией прав, которого сам Сталин не рискует отобрать у партийного и советского чиновника». Ловко придумано! Кто не знал, что Бухарин был страстным охотником, а человек, не увлекающийся охотой, вряд ли стал бы даже в шутку говорить об этом «праве».

Недвусмысленно показывалось, что автором письма был Бухарин, повторяю, только что вернувшийся из командировки в Париж и имевший деловые встречи с Николаевским, всячески нагнеталось подозрение, что оно написано в соавторстве с Рыковым, ибо отражало и его воззрения во времена коллективизации. Игра на родстве, точнее, свойстве Рыкова с Николаевским, была использована НКВД и на следствии, а затем Вышинским — на процессе.

Я привела достаточно высказываний Бухарина, чтобы дать возможность понять, какие могли быть взаимоотношения между Бухариным, Даном и Николаевским. Хочется воспользоваться еще одним документом, опубликованным во время процесса в «Социалистическом вестнике»:

«В ходе позорного процесса бывший Председатель Совета Народных Комиссаров заявил, что снабжал через посредство ниже подписавшихся корреспонденциями Центральный Орган нашей партии «Социалистический вестник».

Само собою разумеется, что ни для нас, ни для несчастного Рыкова не было бы ничего позорящего, если бы заявление его соответствовало бы истине...

Ф. Дан,
Б. Николаевский».

«Письмо старого большевика» появилось в «Социалистическом вестнике» в то время, когда шло уже активное следствие по делу Бухарина и Рыкова. Цель, которую преследовали их политические противники, печатая такой документ, совершенно ясна. Учитывая ситуацию, сложившуюся после процесса Зиновьева и Каменева в августе 1936 года, готовящийся процесс Радека, Пятакова, Сокольникова и других, начавшийся в январе 1937 года, этой публикации было бы достаточно для исключения из партии и ареста Бухарина и Рыкова.

Редактор «Социалистического вестника» Дан и историк Николаевский, «крупнейший эксперт по истории Советского Союза», каким его считают на Западе, прекрасно это понимали. А ведь как бы резко ни выступал Бухарин в полемике против представителей II Интернационала, он стремился разбить их политически, но никак не ставил на карту их жизнь.

Нет сомнения в том, что Сталин сумел бы уничтожить Бухарина и Рыкова и без помощи «Социалистического вестника», но Бухарин сохранял популярность в партии и стране, среди коммунистов западных партий и европейской интеллигенции, поэтому нужно было использовать все средства, чтобы подорвать доверие к нему. Судебные процессы, рост арестов руководящих и рядовых членов партии в Москве и в провинции, несомненно, вызвали смятение и растерянность многих членов партии, в том числе и членов ЦК и Политбюро, во всяком случае, Орджоникидзе и Калинина. Нарастала подозрительность по отношению к НКВД, поэтому материалы, поступающие со стороны, из «Социалистического вестника» и подтверждающие вымученные показания арестованных подследственных, облегчали Сталину осуществление его преступных планов, выполнить которые было сложнее, чем предыдущие. Ни для ареста Зиновьева, Каменева и Радека, ни для

ареста члена ЦК Пятакова и кандидата в члены ЦК Сокольникова, арестованных раньше Рыкова и Бухарина, не потребовалось созыва двух пленумов ЦК и создания специальной комиссии, как было сделано для решения вопроса об исключении из партии и аресте Бухарина и Рыкова.

Даже факт передачи информации в «Социалистический вестник» мог быть расценен только как криминальный. Если вспомнить, что «Социалистический вестник» обострил разногласия в Политбюро еще в 1929 году, опубликовав так называемую «Запись разговора Бухарина с Каменевым», становится ясно, что новая акция была очередным закономерным звеном в цепи, приведшей к гибели Бухарина. Рассмотрение же основных положений «Письма» заставляет меня относиться к Дану и Николаевскому как к лицам, сознательно помогавшим Сталину затягивать уже наброшенную петлю на шее Бухарина и Рыкова.

Не буду останавливаться на всех вопросах, изложенных в «Письме», остановлюсь лишь на тех, которые считаю самыми губительными и для Бухарина, и для Рыкова.

I. Рютинская платформа.

О платформе Рютина рассказывается достаточно подробно:

«Из ряда других платформу Рютина выделяла ее личная заостренность против Сталина. Переписанная на пишущей машинке, она занимала, в общем, немного меньше 200 страниц — из них больше 50 было посвящено личной характеристике Сталина, оценке его роли в партии и стране. Эти страницы были написаны с большой силой и резкостью и действительно произвели впечатление на читателя, рисуя ему Сталина своего рода злым гением русской революции, который, движимый интересами личного властолюбия и мстительности, привел революцию на край гибели».

О Рютинской платформе больше, чем было сообщено в газетах и докладах на партийных собраниях, Бухарин, насколько мне известно, ничего не знал. Платформу Рютина Николай Иванович, уверена, никогда не видел и не читал,— он счел нужным заявить об этом и в своем последнем письме, написанном перед арестом и адресованном «Будущему поколению руководителей партии»: «О тайных организациях Рютина, Угланова мне ничего известно не было. Я свои взгляды излагал вместе с Рыковым и Томским открыто».

«Старый большевик» детально рассказывает о заседании Политбюро, обсуждавшем дело Рютина. Но с ноября 1929 года Николай Иванович не был членом Политбюро и о заседании этом, происходившем в 1932 году, знать ничего не мог. Бухарин в то время был изолирован, с членами Политбюро личных отношений не поддерживал. По работе своей в Наркомтяжпроме, где он ведал научно-исследовательским сектором, был связан с Серго Орджоникидзе. У них были самые добрые отношения, но то, что происходило на заседаниях Политбюро, тем более на особо секретных, не принято было разглашать. Между тем автору «Письма» было известно, как строго карали лиц, имеющих отношение к Рютинской платформе, только за то, что они читали ее и «не сообщили партии»,— такая была формулировка. Он не мог не знать постановления Президиума ЦКК ВКП(б) от 9 октября 1932 года, опубликованного в «Правде», которым были исключены из партии за причастность в разной степени к платформе Рютина 19 человек.

Я не потому отгораживаю Николая Ивановича от платформы Рютина, что считаю ее преступной,— отнюдь нет; антисталинскую платформу, написанную в 1932 году, можно расценить только как героическую. Но, с точки зрения Николая Ивановича, конспиративное выступление против Сталина в 1932 году, увы, уже не могло принести стране ничего, кроме репрессий. Открытое выступление трех влиятельных членов Политбюро — Бухарина, Рыкова и Томского — в 1928—1929 годах против политики Сталина, лиц, более авторитетных и популярных в стране, чем Рютин, не увенчалось успехом. Дальнейшую борьбу Николай Иванович считал нужным прекратить. Партия под давлением Сталина пошла по иному пути, отвергнув экономическую концепцию Бухарина. Полезней сплоченности ее рядов в сложившейся обстановке Бухарин ничего не находил. Видеть

только мрачные картины времен коллективизации и не замечать наряду с этим великого энтузиазма народа в строительстве, значило, с его точки зрения, ничего не видеть и ничего не понимать в истории.

Рассказы анонимного «большевика» привели к тому, что на февральско-мартовском пленуме 1937 года встал вопрос о причастности Николая Ивановича и Рыкова к Рютинской платформе.

— Врете! Врешь! — раздавались голоса на пленуме. — Знали, не сообщили партии!

Николай Иванович возражал, пытался убедить, что, если бы он был сторонником платформы такого характера, он бы сам ее и писал, а не поручал это Рютину.

— Ты и писал, а Рыков одобрил,— подал реплику Сталин.— Она названа Рютинской из конспиративных соображений.

Николай Иванович требовал представить пленуму текст платформы, чтобы по стилю убедиться, что не он ее автор; но это был глас вопиющего в пустыне.

Затем встал взволнованный Рыков и, чтобы отвести обвинение, заявил, что он через кого-то слышал (он сказал через кого, но я не могу припомнить), что в платформе Рютина есть такая фраза: «Бухарин, Рыков, Томский — отработанный пар, и в борьбе против Сталина на них рассчитывать не приходится». Как же можно в таком случае вменять им в вину эту платформу?

По-видимому, в документе такая мысль действительно была высказана; никто — ни Сталин, ни Молотов, ни Ежов, безусловно знакомые с текстом платформы, этого не опровергали, но аргумент был найден мгновенно, и все тот же:

— Ради конспирации! — заявил Сталин.

— В целях конспирации,— крикнули Ежов и Каганович. (Все передаю в пересказе Николая Ивановича.)

— Вам ничего не докажешь! Мы, возможно, все существуем ради конспирации,— ответил Рыков и сел на свое место. Но на процессе он показал:

«И для того, чтобы легче было это сделать (законспирироваться — **А. Л.**), в самой программе была эта фраза, которая заключала в себе некоторое ощущение отмежевания от меня, Бухарина и Томского, там говорилось нечто вроде того, что эти трое являлись как бы отработанным паром. Это было сделано в интересах двурушничества».

Так повторял заученный урок несчастный Рыков. Николай Иванович показал на процессе то же, что и Рыков:

«Она (платформа. — **А. Л.**) была названа рютинской в конспиративных целях, для перестраховки от провала, она была названа рютинской, чтобы прикрыть правый центр и его самые руководящие фигуры...»

Эти вынужденные признания Бухарина и Рыкова на процессе в сопоставлении с происходившим на февральско-мартовском пленуме 1937 года дают возможность понять, как создавался сценарий процесса. Я потому обращаю особое внимание на платформу Рютина, что она явилась важным элементом обвинения на судебном «разбирательстве» во время процесса.

В эту платформу после ареста Николая Ивановича было вложено угодное Сталину содержание: ниспровержение Советской власти, террор, курс на блок с троцкистами, «дворцовый переворот». Все это, безусловно, не отражало действительного содержания документа, в противном случае Рютина и в 1932 году в живых не оставили бы. Расстрелян он в то время не был. Думаю, подтверждает мою точку зрения и то, что во время следствия (до ареста Бухарина) в присланных к нему на дом клеветнических показаниях, насколько мне помнится, упоминаний о Рютине вовсе не было, хотя в них уже фигурировали и террор, и «дворцовый переворот», и т. д.

Мало кто с этим документом был знаком: члены ЦК (не члены Политбюро) знали о существовании «контрреволюционной» группы Рютина и ее платформе из докладов, газет. Те, кто читал антисталинскую платформу конспиративно, уже сложили за нее голову. Поэтому содержание этого документа можно было формировать как угодно, а причастность к реальной политической платформе делала более правдоподобными обвинения против Бухарина и Рыкова.

II. Убийство Кирова.

Не менее губительным моментом для Бухарина явились содержащиеся в «Письме» сведения об убийстве Кирова.

В анонимном письме даются подробные сведения о Кирове. Сообщается, что, хотя он ранее и разделял политику Сталина, в последние годы отличался либеральным отношением к бывшим оппозиционерам. В 1932 году на заседании Политбюро будто бы выступал против расстрела Рютина. Специально подчеркивается авторитет Кирова в Ленинграде, его авторитет в партии. Рассказывается о восторженном приеме на XVII съезде партии, где ему устроили овацию, «встречали и провожали стоя». На съезде Киров избирается в секретариат ЦК, в связи с чем предстоял его переезд в Москву. В Ленинград он поехал для передачи дел своему преемнику и там был убит. Информация преподносится под определенным, изобличающим Сталина углом зрения: с избранием Кирова в секретариат ЦК и предполагаемым его переездом в Москву связывается его убийство. На основе этого делаются логически обоснованные выводы. «...важно было выяснить,— пишет анонимный «большевик»,— не было ли в данном случае попустительства со стороны тех, на чьей обязанности лежало предупредить покушение? Кто был заинтересован в устранении Кирова накануне его переезда в Москву?.. Все эти вопросы поставлены следствием не были». Думать о том, что Киров должен был быть переведен в Москву для работы в секретариате ЦК без санкции «Хозяина», скорее даже без его инициативы, не приходится. Но в этом как раз и узнается знакомый почерк Сталина: он знал, что из Ленинграда в Москву Киров не вернется. Но большевики в то время к таким выводам в отношении Сталина психологически подготовлены не были. В силу своего характера еще менее других был подготовлен Бухарин; наделенный качествами высочайшего благородства, политической честностью, а также значительной долей наивности, он не смог в то время понять истинных намерений Сталина, несмотря на то что знал его как политического интригана, человека болезненной подозрительности и мстительного. Тем не менее, будучи всегда уверен, что генсек способен устранить своего конкурента, потенциального кандидата на его пост политически, он никак не предполагал, что Сталин сможет его уничтожить физически.

Опубликованная в «Письме» биография убийцы Кирова — Николаева поражает своей обстоятельностью. Сообщаются основные вехи его деятельности с начала и до конца жизни: он комсомолец-доброволец на фронте против Юденича; отмечается его незначительная роль в зиновьевской оппозиции, за которую он никак не был наказан; подчеркивается, что Николаев работал в ГПУ и что эта сторона его деятельности держалась в большом секрете. Рассказывается о найденном у Николаева в начале 1934 года дневнике, показывавшем его террористические устремления и критическое отношение к существующему режиму, за что Николаева исключают из партии и вскоре вновь восстанавливают: он оправдался болезнью в связи с переутомлением на работе. Из «Письма» можно также узнать, что Николаев, несмотря на уже известные его настроения, работал в отделе охраны Смольного.

«В этих условиях,— делает логичный вывод «большевик»,— становится совершенно непонятным, как его могли допустить в непосредственную близость к Кирову, это при нашей-то тщательности охраны вождей». Примечательно, что от имени большевиков в «Письме» проводится аналогия между убийствами Кирова и Столыпина, который был убит по заданию охранки: «В декабрьские дни 1934 года у нас внезапно вырос интерес к убийству Столыпина».

Быть может, кто-либо предположит, что у «большевика» были благие намерения: через несколько месяцев после расстрела Каменева и Зиновьева, их сопроцессников, накануне процесса Радека—Пятакова, в период активного следствия над Бухариным и Рыковым, он разгласил тайну убийства Кирова, чтобы реабилитировать Каменева, Зиновьева и других в глазах общественного мнения на Западе, и хотел предотвратить дальнейшие обвинения большевиков в причаст-

ности к этому убийству? Знаю одно: при абсолютной власти Сталина публикация, в которой он явно подозревается в тягчайшем преступлении, публикация, раскрывающая действительные обстоятельства следствия по делу об убийстве Кирова, стала губительна не только для Бухарина и Рыкова, но навлекла бедствие и на других большевиков.

Не исключено, что Сталин пошел на распространение такой информации умышленно. Это предположение мне кажется вероятным, конечно, лишь в том случае, если Сталину стало известно, что информация об истинных мотивах убийства так или иначе просачивается. Тогда целесообразней было, с его точки зрения, изобразить ее как вымысел политических противников, а Бухарина, заподозренного в авторстве письма,— злостным клеветником на Сталина.

III. О крестьянстве.

От имени большевиков в «Письме» заявляется, что якобы во время коллективизации... «многие говорили,— было бы лучше, если бы иметь дело надо былю бы с восстаниями». В письме, конечно, имеются в виду оппозиционно настроенные верхи партии. Я не устану повторять, что «Письмо» инспирировано в расчете на то, чтобы подозрение в авторстве пало на Бухарина и Рыкова. Достаточно внимательно прочесть это «Письмо» человеку, знающему обстоятельства, которыми воспользовались в Париже и Москве, а именно, родство Рыкова и Николаевского и встречи Бухарина с Николаевским во время командировки, чтобы прийти к аналогичным выводам.

Настроения руководящих оппозиционных верхов партии мне были известны. Когда во время коллективизации начались волнения в деревне, Бухарин и Рыков, не разделявшие политику Сталина в Политбюро, бывали у моего отца. От них я не раз слышала (особенно из уст Бухарина, он приходил чаще), как они тревожились за судьбы крестьян, опасались за разрыв союза с середняком, выражали озабоченность за судьбы революции. При беседах, кроме отца — Ю. Ларина, не раз присутствовали крупные экономисты-большевики: Осинский, Ломов, Милютин, Крицман,— они не были в оппозиции к сталинской политике коллективизации, но воспринимали сообщения о положении в деревне трагически.

IV. Характеристики Кагановича и Ежова

Предельная ясность цели нашумевшего «Письма» подтверждается и характеристикой, данной Кагановичу и Ежову. Небезынтересно с ней ознакомиться, ибо она обеспечила Сталину прочный союз с ними для уничтожения Бухарина и Рыкова.

О Кагановиче:

«...он начал делать свою большую партийную карьеру в период, когда на вероломство был большой спрос, и, с другой стороны, разве он не был одним из тех, кто дольше всех способствовал росту этого спроса».

О Ежове:

«Его первым помощником был Ежов. Если относительно Кагановича временами дивишься, зачем он пошел этим путем, когда мог бы сделать свою карьеру и честным путем, то в отношении Ежова такого удивления родиться не может. Этот свою карьеру мог сделать только подобными методами.

За всю, теперь уже длинную жизнь, мне мало приходилось встречать людей, которые по своей природе были бы столь антипатичными, как Ежов».

Характеристики эти, несомненно, совпадают с оценками Бухарина, но в более поздний период, в связи с их предательским поведением по отношению к Бухарину и Рыкову на пленумах: декабрьском 1936 года и февральско-мартовском 1937 года. Однако во время пребывания Николая Ивановича в Париже они, если в какой-то мере отражают отношение Бухарина к Кагановичу, то уж никак не отражают отношения Бухарина к Ежову.

Кагановича Николай Иванович ценил как работника, считал его способным и крупным организатором. Я не могу утверждать, что Бухарин не считал его человеком вероломным, но не до такой степени, каким он оказался. К Ежову же он относился очень хорошо. Он понимал, что Ежов прирос к аппарату ЦК, что он заискивает перед Сталиным, но знал и то, что он вовсе не оригинален в этом.

Он считал его человеком честным и преданным партии искренне,— «преданный партии»,— тогда это достоинство являлось существенной чертой большевика. Бухарину же представлялось тогда, как это теперь ни кажется парадоксальным, что Ежов хотя человек малоинтеллигентный, но доброй души и чистой совести. Н. И. был не одинок в своем мнении; мне пришлось слышать такую же оценку нравственных качеств Ежова от многих лиц, его знавших. Назначению Ежова на место Ягоды Н. И. был искренне рад. «Он не пойдет на фальсификацию»,— наивно верил Бухарин до декабрьского пленума 1936 года. Надо ли доказывать, что очередная тема «Письма» — характеристики Ежова и Кагановича — исходит не от Бухарина? «Письмо большевика», якобы полученное «Социалистическим вестником» в декабре 1936 года, стало известно в Политбюро, когда Ежов был в самом расцвете «творческих» сил, а Бухарин и Рыков находились в следственных лапах.

Нетрудно себе представить, какое действие возымело «Письмо» на Ежова и Кагановича.

Я выбрала лишь четыре момента из этой пространной фальшивки. Почему — фальшивки? Чтобы закончить размышления о ней и внести ясность, мне придется рассказать о более поздних событиях.

Лишь после своего возвращения из ссылки в Москву я получила возможность детально ознакомиться с судебным отчетом по делу «антисоветского право-троцкистского блока». События пятидесятилетней давности и теперь не могут оставить меня равнодушной к мерзкому судилищу. Я читала и читала судебный отчет, пока досконально не изучила эту энциклопедию лжи, в которой доказательством справедливости судебного разбирательства служит только вклеенный листок:

Опечатка:

На стр. 528, строка 23 снизу

напечатано	должно быть
мы	вы

Инсценированный на процессе эпизод «преступной связи контрреволюционного право-троцкистского блока» со II Интернационалом, осуществлявшийся якобы Бухариным и Рыковым через меньшевика-эмигранта Б. И. Николаевского, особенно привлек мое внимание, так как я была в Париже и присутствовала при встречах Бухарина с Николаевским. Нет смысла опровергать вынужденное заявление Бухарина по поводу «заговора», сделанное на процессе. Но мне представляется крайне важным внести полную ясность в вопрос о публикациях в «Социалистическом вестнике».

Впервые о «Письме старого большевика» я узнала только в 1965 году от И. Г. Эренбурга, прочитавшего его будучи в Париже. Мне удалось познакомиться с этими материалами, и я во всеоружии.

В 1965 году Николаевский опубликовал в том же «Социалистическом вестнике» воспоминания о Бухарине в форме интервью, данного двум журналистам.

В этом интервью Николаевский признал, что он был автором «Письма старого большевика», но заявил, что оно написано на основании разговоров с Бухариным в Париже. Вероятно, к тому времени слухи об истинном авторе стали распространяться, и ничего не оставалось, кроме как раскрыть его имя.

Трудно сказать с точностью, из какого источника черпал Николаевский ту информацию, которая не появлялась в советской прессе. Не исключено, что ему подкинули ее специально с расчетом на публикацию. В любом случае информация эта была умело обработана Николаевским и дополнена размышлениями, приписанными старому большевику, которые меньшевику Николаевскому, великолепно знавшему историю большевистской партии, реконструировать не составило большого труда. К сожалению, порядочность в политике присутствует не у всех!

На процессе Бухарин вынужденно показал, что, находясь в 1936 году в Париже, вошел в соглашение с Николаевским, посвятил его в планы заговорщиков и просил в случае провала, чтобы лидеры II Интернационала открыли в их за-

щиту кампанию в печати. Тогда же, в марте 1938 года, Николаевский напечатал заявление, в котором опровергал это: «Все без исключения мои встречи с Бухариным, равно как и с другими членами комиссии (по покупке архива Маркса. — **А. Л.**), проходили в рамках именно этих переговоров. Ничего, хотя бы отдаленно напоминающего переговоры политического характера, во время этих встреч не происходило».

Но спустя почти три десятилетия в своих воспоминаниях-интервью Николаевский вдруг поведал о разговорах с Бухариным во время его командировки. «Воспоминания» настолько обширны, что если бы беседы эти действительно происходили, то не оставили бы времени для деловых переговоров.

Фундаментом для создания задним числом воспоминаний о Бухарине послужили факты, хорошо известные Николаевскому-историку. Для того чтобы придать им видимость правдоподобия, Николаевский расцвечивает их красочными подробностями. В творческой фантазии отказать ему нельзя. Она и ввела, я уверена, в заблуждение исследователей, особенно зарубежных, ознакомившихся с публикациями Николаевского. Так, например, произошло при освещении ряда моментов с американским советологом Стивеном Коэном, написавшим замечательную книгу «Бухарин и большевистская революция». Да и с другими авторами.

Николаевский пытается изобразить себя не политическим противником Бухарина, а его доверенным лицом.

Я уже говорила, что своим братом Николаевский заинтересовался при последней встрече с Н. И., происходившей в конце апреля 1936 года в моем присутствии. Что же пишет Николаевский в своих «воспоминаниях»-интервью?

«В первый вечер, когда он (Бухарин) пришел ко мне, первыми его словами были: «Привет от Владимира». Позднее, когда Бухарин и я получили возможность говорить наедине, он добавил: «Вам шлет привет Алексей (Рыков)»... Это дало тон нашим последующим беседам».

Стараясь показать свою близость к Бухарину, Николаевский сообщает в своем интервью, что в Амстердаме и Копенгагене, работвя над документами Маркса и Энгельса, в свободное время Бухарин водил его по музеям. О посещении музея естественной истории в Амстердаме Николай Иванович мне с увлечением рассказывал. Твм были ценнейшие коллекции бабочек. В Копенгагене хранилась большая часть документов Маркса и Энгельса, и Николаю Ивановичу пришлось много работать. О посещении музеев в Дании я ничего не слышала, возможно, это у меня выпало из памяти. Но когда Николаевский рассказывает, что в Копенгагене, в музее, Н. И. наполнил портфель фотографиями картин старых мастеров, я вообще ставлю под сомнение пребывание Николаевского в Дании. Никакого портфеля у Н. И. не было, да и фотографий из Копенгагена в Париж он не привозил. Николай Иванович говорил мне, что из Вены в Данию и Голландию его сопровождал Фридрих Адлер. О Николаевском же в этой связи он не упоминал.

Когда точно знаешь, что человек лжет в большом, не веришь и в малом. Даже если Б. Николаевский в Голландии и Дании был, то почему же свободное время Бухарин проводил с ним, а не с членами советской делегации по покупке архива? В Париже я наблюдала исключительно официальные отношения между Бухариным и Николаевским.

Смехотворным представляется рассказ о разговоре Николаевского с Бухариным по поводу завещания Ленина. Бухарин будто бы обратил внимание Николаевского на две свои брошюры: «Путь к социализму и рабоче-крестьянский союз» (1925 г.) и «Политическое завещание Ленина» (1929 г.). Первая была написана в то время, когда взгляды Бухарина не оспаривались Сталиным и положение Бухарина, казалось, было прочно, поэтому, излагая взгляды Ленина, Бухарин не пользовался цитатами из его статей. «Политическое завещание Ленина» — речь на траурном заседании, посвященном пятой годовщине со дня смерти Ленина, когда Бухарин был уже под обстрелом Сталина. Поэтому Бухарин цитирует в ней последние работы Ленина. В этом и было главное различие между

первой и второй брошюрами Бухарина. Николаевский утверждает, что первую работу он не читал. Это дает ему возможность сконструировать целый разговор.

Совершенно невероятно, чтобы больной Ленин вызывал к себе Бухарина и уводил в сад, несмотря на протесты жены и врачей. Это никак не соответствует характеру Бухарина, его отношению и к Владимиру Ильичу, и к Надежде Константиновне. Бухарин один из немногих бывал у Ленина и беседовал с ним и в то время, когда тот уже был тяжело болен, но только тогда, когда это было разрешено врачами. Н. И. рассказывал мне, что однажды он вместе с Зиновьевым ездил в Горки и видел больного Ленина сквозь забор.

Николаевский беззастенчиво извращает факты, касаясь вопроса о суде над правыми эсерами. Он утверждает, что Бухарин по собственной инициативе завел разговор об этом процессе, происходившем в июле — августе 1922 года, еще при жизни Ленина.

Б. Николаевский сообщает, что правых эсеров судили за борьбу в целях передачи власти Учредительному собранию. Однако о том, какими методами они пользовались, он умалчивает [1]. Меньшевики тоже боролись против разгона Учредительного собрания, но борьбу за свои взгляды вели исключительно пропагандистски, и за это их никто не судил.

Что касается Бухарина, то он был одним из активнейших сторонников роспуска Учредительного собрания, которое он именовал уничижительно — Учредиловкой. Позиция Бухарина, его речи и статьи об этом были, конечно же, хорошо известны Николаевскому.

Как же развивались события на процессе правых эсеров? [2] Правые эсеры разделились на две группы: раскаявшихся, главным образом боевиков, заявивших, что действовали по поручению ЦК, и членов ЦК правых эсеров, отказавшихся от ответственности за совершенные террористические акты.

Чтобы доказать, что раскаявшаяся группа правых эсеров говорит правду, ЦК РКП(б) выделил для них защитников. В числе защитников были Р. Катанян, М. П. Томский и Бухарин. Поскольку защитники доказывали правильность показаний своих подзащитных, разоблачавших ЦК правых эсеров, они, по сути, делали общее с обвинением дело.

Одним из подзащитных Бухарина был бывший террорист Семенов, по показаниям Р. Катаняна, к моменту процесса не только раскаявшийся, но ставший членом Коммунистической партии.

Бухарин же «рассказывает» своему «собеседнику», что за кулисами суда он выступал против казни правых эсеров, а произнес несколько речей с резкими нападками на них, лишь подчиняясь партийной дисциплине. Как же случилось, что Бухарин, будучи в единственном числе, во всяком случае в меньшинстве в ЦК, победил: осужденным членам ЦК правых эсеров был вынесен смертный приговор, но приведен в исполнение не был?!

Николаевский от имени Бухарина заявляет: «Да, нужно признать, что вы, социалисты, сумели поставить на ноги всю Европу и сделали невозможным приведение в исполнение смертного приговора эсерам». Что же, выходит, «добренький» Бухарин жалел террористов, убивших Урицкого, Володарского, покушавшихся и на Ленина? А после процесса правых эсеров, как рассказывал мне Николай Иванович, был задержан правый эсер Гуревич при попытке покушения на самого Бухарина.

На чем Николаевский в данном случае строит свои фальсифицированные

---

[1] На процессе в вину партии правых эсеров вменялись террористические акции. В июне 1918 г. эсером был убит комиссар печати и пропаганды В. Володарский, а 30 августа — председатель Петроградской ЧК М. С. Урицкий, и в тот же день, 30 августа, террористка Ф. Каплан совершила покушение на Ленина и тяжело его ранила.

Правые эсеры вошли в контакт с мятежными чехословацкими войсками и с их помощью создали на территории Поволжья, на юго-востоке страны, в Сибири, целый ряд независимых от Советской власти правительств. Получали деньги от Французской миссии через французского дипломата, бывшего посла Франции в России Нуланса.

[2] Подробности я узнала от члена большевистской партии с 1903 года Рубена Катаняна, одного из защитников от ЦК РКП(б) на процессе правых эсеров. Р. Катанян прислал мне копию своих свидетельских показаний, направленных в Комитет партийного контроля в 1961 году.

воспоминания, я поняла, прочитав статью Владимира Ильича «Мы заплатили слишком дорого».

В апреле 1922 года в Берлине была созвана конференция трех Интернационалов: II, II 1/2 и III. От Российской Коммунистической партии делегатами были посланы Бухарин и К. Радек, а от Коминтерна — члены западноевропейских коммунистических партий. Делегация Коминтерна выдвинула предложение о созыве Всемирного конгресса с целью организации единого фронта в борьбе против реакции, подготовки новых империалистических войн, за отмену Версальского договора и т. д. Представители социал-демократии пытались навязать Коминтерну свои условия.

Делегация Коминтерна отвергла неприемлемые требования. Однако, борясь за возможность выступить перед рабочим классом с трибуны Всемирного конгресса, согласилась разрешить представителям двух Интернационалов присутствовать на процессе правых эсеров и обещала, что Советская власть не применит к осужденным смертной казни. Компромисс не помог. Руководители II и II 1/2 Интернационалов приняли решение созвать в Гааге Всемирный конгресс без представителей коммунистов.

Какой же вывод сделал Ленин в своей статье «Мы заплатили слишком дорого»?

«Вывод прежде всего тот, что тт. Радек, Бухарин и другие, которые представляли Коммунистический Интернационал, поступили неправильно.

Далее. Вытекает ли отсюда, что мы должны разорвать подписанное ими соглашение? Нет. Я думаю, что подобный вывод был бы неправильным и что рвать подписанное соглашение нам не следует. ...Но несравненно большей ошибкой был бы отказ от всяких условий и от всякой платы для того, чтобы проникнуть в это, довольно крепко охраняемое, запертое помещение» [1].

Статья Ленина «Мы заплатили слишком дорого» была опубликована в «Прввде» 11 апреля 1922 года. Б. И. Николаевский не мог ее не читать. Он знал и о мотивах подписанного в Берлине соглашения. Спрашивается, зачем же Бухарину за кулисами надо было бороться против казни правых эсеров, когда сразу же после конференции в Берлине Ленин заявил, что соглашение рвать не следует?

Не нарушая, по решению Ленина, согласия, данного на берлинской конференции, для защиты ЦК правых эсеров были допущены бельгийский правый социалист Э. Вандервельде и другие. Бухарин не только выступал на процессе с резкими речами, изобличающими контрреволюционную деятельность правых эсеров, но и, обозленный на то, что делегация Коминтерна, несмотря на компромисс, не была допущена на Всемирный конгресс, мобилизовал студентов университета им. Свердлова, сочинил злые частушки и устроил обструкцию Э. Вандервельде (об этом мне рассказывали и бывшие студентки «Свердловки»).

Я специально уделила внимание вопросу о суде над правыми эсерами, чтобы показать, как ловко Б. Николаевский извратил позицию Бухарина. Это тем более важно, что на процессе Бухарин обвинялся в связях с террористом Семеновым в целях организации покушения на Ленина.

В заключение хочу рассказать о менее значительных в политическом отношении эпизодах, придуманных Николаевским.

Поражает сочиненный им разговор о составлении Конституции, принятой в декабре 1936 года VIII съездом Советов. «Смотрите внимательно,— якобы сказал Бухарин Николаевскому,— этим пером написана вся новая Конституция — от первого до последнего слова. (Он будто бы вытащил из кармана «вечное» перо и показал его.) Я проделал эту работу один, мне немного помогал только Карлуша. В Париж я смог приехать только потому, что работа эта кончена». Эти сведения — плод фантазии Николаевского. Николай Иванович писал не всю Конституцию, а ее правовую часть. Писал дома, школьной ручкой, с обыкновенным пером, «вечного» пера не любил. В Париж эту ручку Бухарин не возил и

[1] В. И. Ленин. Полн. собр. соч., том 45, стр. 142—143.

показывать Николаевскому не мог. Бухарину не требовалась помощь Карлуши (так многие называли К. Радека, и это Николаевский, оказывается, знал), точно так же, как Радек — член Конституционной комиссии, не нуждался в помощи Бухарина.

Меня привело в изумление, когда я прочла, что Николаевский ввел и меня как действующее лицо своей инсценировки:

«Бухарин был явно утомлен, мечтал о многомесячном отпуске, хотел бы поехать к морю. В этот момент к нам подошла его молодая жена... она ждала первого ребенка, тоже нуждалась в отдыхе и явно была довольна, когда муж ее заговорил о море...» Фантазии импровизатора нет границ: многомесячный отпуск мог быть получен только по болезни, а Н. И. собирался в отпуск на Памир. Разговора о море не было, и мечтаний таких быть не могло ни у меня, ни у Николая Ивановича. Я со дня на день ждала ребенка и родила через несколько дней после приезда из Парижа.

Николаевский позволяет себе и такой вымысел: «...когда мы были в Копенгагене, Бухарин вспомнил, что Троцкий жил относительно недалеко, в Осло, и сказал: — А не поехать ли на денек-другой в Норвегию, чтобы повидать Льва Давыдовича? — И затем добавил: — Конечно, между нами были большие конфликты, но это не мешает мне относиться к нему с большим уважением».

В Копенгагене я не была, но великолепно понимаю, что это очередная выдумка Николаевского. Я уже не говорю о том, что съездить в Осло нельзя было без визы, речь могла идти только о конспиративной поездке, на что Николай Иванович никогда бы не пошел. Кроме того, как мне известно со слов Н. И., в полемических дискуссиях он утратил уважение к Троцкому. Полагаю, что то же можно сказать и о Троцком, который едва ли принял бы Бухарина с распростертыми объятиями.

Не меньшее удивление вызывает рассказ Б. Николаевского о свидании Бухарина с Фанни Езерской. Езерская когда-то была секретарем Розы Люксембург, членом Германской коммунистической партии, работала в Коминтерне, была в оппозиции, если не ошибаюсь, разделяла взгляды Брандлера. После прихода Гитлера к власти эмигрировала во Францию. С Николаем Ивановичем близка она не была, но дружила с моими родителями. Фаня Натановна, как ее звали в ларинской семье, знала меня с раннего детства. Николаевский, якобы со слов Ф. Езерской, рассказывает, что она предложила Бухарину возглавить заграничную оппозиционную газету, хорошо осведомленную о происходящем в России, поскольку, по ее мнению, он был единственным, кто мог бы взять на себя роль редактора такой газеты. Иными словами, предложила Бухарину стать невозвращенцем — остаться в Париже. Бухарин якобы отказался от этого предложения лишь из тех соображений, что привык к создавшимся в Союзе отношениям и к напряженному темпу жизни. Но в тот единственный раз, когда Езерская встретилась с Бухариным, она при мне пришла в «Лютецию» и при мне ушла. Я была свидетелем всего разговора. Ничего даже отдаленно похожего на грубые фальсификации Николаевского не было.

Если бы командировка Бухарина в Париж совпала с процессом Зиновьева и Каменева (август 1936 года), то и настроение Бухарина совпало бы с тем, как его оценивал Николаевский. Хотя и в этом случае Бухарин ринулся бы в Москву, чтобы опровергнуть обвинения, но при таких обстоятельствах не исключено, что кто-нибудь наивно решился бы предложить Бухарину остаться за границей, предположив, что в Париже или иной западноевропейской стране, а может, в Америке, Бухарин бы уцелел, тем более что жизнь в то время не доказала еще обратного...

Не мне опровергать, что до августа 1936 года Николай Иванович не предвидел своей гибели. Это доказывают его статьи, речи, в том числе речь, произнесенная в Париже. Сам факт, что незадолго до катастрофы Николай Иванович не только соединил со мной, юным человеком, жизнь, но и стремился иметь ребенка, о многом говорит. Неужто Николая Ивановича можно заподозрить в том, что он желал, чтобы и ребенок его был обречен на мучительные страдания!

Николаевский, наворачивая одну ложь на другую, противоречит сам себе. В «Письме старого большевика», созданном им через восемь месяцев после отъезда Бухарина из Парижа, говорится: «Сказать, что процесс Зиновьева — Каменева — Смирнова нас здесь как обухом по голове ударил, значит дать только очень бледное описание о недавно пережитом, да и теперь переживаемом». Далее он сообщает, что даже Ягода узнал о готовившемся процессе в последнюю очередь. Вопрос: из какого источника Николаевский получил эти сведения?..

Почему-то в марте — апреле 1936 года после столь длительных бесед с Бухариным ему не передалось безысходное настроение Бухарина. Да и не могло передаться, ибо оно не соответствовало его описаниям в 1965 году. В Париже Бухарин был жизнерадостен и весел, считал, что новая Конституция приведет к демократизации нашего общества — его долгожданной мечте.

И разве кто-нибудь в марте — апреле 1936 года осмелился бы предложить Бухарину остаться в Париже?

В голове Николаевского все сместилось во времени, он запутывается и сам себе противоречит. С одной стороны, он вполне справедливо замечает:

«Бухарин недооценил своего противника. Он не предвидел, как предательски хитро Сталин применит все эти хорошие принципы (имеется в виду новая Конституция.— **А. Л.**) и равенство всех перед законом превратит в равенство коммунистов и некоммунистов перед абсолютной диктатурой Сталина».

С другой стороны, Николаевский объясняет «откровенность» Бухарина в беседах с ним таким образом: «То, что он (Бухарин) мне говорил, было сказано с мыслью о будущем некрологе». И в 1965 году, рассматривая события тридцатилетней давности через призму «большого террора», начавшегося после отъезда Бухарина из Парижа, Николаевский делает вывод, что Бухарин тогда уже предвидел приближающуюся гибель.

На чем же основана уверенность Николаевского? Для доказательства безысходного настроения Бухарина во время пребывания за границей Николаевский приводит длинный фантастический рассказ о поездке Бухарина на Памир. Николаевский отмечает, что Н. И. якобы не раз возвращался к этой теме, добавляя все новые и новые подробности.

Далее. Бухарин якобы рассказал Николаевскому следующий эпизод: они с гидом поехали к развилке тропинок. Гид предупредил, что ехать по короткой дороге смертельно опасно,— дорогу размыло дождями, были обвалы,— и уговаривал Николая Ивановича ехать по длинной дороге. Бухарин настоял на своем. Рассказ вполне правдоподобный. На этом основании Николаевский делает вывод, что Бухарин испытывал судьбу, и мысль о самоубийстве не покидала его. Потрясающее основание для такого вывода!

Я уже много раз отмечала жизнелюбие и азартность Николая Ивановича. Во время отпуска, независимо от политической ситуации, он мог вести себя рискованно просто в силу своего характера. Так было, скажем, в 1935 году, когда мы путешествовали по Алтаю и, еле держась в седлах, пробирались верхом на лошадях по крутым горным тропам к Телецкому озеру. Что же, Н. И. и моей гибели желал? А положение его в тот момент казалось прочным.

Я могу привести пример и из самого благополучного для Николая Ивановича времени. В 1925 году я с родителями и одновременно с Николаем Ивановичем отдыхала в Сочи. Как-то он взял меня с собой в поездку на Красную Поляну. В то время мне было 11 лет. Дорога была плохая, надо было переехать глубокую пропасть, через которую был перекинут ненадежный деревянный мостик. Шофер предупреждал, что мост дряхлый, может провалиться, охранник Рогов требовал повернуть назад — он отвечал за жизнь члена Политбюро. Не помогло. Шофер разогнал машину, и мы быстро проехали через мостик, который сразу же рухнул. Нам пришлось ночевать в машине в ожидании, пока построят новый.

Поездку Бухарина на Памир Николаевский датирует не точно, но приблизительно 30-м годом. Время для своих импровизаций он выбирает удачное. Сравнительно недавно Бухарин в связи с разногласиями со Сталиным был выведен из Политбюро, снят с постов секретаря Исполкома Коминтерна и редактора «Правды». Но дело в том, что Николай Иванович, хотя до поездки в Париж и бывал в Средней Азии, выше озера Иссык-Куль не подымался. Поездка на Памир была его давнишней мечтой, и он осуществил ее после возвращения из Парижа, в начале августа 1936 года. Николай Иванович вернулся с Памира, когда на процессе Зиновьева и Каменева было упомянуто его имя и в газетах объявлено следствие по «делу» Бухарина и других большевиков.

На чем же основан приписанный Бухарину рассказ о Памире? Ведь Бухарин и при всем желании не мог рассказать о том, что тогда еще не произошло. Николаевский упоминает опубликованные за границей мемуары Р. В. Иванова-Разумника, после длительного пребывания в заключении эмигрировавшего. В них он сообщает, что судьба свела его в заключении с пограничником, сопровождавшим Бухарина на Памир, что вполне могло быть правдой. Этих воспоминаний я не читала, но предполагаю, что часть сведений Николаевский почерпнул у Р. В. Иванова-Разумника, остальное придумал сам.

Какова цена «воспоминаниям» Б. И. Николаевского, надеюсь, я показала. И после «Письма старого большевика» считаю интервью Николаевского вторым фальшивым документом, который он создал почти через тридцать лет после первого.

Еще один странный документ, связанный с пребыванием Бухарина в Париже, появился через 28 лет после его отъезда и через 26 лет после его гибели — воспоминания жены Ф. И. Дана (сестры Ю. О. Мартова), опубликованные в Америке в 1964 году, уже после смерти Лидии Осиповны Дан.

Лидия Осиповна Дан рассказывает о переговорах по поводу продажи архива Маркса достаточно точно и более объективно, чем Б. И. Николаевский. Ошиблась лишь в составе комиссии: вместо Аросева она упоминает Тихомирнова. Однако, когда она или, возможно, кто-то от ее имени, посвящает читателя в сенсацию, равной которой даже Б. И. Николаевский не придумал, приходится заподозрить, не вписан ли этот эпизод кем-то в ее воспоминания (коль скоро они опубликованы после смерти Л. О. Дан).

Я имею в виду описание встречи Бухарина с Ф. И. Даном.

Бухарин действительно виделся с Даном, когда тот вместе с Николаевским приходил в гостиницу «Лютеция». «Анекдотический случай», как сказал Н. И. перед отъездом в Париж, произошел. Диалог между Бухариным и Даном повторять не стану; высказывания Бухарина о Дане, приведенные мною, и то, что Дан отказался вести переговоры по поводу продажи архива и поручил заняться этим Николаевскому, надеюсь, не забыты.

Но жена Дана пишет, что в апреле 1936 года Николай Иванович был в состоянии полнейшей обреченности и сам якобы пришел к Дану, потому что «просто душа запросила». Л. О. Дан утверждает, что Бухарин говорил Дану: «Сталин не человек, а дьявол» и «что Сталин всех их (большевиков.— **А. Л.**) сожрет». Он возвратился в Москву лишь потому, что не хотел стать эмигрантом.

Само заглавие воспоминаний — «Бухарин о Сталине» указывает на цель визита Бухарина. Но мог ли Бухарин пойти в гости к Дану, чтобы в апреле 1936 года компрометировать Сталина? Он бы и позже к нему не пошел!

Л. О. Дан датирует визит Бухарина к Дану тем временем, когда просмотр документов Маркса и Энгельса был закончен и начался торг из-за цены архива. Все это происходило, когда я находилась в Париже, и я знаю, что Бухарин к Дану не ходил, хотя Лидия Осиповна и рассказывает (опять-таки, возможно, кто-нибудь рассказывает, пользуясь ее именем), что, увлекшись нападками на Сталина, Бухарин пробыл там с двух часов дня до восьми вечера. Такого и быть не могло. Я должна была вот-вот родить, и Николай Иванович не оставлял меня одну на такое длительное время. Однако я не могу рассчитывать на полное доверие моему свидетельству. Хочу опровергнуть эту ложь воспоминаниями самой же Лидии Осиповны. Она сообщает, что об этом сверхсенсационном тайном свидании и характере разговора, куда более откровенном, чем с Нико-

лаевским, Дан никому не сообщил: «даже Николаевскому, которому было бы всего естественнее знать об этом, ибо считал, что это может стать как-нибудь опасным для Бухарина». Следовательно, можно предположить, что Дан не доверял Николаевскому... Между тем, как Дан «берег» и Бухарина, и Рыкова, он доказал публикацией «Письма старого большевика» в «Социалистическом вестнике», редактором которого был.

Дан скончался в 1947 году, через 9 лет после казни Бухарина. Опасаться неприятности для Бухарина уже не приходилось. Но тайну свидания с Бухариным и его пророческий разговор с ним: «Сталин всех нас сожрет» — Дан унес с собой в могилу. А казалось бы, самое время после расстрела Бухарина рассказать о точном прогнозе Бухарина. Почему же Дан промолчал? Очевидно, потому промолчал, что не произошло того, чего произойти не могло.

Настораживают и другие необъяснимые «воспоминания» жены Дана. В них можно прочесть: «но хотя власти, несомненно, знали по крайней мере о свидании и переговорах в «Лютеции», о свиданиях и других там с Николаевским и Даном, на процессе об этом не было ни слова упомянуто». Это противоречит действительным обвинениям на процессе, предъявленным Бухарину и Рыкову.

Самому Ф. И. Дану приписывали интервенционистские намерения против Советского Союза. Обвиняемый Чернов, бывший наркомзем и бывший меньшевик, на чем акцентировал внимание Генеральный прокурор Вышинский, в своих фантастических показаниях заявил, что Ф. И. Дан — немецкий шпион, агент немецкой разведки; наконец, Рыков и Бухарин якобы были связаны с представителями II Интернационала, в преступных целях, через Николаевского.

Мне не удалось выяснить, действительно ли рукопись этих воспоминаний хранится в Британском музее, как пояснялось в предисловии к посмертной публикации Л. О. Дан. Если же такая запись существует и она собственноручная, то можно лишь выразить сожаление, что сестра Ю. О. Мартова, нравственные качества которого заслуженно ценились и его политическими противниками, пошла на такую фальсификацию. Я сомневаюсь в этом.

Огорчение Бухарина в связи с безрезультатной командировкой было кратковременным, а после разговора со Сталиным и его слов: «Не волнуйся, Николай, архив приобретем, они еще уступят...» (в цене) осталось позади. Н. И. жил обычной для него жизнью: увлеченный работой в редакции «Известий», в Академии наук, в комиссии по выработке новой, так называемой сталинской Конституции. После приезда из Парижа ничто не омрачало его настроения. Через несколько дней после возвращения у нас родился сын, и сорокасемилетний отец пребывал в состоянии радостного возбуждения, он был счастлив — буквально ликовал! Н. И. и заподозрить не мог, какая тяжкая судьба ждет сына, его беспокоило другое: «Юрочка! — воскликнул он однажды полушутя,— я опасаюсь, когда ты вырастешь, из меня песок сыпаться будет и я не смогу с тобой походить по лесу, поохотиться! Нет, нет,— рассеял он сам свое опасение,— я долго буду крепким, мы еще с тобой по лесу побродим, я тебе много интересного расскажу». Его знание русского леса можно сравнить разве что с пришвинским.

Вскоре после рождения ребенка мы уехали за город. Жили возле станции Сходня, где находились дачи, принадлежащие редакции «Известий». Невдалеке от нас была дача Карла Радека. Это было единственное лето, когда в связи с рождением ребенка Н. И. в течение двух месяцев приезжал на дачу ежедневно, часто глубокой ночью, после окончания работы в редакции. Дачи, где Н. И. жил бы постоянно, у него никогда не было. Наездами он бывал в Горках Ленинских, у Сталина в Зубалове (середина 20-х гг. до 1928 г.), у Рыкова в Валуеве—там, рядом, был осиновый лес, и Н. И. устремлялся на охоту за рябчиками. Наконец, на даче у моего отца в Серебряном Бору. Бухарин был весь движение, и дачный образ жизни был не в его характере.

В начале августа Н. И. получил отпуск и решил отправиться на Памир. Памир — его давнишняя мечта. После недолгих колебаний: отложить ли поездку до следующего года, так как из-за ребенка я поехать с ним не могла, или же ехать

сейчас,— мы пришли к выводу, что отсрочка не имеет смысла. Год напряженной работы требовал отдыха. Разрядка, воссоединение с природой были для него необходимы. А вместе, как мы полагали, успеем еще попутешествовать...

На Памир Н. И. уезжал с дачи. Накануне он привез из Москвы свой багаж, непременные атрибуты его отпуска: этюдник, краски, холсты — для живописи; патроны, дробь и ружье — для охоты. Машина уже стояла у крыльца. Возле нее суетился шофер, Николай Николаевич Клыков, как называл его Н. И.,—Клычини. Клыков стал своим, близким человеком настолько, что Н. И. не раз просил у него взаймы денег. Н. И. никогда не садился к столу, не пригласив пообедать шофера. Обычно завязывалась беседа: Н. И. в популярной форме разъяснял Николаю Николаевичу текущие политические события, внутренние и международные, к чему Клыков проявлял большой интерес. Н. И. никогда не поучал Николая Николаевича, беседа шла на равных. В пути они часто пели русские народные песни, к которым Н. И. имел особое пристрастие, и слышался дуэт: «Хороша я, хороша, да плохо одета, никто замуж не берет девушку за это...» или же: «Над серебряной рекой, на чистом песочке, долго девы молодой я искал следочки...»

Бухарин не походил на типичного рафинированного интеллигента, несмотря на то что интеллектом мало кто мог с ним сравниться. Он носил русские сапоги не потому, что в пору гражданской войны и после нее это было довольно распространено в среде большевиков; он влез в них задолго до революции — смолоду, потому что такая обувь была удобна для его образа жизни; носил кепку, а не шляпу и считал, что шляпа сидит на нем, как на свинье ермолка, хотя, уезжая за границу, все же надевал ее. Однако, когда впервые его пригласили на дипломатический прием и предупредили по телефону из Наркоминдела, что надо быть соответственно одетым, Н. И. ответил: «Меня русский пролетариат знает в кожанке и кепке, сапогах и косоворотке, таким я и явлюсь на прием».

Характер Н. И. проявлялся и в манере себя держать: он мог плюнуть по-мужицки сквозь зубы, мог свистнуть, как уличный мальчишка, заложив два пальца в рот; он разрешал себе озорные выходки. В то же время Н. И. был человеком поразительной душевной тонкости, почти девичьей застенчивости и, как я уже отмечала, человеком, эмоциональность которого граничила с болезнью.

И внешне Н. И. не всегда воспринимался мною одинаково: то походил он на простого русского мужичка с веселыми, хитренькими, бегающими глазами, то на мыслителя со взглядом задумчивым, глубоким и грустным, устремленным вдаль.

Его красноречивые манифесты и памфлеты, старательно написанные бисерным почерком, сложные теоретические исследования, перемежающиеся иностранными словами и фразами, доступные пониманию ограниченного круга, чередовались с речами, статьями, брошюрами и книгами популярными, рассчитанными на широкую публику («Азбуку коммунизма» отец дал мне для изучения, когда мне было 13 лет).

Он никогда не подделывался под народ, он не заигрывал с ним — сам был живой плотью его, простолюдином и интеллектуалом одновременно и бессребреником до конца своей жизни. Это-то и привлекало в Бухарине его шофера — Клыкова, и он, Бухарин, в силу своего характера, чувствовал себя с Клыковым легко и свободно.

Итак, последние счастливые минуты. Все готово к отъезду.

— Поехали, Клычини! — Н. И. простился со мной и ребенком, поцеловал его и сказал: — Будешь расти, как царевич из «Сказки о царе Салтане» — не по дням, а по часам, приеду, а ты уже коршуна подобьешь. Вот тогда-то мы с тобой побегаем!

Малыш смотрел на отца яркими, светящимися глазками и улыбался, должно быть, еще неосознанно, но невероятно радостно.

— Посидим минутку перед отъездом,— предложил Н. И.

День был жаркий, дачный участок пересекал огромный овраг, теперь напоминающий мне рельефом своим тот, сибирский, куда привели меня на расстрел. Уселись у обрыва в тени елей, и раздалась любимая песня: «Саша, ангел непорочный, прожил я с тобой пять лет, наверно, пробил час урочный, и я нарушил

свой обет!..» Пели громко и весело. Соседские ребятишки сбежались послушать. Наконец встали, подошли к машине. Н. И. уселся рядом с шофером и, предвкушая удовольствие от предстоящей поездки, сияющий, выглянул в окошко машины. Таким Бухарина я видела в последний раз.

Но только собрались трогаться в путь, как неожиданно разрыдался тринадцатилетний племянник Н. И., Коля Бухарин (сын младшего брата Н. И., Владимира), живший с нами на даче. Сквозь слезы, всхлипывая, он истерически кричал: «Дядя Коля, не уезжай, не уезжай, дядя Коля, не уезжай!» Было нечто мистическое, прямо-таки жутковатое в том рыдании, словно предчувствовал мальчик, что видит своего дядю в последний раз.

— Ты что меня хоронишь, Коля! — успокаивал племянника Н. И. — Я скоро вернусь, подрастешь, мы с тобой вместе в горы поедем. У меня хватит благоразумия, чтобы не свернуть себе шею.

Наконец машина выехала за ворота, скрылась из глаз и направилась в аэропорт. Тогда я не могла и предположить, что в ближайшие дни погаснет для нас радость жизни. Летний день был по-прежнему солнечный и жаркий, малыш улыбался, а племянник Коля некоторое время еще продолжал рыдать.

Вспоминается, что незадолго до отъезда Н. И. принес огорчительную весть об аресте Григория Яковлевича Сокольникова. Самое примечательное заключается в том, что Н. И. настолько не предвидел надвигающегося массового террора и предстоящих — в скором времени — процессов, что абсолютно исключал политические мотивы ареста Сокольникова. Он предположил, что арест его скорее связан с перерасходом государственных средств в то время, когда тот был послом в Лондоне. Словом, с какими-то финансовыми нарушениями, и надеялся на скорое его освобождение.

В отпуск Н. И. отправился не один. Вместе с ним поехал его секретарь Семен Александрович Ляндрес (отец писателя Юлиана Семенова). Здоровьем Семен не отличался, и Н. И. отговаривал его от поездки, требующей физических сил и тренировки, но тщетно.

Семен Александрович любил Н. И. еще с тех пор, когда работал с ним в ВСНХ, затем в Наркомтяжпроме в качестве секретаря, вместе с ним перешел в «Известия». Могу сказать, что и Н. И. был привязан к нему.

Две недели после отъезда Н. И. прошли без особых волнений, тревожило лишь то, что никаких сведений о нем я не имела. Он забрался в такие дебри, где почты, тем более телеграфной связи, не было. Я успокаивала себя лишь тем, что Н. И. в горах не один. Кроме Семена, как я предполагала, обязательно должен был быть проводник, что в какой-то степени гарантировало безопасность путешествия.

Между тем надвигался последний день спокойствия. Беда обрушилась стремительно, точно шквал. 19 августа 1936 года начался процесс Зиновьева, Каменева и других, так называемый процесс «троцкистского объединенного центра». Ужасающее обвинение — убийство Кирова; страшные и непонятные признания обвиняемых. Помнится, Зиновьев на процессе заявил, что индивидуальный террор, хотя и противоречит марксизму, но решили в конце концов, что в борьбе все средства хороши. Но как раз эти слова меня особенно насторожили. Цель убийства Кирова, якобы по заданию Зиновьева и Каменева, оставалась необъяснимой. Однако приходится признать: я пришла к выводу, что в чем-то, допустим, в тайном заговоре против Сталина, подсудимые были повинны. Когда же они стали показывать на Бухарина, Рыкова, Томского, я потеряла рассудок. Потрясение было столь велико, что к вечеру у меня, кормящей матери, пропало молоко.

21 августа было опубликовано заявление прокуратуры о начале следствия по делу Бухарина, Рыкова, Томского, Радека и других упомянутых на процессе лиц, якобы связанных с подсудимыми контрреволюционной деятельностью. На собраниях выносились гневные резолюции: «Посадить на скамью подсудимых...» и т. д. Сразу же в газетах появилось сообщение о самоубийстве М. П. Томского. Не получая никаких вестей от Н. И., я заподозрила, что он уже арестован. Пыталась узнать о нем в редакции, но и там никто ничего не знал. Наконец, после 25 августа из редакции позвонила Августа Петровна Короткова и сообщила, что Н. И. вылетел из Ташкента, днем будет в Москве и просил, чтобы я его встретила. Короткова предупредила Николая Николаевича, чтобы он предварительно заехал за мной на Сходню. Клыков скоро прибыл, мрачный, лицо землистого цвета.

— Вот,— сказал он,— так радостно провожали, и какая печальная встреча!

Ребенка завезла на квартиру матери в «Метрополь», бабушку — в коммунальную квартиру на Новой Басманной. По пути я успела ей тихо шепнуть: «Николай жить не будет, его обязательно расстреляют!» Бабушка посмотрела на меня безумными глазами. Я эту фразу не раз потом вспоминала. Следовательно, в тот момент я уже понимала многое. Хочется проникнуть в себя прежнюю и в Н. И. тех дней, избежать аберрации. Это не так просто, как кажется. Ретроспективный взгляд дает многое, делает человека разумней, кажется, что он рассуждал так и прежде.

«Лицом к лицу лица не увидать. Большое видится на расстоянье». Применительно к тем зловещим событиям наш поэт прав вдвойне.

Мы приехали в аэропорт с небольшим опозданием. Н. И. сидел на скамейке, забившись в угол. Вид у него был растерянный и болезненный. Он хотел, чтобы я его встретила, опасаясь, что арест произойдет в московском аэропорту. Семен Ляндрес был возле него и по просьбе Н. И. загораживал его от посторонних любопытных, возможно, враждебных взглядов. Бухарина часто узнавали, что в тот момент для него было тяжко. Смотреть людям в глаза он был не в состоянии, настолько возмутительными считал выдвинутые против него обвинения. Вещи свои, чемодан и все остальное Н. И. оставил не то во Фрунзе, не то в Ташкенте. Они прибыли значительно позже. С собой он захватил лишь колокольчик, какой навешивают в горах домашним животным, чтобы не потерялись,— колокольчик держал в руке, а на плече висели узорчатые шерстяные чулки. Эти вещи Н. И. привез в подарок сыну, хотя ребенку не было еще полных четырех месяцев и весь он мог влезть в один такой чулок. Но в тот момент это не показалось мне смешным чудачеством. Первые слова, обращенные ко мне:

— Если бы я мог предвидеть подобное, убежал бы от тебя на расстояние пушечного выстрела!

Я старалась успокоить Н. И., «разберутся, мол, все выяснится...», а сама была настроена пессимистически. Увидав Клыкова, Н. И. смутился и воскликнул:

— Все ложь, ложь, Николай Николаевич, и я это докажу!

Клыков реагировал на возглас Н. И. страдальческим взглядом, молча.

— Куда поедем, Николай Иванович? — спросил подавленный шофер.

Н. И. замялся, он непрерывно оглядывался, не подошли ли с ордером на арест. Квартира была в Кремле, пропустит ли охрана в Кремль, уверенности не было, и он свое сомнение выразил вслух. Можно, конечно, поехать на дачу, но там не было телефона-вертушки, по которому Н. И. мог бы непосредственно связаться со Сталиным.

— Будь что будет! — ответил он шоферу.— Едем на квартиру.

Заехали в «Метрополь» за ребенком и направились через Боровицкие ворота в Кремль. Как обычно, машина была остановлена для проверки документов. Н. И. предъявил удостоверение члена ЦИКа, дежурный из охраны как ни в чем ни бывало отдал честь.

— Может, он газет не читает? — заметил Н. И., и машина благополучно остановилась у подъезда.

Взволнованный старик-отец встретил сына словами:

— Ты что же, Колька, все путешествуешь, тут бог весть что творится!

Но Н. И., казалось, и слов отца не услышал. Он быстренько побежал в свой кабинет и стал звонить Сталину. Незнакомый голос ответил:

— Иосиф Виссарионович в Сочи.

— В такое время в Сочи! — воскликнул Н. И.

Теперь об этом вспоминать тяжко. У кого Н. И. искал спасения, у своего же палача! Возможно, очевидным это кажется теперь, а не тогда, в ту трагическую минуту. Невероятно, что Н. И. не то чтобы не мог понять, скорее в первые дни

не мог думать о том, что само позорное судилище над Каменевым, Зиновьевым не могло бы состояться, если бы того не пожелал Сталин. Инстинкт самосохранения гнал от этой мысли, хотя для него очевидным должно было бы быть, что именно Сталин успел к этому времени не только распять Зиновьева, Каменева и других большевиков, но и вложить в их уста самооговор и клевету на своих же товарищей. Тем не менее душу Бухарина терзало невероятное озлобление против «клеветников» Каменева и Зиновьева, а вовсе не против Сталина. Неприязнь к этим обоим политическим деятелям, к Каменеву в особенности, имела глубокие корни, что вполне понятно из того, что мною было изложено ранее.

К Чингисхану — так Н. И. называл Сталина в 1928 г., в период самых острых разногласий — Бухарин отношение изменил, оставив за ним лишь болезненную подозрительность. И, как он считал, спасение лишь в том, чтобы эту подозрительность рассеять. Поначалу было именно так, ничего иного сообщить не могу, хотя об этом вспоминать прискорбно. Очевидно, при ином образе мысли стимул к борьбе с клеветой был бы утрачен.

В то время многие не могли отделить правду от лжи и пребывали в состоянии полной растерянности. Е. А. Гнедин в своей удивительно тонкой в психологическом отношении книге «Катастрофа и второе рождение» писал: «Я заметил, между прочим, что встречающиеся в мемуарах И. Г. Эренбурга упоминания о наивности, казалось бы, трезвомыслящих людей вызывают совершенно напрасное недоверие современных читателей».

Наивность эта проявлялась и в том, что многие в процессы верили, иначе не в состоянии были объяснить происходящее, и в том, что те, кто верил не до конца, все же верил в то, что раскрыт заговор против Сталина. Нравственные качества вождя особенно подталкивали к этой мысли тех, кто его близко знал, пока самих не постигала такая же участь; наконец, наивность проявлялась и в том, что за спасением обращались к самому тирану. В этом был, безусловно, резон, ибо спасти от террора мог лишь тот, кто был его вдохновителем и организатором. Однако как наивно было предполагать, что «отец родной» спасет, а не казнит.

Трудно поверить, что Бухарин был одним из многих. Тем не менее поначалу это было именно так. Спасение он видел только в Сталине.

В моей памяти живут многочисленные примеры такой наивности, расскажу лишь о более ярких.

После своего освобождения и возвращения в Москву я познакомилась со старым большевиком Никаноровым, тоже пострадавшим в годы террора. Он отбывал свой срок заключения в одном лагере с главным конструктором артиллерийского конструкторского бюро Кировского (Путиловского) завода Иваном Абрамовичем Махановым. Со слов Маханова, Никаноров рассказал мне эпизод, произведший неизгладимое впечатление и крайне взволновавший меня. Во время суда над Зиновьевым и Каменевым Маханов и директор этого же завода К. И. Отс (впоследствии расстрелянный) пришли на прием к Сталину по производственным вопросам. Пока они ждали вызова, в кабинет генсека прошли Мария Ильинична Ульянова и Надежда Константиновна Крупская. Целиком разговор Маханов и Отс не слышали, но сквозь шум и ругань четко дошла до них одна фраза. Сталин крикнул: «Кого вы защищаете — убийц защищаете!»[1]. Затем двое мужчин вывели Марию Ильиничну и Надежду Константиновну из кабинета под руки; бледные и дрожащие от волнения, они самостоятельно идти не могли. Так что же, и они, Улья-

[1] Представляет интерес, как Сталин характеризовал «убийц» — Зиновьева и Каменева в то время, когда они были его союзниками в борьбе против Троцкого. В своей речи на Пленуме коммунистической фракции ВЦСПС 19 ноября 1924 г. Сталин напомнил, что 10(23) октября 1917 г. на заседании, решившем вопрос о восстании, было избрано Политическое бюро по руководству восстанием в составе Ленина, Зиновьева, Сталина, Каменева, Троцкого, Сокольникова и Бубнова. «Из протоколов,— заявил Сталин,— ясно, что противники немедленного восстания — Каменев и Зиновьев — вошли в орган политического руководства восстанием наравне со сторонниками восстания... Троцкий уверяет, что в лице Каменева и Зиновьева мы имели в Октябре правое крыло нашей партии, почти что социал-демократов. Непонятно только: как могло случиться, что партия обошлась в таком случае без раскола; как могло случиться, что разногласия с Каменевым и Зиновьевым продолжались всего несколько дней; как могло случиться, что эти товарищи, несмотря на разногласия, ставились партией на важнейшие посты, выбирались в политический центр восстания и пр.» Могу добавить: еще более удивительным кажется — как могло случиться, что из семи человек, входящих в Политическое бюро по руководству восстанием, пять оказались «убийцами»?

новы, не понимали, что судилище организовано самим Сталиным? Известно было также, что отношения между Надеждой Константиновной и Сталиным были натянуты из-за грубости, которую он позволил себе по отношению к ней во время болезни Ленина. Тем не менее к кому они обратились за помощью в борьбе с произволом; перед кем защищали честь партии и как минимум просили сохранить жизнь Зиновьеву и Каменеву? К тому же диктатору-преступнику.

А разве прославленный командарм И. Э. Якир, показавший свое мужество не только во время гражданской войны, но и в период разнузданного террора, не старался спасти арестованных военных, апеллируя именно к Сталину? Жена Якира, Сарра Лазаревна, рассказывала мне, например, об обращении Якира к Сталину по поводу ареста командира танкового соединения Киевского военного округа Шмидта, обвиненного в намерении организовать террористическую акцию против Ворошилова. И. Э. Якир хотел получить свидание со Шмидтом в тюрьме. Существует версия, что он добился его через Ворошилова и что при свидании с Якиром арестованный Шмидт отказался от своих показаний и имел возможность передать через Якира записку для Ворошилова, отрицающую обвинение. Но со слов жены Якира, мне известно, что свидания со Шмидтом Иона Эммануилович добился через Сталина. Шмидт снова подтвердил свои клеветнические показания, но, прощаясь с Якиром, действительно тайком сунул ему в руки заранее заготовленную записку, в которой сообщал Ворошилову о своей непричастности к террору и объяснял, что показания вызваны пытками. Якир передал Ворошилову записку, тем не менее положение Шмидта не изменилось. Из заключения он не вышел. Якир обращался к Сталину по поводу ареста командующего Уральским военным округом И. Гарькавого и во многих других случаях. О письме Р. И. Эйхе, посланном из тюремной камеры Сталину и найденном в его архиве после смерти, я упоминала. Сколько таких писем было адресовано «Отцу народов» — не перечесть.

Вот и Н. И. надеялся на Сталина, продолжал удивляться, как это Сталин мог в такое время уехать в Сочи, и ждал его приезда. Но, оказывается, кровожадный вождь, судя по рассказу И. А. Маханова, во время процесса Зиновьева, Каменева и других был в Москве и только после окончания судилища отбыл в Сочи. Но в Сочи он не только отдыхал. Сталин совмещал свой отдых с активной деятельностью, направленной на эскалацию тирании, точнее сказать: не совмещал, а вдвойне отдыхал, ибо тирания — наслаждение для садиста.

Звонить Ягоде Н. И. счел бессмысленным, хотя, конечно же, не представлял, что тот доживает в НКВД последние дни и будет судим с Н. И. на одном процессе.

Оставалось только бездеятельно ждать, что произойдет раньше: возвратится ли Коба из Сочи, или же закроются двери тюремной камеры.

Мы сидели возле письменного стола, у телефона в кабинете Н. И. В вольере щебетали птички, в коляске дрыгал ногами и орал до покраснения голодный ребенок. Я совала ему в ротик пустую грудь. Дедушка Иван Гаврилович купил молоко в магазине, а не «от одной коровы», как это рекомендовали знатоки на Сходне. Накормил и забрал к себе внука. В кабинете воцарилась гнетущая тишина. Пока было время, Н. И. рассказал мне, каким образом он узнал о процессе.

Заболел Семен Ляндрес. Пришлось спуститься с гор во Фрунзе раньше времени. Н. И. прилег отдохнуть и уснул. Разбудил Семен, протянул Н. И. газеты и воскликнул:

— Н. И., неужто вы и в самом деле предатель?

— Семен! Очевидно, вы сошли с ума,— произнес потрясенный его вопросом Н. И., заглянул в газету и ужаснулся.

Сам Семен Александрович, с которым я встретилась уже после ареста Н. И. в марте 1937 года, подтвердил, что так и было.

Во Фрунзе прибыли 25 августа (возможно, 24-го — точной даты не помню), во всяком случае, в день, когда приговор о высшей мере наказания Зиновьеву, Каменеву и др. был уже вынесен, но о приведении его в исполнение сообщено еще не было. Н. И. тотчас же, из Фрунзе, послал телеграмму Сталину с просьбой задержать приведение приговора в исполнение для очной ставки с Зиновьевым в

целях установления истины. Сейчас такой поступок можно расценить как полнейшее непонимание происходящего — истина не нужна была. Естественно, телеграмма ни к каким результатам не привела. Думать, как А. Солженицын, что Бухарин мог бы изменить ход событий: «кинуться и задержать всю эту расправу», означает — ничего не понимать в сложившейся ситуации. Учитывая обстановку и положение подследственного Бухарина, такая акция выглядела бы донкихотством.

На письменный стол Н. И. Иван Гаврилович аккуратно сложил газеты, освещающие процесс. Н. И. нашел сообщение о самоубийстве М. П. Томского. Насколько мне помнится, в нем было сказано, что М. П. Томский покончил жизнь самоубийством, запутавшись в своих связях с контрреволюционными троцкистско-зиновьевскими террористами. «Чушь!» — воскликнул Н. И. и неприлично выругался. Я обратила внимание, что Н. И. больше был потрясен формулировкой сообщения о самоубийстве М. П. Томского, чем утратой любимого друга, нравственно чистого товарища,— так он характеризовал Михаила Павловича [1]. По-видимому, это объяснялось тем, что в тот миг Н. И. почувствовал, что положение многих, в том числе его и Рыкова, безысходно. В то время настроение Н. И. менялось не только ежедневно, но и ежечасно.

О самоубийстве Томского Н. И. узнал еще в Ташкенте и тогда-то, под первым впечатлением, пережил это трагическое известие чрезвычайно тяжко. Из рассказа писателя Камила Икрамова, сына первого секретаря ЦК КП(б) Узбекистана Акмаля Икрамова, судимого по одному процессу с Бухариным, я узнала, кто и как Н. И. об этом проинформировал. Когда Н. И. вместе с С. А. Ляндресом прибыл из Фрунзе в Ташкент, решено было до отправления самолета в Москву разместить Н. И. на правительственной даче. Второй секретарь ЦК Компартии Узбекистана Цехер попросил коменданта дачи Шамшанова встретить Бухарина и увезти его на дачу. Из газет уже известно было, что Бухарин подследственный и обвиняется в тягчайших преступлениях против Советского государства. Перепуганный Шамшанов отказался ехать один, без свидетелей, и попросил Цехера встретить Бухарина вместе с ним. На даче Н. И. показали газеты, Бухарин сказал: «Грязное к чистому не пристанет!» Несомненно, грязными в тот момент Н. И. считал подсудимых-«клеветников», а вовсе не инициатора и организатора неслыханной клеветы. В присутствии посторонних он не позволил бы себе так выразиться, если бы даже и думал иначе. Затем Цехер спросил Н. И.: «А вы знаете, что на днях покончил жизнь самоубийством М. П. Томский?» Этого Н. И. не знал, он видел во Фрунзе только последние номера газет, освещающие процесс. Дальше (по словам Шамшанова, рассказавшего об этом Камилу Икрамову в конце 50-х годов) произошло нечто страшное: у Н. И. брызнула кровь из глаз.

Вот как трагически пережил Н. И. самоубийство своего товарища. Кроме того, самоубийство Томского еще в большей степени дало понять серьезность создавшегося положения.

Томский рассчитался с жизнью мгновенно, он понял, что террористическая оргия, затеянная Сталиным, предвещает мучительный конец, и, очевидно, это был поступок мужественный (впрочем, самоубийство акция неоднозначная и даже в этом случае дать оценку такому поступку сложно). Бухарин и Рыков же на первых порах надеялись доказать свою непричастность к преступлениям. Но если Бухарин делал бессмысленную ставку только на Сталина, то Рыков возлагал надежды, увы, тоже напрасные, на некоторых членов Политбюро и членов ЦК ВКП(б), что мне стало известно от Н. И. после его короткого разговора с Рыковым во время декабрьского Пленума ЦК ВКП(б) 1936 г.

[1] Трагически сложилась и судьба семьи М. П. Томского. Его два старших сына были арестованы и расстреляны. Младший, еще подросток, арестован, как и жена Томского — Мария Ивановна Ефремова, старая революционерка-большевичка. После окончания срока заключения она вместе с сыном была отправлена в ссылку в Сибирь. После XX съезда вдова Томского написала бывшему председателю ЦИКа Украины Григорию Ивановичу Петровскому, с которым когда-то отбывала царскую ссылку в Якутии, и попросила совета, стоит ли ей приехать в Москву, чтобы хлопотать о реабилитации и восстановлении в партии. Г. И. Петровский ответил: «К нам, старикам, теперь отношение изменилось — приезжайте».

Вскоре вдова Томского приехала в Москву и обратилась в Комитет партийного контроля при ЦК КПСС. Там она была тепло принята, ей обещали восстановление в партии, квартиру в Москве, а также предоставили путевку в санаторий, куда посоветовали отправиться тотчас же, а затем оформить восстановление в партии. Вернувшись, она пошла в КПК, чтобы оформить уже решенный вопрос. Однако ей было заявлено, что В. М. Молотов воспрепятствовал восстановлению ее в партии, и приказано возвратиться в ссылку.

Кто-то из доброжелателей сообщил о случившемся Н. С. Хрущеву, и через несколько дней по его указанию М. И. Ефремовой была послана телеграмма о том, что первоначальное решение остается в силе и что она может вернуться в Москву. Телеграмма эта вдову Томского в живых не застала. Сердце не вынесло последнего удара. В Москву возвратился лишь сын Томского — Юрий, который и рассказал мне эту драматическую историю.

Небезынтересная деталь: когда в 1961 г. при Н. С. Хрущеве пересматривались процессы и я была вызвана в связи с этим в Комитет партийного контроля, то сотрудник КПК сообщил мне, что в архиве Сталина обнаружено несколько писем Бухарина, опровергающих клеветнические показания против него, а вот писем от Рыкова обнаружено не было. Предполагаю, что Рыков Сталину не писал.

Бухарин был легковерен, и Сталин, пользуясь этой чертой его характера, играл в любовь к нему, а за спиной готовил гибель. Я приводила многочисленные примеры этой игры. Могу добавить: незадолго до того, как бухаринская теория затухания классовой борьбы была подвергнута критике,— по рассказу Н. И.,— Сталин в личной беседе с ним соглашался, что в перспективе классовая борьба не может обостряться, а будет приобретать все менее острые формы, поскольку развитие социализма идет по пути к бесклассовому обществу, что отнюдь не исключает обострения классовой борьбы в отдельные периоды, «но кулак не Колчак» (дословное выражение Бухарина), и кривая пойдет по затухающей. Но когда на апрельском Пленуме 1929 года Бухарин сказал: «Эта странная теория возводит самый факт теперешнего обострения классовой борьбы в какой-то неизбежный закон нашего развития. По этой странной теории выходит, что чем дальше мы идем вперед в деле продвижения к социализму, тем больше трудностей набирается, тем больше обостряется классовая борьба, и у самых ворот социализма мы, очевидно, должны или открыть гражданскую войну или подохнуть с голоду и лечь костьми»,— то Сталин метал громы и молнии.

История рассудит, кто был прав!

Я уже отмечала, что, используя Бухарина как блестящего полемиста и агитатора — искреннего противника оппозиций, «новой», затем «объединенной»,— Сталин облегчил себе задачу убрать с политической арены виднейших политических деятелей, а затем, повернув на 180° против Рыкова, Бухарина, Томского, заложил прочный фундамент своего единовластия. Кроме того, была еще причина, заставлявшая Сталина *до определенного времени* показывать, что к Н. И. он относится исключительно тепло. Он делал это в подражание Ленину — искренне любившему Бухарина, что было хорошо известно.

Отношение Ленина к Бухарину стояло мощным препятствием на пути Сталина. Именно поэтому, чтобы физически уничтожить Бухарина, на процессе требовалось изобразить его организатором покушения на Ленина.

Наряду с этим я осмеливаюсь высказать предположение, как ни парадоксально оно будет выглядеть, что Сталин какой-то частью своего жестокого сердца любил Бухарина, если это чудовище вообще способно было на такое чувство. Мог же он по-своему любить жену Надежду Сергеевну и одновременно издеваться над ней, загубить ее, мог любить и дочь Светлану и в то же время мучить ее, что свойственно деспоту, обречь ее на страдания до конца жизни (хотя так далеко он не заглядывал), мог Коба любить и Николая — любить его и убить его, ибо чувство любви боролось с чувством ненависти,— ненависти из зависти к его яркой личности.

Однако в чем же, с моей точки зрения, проявлялась любовь Сталина к Бухарину, если все сказанное выше и все то, о чем мне еще предстоит рассказать, я расцениваю как политиканство, изощренную хитрость иезуита? Это объяснить довольно трудно. Я бы сказала, наряду с политическими соображениями чувствовалась некоторая интимность в отношении Сталина к Бухарину,— интимность, которая вовсе не обязательна была в целях политического расчета. Разумеется, эта тонкость есть капля в море в сравнении с вероломной игрой, которую Сталин затеял против слишком доверчивого Бухарина.

С середины 1924 г. до конца 1927 г., когда я часто заставала Сталина у Бухарина, я была девочкой и мои впечатления могли быть ошибочны. Многое рас-

сказывал мне сам Н. И. Он был вхож в дом Сталина, несмотря на то, что не любил застолья, не пил, не курил, но с Н. И. и без вина было весело. Коба делился с Николаем похождениями своей молодости, рассказывал (в вульгарной форме) о своем бешеном темпераменте в ту пору.

Надежда Сергеевна относилась к Н. И. с особенным теплом, всегда радовалась его приходу. Жаловалась Н. И. в присутствии Сталина на деспотический и грубый характер своего супруга; в его отсутствие — в то время, когда отношения между Сталиным и Бухариным стали портиться, как-то разоткровенничалась и выразила солидарность взглядам Н. И. Маленькая Светлана не чаяла души в Н. И. и бурно выражала свою радость: «Ура! Николай Иванович пришел!» [1].

Характер Сталина никогда не импонировал Н. И. Но так или иначе в недалеком прошлом Н. И. был близким человеком Сталину и любимцем его семьи. Это подспудно жило в сознании погибающего Бухарина, потому и вселяло надежду на спасение, несмотря на то, что впоследствии из-за разногласий они прошли через полосу острых личных конфликтов.

В пору, когда я уже была женой Н. И., в 1934 г. мы встретились со Сталиным в правительственной ложе театра. Заметив Бухарина, Сталин устремился к нему. Позади ложи была комната, где члены правительства проводили антракт. Беседа Сталина с Бухариным длилась настолько долго, что они пропустили целое действие спектакля. Вскоре после этого разговора Н. И. был назначен ответственным редактором газеты «Известия». Дома Н. И. рассказал мне, что Коба вспоминал Надю, жаловался, что тоскует по ней, с горечью говорил, как ему ее не хватает. Вряд ли с кем-нибудь иным, кроме Н. И., Сталин в театре, более чем через год после гибели Надежды Сергеевны затеял бы такой разговор. Очевидно, дружба с Н. И. при жизни Надежды Сергеевны оставила след и в его душе. Хотя ничто ему не было дорого! Но все же...

Свои соображения я решила высказать в объяснение — до некоторой степени — психологии палача по отношению к своей жертве и психологии самого Бухарина. В противоборстве двух сил — любви и ненависти, живших, как я предполагаю, в душе Сталина, родилось то неслыханное вероломство, которое он проявлял всегда и продолжал проявлять в период следствия над Н. И. до его ареста и, видимо, после его ареста.

Первые дни после приезда из Ташкента Н. И. проводил значительную часть времени в своем кремлевском кабинете, боясь пропустить телефонный звонок. Ах, как ждал он звонка от своего «благодетеля»! Наконец, смолкнувший аппарат зазвонил. Н. И. ринулся к телефону. Это был К. Радек, в то время член редколлегии «Известий», тоже находившийся под следствием. Радек, узнавший, что Н. И. прервал свой отпуск и прибыл в Москву, поинтересовался причиной его отсутствия в редакции, на что Н. И. ответил:

— Пока в печати не будет опубликовано опровержение гнусной клеветы, моей ноги в редакции не будет!

Радек сообщил, что в ближайшие дни ожидается партийное собрание редакции и что партбюро просит его обязательно явиться. Но Н. И. и на партийное собрание прийти отказался, мотивируя свой отказ тем, что на уровне редакции ничего решено быть не может и его появление там — только излишняя трепка

[1] Как-то в период размолвки между Сталиным и Бухариным Н. И. встретил в Кремле няню Светланы, та, не понимая изменившихся взаимоотношений, спросила Н. И., почему он перестал бывать у них, и сказала, что Светланочка скучает и ждет его. «Плохо приглашаете»,— ответил Н. И. няне.

По рассказам Н. И., грубость и низкая культура Сталина давали себя знать и в семье. В присутствии Н. И. курящий трубку Сталин пускал дым в лицо маленькому сыну Васе и смеялся, когда ребенок плакал, задыхался и кашлял от табачного дыма. Однажды над детской кроваткой Васи Н. И. увидел плакат: «Если ты окажешься трусом, я тебя уничтожу!»

Н. И. был свидетелем тяжелейшего эпизода, связанного со старшим сыном Сталина от первого брака, Яшей, которого отец без всякого на то основания невзлюбил. Позвонили на квартиру Сталина и сообщили, что Яша находится в больнице Склифосовского из-за ранения, полученного при попытке покончить жизнь самоубийством. Надежда Сергеевна сказала об этом Сталину и предложила тотчас же поехать в больницу, но он ответил: «Ехать не собираюсь. Жить или кончать с собой — личное дело Яши!» «Отец народов» не поехал к родному сыну в больницу, хотя именно его отношение к Яше послужило причиной попытки самоубийства. Надежда Сергеевна, любившая своего пасынка, помчалась в больницу одна.

нервов; наконец, Радек выразил желание встретиться с Н. И. В этом ему Н. И. отказал, чтобы не осложнять следствие (он еще надеялся на добросовестное следствие), сказав, что даже Алексею (Рыкову), которого ему так хотелось бы повидать, из тех же соображений он не звонит и не стремится встретиться. А. И. Рыков тоже не звонил.

— С вами ничего плохого не будет,— сказал Радек.

— Это мы еще посмотрим,— ответил Бухарин.

Так в напряжении прошли первые дни сентября.

Однажды я совершила невероятную глупость: я тихо спросила Н. И.— тихо, на случай, если стены нас слушают: неужто он думает, что Зиновьев и Каменев могли быть причастны к убийству Кирова? Н. И. изменился в лице,— побледнел и посмотрел на меня глазами, полными отчаяния. Я поняла, что такого вопроса в тот момент Н. И. задавать не следовало. Он прятал в глубину сознания подозрение, быть может, даже уверенность, что без направляющей руки Сталина не свершилось бы преступление. Своим вопросом я напомнила Н. И. о его собственной дальнейшей судьбе. Если можно было добиться самооговора, клеветы на товарищей по партии от Каменева и Зиновьева, следовательно, этого же можно будет добиться от Бухарина, Радека и др. Однако осознать это сразу же для Н. И. было слишком тяжко. И то, что можно было легко понять, в особенности Бухарину, познавшему Сталина и в политической жизни, и в личной, знавшему потенциальные возможности его коварства, оказалось в тот момент за пределами его сознания, ибо сознание было шоковое. И на мой вопрос он ответил:

— Но меня же и Алексея (Рыкова) эти мерзавцы, эти подлецы-клеветники убивают! Томского уже убили, следовательно, они на все способны!.. НКВД не ЧК. НКВД превратился в безыдейную организацию чиновников, они зарабатывают себе ордена, играют на болезненной подозрительности Сталина — гнать их всех оттуда надо — первого Ягоду!

Можно заподозрить, что Н. И. не хотел раскрывать передо мной карты — берег меня. Нет, это не так. Н. И. был слишком эмоционален, чтобы в страшную минуту не раскрыться. Считанные дни потребовались, чтобы оправиться от нанесенного удара, начать мыслить и откровенно сказать мне, что разложение в НКВД происходит не без давления Сталина. Однако это не было устойчивым мнением. И наиболее часто повторяемой фразой была такая: «Ничего не понимаю, окончательно ничего не могу понять, что же происходит?»

Через несколько дней после разговора с Радеком вновь зазвонил телефон, сообщили, по поручению Кагановича, что Н. И. надо явиться в ЦК для разговора с ним. Н. И. недоумевал, почему он вызван именно к Кагановичу, и решил вновь позвонить Сталину. Последовал тот же ответ: «Иосиф Виссарионович в Сочи». Н. И. отправился к Кагановичу. Я ждала его в большом волнении, хотя в тот момент почему-то у меня не было опасения, что Н. И. не вернется. Предчувствие меня не обмануло. Н. И. появился дома довольно скоро. Я заметила, что он крайне возбужден. Войдя в комнату, Н. И. сказал:

— Ты не представляешь себе, что я пережил, это невообразимо, наконец, это необъяснимо!

Н. И. рассказал мне, что в присутствии Кагановича в здании ЦК у него была очная ставка с арестованным Григорием Яковлевичем Сокольниковым. Гриша, друг его юности, с которым они вместе начинали свой революционный путь, показывал против него и лгал. Он выдумывал, будто бы существовал параллельный троцкистский центр (параллельный уже «разоблаченному» и судимому открытым процессом объединенному — троцкистско-зиновьевскому с главными обвиняемыми Зиновьевым и Каменевым). Центр этот, в который входил якобы и Сокольников, давал установку на вредительство, диверсии, террор против членов правительства, организацию покушения на Сталина, «правые» будто бы разделяли взгляды троцкистского центра на свержение правительства и восстановление капитализма в СССР. Сокольников якобы лично разговаривал по этому поводу с Бухариным, и тот предупреждал его, что действовать надо как можно

скорее. Он описывал вымышленную обстановку, называл даты, где и в чьем присутствии происходили эти переговоры. До ареста с Н. И. провели не одну очную ставку, но эта была, если можно так выразиться, «боевым крещением».

Нормальный человек не в состоянии все это воспринять. Очевидно, предварительно надо было произвести невозможную операцию — трансплантацию разума, что успешно достигалось методами «следствия» лишь в стенах НКВД.

Я спросила Н. И., как же он опровергал показания Сокольникова.

— Да разве такой бред,— ответил он мне,— можно опровергать? Я смотрел на него как баран на новые ворота и сказал ему: «Гриша! Ты, может, рассудка лишился и не отвечаешь за свои слова!». «Нет,— спокойно ответил Сокольников,— я за них отвечаю, и ты скоро ответишь за свои...» (Очевидно, намекая на то, что с Бухариным произойдет то же самое, что и с ним.)

Н. И. терялся в догадках, он не мог объяснить происходящего. На него смотрели знакомые глаза друга, лицо его было бледно, но не измучено[1]. Очевидно, он сдался сразу, ведь только перед отъездом на Памир Н. И. рассказали об аресте Сокольникова, а такие сенсационные слухи распространяются мгновенно. Вот чем обернулось предположение Н. И., что Сокольников не мог быть арестован по политическим мотивам.

Они находились в кабинете втроем: Каганович, Бухарин и Сокольников. Конвой оставался в другой комнате, ответственного представителя НКВД при Сокольникове не было. Очевидно, Л. М. Кагановича было вполне достаточно, чтобы заменить его и обеспечить необходимое поведение арестованного, а впрочем, я в этом не уверена. Каганович выглядел равнодушным наблюдателем, он не давил на Сокольникова, но при нем и не поддерживал Бухарина. Наконец, пришло время, явился конвоир и Сокольникова увели.

И тут-то произошло нечто совсем неожиданное. Каганович, по словам Н. И., сказал в адрес Сокольникова:

— Все врет, б..., от начала до конца! Идите, Н. И., в редакцию и спокойно работайте.

— Но почему он врет, Лазарь Моисеевич, ведь этот вопрос надо выяснить.

— Будем выяснять, обязательно будем выяснять, Николай Иванович,— ответил Каганович.

Не могу сказать, касался ли Н. И. при разговоре с Кагановичем клеветы на процессе, точно этого я не помню. Не исключено, что Н. И. был под сильным впечатлением от очной ставки с Сокольниковым и этот момент опустил.

А по поводу работы Бухарин заявил Кагановичу:

— Пока в печати не будет опубликовано заявление прокуратуры, опровергающее клевету и о прекращении следствия за отсутствием состава преступления, к работе я не приступлю.

Каганович обещал, что это будет сделано обязательно.

10 сентября 1936 г. в газетах появилось заявление Прокуратуры СССР, но несколько иного содержания, чем хотел Н. И. В нем говорилось, что следствие по делу Бухарина и Рыкова прекращено не за отсутствием состава преступления, а за неимением юридических данных для привлечения к уголовной ответственности, что в понимании Бухарина означало: не пойман, не вор! Но, так или иначе, поскольку сообщалось, что дело производством прекращено, стало дышаться легче. Безусловно, такой исход очной ставки с Сокольниковым был продиктован Сталиным. Дальнейшее развитие событий показало, что то был тактический шаг «Хозяина», дабы показать «объективность» следствия.

Н. И. позвонил в редакцию и через С. А. Ляндреса (который его от души поздравил с реабилитацией) предупредил, что он появится там через несколько дней, хотел доиспользовать свой отпуск и немного отдохнуть. Очная ставка с Сокольниковым произвела на Н. И. такое удручающее впечатление, что у Н. И.

[1] Жена заместителя Ягоды Софья Евсеевна Прокофьева, с которой я одновременно была в Томском лагере, а затем в ссылке и имела возможность многое от нее узнать, рассказала мне со слов своего мужа, что когда Сокольникову после ареста предъявили ужасающие обвинения, он сдался без боя, заявив при этом: «Коль скоро вы требуете от меня неслыханных признаний, я согласен их подтвердить. Чем большее число людей будет вовлечено в инсценированный вами спектакль, тем скорее опомнятся в ЦК и тем скорее вы сядете на мое место» Полагаю, что сведения эти вполне достоверны.

были наивные намерения поговорить о ней со Сталиным, но он не был убежден, что это удастся.

А пока мы решили провести несколько дней на даче. Перед отъездом Н. И. получил телеграмму от Р. Роллана с поздравлением в связи с реабилитацией и такого же характера письмо от Бориса Леонидовича Пастернака[1], чем был глубоко взволнован. Пробыв на даче несколько дней, Н. И. отправился в редакцию. Я же с ребенком оставалась на Сходне. Обычно после окончания работы в редакции Н. И. приезжал на дачу за полночь. На этот раз он возвратился неожиданно скоро. Н. И. рассказал, что в редакции его тепло встретили сотрудники, но, когда он вошел в кабинет, за своим письменным столом застал зав. отделом печати ЦК ВКП(б) Бориса Таля, исполняющего обязанности главного редактора газеты. Н. И. заявил Талю (впоследствии разделившему судьбу Н. И.), что при политкомиссаре он работать не намерен. Хлопнул дверью и вышел из кабинета. Это был единственный раз, когда Н. И. после возвращения из отпуска посетил редакцию и, не приступая к работе, покинул ее, хотя газету подписывали его именем еще несколько месяцев.

Из редакции Н. И. привез с собой иностранные газеты. В одной из них, не помню в какой, он прочел, что в ближайшее время будет арестован Радек, а затем Бухарин и Рыков. В какой-то из газет было сообщено, что признания обвиняемых на процессе достигаются гипнозом и пытками.

Обстановка в редакции и сообщения в иностранных газетах привели Н. И. в полное отчаяние. Ночью он бредил и повторял во сне: «Сами вы предатели, сами вы предатели!» Побывав в редакции, он понял, что не только «спокойно работать», но и вообще работать в «Известиях» — исключается.

Обманул ли Каганович Бухарина или же ему самому неизвестны были дальнейшие планы Сталина, Н. И. понять не мог. Но уже там, на даче, он снова к концу первой половины сентября 1936 г. откровенно говорил мне о преступной роли Сталина в организации террора. Однако, опять-таки в тот же самый день или на следующий, он мог отдать предпочтение мысли о болезненной подозрительности Сталина, оберегая себя от осознания безвыходности своего положения.

Классический пример психологии обреченных, хватавшихся за соломинку в надежде на жизнь, показал Карл Радек. Несмотря на вполне обоснованное нежелание Бухарина встретиться с ним, он дня за два-три до своего ареста явился к нам на дачу. Попросил прощения за свой визит, объясняя его тем, что хочет проститься с Бухариным. Поскольку заявления Прокуратуры СССР по поводу прекращения следствия по делу Радека не было, он предполагал, что в ближайшие дни его ждет тюрьма (Радек был арестован числа 17—20 сентября). В отношении Н. И. Радек был настроен оптимистически и выразил мнение, что Сталин не допустит его ареста. Думая, что видит Н. И. в последний раз (в чем Радек ошибся, об их свидании после ареста Радека я расскажу в дальнейшем), он хотел, чтобы Н. И. услышал его последние слова и поверил ему. Радек заверял Бухарина, что давным-давно порвал с Троцким, к разоблачению тайной троцкистской организации (так точно он выразился) отношения не имел. (Будто в то время существовала тайная конспиративная организация, разделявшая взгляды Троцкого.) Ни с Каменевым, ни с Зиновьевым, как утверждал Радек, он контакта не имел. Но сказал: «Жалко мне Григория!», т. е. Зиновьева. (Разговор этот я слышала из смежной комнаты при открытых дверях, о чем я рассказывала Берии.)

Больше всего поразила меня и в то время, а в еще большей степени много позже, когда я вполне осознала ужас происходящего,— просьба, с которой обратился К. Радек к Н. И.: в случае своего ареста написать о нем Сталину и просить, чтобы дело прошло через его руки. Радек просил напомнить Сталину и о

[1] Позже, во второй половине января 1937 г., когда снята была подпись Бухарина как ответственного редактора «Известий» и когда по ходу процесса Радека — Пятакова и др. стало ясно, что дела Н. И. плохи, Борис Леонидович вновь прислал Н. И. коротенькое письмо, как ни странно,— не задержанное. Он написал: «Никакие силы не заставят меня поверить в ваше предательство». Он также выражал недоумение по поводу происходящих в стране событий. Получив такое письмо, Н. И. был потрясен мужеством Б. Л. Пастернака, но чрезвычайно озабочен его дальнейшей судьбой.

том, что единственное письмо, которое он получил от Троцкого в 1929 г. через бывшего левого эсера Блюмкина [1], он, не вскрывая, отправил в ГПУ.

— Почему вы, Карл Бернгардович,— спросил Н. И. Радека,— не можете написать об этом Сталину сами теперь, до своего ареста? Неужто вы нуждаетесь в моей помощи?

— Потому, Николай Иванович,— ответил Радек,— что мое письмо к Сталину не попадет, а будет направлено в НКВД, я — подследственный. Ваше же будет передано непосредственно Сталину.

— Подумаю,— ответил Н. И.

Перед уходом Радек вновь повторил:

— Николай! Верь мне,— верь, что бы со мной ни случилось, я ни в чем не виновен!

Карл Бернгардович говорил взволнованно, подошел ближе к Н. И., простился, поцеловал его в лоб и вышел из комнаты.

Возможно ли представить, чтобы Радек, человек блестящего ума, политик до мозга костей, каким-то особым, радековским чутьем проникающий в политическую ситуацию, внутреннюю и международную, искал спасения в Сталине! Неужто и он не понимал, что дело, которое он стремился передать в сталинские руки, его же руками и состряпано; не сознавал, что его, Радека, без указания «Хозяина» пальцем бы никто не тронул? Наконец, к кому обратился он со своей нелепой просьбой — к человеку, который сам жил в тревожном ожидании завтрашнего дня.

Так что же, понимал или же не понимал Карл Радек сложившуюся ситуацию? И понимал, и прятал от себя это понимание. В минуты, когда понимал,— жалел Григория (Зиновьева), когда не хотел понимать, клялся, что не имеет отношения к его тайной организации. Вот психология обреченного человека, на которого обрушились невероятные, фантастические обвинения.

Если бы я сама не была свидетелем этого разговора, а услышала бы о нем из чужих уст, я сочла бы рассказчика безумцем или глупым фантазером. Однако просьба Радека была настоятельной. Мы еще находились на даче, когда приехала взволнованная жена Карла Бернгардовича — Роза Маврикиевна и вновь повторила просьбу арестованного мужа.

После некоторых колебаний Н. И. решил выполнить желание Радека. В письме он написал, что Радек просил Сталина самого заняться его делом; напомнил о письме от Троцкого, полученном через Блюмкина и отправленном Радеком в ГПУ. (Надо думать, Радек заподозрил, что письмо, переданное ему Блюмкиным от Троцкого, носило провокационный характер, иеужто иначе он не заинтересовался бы его содержанием и в том случае, если в то время не разделял взгляды Троцкого.) Н. И. написал и о собственном впечатлении, исключая связь Радека с Троцким. Но последняя фраза: «А, впрочем, кто его знает!» обесценила все письмо. И хотя письмо и без нее для Радека никакой ценности не представляло, она меня потрясла.

Такая атмосфера недоверия друг к другу господствовала в ту пору, и сбрасывать со счетов это обстоятельство никак не приходится.

Радек был арестован на городской квартире, но обыск был произведен и на даче. После обыска к нам прибежала молодая девушка — Дуся, уборщица на даче «Известий», и рассказала, будто бы во время обыска на даче у Радека обнаружены были в полом стержне круглой вешалки тайные преступные документы. «Вот изверги! — сказала Дуся,— и вас ведь, Николай Иванович, туда же хотели затянуть!»

Сообщение это Н. И. воспринял чрезвычайно взволнованно. Если бы у Радека и были документы, которые он не хотел предать огласке, рассуждал Н. И., то за месяц после объявления в печати о начале следствия он успел бы их уничто-

[1] Бывший левый эсер Блюмкин, убивший германского посла Мирбаха, один из организаторов левоэсеровского мятежа, перешел на сторону большевиков, работал в ЧК-ГПУ. Был поклонником Троцкого. Будучи в командировке за границей, имел свидание с ним в 1929 г., после чего был расстрелян.

жить. Следовательно, или эти слухи были вымышлены, или документы были подложены в отсутствие Радека.

— Так и у меня могут обнаружить все, что угодно! — произнес в полном замешательстве Н. И.

К вечеру мы распростились со Сходней и возвратились в Москву. Из редакции не звонили и на работу Н. И. не приглашали. До 7 ноября Н. И. из квартиры не выходил. Перед праздником, получив из редакции гостевой билет, он решился вместе со мной встретить девятнадцатую годовщину Октября. Место на трибуне оказалось ближайшим к Мавзолею, и Сталин заметил Бухарина. Вдруг я увидела, как по направлению к Н. И. пробирается часовой, и заволновалась. Сейчас, решила я, он предложит нам уйти с этого места, или же — еще хуже — идет арестовать Н. И. Но часовой отдал честь и сказал: «Товарищ Бухарин, товарищ Сталин просил передать, что вы не на месте стоите. Поднимитесь на Мавзолей». Так Н. И. оказался на трибуне Мавзолея. Поговорить со Сталиным ему не удалось. Сталин стоял вдалеке от него и покинул трибуну первым.

Недалеко от нас я увидела Анну Сергеевну Реденс (Аллилуеву), старшую сестру Надежды Сергеевны, жены Сталина [1]. Заметив меня, она сказала: «Ах, как мы, Надя и я, любили Н. И.» Почему-то и о себе в прошедшем времени. В самом деле, все уже было в прошлом. Появление часового встревожило и Анну Сергеевну, что она откровенно высказала мне. Но, обрадовавшись поступку Сталина, демонстративно показавшему, как она подумала, свое искреннее расположение к Бухарину, и, учитывая заявление Прокуратуры СССР о прекращении следствия, Анна Сергеевна решила, что неприятности для Н. И. позади.

Около месяца после Октябрьских торжеств прошло относительно тихо. Н. И. не исключал даже, что ему вновь предложат «спокойно работать» в редакции. Но о работе ни из редакции, ни из ЦК ничего не сообщали. Н. И. пытался заниматься. Читал и делал выписки из немецких книг, приобретенных в Берлине по пути в Париж, авторами которых были фашистские теоретики; он мечтал написать большую работу против идеологов фашизма. Но чем больше времени проходило с того примечательного дня 7 ноября, тем большее волнение его охватывало. К концу ноября нервное напряжение было столь велико, что работать он совсем не мог. Метался, как зверь, загнанный в клетку, не выходил из дому. Ежедневно заглядывал в «Известия», не подписывают ли газету фамилией другого редактора, но на последней странице неизменно мог прочесть: ответственный редактор Н. Бухарин. Н. И. в недоумении пожимал плечами: он с конца сентября, когда в своем кабинете застал Б. Таля, и порога редакции не переступал.

Наконец оповестили по телефону из Секретариата ЦК о созыве декабрьского Пленума ЦК ВКП(б). Повестка дня Н. И. известна не была. Было ли сообщение в печати о заседании этого Пленума — не помню, но кажется мне, что об этом не информировали. Пленум заседал один вечер.

Придя домой, Н. И. взволнованно сказал:

— Познакомься! Твой покорнейший слуга — предатель-террорист-заговорщик!

На Пленуме выступил новый нарком НКВД Ежов, на которого Бухарин, как ни прискорбно об этом вспоминать, после снятия Ягоды возлагал надежды. Со страшной силой, как рассказывал мне Н. И., обрушился новый всемогущий нарком на своего предшественника Ягоду. Дважды повторил он, что Ягода устроил для Каменева и Зиновьева из тюрьмы санаторий, опоздал с их разоблачением на несколько лет, действовал под давлением, что потребовалось два суда (для Каменева три), чтобы уничтожить предателей.

Слушая Ежова, жалкий, низвергнутый Ягода, пока еще член ЦК, по словам Н. И., сидевшего неподалеку от него, неуверенным голосом, как бы для себя самого, негромко произнес:

— Как жаль, что я не арестовал вас, когда еще мог!

[1] Муж Анны Сергеевны — Станислав Реденс в начале 30-х годов занимал пост начальника Московской ЧК. Как я слышала, пытался обуздать давление Сталина на НКВД, пользуясь своими родственными связями с ним. С приходом Берии был переведен на работу в Казахстан, затем арестован. Позже репрессирована и Анна Сергеевна. По рассказам очевидцев, она вернулась из ссылки полубезумной.

Следующими объектами нападок Ежова стали Рыков и Бухарин. Их он обвинял в связи с контрреволюционными троцкистами, в организации заговора, уже прозвучал лейтмотив всех процессов: причастность к убийству Кирова.

— Молчать! — крикнул гневным тоном возмущенный Бухарин, когда вспомнили Кирова.— Молчать! Молчать!

Все обернулись в сторону Бухарина, но не произнесли ни единого слова.

После выступления Ежова было несколько минут перерыва, которыми воспользовался Рыков и подошел к Н. И.

— Надо мобилизовать все силы для борьбы с клеветой. Отягчающим обстоятельством является самоубийство Томского,— сказал Алексей Иванович.

— Одна надежда — переубедить Сталина, иначе ничего не получится,— ответил Бухарин.

— Николай! Ты ошибаешься, надо, чтобы нам поверили члены Политбюро и члены ЦК — против Кобы,— тихо шепнул ему Рыков.

После перерыва коротко, но злобно выступил Каганович. Он «передумал» и стал верить «б...» Сокольникову, показаниям Зиновьева и Каменева и не верить Бухарину. Молотов соревновался с Кагановичем в нападках на Рыкова и Бухарина.

В защиту Бухарина и Рыкова на Пленуме не выступил никто. Лишь Серго Орджоникидзе прерывал речь Ежова вопросами, пытаясь разобраться в происходящем кошмаре, и тем самым проявлял некоторое недоверие новому наркому. Поведение остальных можно выразить словами Пушкина: «Народ безмолвствует».

Наконец, слово взял Сталин (передаю по памяти со слов Бухарина):

«Не надо торопиться с решением, товарищи. Вот против Тухачевского у следственных органов тоже имелся материал, но мы разобрались, и товарищ Тухачевский может теперь спокойно работать!..

Я думаю, Рыков, быть может, знал что-нибудь о контрреволюционной деятельности троцкистов и не сообщил партии. В отношении Бухарина я пока и в этом сомневаюсь (умышленно отделил Бухарина от Рыкова.— **А. Л.**). Очень тяжко для партии говорить о преступлениях в прошлом таких авторитетных товарищей, какими были Бухарин и Рыков. Потому не будем торопиться с решением, товарищи, а следствие продолжим».

Все было заранее спланировано у вождя. И тонко же умел обманывать Иосиф Виссарионович! Товарищу Тухачевскому, присутствующему на Пленуме, он был кандидатом в члены ЦК ВКП(б), вместо спокойной работы через несколько месяцев он обеспечил «вечный покой». Что касается Бухарина — вместо обещанной работы в редакции дал команду о возобновлении следствия, которое, надо думать, ни на один день и после заявления Прокуратуры 10 сентября 1936 г. не прекращалось. В НКВД лихорадочными темпами фабриковались клеветнические материалы против Бухарина и Рыкова. Вот что значила, казалось бы, самая умеренная в сравнении с предыдущими выступлениями речь вождя.

После короткой, но многообещающей речи Сталина Н. И. решился подойти к нему. Их разговор передаю с максимальной точностью, как рассказывал мне Бухарин.

— Коба! — сказал он.— Надо проверить работу НКВД, создать комиссию и расследовать, что там творится. До революции, во время революции и в тяжкие годы после ее свершения мы служили только революции. А теперь, когда трудности уже позади, ты веришь клеветническим показаниям? Хочешь выкинуть нас на грязную свалку истории? Опомнись, Коба!

— Ты что, хочешь сказать о своих прошлых заслугах, никто их у тебя не отнимает,— ответил Сталин безразличным тоном,— но они же и у Троцкого были. Мало у кого было столько заслуг перед революцией, сколько было у Троцкого, между нами говоря, между нами говоря (он делал акцент на «и» — «мижду нами говоря»),— дважды повторил Сталин, погрозив указательным пальцем, очевидно, предостерегая Бухарина, чтобы не разболтал он сказанное им о Троцком на том свете (разболтал-таки на этом, мне-то успел рассказать). Затем Коба отошел в сторону, не желая продолжать разговор.

Прошло около трех мучительных месяцев с декабрьского 1936 г. до февральско-мартовского пленума ЦК ВКП(б) 1937 г. Бухарин провел их главным образом в небольшой комнатке, бывшей спальне Сталина: после гибели Надежды Сергеевны Сталин попросил Бухарина поменяться с ним квартирами.

Обстановка нашей комнаты была более чем скромной: две кровати, между ними тумбочка, дряхлая кушетка с грязной обивкой, сквозь дыры которой торчали пружины, маленький столик. На стенке висела тарелка темно-серого репродуктора. Для Н. И. эта комната удобна была тем, что в ней была раковина и кран с водой, а также дверь в небольшой туалет. Так что Н. И. обосновался в той комнате прочно, почти не выходя из нее.

5 декабря 1936 г. по радио он слушал речь Сталина на Восьмом чрезвычайном съезде Советов о новой, так называемой сталинской Конституции, в обсуждении и написании которой Н. И. принимал непосредственное участие, поэтому свое отсутствие на съезде отверженный Бухарин переживал особенно тяжко. Но в еще большей степени угнетала его атмосфера на декабрьском пленуме [1]. Ведь только он и, очевидно, Рыков просили Сталина создать комиссию для расследования деятельности НКВД. Все присутствующие на пленуме молчали. «Может, придет время,— сказал Н. И.,— когда они все окажутся неугодными свидетелями преступлений и тоже будут уничтожены!» Хотя сам он считал, что при абсолютной диктатуре Сталина каждого, выступившего в защиту его и Рыкова, кара постигла бы немедленно. Тем не менее пережить молчание товарищей было неверсятно тяжело. Ему вспомнилась древняя египетская сказка: хоронили фараона, на похороны его собрались не только друзья, но и враги. Враги пришли, чтобы выразить свою ненависть к умершему, и забросали мертвого фараона камнями. Покойник оставался лежать неподвижно. Затем один из тех, кого фараон считал своим другом, тоже бросил в него камень. И вдруг умерший повернул голову в его сторону и громко застонал. «Вот и у меня душа стонет, стонет так, что невозможно вытерпеть». Н. И. сказал это с такой болью и взгляд его был столь трагическим, что показалось мне в тот миг, что я услышала душевный стон.

Через некоторое время, ближе к концу декабря стали поступать явно добытые пытками показания против него, Рыкова и Томского. Показания эти рассылались всем членам и кандидатам в члены ЦК ВКП(б) как материалы к предстоящему февральско-мартовскому пленуму 1937 г. для создания соответствующего настроения. Показания были хорошо срежиссированы: не противоречили одно другому. Назывались одни и те же даты конспиративных собраний, места сборищ «заговорщиков». Некоторые тайные собрания проходили при Бухарине, иные — в его отсутствие, но кто-нибудь из присутствующих обязательно передавал директиву Бухарина или Рыкова (Томского упоминали тоже, но реже, он ушел из жизни сам, зачем же было тратить время на вымогательства показаний против него), что со свержением правительства, убийством Сталина, «дворцовым переворотом», с целью восстановления капитализма в СССР (иная формулировка не устраивала диктатора) надо торопиться!

— Здорово состряпано! — сказал Н. И.— Если бы я был не я, а человек незнакомый, я бы всему поверил.

Большинство мучеников, давших к этому времени клеветнические показания, были лицами неизвестными или же малоизвестными не только мне, но и Н. И., партийными работниками из провинции и к оппозиции отношения не имели.

На процессе А. И. Рыков по этому поводу заявил: контрреволюционые группы в 1928—1930 гг. создавались и на территории Союза: «точного перечисления, где и какие группы создавались, в каком количестве — этого сказать не могу». Или же, когда Вышинский спросил у Рыкова, какую часть право-троцкистского блока представлял Енукидзе, он ответил: «Должно быть, представлял правую часть». Этим явно стремился подчеркнуть, что процесс есть чудовищная инсинуация.

Прочтя присланные показания, Н. И. снова произнес знакомую фразу:

---

[1] Возможно, декабрьский пленум 1936 г. заседал после VIII съезда Советов, точной даты я не помню.

— Ничего не понимаю! — И тихо шепнул мне на ухо: — Быть может, Коба сошел с ума?

Я не смогла его успокоить, наоборот, еще больше взволновала, сказав:

— Теперь жди показаний от Радека, ты же писал и просил за него...

— Ну, не может быть! — произнес Н. И. И тут же передумал: — Нет-нет, ты права, все может быть!

Становилось все более очевидным, какие цели преследует так называемое следствие и по чьему указанию оно действует. Тем не менее Н. И. направил несколько писем Сталину, обращаясь к нему «дорогой Коба», опровергая оговоры, доказывая свое алиби и т. д. Объясняется это лишь тем, что минутами брала верх убежденность в том, что Сталина мучает болезненная подозрительность и что Н. И. сможет его переубедить. Все первоначально присланные показания ничем друг от друга не отличались, пересказывать их нет смысла. Связь с троцкистским параллельным центром предполагала и вредительство, в показаниях об этом, хотя и упоминалось, но внимание не акцентировалось. Говорилось главным образом о терроре — организации покушений на Сталина, но Молотова и Кагановича тоже не забывали. Словом, «дворцовый переворот». Немыслимыми обвинениями окружили Бухарина и Рыкова, словно блокадным кольцом.

— Пахнет грандиозным кровопролитием,— сказал Н. И. — Будут сажать тех, кто и рядом со мной и Алексеем (Рыковым) не стоял!

Я постоянно находилась возле Н. И. за исключением тех минут, когда забегала к ребенку. И вот как-то, придя от Юры, я не застала в нашей комнате Н. И., что меня насторожило. Я заглянула в кабинет и увидела: сидит он перед письменным столом, в правой руке револьвер, левым кулаком поддерживает голову. Я вскрикнула. Н. И. вздрогнул, обернулся и стал меня успокаивать.

— Не волнуйся, не волнуйся, я уже не смог! Как подумал, что ты увидишь меня бездыханного... и кровь из виска, как подумал... лучше пусть это произойдет не у тебя на глазах.

Мое состояние в этот момент невозможно передать. А теперь я думаю, легче было бы для Н. И., если бы в тот миг оборвалась его жизнь.

Обессиленный от нервного напряжения и бессонных ночей, Н. И. лег и прочел мне стихотворение Эмиля Верхарна «Человечество»:

То кровь от смертных мук распятых вечеров
Пурпурностью зари с небес сочится дальних...
Сочится в топь болот кровь вечеров печальных,
Кровь тихих вечеров, и в глади вод зеркальных
Везде алеет кровь распятых вечеров...
Вы новые Христы, вы пастыри сердец,
Спасающие мир страданьем и любовью,
К кристальным берегам ведущие овец!
Распяты на небе и, истекая кровью,
Вещают вечера всему, всему конец,
Голгофу черную и их шипов венец!
Голгофа траура... В ней вечеров распятых
Сочится тихо кровь из облачных одежд...
Прошла, прошла пора сверкающих надежд,
И в топь сырых болот, зияющих, заклятых,
Сочится тихо кровь, кровь вечеров распятых!

— Вот она, кровавая история человечества! — произнес Н. И. слабым голосом.

Но самое поразительное — несмотря ни на что, для Н. И. не прошла пора сверкающих надежд. За эти надежды заплатил он своей головой. Во всяком случае, одна из причин его неслыханных признаний,— признаний не во всем, но признаний достаточно чудовищных, была именно эта — надежда на торжество той идеи, которой он посвятил свою жизнь. В то время я не могла в полной мере вникнуть в смысл прочитанных мне строк. Передо мной маячил револьвер, который Н. И. только-только держал в руке и снова положил в ящик письменного стола. Меня одолевала навязчивая идея от него избавиться: не уследишь ведь, решила я. Как все противоречиво было в душе моей, ведь я хорошо понимала перспективу и все-таки думала: а вдруг тиран не посмеет поднять руку на Н. И. Это «вдруг» и

заставляло меня быть настороже. Прятать револьвер у нас дома я сочла опасным из-за возможного обыска и не нашла ничего лучшего, как отнести его матери. Н. И. пояснила, что хочу навестить мать, принесла ему Юру, чтобы отвлечь. Юра к тому времени стал уже ползать и осознанно произносить свое первое слово: «Папа». Зашла в кабинет, взяла из письменного стола револьвер, положила в свой портфель и побежала к матери в «Метрополь». В последний раз я ее видела в конце августа 1936 г., когда, встречая Н. И., по пути в аэропорт завезла ей ребенка. Ради ее благополучия, по обоюдному согласию, мы решили не встречаться.

Мать сочла мой поступок безрассудным.

— Что же ты делаешь,— сказала она мне.— в такое тревожное время ты носишься с заряженным револьвером. Хорошо, что тебя не задержали в Кремле. Я не исключаю и того, что ко мне завтра явятся, а в отличие от Н. И. права на хранение оружия я не имею.

Я поняла свою оплошность, и мы решили, что лучше отнести револьвер в НКВД и рассказать об обстоятельствах, при которых он оказался у матери. Так мать и поступила [1].

Я торопилась и как можно скорее возвратилась от матери домой. Ребенок спал и сладко посапывал, пригревшись возле отца.

В конце декабря 1936 г. раздался звонок в дверь. Квартира наша к тому времени превратилась в мертвый дом. В течение полугода, с конца августа до конца февраля, кроме Августы Петровны Коротковой, «Пеночки», секретарши Н. И., которая зашла проститься с ним, у нас никто не бывал. Звонок в дверь — плохое предзнаменование: пакет с показаниями или арест. Я шла открывать дверь с замиранием сердца. Фельдъегерь подал пакет за пятью сургучными печатями. На этот раз поступили показания Радека. Н. И. вскрыл пакет, заглянул в них, произнес одно слово: «Ужас!»,— предложил мне читать вслух, а сам спрятал голову под подушку, как ребенок, слушающий страшную сказку.

Расскажу о том, что запомнилось.

С л е д о в а т е л ь: До сих пор вы говорили о контрреволюционной деятельности троцкистов, но еще ничего не рассказали о контрреволюционной деятельности правых.

Р а д е к: Если я откровенно рассказал о контрреволюционной деятельности троцкистов, то, **тем более** (выделено мною. — **А. Л.**), я не намерен скрывать контрреволюционную террористическую деятельность правых.

Так как показания Радека поступили в конце декабря 1936 г., т. е., через три месяца после его ареста, а на процессе он заявил, что три месяца «запирался» и показаний не давал, то можно сделать вывод, что Радек дал показания против Бухарина сразу же после того, как оговорил самого себя. Однако же на процессе в своем последнем слове Радек сказал:

«Я признаю за собой еще одну вину. Я, уже признав свою вину и раскрыв организацию, упорно отказывался давать показания о Бухарине. Я знал: положение Бухарина такое же безнадежное, как мое, потому что вина у нас, если не юридически, то по существу была та же самая. Но мы с ним близкие приятели, а интеллектуальная дружба сильнее, чем другие дружбы. Я знал, что Бухарин находится в том же состоянии потрясения, что и я, и я был убежден, что он даст честные показания Советской власти. Я поэтому не хотел приводить его связанного в наркомвнудел. Когда я увидел, что суд на носу, понял, что не могу явиться на суд, скрыв существование другой террористической организации».

Так как Радека на предварительном следствии и на процессе от начала до конца заставили лгать, то трудно сказать, что есть правда. Возможно, к нему были применены такие меры, что он был сломлен сразу же; в том же случае, если он три месяца держался, то показания против Н. И. он дал сразу же, как оговорил самого себя.

[1] Когда во внутренней тюрьме на Лубянке я оказалась в одной камере с секретаршей Н. И. Ежова — Рыжовой, она вспомнила этот эпизод и рассказала, что револьвер был, хотя и заряженный, но испорченный. Застрелиться из такого револьвера было невозможно.

В показаниях Радека было зафиксировано, что правая организация действовала сообща с троцкистской; в целях подрыва Советского государства они использовали вредительство и террор. Его показания по поводу решения об убийстве Кирова особенно врезались в память: они изобиловали деталями, подробностями. О том, что троцкистский центр принял решение убить Кирова, Радек якобы сообщил Бухарину в кабинете редакции «Известий», горела лампа под зеленым абажуром; прежде чем согласиться на такую акцию, Бухарин будто бы колебался, волновался, нервно ходил по кабинету, наконец, санкционировал убийство от имени правой террористической организации.

Когда я прочла все это, Н. И. сбросил подушку с головы, лицо его покрылось холодным потом.

— Решительно не понимаю, что же происходит! Только-только Радек просил меня написать о нем Сталину, а теперь несет такой бред!

К тому времени Н. И., безусловно, понимал, что показания добываются незаконными средствами, возможно, пытками, и тем не менее фантастическое превращение большевиков в предателей, уголовных преступников казалось ему необъяснимым колдовством.

После ареста Н. И. понял все. На процессе Вышинский спросил Бухарина, может ли тот объяснить, почему все против него показывают. «Не можете объяснить?» — обрадовался прокурор, очевидно, потому, что Бухарин задержался с ответом. «Не не могу, а просто отказываюсь объяснять»,— ответил Бухарин.

Предчувствуя скорый конец, Н. И. рассказал мне интересный эпизод, происшедший летом 1918 г. в Берлине, куда он был командирован как член комиссии, которой предстояло составить дополнительные соглашения к мирному Брестскому договору. Там, в Берлине, он услышал, что на окраине города живет удивительная хиромантка, точно предсказывающая судьбу по линиям руки. Любопытства ради он вместе с Г. Я. Сокольниковым решил поехать к ней. Не могу припомнить, что хиромантка предсказала Сокольникову. Н. И. она сказала:

— Будете казнены в своей стране.

— Что же, вы считаете, что Советская власть погибнет? — спросил Н. И., решивший узнать у хиромантки и политический прогноз.

— При какой власти вы погибнете — сказать не могу, но обязательно в России, там будет рана в шею и смерть через повешение!

Н. И., потрясенный ее прогнозом, воскликнул:

— Как же так? Человек может только по одной причине умереть: или от раны в шею или от виселицы!

Но хиромантка повторила:

— Будет и то, и другое.

— Так вот,— сказал Н. И.,— меня душит ужас от предвидения террора грандиозного размаха. На языке хиромантки, по-видимому, это означает рана в шею, в дальнейшем будет смерть через повешение, — неважно, что от пули.

А материалы следствия все поступали и поступали.

Я уже подробно рассказывала о содержании показаний В. Г. Яковенко (организация кулацких восстаний в Сибири) и о том, как на них реагировал Н. И.: до ареста расценивал как чудовищные измышления, на процессе же подтвердил. От видных деятелей партии, таких, как бывший руководитель Московской партийной организации Н. А. Угланов и бывший нарком труда В. В. Шмидт, разделявших взгляды Н. И. в период оппозиции 28—30-х годов, от учеников школы Бухарина Д. Марецкого, И. Краваля и А. Слепкова до ареста Н. И. показаний не поступало. Но показания других учеников — А. Айхенвальда, А. Зайцева и Сапожникова о «дворцовом перевороте» Н. И. получил.

Хорошо запомнились показания Ефима Цетлина. Если Д. Марецкий, А. Слепков и многие другие бывшие ученики Н. И. еще до 1932 г. были направлены на работу вне Москвы, а постановлением ЦКК ВКП(б) от 9 октября 1932 г. «за содействие контрреволюционной группе Рютина, распространение платформы» были исключены из партии, а затем арестованы, то Ефим Цетлин продолжал работать с Н. И. в Наркомтяжпроме в НИСе в качестве его ученого секретаря и был в тесном контакте с Н. И. В конце 1933 г. или в 1934 г. (точно не помню) Е. Цетлин был арестован. Н. И. был убежден, что Е. Цетлин не мог быть причастен к антисталинской деятельности, и написал Сталину, прося о его освобождении. Сталин долго раздумывал, но когда Е. Цетлин был осужден и направлен к месту заключения, то по распоряжению Сталина он был снят с этапа и возвратился в Москву. Не зная, что Н. И. ходатайствовал перед Сталиным, Цетлин написал Бухарину резкое письмо, заявив, что Н. И. и пальцем не пошевелил в его защиту, поэтому он работать с ним отказывается — рвет отношения и уезжает на Урал. Там, на Урале, Е. Цетлин был арестован вторично, очевидно, не позже 1936 г. В его вынужденных признаниях мы прочли, что Бухарин поручил ему совершить террористический акт против Сталина. Для этой цели он дал ему револьвер, сообщил, что Сталин в определенное время будет проезжать по улице Герцена, где Е. Цетлин будто бы караулил машину Сталина, чтобы совершить покушение на него. Но, увы, машина по улице Герцена не проехала...

Н. И. после прочтения показаний Цетлина написал Сталину, убеждая его, что и у него самого не было террористических намерений, и снова просил расследовать причину неслыханной клеветы и самооговора арестованных. Просьба эта, естественно, ни к чему не привела.

Н. И. как-то сказал:

— И в самом деле остается только один выход — кончить жизнь самоубийством, чтобы избавиться от этого чудовищного чтения.

— Нет уж, не удастся,— ответила я и рассказала Н. И., что сделала с его револьвером.

Н. И. даже не в силах был на меня разозлиться, только посмотрел изумленно и сказал, что не все потеряно, у него есть еще один револьвер. Он притащил из своего кабинета большой револьвер. На нем было выгравировано: «Вождю пролетарской революции от Клима Ворошилова». Оружие Н. И. положил в ящик тумбочки возле кровати и сказал:

— Если только за мной придут, я им в руки не дамся.

Отношения с Ворошиловым у Н. И. были довольно теплые. Бывало, что и доклады Ворошилова Н. И. по его просьбе писал за него. Слова на револьвере напомнили о прошлом, и в эти страшные минуты Н. И. решил написать Ворошилову на прощанье несколько слов. Он ни о чем не просил Ворошилова, понимая, что тот и при желании бессилен был бы помочь ему. Написал только: «Знай, Клим, что я ни к каким преступлениям не причастен. Н. Бухарин».

Письмо это я отправила одновременно с письмом Сталину по поводу показаний Е. Цетлина через фельдъегеря.

От Ворошилова пришел ответ на следующий день: «Прошу ко мне больше не обращаться, виновны Вы или нет (обычно он обращался к Н. И. на «ты».— **А.Л.**), покажет следствие. Ворошилов».

Трудно описать степень нравственного потрясения Н. И. от всего, что приходилось пережить в те дни.

Казалось бы, человек наделен высшим благом в мире — разумом, но в те дни хотелось от этого блага избавиться. Не быть человеком! Превратиться в безмозглое простейшее, какую-нибудь амебу, что ли?! Фактически мы были заточены вдвоем в тюремную камеру внутри Кремля. Н. И. изолировался даже в семье. Он не хотел, чтобы заходил к нему в комнату отец, видел его страдания. «Уходи, уходи, папищик!» — слышался слабый голос Н. И. Однажды буквально приползла Надежда Михайловна, чтобы ознакомиться с вновь поступившими показаниями, а потом с моей помощью еле добралась до своей постели.

Н. И. похудел, постарел, его рыжая бородка поседела (кстати, обязанность парикмахера лежала на мне, за полгода Н. И. мог бы обрасти огромной бородой).

За это время — с августа 1936 по февраль 1937, до своего ареста, кроме двух коротких писем от Бориса Леонидовича Пастернака, Н. И. получил еще одно письмо, как мне представляется теперь, учитывая обстоятельства, довольно странного характера. Это было письмо старого большевика, известного журналиста Льва Семеновича Сосновского, длительное время примыкавшего к троцкистской

оппозиции, в 1927 г. исключенного из партии. До исключения Сосновский был постоянным сотрудником «Правды» и славился талантливыми фельетонами. После восстановления в партии, если не ошибаюсь, в 1935 г. по распоряжению Сталина он был направлен в «Известия». В письме Сосновский сообщил, что его уволили из редакции и материальное положение его крайне затруднительно — семья голодает. Непонятно, что побудило Сосновского обратиться именно к Бухарину, несмотря на то, что ответственным редактором «Известий» тот числился лишь номинально. Помочь Сосновскому восстановлением его на работе в редакции Н.И. не имел возможности, он сам-то был фактически уволен. Оставалось одно: помочь ему материально, но и это было нелегко. Н. И. и ранее зарплату в «Известиях» регулярно не получал — отказался. Деньги ему обычно переводили из Академии наук СССР. Первые месяцы следствия Академия наук продолжала присылать Н. И. деньги, а затем эти поступления прекратились. Тем не менее с помощью Ивана Гавриловича Сосновскому была переведена небольшая сумма денег.

Незадолго до процесса так называемого троцкистского параллельного центра, начавшегося 23 января 1937 г., Н. И. пригласили в ЦК. Там в присутствии всех членов Политбюро с участием Ежова были проведены очные ставки.

Первым перед Бухариным предстал Л. С. Сосновский. Лексика на очных ставках ничем не отличалась от лексики в присланных показаниях: предатели, реставраторы капитализма, вредители, террористы и т. д. Так сами себя называли обвиняемые. Одно показание отличалось от другого лишь деталями. У Сосновского этой деталью было посланное якобы из конспиративных соображений письмо, о котором он будто бы договорился с Бухариным заранее, еще тогда, когда встречал его в редакции. Оно, это письмо, как показывал Сосновский, означало, что троцкисты решили активно развязывать террор, а посланные Бухариным деньги были знаком, что правая террористическая организация разделяет взгляды троцкистов и будет действовать так же.

— Вы перевели Сосновскому деньги? — спросил Ежов.

— Да, перевел,— ответил Бухарин и рассказал, чем это было вызвано.

— Все ясно,— заметил Сталин, и Сосновского увели.

Придя домой, Н. И. высказал предположение, что письмо было послано от уже арестованного Сосновского, чтобы инсценировать этот эпизод.

Следующим на очную ставку с Бухариным привели Пятакова. Юрий Леонидович Пятаков за принадлежность к троцкистской оппозиции был исключен из партии, но вскоре восстановлен. На XVI и XVII съездах ВКП(б) избирался в члены ЦК, в котором и состоял вплоть до ареста. В последние годы работал заместителем Серго Орджоникидзе в Наркомтяжпроме. Наркомтяжпром занимался вопросами индустриализации. Исходя из профиля работы, основная тема показаний Пятакова была вредительство. Внешний вид Пятакова ошеломил Н. И. еще в большей степени, чем его вздорные наветы. Это были живые мощи, как выразился Н. И., «не Пятаков, а его тень, скелет с выбитыми зубами». Ленин в «Письме к съезду» характеризовал Пятакова как человека не только выдающихся способностей, но и выдающейся воли. Очевидно, выдающаяся воля и привела его в такое состояние: потребовалось много усилий, чтобы сломить Пятакова. Во время очной ставки рядом с Пятаковым сидел Ежов как живое напоминание о том, что с ним проделали, опасаясь, как бы Пятаков не сорвался и не отказался от своих показаний. Но он не отказывался. Он признавал себя членом контрреволюционного центра, связанного с Бухариным. Эту связь Пятакову якобы облегчала совместная работа в Наркомтяжпроме.

Пятаков говорил, опустив голову, стараясь ладонью прикрыть глаза. В его тоне чувствовалось озлобление, озлобление, как считал Н. И., против тех, кто его слушал, не прерывая абсурдный спектакль, не останавливая неслыханный произвол.

— Юрий Леонидович, объясните,— спросил Бухарин,— что вас заставляет оговаривать самого себя?

Наступила пауза. В это время Серго Орджоникидзе, сосредоточенно и изумленно смотревший на Пятакова, потрясенный измученным видом и показаниями своего деятельного помощника, приложив ладонь к уху (Серго был глуховат), спросил:

— Неужто ваши показания добровольны?

— Мои показания добровольны,— ответил Пятаков.

— Абсолютно добровольны? — еще с большим удивлением спросил Орджоникидзе, но на повторный вопрос ответа не последовало. Только лишь на процессе в своем последнем слове Пятаков сумел сказать: «Всякое наказание, какое вы вынесете, будет легче, чем самый факт признания», — чем и дал понять, что его показания вынужденные.

Почему же в ту минуту, перед всеми членами Политбюро, Пятаков не решился сказать правду и рассказать, что с ним проделывали, чем довели его до такого состояния, что он едва держался на ногах? До конца этого постичь невозможно. Но, очевидно, Пятаков понимал, что после очной ставки ему придется вернуться не к себе домой и снова начнутся адовы муки в застенках НКВД.

Следующим на то же заседание Политбюро привели на очную ставку с Бухариным Карла Радека. Он не имел такого плачевного вида, как Пятаков. Он, как рассказывал Н. И., был лишь необычно бледен и в отличие от предыдущих обвиняемых, представших перед Бухариным на очных ставках, заметно волновался. Он повторял все то же: подпольная троцкистская контрреволюционная организация через Бухарина была связана с такой же контрреволюционной правой. Радек подтверждал свои показания на предварительном следствии: разговор в редакции «Известий» по поводу убийства Кирова, к этому добавилась еще одна подробность — согласование с Бухариным покушения на тов. Сталина (на т о в. Сталина, так он выразился.— **А. Л.**). Без убийства Сталина реставрация капитализма, сказал К. Радек, была бы невозможна. Никто из членов Политбюро не пытался задать Радеку вопрос, выразить недоверие его признаниям. Все сидели безучастно. Показания Радека Сталина вполне устраивали. Он делал вид, что принимает все за истину. Серго Орджоникидзе после неудачной попытки услышать правду от Пятакова, на что он, очевидно, надеялся, тоже молчал, но вид у него был крайне возбужденный и глаза выражали смятение и недоумение...

Наконец заговорил Бухарин:

— Скажите, Карл Бернгардович, когда вы лжете — теперь, в своих фантастических показаниях, или лгали тогда, когда на даче вы просили меня написать Сталину о вашей невиновности? Я выполнил вашу просьбу.

Радек молчал.

— Я прошу ответить мне на вопрос: вы просили меня написать о вашей невиновности Сталину?

— Да, просил,— подтвердил Радек и разрыдался.— Воды! — попросил он.— Мне дурно.

Сталин налил из графина воды и поднес Радеку. Рука у Радека дрожала так сильно, что вода выплескивалась из стакана.

На этом очная ставка закончилась. Когда Радека увели, Сталин спросил Бухарина, чем он объясняет, что все на него показывают.

— Это вы лучше меня можете объяснить,— ответил Н. И. и снова потребовал комиссии по расследованию работы НКВД. Но никто не внял его просьбе.

Придя домой и подробно рассказав все мне, Н. И. сказал:

— Я возвратился из ада, ада временного, но нет сомнения, что я попаду в него прочно, меня сегодня же могут арестовать. Очевидно, только в таком случае я до конца смогу объяснить себе происходящее...

Я повторяю: самое ошеломляющее впечатление на Н. И. произвела первая очная ставка с Г. Я. Сокольниковым, несмотря на ее видимый благоприятный исход. За полгода следствия от постепенного психологического изнурения Н. И. в какой-то степени адаптировался, стал спокойнее относиться к эпитетам «террорист», «вредитель», «заговорщик». Временами, отупевая от ужаса, он становился равнодушным, безразличным, затем снова приходил в неописуемую ярость.

Все это происходило в то время, когда наступил перелом к лучшему в сельском хозяйстве, была отменена карточная система, гигантски выросла промышленность и, с какими бы трудностями это ни было сопряжено, в стране были соз-

даны новые производительные силы. Н. И. не оглядывался назад, он смотрел вперед. Советский Союз стал оплотом мира перед лицом наступающего фашизма. Престиж нашей страны к 1936 году на международной арене как никогда был высок. В середине 1935 г. VII конгресс Коминтерна призывал к единому фронту против фашизма все коммунистические и социалистические партии, и для того чтобы добиться успеха, надо было сохранить с трудом завоеванный авторитет страны; в январе 1936 г. в обращении «Моим советским друзьям» Ромен Роллан писал: «Да покорит человечество идея, которой вы служите, вера, которая воплощена в вас!» А буквально через считанные месяцы величайшая несправедливость истории — Большой Террор,— не знающий прецедента абсурд, как выражался Н. И., душил партию, ее светлые идеалы, рушил его великую надежду на гуманизацию общества. «Чего мы хотим, это социалистического гуманизма»,— сказал в своем последнем докладе, произнесенном в Париже в апреле 1936 г., Бухарин. Но адово пламя террора разгоралось. Н. И. и понимал, и отказывался понимать, не мог разобраться в том, что происходит, ибо человеческое мышление значительно консервативней, чем быстротекущее время.

Через несколько дней после очных ставок начался процесс так называемого параллельного троцкистского центра. Перед судом предстали 17 человек, среди них К. Радек, Ю. Пятаков, Г. Сокольников, Л. Серебряков, Н. Муралов... Бухарин газет, освещающих процесс, даже не смотрел, отбрасывал в сторону.

— Не могу читать этот бред — с меня хватило их показаний на очных ставках,— в полном отчаянии говорил он. Когда я прочла ему приговор и он узнал, что Сокольников и Радек получили не расстрел, а по 10 лет, Н. И. предположил, что они заработали себе жизнь клеветой против него. Хотя для него было ясно, что они клеветали вынужденно и на самих себя. Я же думаю, что их временно оставили жить как приманку для Н. И., Рыкова и других обвиняемых, чтобы показать, что самооговором и клеветой на товарищей можно сохранить себе жизнь. В этом, я думаю, был тайный расчет Сталина, тем более что такой тактический ход ему ничего не стоил, так как в дальнейшем и Радек, и Сокольников были уничтожены, чего Н. И. знать уже не мог.

— Кто же такое мог предвидеть! Разве только Нострадамус! — в полном замешательстве воскликнул Н. И.

Процесс над вымышленным параллельным троцкистским центром продолжался с 23 по 30 января 1937 г. До ареста Н. И. оставалось немногим меньше месяца.

Этот последний месяц был самым тяжелым. Впрочем, у Н. И. были мгновения относительного просветления, когда он надеялся на жизнь. Слишком затянулось их (Бухарина и Рыкова) «дело», с арестом все медлили.

— А что, если вышлют меня к чертям на рога, ты поедешь со мной, Анютка? — с детской наивностью спрашивал он.— Неужто перед всем миром Коба устроит третье средневековое судилище? Мне только исключение из партии невыносимо, трудно будет пережить, а дело я найду себе всюду: займусь естественными науками, поэзией, напишу повесть о пережитом; рядом жена любимая, сын будет подрастать... О чем еще можно мечтать при сложившихся обстоятельствах!

— К чертям на рога я с тобой поеду, но боюсь, что это лишь радужные мечты,— я не могла успокаивать Н. И.

Проблески оптимизма длились недолго, перспектива была предельно ясна. Н. И. сидел в своей комнате, как в западне. В последнее время даже в ванную помыться я с трудом заставляла его выйти. Он опасался столкнуться с отцом не только потому, что не хотел огорчать его своим видом, еще больше боялся вопроса: «Николай! Что происходит?» Н. И. приносило облегчение, что умершая в 1915 г. мать не видит его страданий. Любовь Ивановна, зная, что сын с детства был увлечен естественными науками, мечтала, чтобы он стал биологом (судьба биологов в ту мрачную пору оказалась не лучше, чем старых большевиков), и огорчалась, что Николай занялся революционной деятельностью, волновалась, когда к нему на квартиру до революции приходили с обыском. «Что бы было с ней теперь — трудно себе вообразить!» — часто говорил Н. И.

Февраль 1937 года уже отсчитывал последние дни нашей совместной жизни, как вдруг зазвонил долго молчавший телефон. Иван Гаврилович слегка приоткрыл дверь и попросил меня взять трубку. К моему удивлению, звонил Коля Созыкин, мой бывший однокурсник и комсорг. Тот самый Коля, которого я не хотела раскрыть Берии, а он мне раскрыл его. Коля пригласил меня в гости в гостиницу «Москва». И хотя Н. И. заподозрил, что мой Коля — подставное лицо, в конце концов решил, что ничего страшного не случится, если я забегу к нему.

— Только лишнего не говори,— предупредил Н. И.,— вдохнешь струю свежего воздуха — пойди, пойди, отвлечешься немного.

У Созыкина я пробыла недолго, но все «лишнее», что только можно было ему рассказать, я рассказать успела: о подробностях декабрьского пленума ЦК ВКП(б), об очных ставках, о том, что Н. И. решительно отрицает причастность к преступлениям. Я проявила осторожность лишь в том, что имени Сталина не упоминала, хотя к тому времени оценивала эту зловещую фигуру резко отрицательно. На вопрос Созыкина, как Сталин относится к происходящему и персонально к Н. И., я пустила в ход рассуждение, которым любили пользоваться наши глупые обыватели, и ответила: «НКВД Сталина обманывает».

Так я излила душу Созыкину, «вдохнула струю свежего воздуха» и заторопилась назад. Подойдя к дому, я увидела, что из соседнего с нашим подъезда, ближе к Троицким воротам, вышел Серго Орджоникидзе и направился к машине. Заметив меня, он остановился. Но что я могла сказать ему в тот момент? Несколько мгновений мы стояли молча. Серго смотрел на меня такими скорбными глазами, что по сей день я не могу забыть его взгляда. Затем он пожал мне руку и сказал два слова: «Крепиться надо!». Сел в машину и уехал. В тот миг невозможно было предположить, что Орджоникидзе осталось жить считанные дни.

Дома я рассказала Н. И. о встрече с Серго. И хотя «крепиться» трудно было, он был растроган. Как мало надо было в те дни, как радовало благожелательное слово! Тут же Н. И. написал письмо Орджоникидзе в надежде, что тот не ответит ему так, как ответил Ворошилов. Письмо к Орджоникидзе я наизусть не учила, как то, о котором мне еще предстоит рассказать, поэтому могу лишь кратко изложить его содержание. Н. И. писал Серго, что поскольку тот достаточно хорошо знаком со сфабрикованными клеветническими показаниями против него, присутствовал и на чудовищных и необъяснимых очных ставках, он может понять состояние Н. И. и знает, чего он ждет. Все, что происходит, заставляет его думать, что в НКВД действует такая мощная сила, которой ни Серго, ни он сам, пока не находится в тюремных застенках, до конца понять не может. Но для него (Бухарина.— А. Л.) становится все яснее, что эта сила действует уверенно, не опасаясь провала, если заставляет всех тех, кто посвятил свою жизнь народу, революции, оговаривать самих себя и клеветать на товарищей по партии. И далее дословно: «Начинаю опасаться, что и я в случае ареста могу оказаться в положении Пятакова, Радека, Сокольникова, Муралова и др. Прощай, дорогой Серго. Верь, что я честен всеми своими помыслами. Честен, что бы со мной в дальнейшем ни случилось». (Заключительная фраза письма напомнила мне последние слова Радека при его разговоре с Н. И. на даче: «Николай! Верь, что бы со мной ни случилось, я ни в чем не виновен».) Свое письмо Н. И. закончил просьбой к Орджоникидзе: в случае его ареста позаботиться о семье. Просил, чтобы Серго хотя бы на первое время, пока я не окрепну, не приду в себя, не устроюсь работать, взял к себе ребенка. Но просьба о ребенке тормозила мои действия, я все медлила с отправкой. И хотя я плохо представляла себе возможность Орджоникидзе в то страшное время взять к себе, даже ненадолго, нашего ребенка, мое материнское чувство заставило меня опасаться этого. Мне казалось, что поначалу с помощью матери, а затем и самостоятельно я смогу его вырастить. Но вопрос решился сам собой. Через короткое время передать письмо было некому...

Серго Орджоникидзе не смог стать не только соучастником, но и пассивным наблюдателем неслыханного произвола. Оставался один выход — уйти навсегда. Вопрос: кто его избрал?.. Слухи разноречивы.

Сейчас, после всего пережитого, обращение к Серго с просьбой помочь семье кажется наивным и в том случае, если бы он остался жить. Но разве мог Н. И. предвидеть, что через три с половиной месяца после его ареста меня разлучат с ребенком и мне не придется думать о куске хлеба для него?..

Расставшись с сыном, когда ему был год, я увидела его через 19 лет двадцатилетним юношей, летом 1956-го, когда он приехал ко мне в Сибирь, в поселок Тисуль Кемеровской области — последнее место моей ссылки.

Да простит меня мой читатель, если таковой когда-нибудь у меня будет, за то, что я ненадолго отвлекусь от воспоминаний о страшных днях и перенесусь почти на два десятилетия вперед. В Кремль я еще вернусь, чтобы проститься с Н. И. История нашего расставания не канет в Лету, раз она живет в душе моей, в моей памяти.

Но хочется немного радости, а разве долгожданная встреча с сыном после такой долгой разлуки не радость? Радость, если даже окрашена драматизмом. И если не Серго Орджоникидзе спас нашего ребенка, то, так или иначе, поочередно родственники спасали, а затем и в детском доме не погиб. Спасибо за это людям. О своей встрече с сыном, встрече, о которой я столько лет мечтала, я и хочу рассказать.

К этому времени у меня сложилась новая семья. Пожалуй, будет огромным преувеличением сказать, что она у меня сложилась. С моим вторым мужем, Федором Дмитриевичем Фадеевым, я познакомилась в лагере. До своего ареста он возглавлял агропроизводственный отдел наркомата совхозов Казахской ССР. После освобождения и реабилитации ссыльным он не был и остался в Сибири из-за меня. Но под разными предлогами за связь со мной его трижды арестовывали. И большую часть нашей жизни он то находился в тюрьме, то работал вдали от меня, приезжая лишь в отпуск. А я моталась по различным ссылкам с двумя маленькими детьми. Он всегда старался найти работу по месту моей ссылки, и это было возможно, так как он получил образование в Сельскохозяйственной академии на двух факультетах: агрономическом и зоотехническом и много лет работал в сельском хозяйстве. Кругом были совхозы, устроиться нетрудно. Но как только он приступал к работе, следовал арест или же меня ссылали в другое место.

Это особая глава моей жизни, тоже драматичная, но в настоящих воспоминаниях я не считаю возможным уделить ей достаточно внимания. К 1956 г. наступило потепление и, казалось, мы могли бы воссоединиться прочно, но этому помешала преждевременная смерть Федора Дмитриевича. Измученный восьмилетним заключением, следствием с применением пыток, приведшим к самооговору, дальнейшими жизненными передрягами, связанными со мной, он не выдержал. Повторяю: эта тема требует особого рассказа. Сейчас я коснулась ее лишь мимоходом, в связи с тем, что нам всей семьей предстояло встретить Юру.

Поселок Тисуль отстоял от ближайшей железнодорожной станции Тяжин приблизительно километров на 40—45. Регулярный транспорт из Тяжина в Тисуль не ходил. Мы тронулись в путь на мотоцикле с коляской. Детей — Надю, которой не было еще десяти лет, и шестилетнего Мишу — мы не могли оставить дома, так они стремились поскорее увидеть своего братика. Для них это событие было лишь радостным приключением. Пришлось тесниться в мотоцикле. По дороге отказали тормоза, произошла авария и мы едва не погибли. Но в конце концов добрались до Тяжина.

Трудно передать мое состояние. Я ехала к сыну и в то же время к незнакомому юноше. Что он собой представляет, воспитанник детского дома? Найдем ли мы общий язык? Сможет ли он понять меня? Не упрекнет ли за то, что у меня есть еще дети, не расценит ли это как измену ему? Наконец, он же меня спросит, кто был его отец. И это — главное. Надо ли раскрыть тайну, не будет ли это слишком обременительно для юной души? Мы встретились после XX съезда партии. Я запаслась вырезками из газет на тему «культ личности Сталина». Несмотря на то, что такая формулировка, как казалось мне раньше и кажется теперь, не отражает содеянных Сталиным преступлений и для новых поколений не характеризует эпоху, не объясняет ужаса, пережитого нашей страной, тем не менее это был уже шаг в будущее, шаг к правде, и задача моя облегчилась. Незадолго до приезда Юры мне удалось купить в газетном ларьке «Письмо к съезду» — завещание Ленина, изданное отдельной брошюрой. Словом, я старалась быть во всеоружии. В моей голове возникали десятки вопросов, на которые я не могла ответить, пока не познакомлюсь с сыном.

Мы шли уже по платформе железнодорожной станции, когда издали я увидела приближающийся поезд. Я была настолько возбуждена, что почувствовала — вот-вот упаду, свернула в привокзальный палисадник и свалилась в обмороке. Поезд оказался не тот, а к следующему, которым приехал Юра, я уже «отошла». Я старалась охватить взглядом весь состав, боясь пропустить сына. Не представляла себе, как он выглядит. Я видела только его детские фотографии. И вдруг я почувствовала объятия и поцелуй. Юра подбежал ко мне сбоку, а я в это время сосредоточенно смотрела на последние вагоны. Узнать его можно было только по глазам,— такие же лучистые, как в детстве, а вот как он меня угадал — не знаю. В детстве видел мою фотографию, да и мой взволнованный вид, очевидно, подсказал ему. Худющий он был такой, что описать трудно, брюки еле держались на костлявых бедрах, на груди каждое ребрышко можно было пересчитать. Прямо-таки Махатма Ганди. Я вглядывалась в его лицо, искала знакомые родные черты. Как только он заговорил, у меня сердце защемило: тембр голоса, жестикуляция, выражение глаз — точно отцовские, а цветом глаза скорее мои, брюнет в меня, а ребенком был совсем светленький.

— Вот как бывает, Юрочка!.. Вот как бывает!..— в первое мгновение иных слов я не могла найти, а он...

— Теперь я понимаю, в кого я такой худой...

Я была немногим полней Юры.

К вечеру мы, основательно утомленные тряской в мотоцикле, добрались до своего Тисуля.

Следующий день прошел спокойно, Юра был веселый. Пел песенки, бегал с детьми в огород за гороховыми стручками. А утром, когда мы на завтрак ели манную кашу с малиновым вареньем, Юра спросил у Миши: «А ну-ка, скажи, кто ел манную кашу с малиновым вареньем?» Миша подумал и неуверенным тоном ответил: «Наверное, Ленин». Мы посмеялись. А Юра рассказал маленькому Мише, что это Буратино ел манную кашу с малиновым вареньем.

Так прошел первый день нашей совместной жизни, счастливый, удивительно легкий, светлый день. Будто камень с души свалился.

Я знакомилась с сыном, расспрашивала, чем он интересуется, почему пошел учиться именно в этот институт (Юра был студентом Новочеркасского гидромелиоративного института). Хотелось знать, не интересуется ли он естественными науками или математикой. Рассказала, что дед его, Иван Гаврилович, был математиком и когда-то преподавал в женской гимназии. Об увлечении отца естественными науками я умолчала, не хотела напоминать о нем. Меня интересовали увлечения сына, которые могли бы быть переданы по наследству.

Юра рассказал мне, что в гидромелиоративный институт он поступил случайно. Поехали ребята из детского дома, и он с ними, выдержал экзамен и поступил, но интереса к этому делу у него не было. Экзамен пошел сдавать босиком.

— Как босиком, разве тебе в детском доме ботинок не дали? — с удивлением спросила я.

— Ботинки дали, но свободнее было без обуви...

Ни естественные науки, ни математика его не интересовали. Увлекался рисованием и мечтал стать художником. В конце концов этого он добился. Но тогда я опасалась темы, связанной с отцом, и только про себя подумала, что это увлечение передалось сыну от отца.

На следующий день я не избежала больного вопроса, хотя хотела отложить

тяжкий для меня разговор. Ведь мне предстояло сказать сыну не только, кто его отец, но, как я думала, и где он, но Юра настаивал и все спрашивал:

— Мама, скажи, кто мой отец.

— Ну, а как ты думаешь, Юрочка, кто твой отец?

— Должно быть, профессор какой-нибудь,— почему-то так подумал Юра. Его ответ меня рассмешил.

— Не профессор, а академик.

— Даже академик! Отец академик, а я вот дурак,— сказал Юра.

Юра был далеко не дурак, напротив, учитывая условия, в которых он вырос, он поразил меня своим развитием.

— Но главное,— сказала я,— не то, что он был академик (что Н. И. был академик, я бы и не вспомнила, если бы не высказанное Юрой предположение — «должно быть, профессор какой-нибудь»). Главное то, что он был известный политический деятель.

— Назови его фамилию.

— А фамилию я назову тебе завтра.— Подумала: назову фамилию, а Юра мне скажет: «Так это тот самый Бухарин — враг народа?» — и мне стало страшно.

— Если ты мне не хочешь сказать сейчас, то сделаем так: я попробую сам назвать фамилию, а ты, если я назову ее правильно, подтвердишь.

Я согласилась, предполагая, что угадать фамилию отца он не сможет, рассматривала Юрино предложение как своеобразную игру, а для себя — как оттяжку перед неизбежным. Но неожиданно Юра произнес:

— Предполагаю, что мой отец — Бухарин.

Я в изумлении посмотрела на сына.

— Если ты знал, то зачем ты меня спрашиваешь?

— Нет, я не знал, я честно говорю, не знал.

— Как же ты мог догадаться?

— Я действовал методом исключения. Ты мне сказала, что мой дед Иван Гаврилович, что мой отец был видным политическим деятелем. И я стал думать, кто из видных политических деятелей «Иванович», и пришел к выводу, что это Бухарин Николай Иванович.

Меня поразило, что Юра знал имена и отчества крупных политических деятелей, соратников Ленина, и назвал их всех, кроме Рыкова Алексея Ивановича. То, что Бухарин был самым молодым из них, он не знал. И это не стало дополнительным козырем для разгадки. О нашей возрастной разнице он не думал. Трудно поверить, но тем не менее все было именно так, как я об этом рассказала. Я и по сей день не исключаю того, что, быть может, его детская память запечатлела фамилию отца, когда кто-нибудь из родственников упомянул ее, а сейчас, в момент нервного напряжения, это звуковое восприятие фамилии отца всплыло в сознании.

Я показала Юре газетные вырезки, «Завещание Ленина». Немного рассказала об отце, хотя старалась внимание на нем не фиксировать, берегла сына. Перед отъездом просила его не разглашать своей настоящей фамилии, опасаясь, что это приведет к дополнительным трудностям в его и без того нелегкой жизни.

В детском доме сыну выдали паспорт, в котором указали фамилию моих родственников, от которых он был взят в детский дом. Так он стал Гусман Юрий Борисович, хотя формального усыновления не было. Однако тайну своего происхождения хранить ему было трудно. Незадолго до окончания института, перед присвоением ему офицерского звания, Юре предстояло заполнить подробнейшую анкету. Умолчание о своем отце он рассматривал как умышленное укрывательство, и это его угнетало. В письме ко мне он просил разрешения открыть правду, просил сообщить год рождения отца и мой, чего он действительно не знал. Анкету нужно было заполнить не позже, чем через две недели. Письмо ко мне шло долго, и, чтобы Юра успел получить ответ вовремя, я отправила ему телеграмму. Назв ла фамилию, имя и отчество, год рождения отца и свой год рождения, дав этим согласие на разглашение его биографии.

Об остальном, надеюсь, расскажет сам Юра, а мне предстоит вернуться снова в Кремль, к своему в то время десятимесячному ребенку, к погибающему Н. И. и расстаться с ним навсегда.

Письмо, адресованное С. Орджоникидзе, лежало в нашей комнате на столе. В течение нескольких дней Н. И. напоминал мне, чтобы я его отправила,— лучше самой отнести на квартиру, что для меня было еще труднее, чем отправить с фельдъегерем. Ребенок последние дни до ареста Н. И. проводил больше времени с нами. За неимением игрушек (кроме погремушек, которые Н. И. успел притащить на дачу до отъезда на Памир, других игрушек не было), Юра таскал по полу и подбрасывал вверх чучело сизоворонка, когда-то подстреленного Н. И. Он ползал и вставал, держась за кровать отца, переступал неуверенным шагом, чтобы приблизиться к нему и поцеловать. Ах, как он кричал пронзительным голосом, краснея от напряжения: «Папа, папа, папа!..» Перед расставанием с отцом он неосознанно, интуитивно проявлял к нему особую нежность.

Неожиданно раздался звонок в дверь. Как всегда встревоженная, я пошла открывать ее. На этот раз доставили извещение о созыве пленума ЦК ВКП(б), вошедшего в историю как февральско-мартовский. Поскольку ко всем присылавшимся показаниям была приложена бумажка «Материалы к пленуму», Н. И. пленума ждал. Однако он не исключал и того, что арест может произойти до его созыва. Сообщение о пленуме было получено за несколько дней до его открытия, первоначально назначенного на 18—19 февраля (точно не помню).

В повестке дня значились два вопроса:

1. Вопрос о Н. И. Бухарине и А. И. Рыкове.

2. Организационные вопросы.

Прочитав извещение, Н. И. сказал категоричным тоном:

— Не пойду я на этот пленум, со мной можно там и в мое отсутствие расправиться.

Он решил объявить голодовку. Тут же написал заявление в Политбюро для оглашения на пленуме: «В протест против неслыханных обвинений в измене, предательстве и т. д. объявляю смертельную голодовку и не сниму ее до тех пор, пока не буду оправдан. В противном случае последняя просьба — не трогать меня с места и дать возможность умереть». (Цитирую по памяти. За точность содержания ручаюсь.)

Перед началом голодовки Н. И. попросил меня помочь ему разыскать в его письменном столе маленькую записочку, написанную Сталиным, чтобы уничтожить ее перед возможным обыском. Записочка эта была найдена при самых безобидных обстоятельствах: однажды, после окончания заседания Политбюро в начале 1929 или в конце 1928 года, Н. И. обнаружил, что выронил из кармана маленький карандашик, которым любил делать необходимые записи. Он вернулся в пустую комнату, где заседало Политбюро, заметил на полу карандаш, нагнулся, чтобы поднять его, а рядом лежала небольшая бумажонка, которую Н. И. также поднял. На ней рукой Сталина было написано: «Надо уничтожить бухаринских учеников!» Так Сталин изложил свои мысли на бумаге, затем случайно уронил записку на пол и забыл про нее. Таким образом, этот документ, говорящий о зловещих планах Сталина, оказался у Н. И. и пролежал в его письменном столе много лет. Н. И. решил избавиться от этой бумажонки, чтобы не быть обвиненным в чем угодно: в краже, подделке документа и т. д. Записка эта стала единственным документом, уничтоженным перед обыском.

Известно ли было о ней ученикам Н. И.? Не уверена, что всем. Точно могу сказать, что знали о ней Д. П. Марецкий и Ефим Цетлин. Записка, которую я своими руками уничтожила, взволновала меня, и я в письменной форме (понятно почему) спросила Н. И.:

— Следовательно, ты знал о планах Сталина?

— То, что Сталин мог расстрелять моих бывших учеников, я в то время не подозревал, думал, что он решил уничтожить мою школу путем изоляции их от меня (Сталин действительно первоначально отправил бывших учеников Н. И. на

периферию.— А. Л.), теперь я не исключаю, что он может их уничтожить физически,— получила я письменный ответ.

Кабинет Н. И. был в полном запустении. Птицы — два попугайчика-неразлучника — подохли и валялись в вольере. Посаженный Н. И. плющ завял; чучела птиц и картины, висящие на стене, покрылись пылью. Войдя в кабинет, я особенно остро почувствовала, что на пороге смерть. Мы сели на диван. Над ним по-прежнему висела моя любимая акварель «Эльбрус в закате». Я не выдержала и тряпкой смахнула пыль со стекла. Сразу же приоткрылась двуглавая ледяная, голубоватая вершина Эльбруса, сверкающая румяным отблеском заката.

— Анютка,— сказал Н. И.,— в этой квартире погибла несчастная Надя (он имел в виду Надежду Сергеевну Аллилуеву.— А. Л.), в этой же квартире уйду из жизни и я.

Н. И. в то время верил своим намерениям, на пленум он не пойдет, а, на худой конец, умрет на своей постели от смертельной голодовки. Если пленум не прислушается к его протесту, то, во всяком случае, Коба даст ему умереть у себя дома.

Я, пишущая эти строки десятилетия спустя, имею то преимущество перед Н. И., что знаю шаг за шагом дальнейшее развитие событий, чего Н. И. в тот момент твердо знать никак не мог. Он мог только предполагать, а предположения определялись во многом его неистовым жизнелюбием. Он знал цену Сталину, но надежда на жизнь минутами заставляла Н. И. верить ему.

Мы еще оставались в кабинете, как неожиданно вошли трое мужчин. Звонка в дверь мы не слышали, открыл им Иван Гаврилович. Эти трое сообщили товарищу Бухарину — так они его назвали,— что ему предстоит выселение из Кремля. Н. И. и прореагировать не успел — зазвонил телефон. У аппарата был Сталин.

— Что там у тебя, Николай? — спросил Коба.

— Вот пришли из Кремля выселять, я в Кремле вовсе не заинтересован, прошу только, чтобы было такое помещение, куда вместилась бы моя библиотека.

— А ты пошли их к чертовой матери! — сказал Сталин и повесил трубку.

Трое неизвестных стояли около телефона, услышали слова Сталина и разбежались к «чертовой матери».

Поразителен не только звонок Сталина за несколько дней до февральско-мартовского пленума, очевидно не случайное совпадение звонка с сообщением о выселении из квартиры. И без звонка можно было представить себе, как живет Н. И. в своей кремлевской «тюрьме». Но Коба все продолжал свою зловещую игру и остановиться не мог. Однако еще больше я была потрясена тем, что в такой страшный для Н. И. момент, когда на столе лежало пока еще не отправленное заявление пленуму о голодовке, он подумал о квартире, в которой разместилась бы его огромная библиотека. Следовательно, были у него проблески надежды на жизнь? Думаю, нет. Скорее, таким образом он рассчитывал прояснить ситуацию, вызвать Сталина на разговор, но тот разговаривать не пожелал.

Переселять Н. И. из Кремля было действительно бессмысленно, через считанные дни «Хозяин» обеспечил его квартирой в тюремной камере, хотя А. И. Рыкова все же переселить из Кремля успел.

Пережив очередную малообъяснимую выходку Сталина, мы отправились в нашу комнату. Но по пути вдруг Н. И. завернул в соседнюю — маленькую, пыльную, захламленную старыми вещами, скорее каморку, а не комнату, со сводчатыми потолками, с окном, закрытым старинной ромбообразной, с утолщениями на переплетениях решеткой. Он рухнул на пол, положил голову на старые пыльные сапоги, воскликнул:

— Вандалы! Варвары! — и разрыдался.

— Что ты делаешь, Николаша! Зачем тебе валяться в такой грязи, вставай скорей! Пойдем в нашу комнату!

— Нет, я хочу привыкнуть к камере, меня ждет тюрьма! Нет, я не уйду отсюда! Я не выдерживаю, Анютка! Не вы-дер-жи-ваю! Кроме всего прочего, я страдаю из-за того, что и тебе приходится вместе со мной все это переживать. Если б я только знал, если б я мог такое предвидеть!.. Как бы я тебя ни любил, если бы и не смог подавить в себе этого чувства, я бы удрал от тебя за тридевять земель! А я еще стремился иметь ребенка накануне такой беды...

Мне еле удалось уговорить Н. И. вернуться в нашу обитель.

К вечеру я отправила в Политбюро заявление Н. И. пленуму ЦК ВКП(б) о голодовке.

На следующее утро Н. И. простился с отцом, Надеждой Михайловной, ребенком и начал голодовку. Хотел проститься и с дочерью — Светланой — он называл ее Козечкой. Девочке в то время шел только тринадцатый год. Н. И. намеревался позвонить ей, но был до такой степени подавлен, что, опасаясь ее травмировать, сделать этого не смог. Голодовка легла на истощенный полугодовым «следствием», точнее, полугодовым позорным издевательством организм. Н. И. терял силы катастрофически быстро.

Через двое суток после начала голодовки Н. И. почувствовал себя особенно плохо: побледнел, осунулся, щеки ввалились, огромные синяки под глазами. Наконец он не выдержал и попросил глоток воды, что было для него моральным потрясением — смертельная голодовка предусматривала отказ не только от пищи, но и от воды — сухая голодовка. Состояние Н. И. меня настолько пугало, что тайком я выжала в воду апельсин, чтобы поддержать его силы. Н. И. взял из моих рук стакан, почувствовал запах апельсина и рассвирепел. В то же мгновение стакан с живительной влагой полетел в угол комнаты и разбился.

— Ты вынуждаешь меня обманывать пленум, я партию обманывать не стану! — злобно крикнул он так, как со мной еще никогда не разговаривал.

Я налила второй стакан воды, уже без сока, но Н. И. и от него решительно отказался:

— Хочу умереть! Дай умереть здесь, возле тебя! — добавил он слабым голосом.

Я почувствовала, что меня покидают силы, и прилегла рядом с Н. И. В тот момент у меня было ощущение, что мы умираем одновременно, падаем в бездонную пропасть. Я стойко держалась все эти страшные месяцы, но на этот раз разрыдалась. И слезы мои привели Н. И. в еще большее отчаяние. Он решил успокоить меня песней.

— Споем-ка с тобой, Анютка, песню, ту, что мы вместе с Клыковым любили петь.— И Н. И. тихо запел:

Чудный месяц плывет над рекою,
Все объято ночной тишиной.
Ничего мне на свете не надо,
Только видеть тебя, милый мой!..

Пение Н. И. меня рассмешило и на мгновенье отвлекло от мрачных дум.

— Бедный Клычини,— Н. И. вспомнил своего шофера,— что-то он теперь обо мне думает, хоть бы и его не загребли (о дальнейшей судьбе Николая Николаевича Клыкова мне ничего не известно).

После 16 января, когда была снята подпись Бухарина как ответственного редактора «Известий», и во время и после процесса Радека, Сокольникова, Пятакова, Н. И. заглядывал в газеты крайне редко. Радио почти не включали, в особенности после того, как Н. И. услышал чью-то речь, в которой было сказано, что он продался врагам Советского государства за тридцать сребреников. Даже Юрина няня, белоруска, с возмущением сказала:

— Что яны, гады, брешут! Это Николай Иванович, голоштанный, продался за тридцать сребреников?! Яны ему не нужны!

Но, кажется, 19 февраля, в тот самый день, когда должен был начаться пленум, Н. И. попросил включить радио. Захотел услышать, есть ли информационное сообщение о пленуме, на котором он не собирался присутствовать. Но как только включили радио, зазвучала траурная музыка. Мы насторожились: кто же умер? И через мгновенье узнали: 18 февраля 1937 года скончался Серго Орджоникидзе, как было сообщено, от паралича сердца. Диагноз мы не подвергали сомнению.

Невозможно передать состояние Н. И. Исторгнутый из жизни, точно прокаженный, Бухарин не имел даже возможности зайти в соседнюю квартиру, чтобы проститься с Серго, которого глубоко уважал.

— Не выдержал, бедный Серго. Не выдержал этого ужаса,— в полном отчаянии говорил Н. И.

Ах, если бы он знал, что Орджоникидзе скончался совсем не от паралича сердца... Хорошо, что не знал! Бухарин к этому времени понимал, что при абсолютной власти Сталина Орджоникидзе изменить положение был не в силах. Но одно его присутствие в зале пленума (декабрьского), возбужденный, взволнованный вид, одно слово недоверия, обращенное к ораторам-обвинителям, одна фраза, произнесенная им на Политбюро во время очной ставки с Пятаковым: «Ваши показания добровольны?» — уже согревали Н. И. Он был до такой степени травмирован смертью Орджоникидзе, что минутами, казалось, пребывал в состоянии прострации. Н. И. не исключал, что его голодовка, его отчаянный протест против фантастических обвинений, о котором С. Орджоникидзе, как думал Н. И., должно было быть известно, если только от него это не скрыли, и в то же время невозможность что-либо изменить ускорили роковой конец.

Н. И. знал, что Орджоникидзе относился к нему с любовью и уважением. Он ярко проявил свое отношение к Бухарину, когда его можно было проявить открыто. Еще в 1925 г. на XIV съезде ВКП(б), на котором Н. И. оказался главной мишенью нападок новой оппозиции, Орджоникидзе говорил:

«...Бухарина, товарищи, мы все знаем, а Владимир Ильич лучше всех знал его. Он Бухарина ценил очень высоко и считал его самым крупным теоретиком нашей партии... Я думаю, мы должны в этом вопросе остаться опять-таки на позиции Ильича. Бухарин один из лучших теоретиков, наш дорогой Бухарчик, мы все его любим и будем поддерживать. Товарищи, если бы у других наших вождей была та великолепная черта, которая имеется у Бухарина, когда он не только имеет смелость высказывать свои мысли, даже тогда, когда это идет вразрез всей партии, но он имеет смелость открыто заявить о своих ошибках, когда он в этом убеждается, если бы у других наших вождей было это прекрасное качество, нам было бы куда легче ликвидировать наши спорные вопросы...»

В 1929 г. возможности Орджоникидзе были весьма ограниченны, но, несмотря на это, он, по словам Н. И., как председатель ЦКК всеми силами старался погасить разногласия. После того как Н. И. был выведен из Политбюро, снят с работы ответственного редактора «Правды» и секретаря ИККИ и с 1930 по начало 1934 года работал в Наркомтяжпроме, Серго сохранил к нему прежнее уважение, был подчеркнуто внимателен. Семен Александрович Ляндрес рассказал мне, что ему не раз приходилось видеть, когда он заходил вместе с Н. И. в кабинет Серго, как тот всегда, даже если в кабинете находился народ, встречал Н. И. стоя и без дружеского рукопожатия разговор не начинал. Серго внимательно прислушивался к мнению Н. И. и во многом помогал ему. Он поддержал инициативу Н. И. в организации планирования научно-исследовательской работы, что позволило мобилизовать силы крупнейших ученых страны и подняло работу научно-исследовательских институтов. Словом, Н. И. и Серго связывали глубокая взаимная симпатия и уважение. Смерть Орджоникидзе поразила Н. И., точно ударом. Он лежал, не поднимаясь с постели, как мне казалось, в забытьи. Это кажущееся забвение в действительности было концентрированной сосредоточенностью: Н. И. сочинял поэму, посвященную памяти С. Орджоникидзе, в которой выразил свое потрясение и скорбь по поводу тяжелой утраты. Ослабевший от голодовки, он писал полулежа. Затем я перепечатала поэму на машинке в трех экземплярах. Первый был отослан жене Орджоникидзе Зинаиде Гавриловне, второй, как ни прискорбно об этом сообщить, виновнику гибели Серго. Третий экземпляр остался у меня.

К сожалению, стихи я не старалась запомнить, никак не могла предположить, что их заберут при обыске, несмотря на мою настоятельную просьбу оставить их мне. Запомнились только две заключительные строки:

Он был точно гранит средь пламенного моря
И рухнул в пену волн, как молния, гроза!

В связи со смертью С. Орджоникидзе и торжественными похоронами очередной жертвы Сталина пленум был отложен на несколько дней и назначен на 23 февраля. Было получено второе извещение о созыве пленума, повестка дня которого — в отличие от первой — состояла не из двух, а из трех пунктов:

1. Вопрос об антипартийном поведении Н. Бухарина, в связи с объявленной голодовкой Пленуму.
2. Вопрос о Н. Бухарине и А. Рыкове.
3. Организационные вопросы.

Дополнительный пункт, внесенный в повестку дня, возмутил Н. И. О каком антипартийном поведении по отношению к пленуму могла идти речь, когда обвинения против него носили характер не антипартийных, а уголовных и могли быть предъявлены не политическому деятелю, а скорее бандиту с большой дороги. «В общественной жизни такого не бывает»,— даже на процессе Бухарин сумел ввернуть такую фразу.

Но как ни был возмущен Н. И. отношением к его отчаянному протесту-голодовке, в то же самое время он был несколько озадачен дополнительным пунктом повестки дня пленума. Возможно, дела его не так уж и плохи, решил он, и Коба снова поразит неожиданностью, разыграет из себя человека, относящегося к позорному следствию с недоверием и пощадит их обоих — он имел в виду и Рыкова. Ах, какими наивными кажутся теперь его рассуждения! Хотя, может быть, учитывая момент — психологию погибающего Бухарина в сочетании с характером Сталина,— в этом его рассуждении были элементы здравого смысла.

Так или иначе в связи с дополнительным вопросом повестки дня Н. И. принял новое решение: на пленум все-таки пойти, не прекращая голодовку.

Бухарин голодал седьмые сутки, и был настолько слаб, что тренировался в ходьбе по комнате, чтобы дойти на заседание. Хотя идти было недалеко (пленум собрался в Кремле), я решила проводить Н. И. Дождаться, пока кончится заседание пленума или прийти примерно к его окончанию, чтобы встретить Н. И., сил у меня не было. Да и не было уверенности, что Н. И. не арестуют после первого заседания. Я поплелась домой и в волнении ждала. На этот раз Н. И. возвратился и рассказал мне следующее.

В вестибюле, у вешалки, Н. И. встретил Рыкова. Изможденный и исстрадавшийся сам, Алексей Иванович с болью смотрел на своего друга, до такой степени изменился Н. И. Затем Рыков сказал: «Самым дальновидным из нас оказался Томский». Напоминаю, если раньше, на декабрьском пленуме, Рыков рассматривал самоубийство Томского как отягчающее следствие обстоятельство и осуждал его поступок, то теперь, к февральско-мартовскому пленуму, понял, что следствие лишь называется следствием, в действительности, как выразился Алексей Иванович, «это расправа!»

При входе в зал заседания в присутствии уже пришедшего Сталина Бухарину сочувственно пожали руку лишь двое: Иероним Петрович Уборевич и Иван Алексеевич Акулов, в то время секретарь ЦИКа (оба они, как известно, были расстреляны). Акулов даже сказал: «Мужайтесь, Николай Иванович». Остальные, столкнувшись с Бухариным, его как бы не замечали.

Войдя в зал, Н. И. не удержался на ногах, он упал от головокружения и сидел на полу в проходе, ведущем в президиум. К нему подошел Сталин и сказал:

— Кому ты голодовку объявил, Николай, ЦК партии? Посмотри, на кого ты стал похож, совсем истощал. Проси прощения у пленума за свою голодовку.

— Зачем это надо,— спросил Бухарин Сталина,— если вы собираетесь меня из партии исключать?

Исключение из партии Н. И. рассматривал как наихудшую кару, хотя временами готов был отправиться к «чертям на рога», лишь бы жить.

— Никто тебя из партии исключать не будет,— ответил Сталин. Так продолжал он лгать, не стесняясь сидящих вблизи членов ЦК, до которых наверняка дошли слова Сталина. Очевидно, и они Сталину поверили.— Иди, иди, Николай, проси прощения у пленума, нехорошо поступил.

Как любил иезуит, чтобы все подчинялись его воле! А ведь слова эти произнесены были за четыре дня до ареста Бухарина, в то время, когда без сомнения, для «Хозяина» предрешен был не только его арест, но и расстрел.

Но Николай снова поверил Кобе. Трудно было вообразить, что можно лгать так бессмысленно. Н. И. еле поднялся на трибуну и попросил прощения за голо-

довку, вызванную состоянием крайнего возбуждения в связи с необоснованными обвинениями, которые он решительно отвергает. Он заявил, что отказывается от голодовки в надежде на то, что чудовищные обвинения с него будут сняты. Бухарин вновь потребовал создания комиссии по расследованию работы НКВД. Произносить длинные речи не было ни сил, ни смысла. Он спустился с трибуны и снова сел на пол, на этот раз не потому, что упал от слабости, а скорее потому, что чувствовал себя отверженным.

Никто из присутствующих на пленуме, кроме тех, кто оказался невдалеке и слышал диалог между Бухариным и Сталиным, не подозревал, что за прекращением голодовки и извинением за нее, кроется обещание Сталина не исключать Н. И. из партии, следовательно, как предполагал Н. И., и обвинения против него будут сняты.

Но вслед за Бухариным выступил Ежов и произнес обвинительную речь: блок правых с троцкистско-зиновьевским центром, блок правых с параллельным троцкистским центром, осужденным месяц назад. Следовательно, обвинения во вредительстве, организации кулацких восстаний, расчленении СССР, терроре, «дворцовом перевороте», в многочисленных неудавшихся покушениях на Сталина, в причастности к убийству Кирова оставались в силе.

Тем не менее Н. И. после «обещания» Сталина все еще допускал, что Коба радостно удивит пленум и выразит недоверие клеветническим показаниям, что в этом тайный смысл его «обещания». Зачем же в другом случае оно ему понадобилось? И в самом деле — зачем?.. Да и какая цель в его таинственном телефонном звонке?..

Н. И. впервые за неделю поел «из уважения к пленуму...» и, казалось, в какой-то степени стал спокойнее, но ночью спал тревожно, все чудилось ему, что кто-то стучит, выдалбливает стенку, смежную с квартирой Орджоникидзе (которого уже не было в живых) и подкладывает в нее контрреволюционные документы, чтобы обнаружить их во время обыска, как это сделано было на даче у Радека, если верить уборщице Дусе.

На следующий день Н. И. вернулся в безнадежном состоянии. Вновь, как и на декабрьском пленуме, яростно обвиняя Бухарина, выступили Молотов и Каганович. Во время речи Молотова Н. И. крикнул:

— Я не Зиновьев и не Каменев! Я лгать на себя не буду!

— Арестуем, сознаетесь,— ответил Молотов.— Фашистская пресса сообщает, что наши процессы провокационные. Отрицая свою вину, и докажете, что вы фашистский наймит!

«Вот где мышеловка!» — заметил Н. И., рассказывая мне об этом.

Не помню, кто из ораторов рассказал о проведенных очных ставках с Радеком, Пятаковым и Сосновским, о том, что те подтвердили блок троцкистов с правыми, так что понятно, чем занимались Бухарин и Рыков. Сталин добавил:

— Бухарин мне письмо прислал, решил взять Радека под защиту, вот какой хитрый конспиративный шаг был сделан! (Передаю в пересказе Н. И.)

Всплыло обвинение в причастности Бухарина, Рыкова, Томского к платформе Рютина. Бухарин и Рыков решительно отвергали осведомленность о платформе,— большую, чем об этом информировали в печати. Бухарин заявил, что если бы он имел особую точку зрения, то писал бы сам, для этого ему не нужен Рютин.

Но больше всего Н. И. был потрясен выступлением Калинина, нравственные качества которого ценил несравненно выше, чем Молотова и Кагановича. Выступление Калинина особенно ярко дало понять силу давления Сталина на членов Политбюро. Калинин говорил вяло, выжимая из себя каждое слово, как выразился Н. И., «зад чесал...». Безвластный «Всесоюзный староста» говорил с такой душевной болью, что Н. И. не смог испытать чувства ненависти, он искренне пожалел его. Напоминаю, это он, Калинин, при личном разговоре с Бухариным, сказал ему: «Вы, Н. И., правы на все двести, но власть мы упустили, а полезней единства партии ничего нет».

Члены ЦК, по рассказам Н. И., были растерянны и подавленны. М. И. Ульянова, которую связывали с Бухариным дружеские отношения, платком утирала слезы.

Пленум обсуждал вопрос о Бухарине и Рыкове 23, 24 и, возможно, на утреннем заседании 25 февраля (точно не помню, но это не суть важно). Для того, чтобы избежать общего голосования членов ЦК, Сталин предложил избрать комиссию, которой предстояло вынести окончательное решение по делу Рыкова и Бухарина. В комиссию вошли все члены Политбюро, от военных — И. Э. Якир, а также Мария Ильинична Ульянова и Надежда Константиновна Крупская, с целью косвенно прикрыть неслыханный произвол именем Ленина. Они уже испытали на себе власть Сталина, когда во время процесса Каменева и Зиновьева пытались их защитить и еле живыми вышли из кабинета «Хозяина». Безусловно, итог работы комиссии был предрешен Сталиным.

Февральско-мартовский пленум 1937 года (который для Бухарина и Рыкова был только февральским) продолжал свою работу. Но до оглашения постановления комиссии Бухарин, очевидно, и Рыков на заседаниях пленума не присутствовали и оставались около трех суток дома. Психологически Н. И. был готов к тому, что будет арестован и с жизнью придется расстаться. Тем не менее он, как никогда за эти мучительные месяцы «следствия», был собран. Надежду на оправдание при жизни он потерял и принял решение обратиться к потомкам: написать письмо будущему поколению руководителей партии — заявить о своей непричастности к преступлениям и просить о посмертном восстановлении в партии.

Мне было 23 года, и Н. И. был убежден, что я доживу до такого времени, когда смогу передать это письмо в ЦК. Но, будучи уверен, что письмо его будет изъято при обыске, и опасаясь, что в случае обнаружения его я буду подвергнута репрессиям (что я буду репрессирована независимо от письма, Н. И. не предвидел), он просил меня выучить письмо наизусть, чтобы иметь возможность рукописный текст уничтожить. Бухарин много раз шепотом читал мне свое письмо, а я должна была вслед за ним повторять, затем сама перечитывать и тихо повторять вслух. Ах, как он негодовал, когда я допускала неточность. Наконец, убедившись, что письмо я запомнила твердо, рукописный текст уничтожил. Бухарин писал свое последнее обращение к партии, последнее обращение к людям на небольшом столике в нашей комнате. На этом же столе лежала папка с письмами Ленина, адресованными Бухарину, которые он с большим волнением перечитывал перед арестом.

Наступил роковой день 27 февраля 1937 года. Вечером позвонил секретарь Сталина Поскребышев и сообщил Н. И., что ему надо явиться на пленум.

Стали прощаться.

Трудно описать состояние Ивана Гавриловича. Обессиленный страданиями за сына, старик больше лежал. В минуты прощания у него начались судороги. Ноги то непроизвольно поднимались высоко вверх, то падали на кровать, руки дрожали, лицо посинело. Казалось, жизнь его вот-вот оборвется. Но стало легче, и Иван Гаврилович слабым голосом спросил сына:

— Что происходит, Николай, что происходит? Объясни!

Н. И. ничего не успел ответить, как вновь зазвонил телефон.

— Вы задерживаете пленум, вас ждут,— напомнил Поскребышев, выполняя поручение своего хозяина.

Не могу сказать, что Н. И. особенно торопился. Он успел еще проститься с Надеждой Михайловной. Затем наступил и мой черед.

Непередаваем трагический момент страшного расставания, не описать ту боль, что и по сей день живет в моей душе. Н. И. упал передо мной на колени и со слезами на глазах просил прощения за мою загубленную жизнь; сына просил воспитать большевиком, «обязательно большевиком!», дважды повторил он свою просьбу, просил бороться за его оправдание и не забыть ни единой строки его письма. Передать текст его письма в ЦК, когда ситуация изменится, «а она обязательно изменится,— сказал Н. И.,— ты молода и ты доживешь. Клянись, что ты это сделаешь!» И я поклялась.

Затем он поднялся с пола, обнял, поцеловал меня и произнес взволнованно:

— Смотри, не обозлись, Анютка, в истории бывают досадные опечатки, но правда восторжествует!

От волнения меня охватил внутренний озноб, и я почувствовала, что губы мои дрожат. Мы понимали, что расстаемся навсегда.

Н. И. надел свою кожаную куртку, шапку-ушанку и направился к двери.

— Смотри, не налги на себя, Николай! — только это смогла я сказать ему на прощание.

Проводив Н. И. в «адово чистилище», я едва успела прилечь, как явились с обыском. Сомнений не было — Н. И. арестован.

Пришел целый отряд, человек 12—13, один из них врач в форме НКВД и в белом халате. Обыск с врачом... Небывалый случай! Вот как гуманно...

Обыском руководил Борис Берман, в то время начальник следственного отдела НКВД, позже он был расстрелян. Берман пришел точно на банкет, в шикарном черном костюме, белой рубашке, кольцо на руке с длинным ногтем на мизинце. Его самодовольный вид внушал отвращение. Он вошел ко мне в комнату и первое, что спросил:

— Оружие есть?

— Есть,— ответила я и протянула руку к ящику ночного столика, стоящего возле кровати, чтобы достать револьвер, тот самый, с надписью: «Вождю пролетарской Революции от Клима Ворошилова».

Вдруг Берман властно схватил меня за руку, не иначе, как из опасения, что я выстрелю в него, сам взял револьвер из ящика, прочел надпись и ухмыльнулся, очевидно, потому, что обнаружил неожиданный трофей, о котором, надо думать, «Хозяину» будет доложено.

— Еще оружие есть?

— Есть.— Было еще немецкое охотничье ружье, привезенное в 20-е годы А. И. Рыковым из Берлина в подарок Н. И.

Затем Берман попросил показать, где хранится архив Бухарина. Я решила уточнить, что он подразумевает под архивом. Оказалось, абсолютно все. Я направилась вместе с ним в кабинет, прошла через комнату Ивана Гавриловича, возле него сидел врач. В кабинете застала толпу мужчин и двух женщин. Все принялись за работу. Из сейфа вытащили протоколы заседаний Политбюро, стенограммы пленумов ЦК, опустошили все ящики письменного стола, шкафы с документами, связанными с многолетней работой Бухарина в «Правде», Коминтерне, НИСе, «Известиях». Забраны были книги, брошюры, написанные Бухариным, его опубликованные речи. Из комнаты, где мы провели вместе последние мучительные месяцы, взяли папку с письмами Ленина, черновой набросок программы партии — проект ее был принят на VIII съезде РКП(б) в 1919 г. Обнаружили в ящике стола и несколько писем Н. И., адресованных мне, с интересными описаниями явлений природы, которые я получила еще в детстве... Изъят был рукописный текст и перепечатанный на машинке экземпляр поэмы, посвященной памяти Серго Орджоникидзе. Как я ни просила Бермана оставить принадлежащие мне письма и рукописный текст поэмы,— «документы, к следствию отношения не имеющие»,— так я мотивировала (а, впрочем, что имело отношение к тому позорному «следствию»?),— мне было в этом отказано. Так было забрано все, все до клочка. Сваливали в огромную кучу, которая называлась «архив» и горой возвышалась в кабинете. Варварски уничтожались следы честной и бурной деятельности Н. И., чтобы стереть с лица земли образ действительного Бухарина и заменить его тем оболганным, что предстал на процессе, да и то не таким, как хотелось бы Сталину и его угодливым слугам. Затем подогнали к черному ходу грузовую машину, наполнили ее доверху (я видела это из окна кухни) и увезли, очевидно, в НКВД.

Берман, две женщины и несколько мужчин остались. Началась унизительная процедура: личный обыск.

Подняли Ивана Гавриловича с постели, он стоял подавленный и потрясенный. Дрожал от волнения, когда шарили в его карманах, перевернули все в кровати. Не видела, как обыскивали Надежду Михайловну. Зашли в комнату, где находился ребенок с няней. Няня Паша была настроена воинственно, не давала себя обыскивать, толкнула сотрудницу НКВД и крикнула: «Шукайте! Шукайте! Ничего здеся не найдете, бесстыдники!» Ребенок безмятежно спал. Пытались подойти к его кровати, но я решительно воспрепятствовала. Коляску, впрочем, обыскали.

Меня личный обыск миновал, я как была в ночной рубашке, так и оставалась в ней до конца. Но кровати — и мою, и Н. И.— тщательно проверили.

Ближе к двенадцати ночи я услышала шум, доносившийся из кухни, и пошла посмотреть, что там происходит. Картина, представшая перед моими глазами, ошеломила меня. Оказывается, «сотрудники» проголодались и устроили пир. Расположились на полу, мест за кухонным столом всем не хватило. На расстеленной вместо скатерти газетной бумаге я увидела огромный окорок, колбасу. На плите жарили яичницу. Раздавался веселый смех. От ужаса я поскорей удалилась в свою комнату и сразу же пришли на память только-только заученные слова из письма Н. И.: «В настоящее время в своем большинстве так называемые органы НКВД — это переродившаяся организация безыдейных, разложившихся, хорошо обеспеченных чиновников»... Эти-то исполнители, но кто их растлил?

Вслед за мной в комнату вошел Берман и пригласил поужинать с ними.

— Вы же ничего не ели, Анна Михайловна, может, и вы решили объявить голодовку по примеру Бухарина? — спросил Берман.

Я ответила дерзко:

— Голодовку объявлять я не собираюсь, но с вами ни за один стол, ни на один пол не сяду.

Берман иронически улыбнулся и сообщил мне, что он нас покидает, остаются только «ребята-сотрудники».

Я спросила, у кого я могу узнать о Н. И. «У меня и узнаете...» — легко согласился Берман, назвал свою фамилию, дал телефон, так я узнала, что он Берман.

Хорошо закусив, «сотрудники» запели. Комната Ивана Гавриловича была ближе к кухне. Каково ему было все это слушать? Опасаясь, что веселая компания разбудит ребенка, я зашла в кухню, чтобы их угомонить. «Сотрудники» и не подумали извиниться, но, к радости моей, сообщили, что уходят. В квартире воцарилась тишина. Однако ушли не все — женщины остались. Им было поручено перелистать все книги в библиотеке Бухарина в надежде, что, возможно, в книгах обнаружат что-либо порочащее его. Перелистывание страниц длилось сутки. Я не раз забегала в кабинет и в огромную мрачную комнату со сводчатыми потолками, где стояли стеллажи с книгами. Утомленные женщины не переставая листали, листали и листали книги. Сомневаюсь, чтобы они могли перелистать их все. Уходя, шкафы с книгами они опечатали.

Я несколько дней лежала, как мертвая. Наступила реакция после длительного нервного напряжения. Еще долго мучил меня воображаемый шелест перелистываемых страниц.

Надежда Михайловна, надев медицинский корсет (иначе передвигаться она не могла), буквально приползла ко мне в комнату. Нам нечем было утешить друг друга. Делились впечатлением об обыске, мрачными прогнозами о дальнейшей судьбе Н. И. и Рыкова и с болью наблюдали за ребенком. Юра ползал по комнате, искал и звал отца.

Через несколько дней, ослабевшая и подавленная многомесячной пыткой, я постаралась мобилизовать себя. Надо было заняться ребенком, который в течение полугода был лишен должной материнской заботы. Наконец, я торопилась получить сведения о Н. И., пока не выключат телефон-«вертушку». По номеру, который дал мне Берман, я могла соединиться с ним только с этого аппарата. Через неделю после ареста Н. И. я решила позвонить, чтобы узнать о нем. Ответил мужской голос, я узнала Бермана. Но, осведомившись, кто его спрашивает, сам же и ответил: «Бермана нет на работе». Звонила я ежедневно, Берман тоже стал узнавать мой голос и продолжал отвечать, что его нет, уже не интересуясь, кто его спрашивает. В конце концов я не выдержала и крикнула: «Зачем вы лжете! Я же узнаю ваш голос!» Берман мгновенно повесил трубку. Но в тот же день позвонил сам, очевидно, с разрешения Ежова. Продиктовал мне список книг, составленный Н. И. Это были немецкие книги, купленные в Берлине в 1936 г., по которым Н. И. работал еще дома. Мне было разрешено вскрыть опечатанный шкаф.

— Книги доставите следователю Когану, пропуск будет заказан,— сказал Берман.

Коля Созыкин позвонил как раз перед моим уходом, предложил проводить меня и по пути купил для Н. И. апельсины, возможно, на средства, отпущенные для этого НКВД. У подъезда здания на Лубянской площади мы расстались.

Коган сидел в небольшом, узком и длинном кабинете, похожем на гроб. Встретил меня подчеркнуто приветливо.

— Вот, Анна Михайловна, только вчера вечером в этой комнате я беседовал с Николаем Ивановичем — пили чай. Он у вас большой сластена, я кладу ему в стакан шесть кусков сахара.

— Удивительно, дома такого не бывало. Очевидно, тяга к сладкому от горькой жизни.— Я передала апельсины и книги.

— Почему же от горькой? Мы к Николаю Ивановичу относимся хорошо, и апельсины вы напрасно принесли, у него все есть, лучше ребенку отнесите.

Но я не взяла.

Затем Коган протянул мне небольшую записочку, написанную рукой Н. И.: «Обо мне не беспокойся. Меня здесь всячески обхаживают и за мной ухаживают. Напиши, как вы там? Как ребенок? Сфотографируйся с Юрой и передай мне фотографию. Твой Николай».

— Не иначе, как Н. И. здесь в санатории,— робко произнесла я; так поразило меня содержание записки — «ухаживают и обхаживают».

— Он имеет возможность даже работать.— И Коган протянул мне рукописный лист из главы его работы над книгой «Деградация культуры при фашизме».

Прочитав заглавие, я заметила:

— Не кажется ли вам парадоксальным, что фашистский наймит Бухарин работает над антифашистской книгой?

Коган покраснел:

— Это не вашего ума дело! Если вы будете касаться следственной темы, то сегодня мы видимся в последний раз. В противном случае я разрешу вам изредка звонить мне, приходить и узнавать о самочувствии Н. И.

Коган напомнил мне, что на записку Н. И. надо ответить. Я коротко написала о нашем «неплохом» самочувствии, больше о Юре. Фотографии обещала принести. Коган настаивал, чтобы я написала, что мы живем по-прежнему в Кремле. Не могла понять, какой был в том тайный смысл. Об этом я написать отказалась и заявила следователю, что жду того дня, когда смогу из Кремля выбраться.

Мы простились, следователь крепко пожал мне руку, я взглянула на него и неожиданно увидела в его глазах неописуемую скорбь.

Я поднялась, чтобы уйти.

— Телефон мой, телефон, Анна Михайловна, запишите!

Он записал его сам на маленькой бумажке и просил не злоупотреблять звонками, позвонить не ранее, чем через две недели, и принести фотографии.

Через две недели фотографии были готовы, я попыталась связаться с Коганом. После моих многократных звонков преемник Когана сообщил:

— Следователь Коган в длительной командировке, звонить ему не имеет смысла.

Кто пережил то время, помнит, что означала «длительная командировка». Звонить и узнавать о Н. И., передать фотографии мне разрешено не было.

Возвращаюсь снова к февральско-мартовскому пленуму. Информация, которую я получала непосредственно от Н. И., оборвалась 27 февраля, в день, когда Бухарин с пленума не вернулся и был арестован одновременно с Рыковым.

Дальнейшие подробности мне стали известны от жен, мужья которых присутствовали на пленуме и были арестованы после Бухарина, но расстреляны до него. Сведения я получила главным образом от Сарры Лазаревны Якир, Нины Владимировны Уборевич и жены Чудова, Людмилы Кузьминичны Шапошниковой. Все трое рассказали мне одно и то же. Поэтому считаю информацию точной.

Решение комиссии было оглашено в присутствии Бухарина и Рыкова, после чего они были арестованы и уведены с пленума под конвоем. Решение гласило: «Из ЦК вывести, из партии исключить, арестовать, следствие продолжить». Оно носило приказной характер: не было обсуждено и проголосовано пленумом.

Вряд ли обвиненные в предательстве Бухарин и Рыков смогли сказать свое последнее слово. Сомневаюсь, чтобы им была предоставлена трибуна. Слышала, что, уходя в тюрьму, они ограничились лишь репликами о своей невиновности.

Многие интересовались, были ли на февральско-мартовском пленуме выступления в защиту Бухарина и Рыкова. Могу с уверенностью сказать, что в присутствии Бухарина таких выступлений не было, об этом мне рассказывал сам Н. И.

Как вели себя члены ЦК, когда и Бухарин, и Рыков ждали решения комиссии и на пленуме отсутствовали, как вели себя после их ареста, мне знать не дано.

После моего возвращения в Москву просочились слухи из различных источников, будто бы в защиту Бухарина и Рыкова на февральско-мартовском пленуме выступили П. П. Постышев, в то время секретарь ЦК КП(б) У и Г. Н. Каминский, нарком здрав РСФСР. Они требовали доставить на пленум осужденных, но оставшихся в живых после недавно прошедшего процесса Г. Я. Сокольникова и К. Б. Радека и устроить им перекрестный допрос — очные ставки в присутствии собравшегося пленума. Однако Сталин счел излишним вызывать на пленум осужденных «врагов народа», заявив при этом, что очные ставки Бухарина с Сокольниковым и Радеком были проведены в присутствии многих членов Политбюро (Сокольников не вызывался на очную ставку в Политбюро. С кем и где проходили очные ставки А. И. Рыкова, мне неизвестно.— **А. Л.**) и что Сокольников и Радек подтвердили свои показания против Бухарина. И если члены ЦК доверяют своему Политбюро, повторные очные ставки не нужны. Так Сталин отверг предложение. Насколько эта информация точна, не решаюсь сказать. Момент был упущен, большинство членов ЦК было обречено. Постышеву и Каминскому оставалось жить недолго.

О мужественном поведении И. Э. Якира, входившего в комиссию по решению судьбы Бухарина и Рыкова и воздержавшегося от голосования, я узнала от жен Якира, Уборевича (Иерониму Петровичу сообщил об этом сам Якир), наконец, то же говорила мне жена Чудова. Учитывая ситуацию, поступок Якира можно приравнять к выступлению в защиту Бухарина и Рыкова.

Как вели себя в комиссии М. И. Ульянова и Н. К. Крупская, узнать от жен военных мне не удалось. В это они посвящены не были. Но Л. К. Шапошникова рассказала мне, со слов Чудова, что на комиссию они не явились. Иных подтверждений у меня нет. Но, похоже, так оно и было. Они-то хорошо понимали (уже знали), что изменить решение Сталина не в состоянии...

Однако я убеждена, что если документ голосования в комиссии (оно, как рассказали мне те же жены, было поименное) и сохранен для истории, он сохранен лишь в том виде, как того пожелал Сталин [1].

Решение комиссии — в действительности решение Сталина,— приравненное к решению пленума (за которое пленум даже не голосовал.— **А. Л.**), не соответствует тому, что сообщено было в печати:

«Пленум рассмотрел также (в числе других вопросов.— **А. Л.**) вопросы об антипартийной деятельности Бухарина и Рыкова и постановил исключить их из рядов ВКП(б)».

Это сообщение не согласуется с обвинениями, ранее предъявленными Бухарину и Рыкову в связи с показаниями на двух прошедших процессах; наконец, формулировка «антипартийная деятельность» не отражает той чудовищной клеветы, с которой обрушился на них Сталин:

«Два слова о вредителях, диверсантах, шпионах и т. д. Теперь, я думаю, ясно для всех, что нынешние вредители и диверсанты, каким бы флагом они ни маскировались, троцкистским или бухаринским, давно уже перестали быть политическим течением в рабочем движении, что они превратились в беспринципную и безыдейную банду профессиональных вредителей, диверсантов, шпионов, убийц.

[1] Именно поэтому документы о составе комиссии и ходе обсуждения резолюции, на которых основываются Г. Бордюгов и В. Козлов в статье «Николай Бухарин. Эпизоды политической биографии» (журнал «Коммунист», 1988 г., № 13, стр. 108), не вызывают у меня доверия.

Понятно, что этих господ придется громить и корчевать беспощадно как врагов рабочего класса, как изменников нашей Родины. Это ясно и не требует дальнейших разъяснений».

Так, в «двух словах», как бы между прочим Сталин разгромил и выкорчевал большевистскую ленинскую гвардию.

Полагаю, что приведенные выше «два слова» из речи Сталина были произнесены на февральско-мартовском пленуме 1937 г. уже после ареста Бухарина, чтобы не потерять возможность дальнейшего воздействия на него.

Долгие годы хранила я в памяти письмо-завещание Н. И. Будучи в ссылке, я несколько раз записывала письмо, но, опасаясь, что оно будет обнаружено, вновь уничтожала. Лишь в 1956 году после XX съезда КПСС в очередной раз записанный текст уничтожен не был. Он хранится у меня до сих пор на уже пожелтевших от времени листах.

Привожу полный текст письма Н. И. Бухарина:

БУДУЩЕМУ ПОКОЛЕНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПАРТИИ

Ухожу из жизни. Опускаю голову не перед пролетарской секирой, должной быть беспощадной, но и целомудренной. Чувствую свою беспомощность перед адской машиной, которая, пользуясь, вероятно, методами средневековья, обладает исполинской силой, фабрикует организованную клевету, действует смело и уверенно.

Нет Дзержинского, постепенно ушли в прошлое замечательные традиции ЧК, когда революционная идея руководила всеми ее действиями, оправдывала жестокость к врагам, охраняла государство от всяческой контрреволюции. Поэтому органы ЧК заслужили особое доверие, особый почет, авторитет и уважение. В настоящее время в своем большинстве так называемые органы НКВД — это переродившаяся организация безыдейных, разложившихся, хорошо обеспеченных чиновников, которые, пользуясь былым авторитетом ЧК, в угоду болезненной подозрительности Сталина, боюсь сказать больше, в погоне за орденами и славой творят свои гнусные дела, кстати, не понимая, что одновременно уничтожают самих себя,— история не терпит свидетелей грязных дел!

Любого члена ЦК, любого члена партии эти «чудодейственные» органы могут стереть в порошок, превратить в предателя-террориста, диверсанта, шпиона. Если бы Сталин усомнился в самом себе, подтверждение последовало бы мгновенно.

Грозовые тучи нависли над партией. Одна моя ни в чем не повинная голова потянет еще тысячи невиновных. Ведь нужно же создать организацию, «бухаринскую организацию», в действительности не существующую не только теперь, когда вот уже седьмой год у меня нет и тени разногласий с партией, но и не существовавшую тогда, в годы правой оппозиции. О тайных организациях Рютина и Угланова мне ничего известно не было. Я свои взгляды излагал вместе с Рыковым и Томским открыто.

С восемнадцатилетнего возраста я в партии, и всегда целью моей жизни была борьба за интересы рабочего класса, за победу социализма. В эти дни газета со святым названием «Правда» печатает гнуснейшую ложь, что якобы я, Николай Бухарин, хотел уничтожить завоевания Октября, реставрировать капитализм. Это неслыханная наглость. Это — ложь, адекватна которой по наглости, по безответственности перед народом была бы только такая: обнаружилось, что Николай Романов всю свою жизнь посвятил борьбе с капитализмом и монархией, борьбе за осуществление пролетарской революции.

Если в методах построения социализма я не раз ошибался, пусть потомки не судят меня строже, чем это делал Владимир Ильич. Мы шли к единой цели впервые, еще непроторенным путем. Другое было время, другие нравы. В «Правде» печатался дискуссионный листок, все спорили, искали пути, ссорились и мирились и шли дальше вперед вместе.

Обращаюсь к вам, будущее поколение руководителей партии, на исторической миссии которых лежит обязанность распутать чудовищный клубок преступлений, который в эти страшные дни становится все грандиознее, разгорается как пламя и душит партию.

Ко всем членам партии обращаюсь!

В эти, быть может, последние дни моей жизни, я уверен, что фильтр истории, рано или поздно, неизбежно смоет грязь с моей головы.

Никогда я не был предателем, за жизнь Ленина без колебания заплатил бы собственной. Любил Кирова, ничего не затевал против Сталина [1].

Прошу новое, молодое и честное поколение руководителей партии зачитать мое письмо на пленуме ЦК, оправдать и восстановить меня в партии.

Знайте, товарищи, что на том знамени, которое вы понесете победоносным шествием к коммунизму, есть и моя капля крови!

В 1961 году письмо впервые было передано в ЦК КПСС. В тот период, когда в Комитете Партийного Контроля пересматривались большевистские процессы, меня не один раз туда вызывали. Мне было сказано, что вопрос о реабилитации Н. И. Бухарина будет решен в ближайшем будущем. По неизвестной мне причине этого тогда не произошло.

С просьбой о реабилитации Н. И. Бухарина я обращалась многократно к ответственным партийным руководителям и в высшую партийную инстанцию — Президиумы съездов КПСС. Но безрезультатно.

В письме на имя Генерального секретаря ЦК КПСС М. С. Горбачева в адрес Президиума XXVII съезда я писала: «На ваших партийных билетах написаны слова Ленина: «Партия — ум, честь и совесть нашей эпохи». Действуйте соответственно этим качествам!

Думаю, что вы, как руководители партии, имеете лишь одну возможность ответа на мое заявление — ответить положительно.

Мне стоило огромных усилий пронести в своей памяти сквозь долгие годы тюрем, ссылок и лагерей текст письма Н. И. Бухарина «Будущему поколению руководителей партии». Хочется верить, что этим поколением будете вы».

* * *

Полувековая дистанция отделяет меня от описанных драматических событий. Я заканчиваю писать эти строки, когда Николай Иванович, наконец, посмертно восстановлен в партии. Справедливость восторжествовала. Но ничто не померкло в моей памяти, живут в душе слова Бухарина, обращенные в будущее: «Знайте, товарищи, что на том знамени, которое вы понесете победоносным шествием к коммунизму, есть и моя капля крови!»

---

[1] Эта фраза не означает, что Бухарин не оспаривал взгляды Сталина; он опровергает обвинение в стремлении организовать покушение на Сталина. (А. Л.)

Публицистика

Владимир Виноградов

ЕГИПЕТ: СМУТНАЯ ПОРА

ЗАПИСКИ ПОСЛА СССР

В жизни государств, которые относительно недавно обрели независимость, случаются времена подъема и спада, быстрого продвижения по пути к намеченной цели и остановки, или даже повороты с этого пути, а то и возвращения вспять. Многое зависит от внутриполитической крепости режима, степени влияния внешних сил, а иногда и от тех, кто стоит во главе государства.

В отношениях Советского Союза с Египтом были различные периоды, связанные с внутренними изменениями в этой крупнейшей стране арабского Востока. Мне довелось почти четыре года (1970—1974) работать советским послом в Египте, быть в 1973—1974 годах сопредседателем Женевской мирной конференции по Ближнему Востоку. Именно в те годы особенно наглядно проявилась роль американской политики, использовавшей сложное внутреннее положение страны после смерти Насера для проникновения на Ближний Восток, прежде всего в Египет. Поведение американских политиков в то время показало, какими методами они пользуются, насколько легко идут на нарушение обязательств и договоренностей. Большую помощь американцам в их политике на Ближнем Востоке оказал Анвар Садат, ставший президентом Египта после неожиданной смерти Гамаля Абделя Насера.

Ближний Восток по-прежнему остается одной из «горячих точек» планеты. Урегулирование ближневосточного конфликта, так сказать, «разблокирование» мирными политическими средствами, обеспечение всем людям региона мирной и безопасной жизни представляется одной из важнейших политических задач международной жизни.

Идея о решении конфликта сепаратными методами с целью навязать арабским государствам неравноправные условия (а для этого нужно устранить от участия в урегулировании Советский Союз) уже давно как нереалистичная отвергнута мировым сообществом, поскольку не ведет к подлинному миру. Общепризнано и вновь подтверждено Генеральной Ассамблеей ООН, что средством решения ближневосточного конфликта должна быть международная мирная конференция по Ближнему Востоку, в которой, помимо Египта и Израиля, должны принять участие заинтересованные государства региона, Советский Союз, США, другие члены Совета Безопасности ООН.

I

Холодным слякотным вечером 29 сентября 1970 года приехал домой из МИДа. Жена говорит: только что звонили оттуда, просили немедленно позвонить. Звоню. Оказывается, нужно срочно вернуться, а почему — неизвестно. В то время я курировал работу отдела Ближнего Востока и отдела Среднего Востока.

В кабинете первого заместителя министра Василия Васильевича Кузнецова узнал: получено сообщение от временного поверенного в делах СССР в Египте (тогда страна носила название Объединенной Арабской Республики) Владимира Порфирьевича Полякова, что внезапно скончался Насер, президент и премьер-министр Египта, вождь египетской нации, прогрессивный лидер араб-

ского мира, большой друг Советского Союза. Полякова пригласили срочно приехать в резиденцию президента. Там, в обстановке всеобщей суеты, на него сначала не обратили внимания, а затем сказали, что «надобность отпала». Вернувшись в посольство, он узнал, что умер Насер. В тот день президент провожал глав арабских государств после успешно проведенной им в Каире конференции, прекратившей братоубийственный конфликт между палестинцами и сирийцами с одной стороны, и Иорданией — с другой. На аэродроме почувствовал себя плохо...

Не хочется верить.

Вспомнились встречи с Насером в Москве и Каире. От него веяло силой и уверенностью. И дружелюбием. Насер стремился расположить к себе — был и гостеприимен, и шутливо задирист в деловом разговоре. Он дважды принимал меня в своем доме. Обсуждались различные аспекты арабо-израильского конфликта. В то время Египет вел так называемую «войну на истощение» — обстреливал из артиллерийских орудий позиции израильтян, занятые ими на оккупированном египетском Синайском полуострове, а точнее, по восточному берегу Суэцкого канала. Кроме того, египтяне совершали рейды небольшими группами коммандос на оккупированную территорию. В ответ израильская авиация безжалостно бомбила густонаселенные жилые кварталы городов и поселков — у египтян тогда противовоздушная оборона была слабой, ее только начали спешно создавать с помощью Советского Союза. Военные действия Египта, хотя и беспокоили израильтян, значительных результатов не приносили, они скорее были рассчитаны на то, чтобы постоянно напоминать миру о жестокой несправедливости, которую арабы были не в силах побороть,— о захвате Израилем арабских земель в ходе «шестидневной войны» 1967 года. Израильтяне в ответ проводили тактику устрашения, от которой страдало мирное население.

Насер, несмотря на элементы революционного романтизма, присущего почти каждому вождю прогрессивной победоносной революции, был реалистом, когда дело касалось ее судеб. Да, говорил он, перестрелки через канал успеха не имеют, и мы прекратим их, если израильтяне прекратят воздушные налеты, но наш народ готов пойти на жертвы, если это потребуется для победы.

Не сразу пришел Насер к мысли о мире с Израилем, если тот освободит оккупированные земли. Общеарабская идея о необходимости вооруженным путем устранить присутствие израильского государства в Палестине владела Насером так же, как и лидерами других арабских государств, упорно не признававшими решение Объединенных Наций 1947 года о разделе Палестины на два государства — еврейское и арабское. Поэтому, начиная разговор с Насером, я, откровенно говоря, мало надеялся на его согласие с тем, что после ухода израильских войск с оккупированных территорий между арабами и израильтянами должен будет наступить мир (а иной итог разговора был бы безрезультатным). Беседа с Насером в феврале 1970 года была оживленной, каждый приводил множество аргументов. Насер пытался даже несколько провокационно прощупать прочность наших позиций. «Ведь суть того, что называется арабо-израильским конфликтом,— сказал он,— всего лишь отражение советско-американского глобального противоборства». «Нет,— отвечал я,— это не наш конфликт, и вы хорошо это знаете. Это конфликт между прогрессивным арабским национализмом, арабским народом, борющимся за свою национальную независимость, и международным империализмом, верным служителем которого в данной ситуации является нынешнее правительство Израиля. Поэтому, естественно, мы на стороне правого арабского дела, а за спиной Израиля — США».

Насер рассмеялся: «Вы смелый, со мной ведь еще никто не пытался спорить. Но если серьезно, то египетский народ миролюбив, и мы будем готовы говорить о мире с Израилем, если он уйдет с оккупированных территорий. Напрасно изображают нас врагами людьми, жадными до крови. Мы готовы применять все политические средства для достижения нашей справедливой цели».

Последний раз в Москве Насер был летом 1970 года, лечился. Тогда поразил его вид — высокий, широкоплечий, хорошо сложенный человек, а лицо какое-то болезненно серое и в глазах затаенная боль.

В Москве, когда мне поручалось сопровождать Насера на переговоры в Кремле, он любил в машине поговорить на отвлеченные темы. Так, рассказал, что ранее увлекался баскетболом, любительским кино, а вот сейчас, увы, разводил он руками, ни на что времени нет. В самых официальных переговорах всегда подкупали его искренность, открытость, бесхитростность. Мол, смотрите, я высказал все, ничего у меня за пазухой нет. О человеке, пытающемся хитрить, он говорил презрительно: «Дипломат в полосатых брюках». Во время последнего приезда Насера на лечение завершился рекордный космический полет А. Николаева и В. Севастьянова. Насер, несмотря на недуг, был на торжественном приеме в честь космонавтов в Кремле, наградил их высшей наградой Египта — орденом «Ожерелье Нила». Вообще к советским людям Насер относился не только с уважением, но и с теплотой. Он знал, каково приходится нашим специалистам в непривычных условиях Египта — в армии, в промышленности, на стройках. Тяжело переживал он сообщения о потерях среди советских военных советников, мне говорил с горечью: «Ведь я их почти всех знал...»

Но это личные впечатления. Их тогда при сообщении о кончине Насера невольно заслонили соображения политические. Ушел из жизни руководитель крупнейшей арабской нации. Возглавив революцию, он повел свой народ по независимому пути развития. С его именем связаны прогрессивные преобразования в интересах трудящихся. Он создал массовую политическую организацию — Арабский Социалистический Союз, подумывал о создании партии, которую хотел назвать «Авангард социалистов». Логика борьбы за интересы своего народа, прежде всего за национальную независимость, привела его к убеждению в необходимости крепкой, братской дружбы с советским народом, прочных, искренних отношений между Египтом и нашей страной. Под влиянием прогрессивного Египта американский империализм был изгнан из района Ближнего Востока. Пробудившийся к независимости арабский мир преисполнился решимости самостоятельно, без советчиков извне, привыкших хозяйничать на Ближнем Востоке, определять свою судьбу. Насер был одним из основателей так называемого «движения неприсоединения», обладал высоким международным авторитетом.

...30 сентября в Каир на похороны Насера вылетел спецсамолет ИЛ-86 с советской делегацией, возглавляемой членом Политбюро ЦК КПСС, Председателем Совета Министров СССР Алексеем Николаевичем Косыгиным. В состав делегации входили начальник Генерального штаба СССР Маршал Советского Союза М. В. Захаров, я — в качестве заместителя министра иностранных дел СССР, только что назначенный главный советский военный советник генерал-полковник В. В. Окунев и находившийся в Каире временный поверенный в делах СССР в ОАР В. П. Поляков. Утром было принято решение запросить у правительства ОАР агреман на мое назначение послом СССР в ОАР. Более месяца в связи с кончиной нашего посла в ОАР, опытного дипломата С. А. Виноградова, посольство в Каире возглавлял временный поверенный в делах.

В Каире приземлились, когда сиреневые сумерки начали быстро густеть. Самолет окружила большая толпа. Спускаемся по трапу наугад — в темноту. Мелькают лишь лучики осветительных приборов — на аэродроме много операторов кино- и телехроники,— тогда видны возбужденные лица. Беспокойство и нервозность атмосферы ночного Каира передались и нам. С трапа удалось разглядеть, что советскую делегацию встречали Садат (он тогда был вице-президентом), военный министр Фавзи, Али Сабри... Алексей Николаевич потонул в объятиях плачущих египтян. Охранники решительно направились куда-то вперед. Идем за ними. В темноте натыкаемся на большую автомашину с номером за стеклом, садимся. Втискивается еще кто-то. «Куда?» «За всеми. Куда все». Машины выбираются одна за другой через толпу. Кажется, весь Каир на вечерних улицах. Люди облепили трамваи и автобусы, что-то кричат, жестикулируют, многие плачут, вздымая к небу руки.

В этот же вечер А. Н. Косыгин встретился с Садатом, затем выразил соболезнование вдове Насера. Вернувшись, Алексей Николаевич спросил наше

мнение: что она имела в виду, когда настойчиво повторяла: «Не покидайте н а с». Кого «нас» — семью покойного, или государство, народ египетский?

Я поехал к министру иностранных дел Махмуду Риаду, затем к главному редактору газеты «Аль-Ахрам» (в то время и министру национальной ориентации) Моххамеду Хейкалу — известному журналисту, с которым был давно знаком. Риад плачет. Что останется после Насера? Учение, партия, товарищи-единомышленники? Нужно ожидать активизации противников Насера и его политического курса во внутренних и внешних делах, выдержат ли настоящие насеристы? Хейкал говорит сквозь слезы: «Не верится, не верится, что вы, верные друзья Насера, уже здесь,— ведь он только что умер. Хорошо, что лучшие друзья прибыли первыми. Еще недавно Насер вспоминал о встрече с вами, даже высказывал пожелание, чтобы вас назначили послом в Каире». Пришлось рассказать о моем назначении.

...На похороны прибывают главы государств, премьер-министры, видные государственные деятели. Большинство обращается с просьбой о встрече с главой советской делегации. Алексей Николаевич сообщил мне, что Садат ответил согласием на мое назначение послом, просил передать, что встречи между нами будут регулярными — в каждый понедельник. Так что мне фактически в качестве нового советского посла приходится присутствовать при беседах А. Н. Косыгина с главами иностранных делегаций. Всех их волнует одно и то же, они говорят: Египет не должен потерять своей руководящей роли, кто бы ни стал во главе его, Египет должен оставаться лидером арабского мира, поэтому египтянам нужно избрать в качестве главы государства такого человека, который смог бы продолжать дело Насера, только при этом условии общеарабское знамя не выпадет из рук Египта. Меня поразило, что никто не называл имени Садата — его явно сбрасывали со счета.

На пост президента претендуют в первую очередь Садат, а также Хусейн Шафеи, один из нынешних лидеров с большим уклоном в ислам, и Али Сабри, который считается «левым»; называют д-ра Фавзи, старого и опытного дипломата, Закария Мохи-эд Дина, буржуазного деятеля правого крыла, а также других.

Незадолго до своей смерти Насер провел очередную перестановку руководящих кадров; говорят, он не любил, когда человек засиживался на одном месте и, следовательно, обретал чрезмерно большое влияние. Находившийся одно время «в опале» Садат получил пост вице-президента. Он не принадлежал к числу политиков с широким кругозором, выходцев из организации «свободных офицеров», которую возглавил Насер при совершении в 1952 году переворота, покончившего с прогнившей монархией. Переворот этот, поддержанный египетскими трудящимися, называют революцией. Хорошо знающие Садата египтяне говорили, что он служил предметом насмешек среди офицеров, так как свою недостаточную образованность пытался компенсировать позой, актерством, показным увлечением исламом.

Выбор кандидатуры президента — самое ответственное сейчас дело, особенно в условиях Египта, где авторитет вождя играет неизмеримо большую роль, чем, например, в западных странах, да и прав у президента здесь по традиции много. Ясно одно: р а в н о ц е н н о й з а м е н ы Н а с е р у н е т. Поэтому долго совещаются египетские политические деятели в поисках решения, которое устраивало бы всех. Как нам сообщили, согласились на том, что решение, во всяком случае, сейчас, должно быть наименее болезненным и наиболее логичным: отбросить споры о кандидатурах на пост постоянного президента, пусть президентом — хотя бы временно — станет вице-президент Анвар Садат. Потом разберемся.

Садат подтвердил нам, что действительно таково согласованное решение руководства: президент — Анвар Садат, но пост премьер-министра, который также занимал Насер, он отдает д-ру Фавзи (удовлетворяются интересы буржуазной части общества), вице-президентами будут Али Сабри («левая» группировка) и Хусейн Шафеи (исламская группировка). И волки сыты, и овцы целы — все претенденты удовлетворены.

...Ярчайшее солнце нещадно палит с вечно голубого египетского неба. Жара начинает уже с утра набирать силу. 1 октября — день похорон. Гроб с телом Насера будет доставлен вертолетом на остров Замалек на Ниле, где размещался в свое время штаб революционного командования, совершившего революцию под руководством Насера. Это символично. Процессия, в которой будут участвовать и иностранные делегации, проследует через мост на правый берег Нила и направится в восточную часть города — к месту захоронения в новой мечети, неподалеку от дома, где жил Насер.

Тревожная атмосфера Каира предыдущих дней, казалось, еще более накалилась. Толпы, толпы людей на улицах, над городом неумолчный шум от миллионов возбужденных голосов. Каир и сам-то город почти с восьмимиллионным населением, а тут переполненные поезда (люди на крышах вагонов, на подножках, на локомотивных площадках) доставили еще несколько миллионов человек из провинции.

По периметру территории нашего посольства снаружи перед оградой расставлены солдаты с деревянными щитами и палками на случай нападения толпы. Подумалось: зачем, кто будет нападать?

Мост с нашего берега на остров Замалек должен был быть расчищен и открыт только для проезда иностранных гостей. Но он уже буквально битком набит людьми, многие даже свисают с перил. Не помогают ни крики полицейских, ни взмахи палок. Не видно: то ли бьют, то ли устрашают. А Замалек-то рядом, через протоку Нила шириной не более 40—50 метров.

К советской делегации приехал Хейкал — ему поручено сопровождать нас. Но мы отрезаны, мост от нас в Замалек, оказывается, даже развели, чтобы отсечь толпу с левого берега. Хейкал и другие сопровождающие нас египтяне непрерывно звонят по телефонам. Наконец, за нами прислали катер, и вот мы у здания, откуда должно начаться траурное шествие.

Нам отвели отдельную комнату, Садат и Али Сабри практически неотлучно были с нами. Время от времени приходили поздороваться с А. Н. Косыгиным главы иностранных делегаций: тогдашние президенты Сирии — Атаси, Кипра — Макариос, Судана — Нимейри, Алжира — Бумедьен, премьер-министры Турции — Демирель, Ирана — Ховейда, Афганистана — Эттемади, король Иордании Хусейн, министр здравоохранения США Ричардсон, председатель исполкома ООП Арафат, представитель КНР Го Мо-жо и многие другие.

Послышался свистящий шум лопастей вертолета. Нас пригласили во внутренний дворик, посреди которого уже стоял простой, из грубо обструганных досок, прямоугольный закрытый гроб, обернутый египетским государственным флагом. Гроб обнимают, рыдая, какие-то люди, их оттаскивают военные, но тщетно. Кто-то пытается распоряжаться, кто-то командует...

Но вот иностранные делегации пригласили выйти на улицу и встать в некую то ли шеренгу, то ли колонну. Здесь порядок уже никто не устанавливает, каждая делегация пытается занять хоть какое-нибудь место. Наша делегация впереди. Слева от нас начинается шествие. Небольшая группа солдат с венками, шестерка лошадей везет орудийный лафет с гробом. Ездовые солдаты и те, что у стремян, рыдают. Атмосфера становится еще более встревоженной, взвинченной, кажется, вот-вот разразится что-то неожиданное. Отчаянно палит, буквально обжигает солнце, все мокрые, к небу поднимаются клубы пыли.

За лафетом с гробом должны идти иностранные делегации. Но куда там! Не подступиться. Раздумывать не приходится, мы силой вливаемся в процессию. Вскоре образуется невообразимая давка, упади — наверняка раздавят. А. Н. Косыгина унесло куда-то вперед, а вокруг меня образуется нечто вроде водоворота. Вижу испуганные лица Демиреля, Ховейды и Эттемади — их совсем затолкали. Останавливаюсь, раздвигаю локти, упираюсь в землю ногами. Сзади нажимают, бьют по спине, но передо мной небольшое сравнительно свободное пространство, в нем как бы под защитой турецкий, иранский и афганский премьеры.

Процессия движется хаотично: то одной стороной, то другой, то устремится вперед, то остановится. Крики, вопли. Вот опять остановка. Крики сильнее. Какие-то люди идут против течения, просят расступиться. За ними еще одна группа — на поднятых руках несут плетеное кресло, в нем, безжизненно откинувшись, с закрытыми глазами Садат! Что случилось с новым президентом? Стою — дальше идти бесполезно, спутников унесла рыдающая толпа. За мостом в нее вольется еще миллион человек.

Иностранным гостям рекомендуют далее не идти — опасно. Доложил А. Н. Косыгину о Садате. Он удивился, просил зав. протокольным отделом МИДа Б. Л. Колоколова, который был с делегацией, выяснить в чем дело. Египтяне «по секрету» сообщили, что Али Сабри стало дурно, как только прибыл гроб с телом Насера. Когда Садат обнаружил отсутствие своего вице-президента, ему тоже стало плохо.

Настойчивость, с которой нас пытаются убедить поскорее покинуть остров и направиться в резиденцию, откровенно говоря, настораживает. После долгих препирательств египтяне неохотно разрешили только одному А. Н. Косыгину навестить Садата и Али Сабри. Они лежали в одной комнате, постанывая и поглядывая друг на друга. Поблагодарили за внимание.

На следующий день, 2 октября, египетское руководство устроило деловые встречи с советской делегацией. Отмечу лишь несколько моментов. С советской стороны было вновь подтверждено, что наша линия на развитие всестороннего сотрудничества с Египтом остается неизменной. Мы хотели бы, чтобы наши отношения, как и при Насере, были крепкими, честными, и они могут быть таковыми,— разумеется, при условии взаимности. А. Н. Косыгин выразил убеждение в том, что новое руководство сумеет развеять подбрасываемую врагами Египта мысль: после Насера в стране-де создался вакуум власти, решительности и идей.

Садат, отвечая А. Н. Косыгину, несколько раз подчеркивал, что Насер — это друг, брат, учитель; египетское руководство не допустит внутренней борьбы; дружба с Советским Союзом — наследие Насера — еще более укрепится. Были затронуты и некоторые практические вопросы наших отношений с Египтом — оказание ему содействия в решении ряда проблем.

Через день советская делегация вылетела в Москву. Перед отлетом, когда вещи уже были собраны и мы в ожидании назначенного времени сидели на веранде, А. Н. Косыгин, нагнувшись ко мне, сказал: «Нелегко вам придется сейчас в этой стране, да и будущее не совсем ясно. Изучайте глубже, информируйте, сейчас здесь будет явно переходный период. Ну, желаю вам успеха» — и протянул мне руку. Я пожал ее и спросил: «А разве я с вами не вылетаю сейчас в Москву?» «В Москву? — переспросил А. Н. Косыгин.— А зачем? — И шутя добавил: — Мне было дано поручение привезти вас в Каир и представить новому руководству, которое дало немедленно согласие на ваше назначение. Так что обратно везти вас нет смысла...». Я возразил: «Но я ведь прибыл сюда совсем налегке, да и не по дипломатическим это будет правилам, политически не совсем хорошо...». «Политически? — снова переспросил А. Н. Косыгин.— А что нехорошо политически?» «Получится, что вы как бы сбросили нового посла на шею египтянам. Это может быть сочтено невежливостью. Вы получили агреман на мое назначение, я возвращаюсь с вами в Москву, а через четыре-пять дней прибуду в Каир по всем дипломатическим правилам — в качестве посла с верительными грамотами. Египтяне — народ восточный, они привыкли к заведенному церемониалу, да и других послов удивит появление нового советского посла *таким* образом...» «Хорошо,— сказал А. Н. Косыгин,— я вас понял и согласен с вами, но мне нужно получить согласие от нашего высшего руководства. Я сейчас переговорю по телефону, сообщу ваши соображения, скажу, что я их разделяю...» Вот не думал, что возникнет такое осложнение. А. Н. Косыгин после телефонного разговора сказал: «Ну, пляшите, едем вместе в Москву...»

Поездка в Каир на похороны Насера оставила какое-то тревожное впечатление: египетские руководители неуверенно говорили о будущем своей страны, ее политике, планах, намерениях, да и к новому президенту, чувствовалось, не было у них должного уважения...

13 октября я вернулся в Каир с супругой. Теперь в качестве Чрезвычайного и Полномочного Посла СССР в Объединенной Арабской Республике. Встречали уже знакомые сотрудники посольства: советник-посланник Владимир Поля-

ков, советники Вадим Кирпиченко, Александр Тетерин, Николай Раевский, Вадим Синельников, Александр Орлов, Павел Акопов, военный атташе контр-адмирал Николай Ивлиев. Я намеренно называю этих верных товарищей, отличных специалистов. Вместе с такими, тогда молодыми способными дипломатами, как Юрий Капралов, Вафа Гулизаде, Роберт Турдиев, они составили тот костяк посольства, который принял на себя основную тяжесть сложной работы в последовавшие годы, когда все яснее вырисовывалась линия президента Садата, направленная на отход от насеровского курса и во внутренней, и во внешней политике.

II

Президент Садат начал тянуть с церемонией вручения мною верительных грамот. По неписаным правилам дипломатического протокола: чем скорее после прибытия нового посла состоится эта церемония, тем яснее, что со страной посла отношения самые хорошие. Садат подавал другой знак. Вице-президент и министр иностранных дел пытались убеждать, чтобы я не придавал этому значения: «Действуйте в полную силу как Чрезвычайный и Полномочный Посол».— но интуиция подсказывала мне, что надо все поставить на место. Встретившись случайно в аэропорту с вице-президентом Али Сабри, я прямо сказал, что не могу приступить к своим обязанностям, пока у меня не примут верительные грамоты, подписанные Председателем Президиума Верховного Совета СССР.

Через день сообщили, что президент готов принять мои верительные грамоты. Церемония тогда была простая, даже не предусматривался традиционный обмен речами, однако приемная зала во дворце Кубба — официальной резиденции президента Египта — была набита фото-, кино- и телерепортерами. Я использовал эту возможность — произнес речь о братском отношении Советского Союза к дружественному Египту, сказал о наших глубоких симпатиях к египетскому народу, выразил уверенность в том, что отношения и сотрудничество между обеими странами будут продолжать так же плодотворно развиваться, как и при покойном президенте Насере; подтвердил готовность нашей страны оказывать Египту и его руководству разностороннюю дружественную поддержку. Ответная речь, которую пришлось произнести президенту Садату, также была выдержана в весьма дружественных тонах.

Затем в той же парадной форме я направился к гробнице Насера. Там уже собрался весь дипломатический состав нашего посольства. Возложение советским послом венка с лентой, на которой была надпись на арабском и русском языках: «Гамалю Абделю Насеру от посольства СССР в ОАР»,— привлекло большое внимание печати и телевидения, да и много жителей собралось. Хотелось сделать возложение советским послом венка на могилу Насера после вручения верительных грамот традицией, подчеркнуть связь времен.

Поражают достижения древнейшей цивилизации Египта, памятники которой так хорошо сохранились. Об этом чуде истории написано множество книг, а можно написать еще больше. Поэтому, хотя и хочется поделиться своими восторгами, делать этого не буду. Отмечу лишь то, что удивило меня больше всего: современные египтяне не чувствуют себя наследниками этого великого прошлого. Многие гордятся лишь тем, что живут в стране, где когда-то существовало нечто необычное, привлекающее людей со всего мира. Да ведь и то сказать, арабы в Египте — иноземные пришельцы.

Вместе с тем поразило и другое: явственное ощущение, что египтяне — даже самые простые люди — чувствуют себя хозяевами своей страны. Это проявлялось в большом и малом, особенно в манере держаться, разговаривать, в искреннем дружелюбии и бесхитростном гостеприимстве, оптимизме, гордости, умении переживать невзгоды, даже в веселом характере — недаром бытует шутка: Наполеон потерпел поражение в Египте от анекдотов о нем, сочиненных египтянами. Впрочем, вскоре после вступления Садата на пост президента анекдоты стали распространяться и о нем. Например, такой. Президент ехал в машине покойного Насера, у развилки дорог шофер спросил, куда повернуть: направо или налево? Садат поинтересовался: «А куда ездил Насер?» Шофер ответил: «Влево». «Хорошо,— сказал Садат,— включи сигнал левого поворота и... поезжай направо».

Разумеется, приятно было, что египтяне так дружелюбны к советским людям, особенно к специалистам, трудившимся вместе с ними на гигантской стройке Асуанской плотины и ГЭС, реконструкции Хелуанского металлургического комбината неподалеку от Каира, на других заводах, в сельском хозяйстве и, конечно, в армии.

...С самолета Асуанская плотина кажется маленьким полукруглым гребешком, воткнутым в желтое бесконечное пространство жаркой пустыни. С выпуклой части серо-стального гребешка разлилась удивительно голубая ширь гигантского водохранилища — «озера Насера», с другой стороны извивается узенькая темная полоска Нила. Официальное торжество по случаю завершения работ на плотине и электростанции, дававшей тогда половину электроэнергии всей Африки, состоялось в феврале 1971 года. Были развешаны флаги, плакаты и транспаранты, играли оркестры, состоялись митинги. Гигантский проект, который пытались сорвать и США, и ФРГ, был завершен с бескорыстной помощью Советского Союза. Насер пошел на тесное сотрудничество с нами, Асуан — вершина этого сотрудничества, торжество не только экономической мудрости и решительности Насера, но и его политической концепции.

Открыть плотину и ГЭС выпало Садату. На памятных досках, укрепленных на плотине и на электростанции в честь этого события, о Советском Союзе не упоминалось: «По воле аллаха и с помощью наших друзей мы построили плотину и открыли ее в присутствии президента Садата»,— а кто эти друзья — пусть потомки доискиваются. Но надо было видеть, с каким энтузиазмом приветствовали египетские строители советских людей во время торжеств. Они хорошо знали, что Советский Союз дал им громадный источник энергии, свет в дома, безопасность от засухи и разливов, гарантированное рыболовство, трудовые профессии. Так же горячо встречали советских людей на церемонии спуска морского судна, впервые построенного в Египте на верфи в Александрии, созданной при помощи Советского Союза. Люди облепили перекладины высотных башенных кранов, сидели на болтающихся крюках. Перед площадкой, где состоялась церемония, по старинному народному обычаю был заколот бычок, рабочие омывали руки свежей кровью, празднуя большое событие.

...Одна из первых забот любого нового посла — установление контактов, знакомство с местными деятелями и главами дипломатических миссий. Значит, визиты, визиты, да еще принимай визиты ответные. Нагрузка невероятная, а ведь дело не терпит, вопросы и проблемы возникают каждый день.

Поскольку в Египте трудились многие тысячи наших людей самых разнообразных специальностей, советская колония здесь была, пожалуй, больше других советских колоний за рубежом — помимо дипломатов, внешнеторговые работники, строители, хлопководы, военные, балетмейстеры, геологи, студенты, изучающие ислам в университете «Аль-Азхар», врачи, учителя, судостроители, металлурги, нефтяники, портовики, моряки, преподаватели в университетах, журналисты, артисты цирка, спортивные тренеры и т. д. У всех свои проблемы, большие и малые, всем требовались совет и помощь.

Почти со всеми руководящими деятелями Египта — вице-президентами Али Сабри и Хусейном Шафеи, премьер-министром д-ром Фавзи (одним из старейших политиков еще с фаруковских времен), министром иностранных дел Махмудом Риадом, военным министром Моххамедом Фавзи, председателем Народного собрания Лябибом Шукейром, секретарем ЦК Арабского Социалистического Союза и министром внутренних дел Шарави Гомоа, министром по делам президентства (фактически координатором разведывательной и контрразведывательной деятельности) Сами Шарафом и многими другими я познакомился прежде всего и довольно быстро. Они составляли ближайшее окружение Насера в его последние годы, он не раз посылал их в Москву для переговоров. Контакты с ними, притом хорошие, деловые, установились быстро, однако для полного осознания обста-

новки в Египте этого было мало. Многое зависело от президента. Впрочем, Садат уверял А. Н. Косыгина и меня, что ничего в отношениях между нашими странами не изменится, более того, они будут еще больше укрепляться.

Уже вскоре и как-то сразу новый президент изменился. Не стало искренности и доверительности, свойственных Насеру. Появилась подозрительность, президент выражал, причем явно нарочито, недовольство по самым надуманным поводам. Это было странно и некоторое время необъяснимо: ведь с советской стороны никаких изменений в доброжелательной, дружественной политике, в конкретных делах в отношении Египта не произошло. Значит ли это, что изменилась политика нового президента? Не так легко было сразу дать ответ. Трудность состояла и в том, что большинство государственных и политических деятелей, остававшихся на своих постах после смерти Насера, по-прежнему проявляло дружелюбие к Советскому Союзу.

Однако через два-три месяца некоторые из этих деятелей, правда, их было немного, стали иногда повторять придирчивые и необоснованные замечания Садата в адрес Советского Союза, главным образом по военным вопросам. Вдруг в какой-то газете или журнале появится то сообщение о «недостаточных» советских поставках, то заметка со ссылкой на мнение неизвестного «специалиста» о якобы невысоком техническом уровне поставок, то даже о выводе, к которому пришли... компьютеры: состояние «ни мира, ни войны» с Израилем выгодно лишь Советскому Союзу. Все это демобилизовало египтян, сеяло пораженческие настроения, неверие в собственные силы, бросало тень на друзей. А ведь не только египтяне, но и их враги — пожалуй, особенно они — прекрасно знали об огромной помощи нашей страны в укреплении обороноспособности Египта и решающем вкладе в поддержании ее на высоком уровне.

Стали заметны и расхождения между президентом и большой частью тех, кто занимал видные посты в правительстве и в Арабском Социалистическом Союзе — единственной тогда в Египте массовой политической организации прогрессивного идеологического характера. Президент стремился резко свернуть ее деятельность, принизить значение. Если Насер мечтал, что из АСС вырастет политическая партия — «Авангард социалистов», то Садат повел дело к его роспуску. Он понял, что не может единолично командовать в Высшем исполнительном комитете АСС, где при Насере сложилось нечто вроде коллективного политического руководства. Так, например, было с идеей Садата объединить Египет, Сирию и Ливию в Федерацию арабских республик (ФАР), разумеется, под руководством Египта, и практическими шагами в этом направлении. Непродуманная идея, к тому же выдвинутая без консультации с другими членами высшего руководства страны, была фактически осмеяна на заседании ЦИК АСС.

Весьма разнились два конгресса АСС, на которых мне довелось присутствовать. Первый раз — в ноябре 1970 года, когда в ЦИК АСС были те, кто избран еще при жизни Насера. Зал Каирского университета, где проходил конгресс, был заполнен преимущественно людьми в простой одежде, вели они себя весьма свободно, непринужденно, дым от сигарет стоял столбом, сквозь него живописно — графически — пробивались лучи прожекторов кинохроники, выхватывая фигуры, лица, позы. Вся обстановка создавала ощущение присутствия на собрании представителей народа, обретшего независимость, может быть, еще четко и не представляющего, что и как нужно делать, но уверенного, что уж раз он стал хозяином своей страны, то путь правилен.

В июле 1971 года аудитория национального конгресса АСС была уже другой — тот же зал заполнили хорошо одетые, явно довольные собой люди; лишь изредка попадался кое-кто в национальной одежде и «простецкого вида». Речи были почти одинаковые — сглаженные, славословившие антинасеровский курс Садата и, конечно, малосодержательные, хотя конгресс должен был принять программу национальных действий, хорошо разработанную Азизом Сидки и Зайятом, тогдашними руководителями АСС.

Садат делал основной доклад. Оратор он искусный, и общую часть произнес выразительно, артистично, отодвину' в сторону все бумажки. Но с программой фантазировать было трудно. Садат стал замолкать, тупо рассматривал листки,

которые падали с трибуны на пол, а оставшиеся вертел в руках так и сяк, демонстративно издеваясь над программой. Известно было, что она ему не по душе, так как предусматривала усиление государственного сектора в экономике и другие прогрессивные преобразования. Наконец Садат промямлил, что, поскольку у делегатов проект программы на руках, он о ней говорить не будет (!). Впрочем, принятую тогда программу вскоре заменили другой, которую президент и его новые помощники усиленно рекламировали как панацею от всех бед — это была программа «открытых дверей» («инфитах») для иностранного и своего частного капитала.

Но вернемся к событиям конца 1970 — начала 1971 года. Политику делают конкретные люди, они же проводят ее в жизнь. На первых порах Садату, видимо, противостояли те, кто занимал руководящие посты во времена Насера, секретари организации АСС в Каире и других крупных городах. Группа эта, хотя неоднородная и организационно не спаянная, служила естественным препятствием тщательно скрывавшимся единоличным устремлениям президента, о которых многие из его окружения тогда и не подозревали.

Видимо, наибольшую опасность для Садата представлял Али Сабри, поскольку намного превосходил его образованием и политическим кругозором. 28 марта 1971 года Садат президентским декретом без всяких объяснений снял Али Сабри с поста вице-президента. За несколько дней до того он сообщил мне об этом, интересуясь реакцией. Я заметил, что трудно комментировать новость, услышанную от президента. Единственное, чего бы я хотел,— напомнить дружеские пожелания, высказанные полгода назад А. Н. Косыгиным. Он говорил египетским руководителям о необходимости сплоченности, предотвращения раскола. Садат резко ответил, что сообщает мне об уже п р и н я т о м и м решении.

Внутренними делами — развитием промышленности, сельского хозяйства, транспорта, культуры, улучшением благосостояния — президент практически не занимался. Он взялся за вопросы внешней политики, прежде всего — конфликт с Израилем. Считал Садат себя и военным специалистом, но часто пользовался искаженной информацией своих генералов. Характерно, что он ни разу, несмотря на мои неоднократные предложения, не принял для доклада главного советского военного советника.

Разногласия между Садатом и другими руководящими деятелями обострились не только и не столько по вопросам внутренней политики, сколько внешней. Вскоре после вступления на свой пост Садат единолично, без консультаций с другими руководителями выбросил лозунг: «Сделать 1971-й год решающим!» Решающим в возврате Египту оккупированных Израилем в результате агрессии 1967 года территорий. Фактически Садат вроде бы заранее объявлял, что в 1971 году Египет начнет войну против Израиля. Лозунгом этим он пытался шантажировать и нас: «Я выдвинул лозунг, Советский Союз должен мне помочь его осуществить». Ему говорили: Советский Союз — друг Египта, и потому хотелось бы знать конкретные планы в отношении «решающего года», все ли взвешено, каков уровень боеспособности египетских вооруженных сил и т. д. Садат отвечал недовольно и кратко: лозунг политический, все остальное — дело профессионалов-военных. Хейкал в те дни говорил мне: «Еще никогда не было такого в истории, чтобы одно государство заявляло другому, что в таком-то году начнет против него войну; или это несерьезно, или — преступление». Однако в Египте с лозунгом смирились или... пропустили его мимо ушей — мало ли выдвигается лозунгов!

Особо сильные разногласия среди руководства возникли в вопросе об отношении к США. Во времена Насера американский империализм был практически изгнан из района Ближнего Востока. Теперь стало известно о контактах Садата с американцами без ведома других руководителей страны. Осуществлялись эти контакты с помощью агентов ЦРУ, укрывавшихся под вывеской «Отдела защиты интересов США» при испанском посольстве. После разрыва дипломатических отношений интересы США представляло посольство Испании. На здании американского посольства висел испанский флаг, там продолжала работать группа американцев, формально числящихся как бы в штате посольства Испании.

Однако шила в мешке не утаишь. Египетские руководители во время деловых встреч с тревогой говорили мне о возможном появлении американцев на Ближнем Востоке. Особенно их встревожило сообщение о предстоящем прибытии в Каир госсекретаря США Роджерса, так как эта «инициатива», видимо, была связана с каким-то поворотом в политике Садата.

При встречах с президентом я, разумеется, упоминал о своих беседах с другими руководителями Египта. Садат всегда поспешно говорил: «Я знаю, знаю, они об этом мне докладывали». Поскольку я ощущал нелады в высшем руководстве страны, приходилось проявлять осторожность: в конце беседы с Садатом в марте — апреле 1971 года как бы невзначай спрашиваю: «Скажите, пожалуйста, кто ваши лучшие друзья, с кем можно говорить вполне откровенно?» Садат отмечал: «Моххамед Фавзи, Шарави Гомоа, Сами Шараф» (ранее он называл также и Али Сабри). И, в свою очередь, интересовался: «А почему, посол, вы об этом спрашиваете?» «Просто хочу быть уверенным». Впрочем, Садат в это время посылал в Москву Али Сабри, Моххамеда Фавзи, Шарави Гомоа и Сами Шарафа для важных переговоров, каждый раз представляя их советскому руководству как своих верных друзей.

...Когда в Каир прибыл Роджерс, Садат демонстративно принимал его наедине. Тогдашний министр иностранных дел Риад вынужден был около двух часов сидеть в соседней комнате. Из Каира Роджерс срочно вылетел в Тель-Авив, а оттуда прибыли зам. госсекретаря США Сиско и чиновник госдепартамента Стернер. Их Садат также принимал наедине. Стало известно восклицание Роджерса после того, как Садат изложил свою позицию в ближневосточных вопросах: «Я не могу ничего большего требовать от Египта!» Уже тогда это звучало двусмысленно. Понимая, что заигрывание с американцами не может остаться незамеченным, Садат в разговорах со мной несколько раз просил передать в Москву его предложение о заключении с Советским Союзом Договора о дружбе и сотрудничестве. (Кстати говоря, эта мысль впервые зародилась еще у Насера.) По тону президента, однако, чувствовалось, что он никак не предполагает, что в складывавшейся в то время обстановке его предложение будет принято — явно рассчитывал на отказ. Это ему было для чего-то нужно.

Поздно вечером 11 мая 1971 года я был у Садата в его резиденции в Гизе на берегу Нила, неподалеку от нашего посольства. Беседовали в саду, вокруг бегали любимые собаки президента, прыгали на диванчик, где мы сидели, хватали за ноги. Садат лениво отгонял их, жаловался на трудности, усталость, говорил, как он любит размышлять ночью в одиночестве у воды. Обсудили очередные дела. Под конец я опять спросил, кто его ближайшие друзья. Садат усмехнулся и сказал: «Вы можете т а к ж е, к а к и я, полностью доверять Шарави Гомоа, Фавзи и Сами Шарафу — это самые близкие мне люди». Было это, повторю, 11 мая.

13 мая по договоренности с послом ГДР Мартином Бирбахом был устроен вечер дружбы двух посольств. Состоялся он на территории посольства ГДР. Немецкие товарищи позаботились о веселой программе, однако мне не удавалось отвлечься от забот, ведь чувствовалось (а кое о чем и было известно), что в Египте происходят важные события, еще до конца не понятные.

В середине вечера Бирбах отлучился по вызову на некоторое время, а когда вернулся, тихонько сказал мне: «Мой шофер слушал радио, передали сообщение об отставке секретаря ЦИК АСС, министра внутренних дел Шарави Гомоа!» «Отставке? — переспросил я.— С какой стати?» «Ничего неизвестно — больше ничего не передавали. То ли он сам подал в отставку, то ли ему предложили уйти. Возможно, шофер и ошибся». Конечно, это была новость большого значения. Пришлось уехать с вечера, тем более что еще предстояло побывать в Каирском театре оперы и балета на премьере балета «Дон Кихот», поставленного советскими балетмейстерами и педагогами. Там меня ждали, и если бы я не приехал, это могло быть неверно истолковано, особенно в тот вечер.

На дипломатической работе, как я не раз убеждался, очень важна интуиция — отражение накопившегося опыта. Чувствовалось, что вот-вот должно что-то произойти, и, воспользовавшись темнотой на сцене, я покинул театр... Мои товарищи, несмотря на поздний час, ждали меня в посольстве: они слышали сообщение по радио об отставке Гомоа. Теперь по радио передавали лишь марши и бравурную музыку — верный признак какого-то важного события.

Но вот новое сообщение: после того как президент принял отставку Гомоа, в отставку подали военный министр Фавзи, председатель Народного собрания Лябиб Шукейр, министр по делам президентства Сами Шараф, министр информации Фаек, секретари ЦИК АСС Абу Нур, Дауд и другие. Президент принял их отставку и сразу же назначил военным министром начальника генерального штаба генерала Садека и министром внутренних дел губернатора Александрии Мамдуха Салема.

Положение начало проясняться. Коллективная отставка, видимо, была попыткой оказать нажим на Садата, чтобы он считался с другими руководителями. Последствий, похоже, никто не продумывал. «заговорщики», как их окрестили позднее, подав в отставку, разошлись по домам и легли спать. Это не была, конечно, попытка переворота, перевороты так не совершают.

Удивил Садат. Отправив в отставку главную политическую фигуру — Шарави Гомоа, он как бы преднамеренно спровоцировал массовую отставку недовольных его линией, и ведь как быстро нашел замену руководителям двух ключевых сил — армии и полиции! Значит, эти кандидатуры у него уже были заранее подготовлены. Вспомнилось, что он сказал мне менее двух суток назад: «Вы можете т а к ж е, к а к и я, полностью доверять Шарави Гомоа, Фавзи и Сами Шарафу — это самые близкие мне люди». Зачем он т а к говорил мне, не был ли в его словах какой-то скрытый смысл?

Через день после ареста «заговорщиков» (а их, по примеру Садата, теперь иначе не именовали) президент принял меня во дворце Тахра. В отличие от Насера он обычно принимал послов в самых различных местах. Казалось даже, что он нигде не жил более одного дня. Так, меня он принимал в своем личном доме в Каире, во дворце Тахра, в официальной резиденции через улицу от своего дома (под эту резиденцию Садат приказал переделать музейное здание), в резиденциях в Гелиополисе, Хелуане, Александрии, Маамуре, Бург эл-Арабе, в своем доме в деревне, где он родился, в АСС, в резиденции на «Барражах». У Насера не было своего дома, он с семьей скромно жил в одной из воинских частей. Садат, используя свое положение, дешево купил дом на берегу Нила, роскошно, но безвкусно обставил, закрыл большую часть набережной для публики.

Выглядел Садат плохо: какой-то серый, осунувшийся, под глазами большие мешки, по лицу течет пот, который он не успевает вытирать бумажными салфетками. «Объяснения» его были весьма неубедительны, скорее саморазоблачительны: Али Сабри и другие руководители «подрывали» власть президента, вмешивались в его права. В качестве примера Садат назвал провал в АСС затеи с созданием Федерации арабских государств (Египет, Сирия, Ливия). И все. Далее он привел малоправдоподобную версию, которую усердно распространяла официальная печать. Однажды ему домой «неизвестный молодой человек» принес магнитофонные пленки с записью его, Садата, разговоров, а также разговоров Гомоа с Сабри, Фавзи и другими. Из этих записей он понял о «враждебных настроениях». «Когда, приняв отставку группы этих людей, я хотел обратиться к народу,— говорил он,— меня не пустили на радио и телевизионную станцию». Садат уверял, что события в руководстве Египта не должны отрицательно сказаться на отношениях с Советским Союзом. Он стремился успокоить, представить дело так, что эти отношения идут гладко. Ту же цель преследовали крупные публикации в вышедших на следующий день газетах о беседе Садата с советским послом.

Для того, чтобы привлечь широкие народные симпатии, была пущена в ход версия о том, что одним из главных преступлений «заговорщиков» была организация прослушивания телефонов «многих тысяч» египтян. По телевидению показали такую сцену: во дворе МВД Садат и новый министр внутренних дел Мамдух Салем с торжественными лицами бросают в большой костер коробки с магнитофонными лентами. Египтяне смеялись: зачем уничтожать дорогие импортные

магнитофонные ленты, ведь запись легко стирается, а кроме того, эти пленки — вещественные доказательства «преступлений».

Месяца через два я случайно встретил на пляже в Александрии Хейкала. Естественно, говорили и о недавних событиях. Хейкал не сочувствовал «заговорщикам», он тогда считал, что Садат в какой-то степени ему доверяет. Вспомнил, что Садат говорил ему о моих контактах с «заговорщиками». Мне почудилось, что он о чем-то не договаривает. Я сказал, что мне, естественно, приходилось с ними встречаться по делу, ведь они занимали высокие государственные посты, президент сам просил меня переговорить с ними по тому или иному вопросу, направлял их в Москву со своими поручениями. К тому же в общих чертах я всегда информировал президента о своих деловых встречах, и он неизменно и поспешно замечал, что знает о них. Между прочим, сказал я Хейкалу, несколько раз в марте-апреле, а последний раз — за два дня до событий, я спрашивал президента, кто его самые доверенные лица, с тем чтобы разговоры с ними могли быть откровенными, и каждый раз он называл тех, кого обвинил в заговоре и посадил за решетку; почему он мне давал именно такие рекомендации?

Хейкал прямо не ответил, но сказал, что Садат дал ему прослушать магнитофонную пленку с записью разговора советского посла и Сами Шарафа 9 мая. Я усомнился, и Хейкал предложил тут же поехать к нему в кабинет с тем, чтобы он мог продемонстрировать пленку. Я, разумеется, отказался — не хотел втягиваться во всю эту историю, даже проявлять интерес, хотя и твердо знал, что в этих разговорах не было ничего такого, что можно было бы инкриминировать советскому послу. Все же решил проверить Хейкала: «О чем же шел разговор?» «Сами Шараф утверждал, что действия Садата непредсказуемы, что он идет на сговор с американцами, неизвестно, что президент предпримет через час-два, а в конце спросил посла: что нам делать с президентом?»

Отметив про себя, что Хейкал довольно точно передал слова Сами Шарафа, я спросил: «Ну и что же ответил посол?» «Посол ответил,— улыбнулся Хейкал,— что это не его вопрос, Садат — ваш президент, вы должны сплотиться вокруг президента с тем, чтобы была единая воля в руководстве. Вот на этом месте Садат, который внимательно слушал пленку, с досадой хлопнул по арабскому обычаю руку об руку и воскликнул: «Ясалям! Не сорвался посол, а ведь по острию ходил!» «Что значит «сорвался», «не сорвался»? Как же иначе я мог ответить на такой вопрос?» «Не знаю, может, президент рассчитывал услышать что-то другое...» Иными словами, Садат хотел бы связать «заговор» с Советским Союзом.

Популярности Насера, широкой поддержки в стране Садат, судя по всему, не обрел. Революция 1952 года, возглавляемая Насером, многое дала трудящимся: земельную реформу, доступ к образованию, социальное страхование, законы о труде и т. д.,— но социальное неравенство не ликвидировала. Подавляющее большинство населения Египта неграмотно, а неграмотный, по ленинскому определению, стоит вне политики. Массы не принимали активного участия в преобразованиях и, следовательно, были пассивны в политике, а это значило, что незаконченная революция 1952 года не будет закончена, и власть перейдет тем или иным способом к тому, кто сильнее, а сильнее как была, так и осталась буржуазия, и президент Садат выражал ее интересы.

Народ не протестовал против осуждения соратников Насера. На суде прокурор требовал смертной казни для них, однако большинство было приговорено к каторге и длительным срокам заключения. Многие египтяне не знали существа противоречий Садата с прежними руководителями, свои намерения идти на сотрудничество с США, тайные контакты с американцами он тщательно скрывал. Внутри страны к нему спешно стали прибиваться правые, видимо, усилили давление американцы. Обе эти силы стремились добиться быстрого отхода Египта от дружбы и сотрудничества с Советским Союзом. Начались попытки исподволь искусственно создавать антисоветскую атмосферу, стали распространяться злонамеренные слухи и выдумки о нашей стране. Этому, разумеется, следовало воспрепятствовать.

В египетском народе, смею утверждать, глубоко укоренилось доброе отношение к Советскому Союзу, советским людям. Недружественные нам выступления Садата и некоторых египетских газет не находили поддержки в широких массах. Египетскому народу, хоть приходится ему нелегко, свойственны трудолюбие и жизнелюбие, скептическое, насмешливое отношение к вбиваемым сверху догмам, он не любит прописных истин, ему дай посомневаться. Большинство народа неграмотно, но он хорошо знает, что советские люди, Советское государство, вставшее рядом с Египтом в трудную минуту,— его друзья. Для простого египтянина пример нагляден. Он помнил высокомерного англичанина, хозяйничавшего в стране, а теперь видел скромного советского технического специалиста на заводе, стройке или военного советника, товарища, делящего с египетскими солдатами тяготы службы. С этим объективным обстоятельством — настроением народа — был вынужден считаться и Садат: произносил иногда и добрые слова о Советском Союзе, демонстративно обращался с просьбами заключить советско-египетский договор о дружбе и сотрудничестве, о приезде в Каир высоких советских руководителей.

Заключение такого договора объективно отвечало интересам укрепления отношений между народами обеих стран, сдерживало тех, кто стремился нанести по ним удар. На предложение Садата заключить с Советским Союзом договор о дружбе и сотрудничестве было дано согласие. Во время переговоров, которые велись в Каире, были приняты все предложения египетской стороны по тексту договора. (Позже, однако, Садат несколько раз говорил, что договор был якобы ему «навязан» советской стороной, что в нем не были учтены египетские замечания и т. д.) 27 мая 1971 года он был подписан. Это вызвало большой переполох в США. В Каир спешно прилетел эмиссар из Вашингтона Стернер. Пришлось Садату заверять этого мелкого чиновника, что известные госсекретарю намерения нисколько не изменились. Тем не менее в налаживавшихся египетско-американских отношениях возник холодок, и Садату нужен был повод, чтобы доказать США свою лояльность. Таким поводом стало присутствие в стране, по просьбе Насера и египетского руководства (и самого Садата в том числе), некоторого количества советского военного персонала — советников и технических специалистов, обучавших египтян.

Мне часто приходилось бывать и на советских военных кораблях, заходивших в Александрию.

Помню, какой ажиотаж вызвал дружественный визит в Александрию отряда советских военных кораблей — ракетного крейсера «Варяг», громадных противолодочных кораблей «Парижская коммуна» и «Червонная Украина» и мощной атомной подводной лодки. Они были пришвартованы к пассажирскому причалу порта, и со стоявших рядом иностранных судов, полных туристов, их без конца фотографировали, киноаппараты стрекотали как пулеметы.

Визит этот состоялся по просьбе Садата, однако в последний момент он отказался вылететь в Александрию, послал вместо себя военного министра. Отказ свой мотивировал «протокольными соображениями»: глава государства-де не может вступить на борт военного корабля другого государства, если на нем не находится глава этого государства. А все дело было в том, что посещение Садатом советских военных кораблей, конечно, не понравилось бы американцам, с которыми он в то время усиленно искал контакты. Он считал, что и так уже совершил ошибку, присутствовав накануне на военном аэродроме, где демонстрировали свои возможности военно-воздушные силы. Он убедился, что египетские ВВС сильнее израильских, а это нарушало его расчеты в торге с американцами.

И вот Садат решился еще сильнее компрометировать военное сотрудничество с Советским Союзом. Началась серия недружественных действий с целью бросить тень на советских военных, честно, в нелегких и непривычных условиях выполнявших свой долг.

В сентябре 1971 года американская разведка, видимо, перестаралась, ее агенты стали слишком открыто действовать против египетских вооруженных сил,

в результате чего возникло так называемое «дело Рандополо» — завербованного американцами египетского гражданина, подрядчика на строительстве оборонных объектов. С ним, как пишет Хейкал в своей книге «Дорога к Рамадану», поддерживала контакт американская шпионка Свейн, работавшая в американской миссии. Египетская контрразведка арестовала Рандополо и Свейн. И тут нам было заявлено, что советские военспецы недостаточно бдительны и тем пособничают израильтянам, поскольку Рандополо осуществлял шпионаж в пользу Израиля! Мы отвели эти смехотворные утверждения и резонно заметили, что за контрразведывательную деятельность в Египте несет ответственность только сам Египет. Позднее я с интересом прочел в книге Хейкала о том, что, когда все это вскрылось, резидент ЦРУ в Египте Юджин Троне откровенно написал тогдашнему начальнику египетской разведывательной и контрразведывательной службы генералу Ахмеду Исмаилу: «Я хочу заверить Вас, что какая-либо информация, которую мы получили через эту девицу, не попала в Израиль. Она была полезна лишь для Соединенных Штатов. Кстати говоря, она была тем самым полезна также и Египту, поскольку предоставила возможность американскому правительству отвечать правительству Израиля, что оно преувеличивает, когда ссылается на поставки оружия Советским Союзом Египту как на причину своих новых запросов оружия у США. Я хочу, чтобы Вы поняли, что не Египет является целью в этом шпионском деле. Как Вы знаете, США и Советский Союз вовлечены в глобальную конфронтацию... Мы шпионили за ними, а не за Вами».

Садат решил отпустить американскую шпионку, отмечает Хейкал, чтобы поддерживать именно этот канал связи, который становился для него все более важным: Садат — египетская разведка — ЦРУ — Американский совет национальной безопасности и Киссинджер.

В начале 1972 года большая группа советских офицеров, возвращавшихся на Родину, была подвергнута унизительному досмотру в Каирском аэропорту. Сделано это было, как открыто говорили египетские таможенники, чтобы подтвердить распускавшиеся слухи о том, будто русские вывозят золото из Египта. Конечно, никакого золота найдено не было. Против провокации пришлось принять решительные меры, вплоть до обращения к президенту. Вечером того же дня меня разыскал Садат — я беседовал с премьер-министром Азизом Сидки у него дома. По телефону Садат сказал, что ему стыдно, что кое-кто в Египте решил вознаградить таким неподобающим образом советских военных за их искренний труд, просил считать инцидент исчерпанным, то есть фактически извинился.

В интервью американскому журналу «Ньюсуик» Садат жаловался, что ему приходится платить Советскому Союзу большие суммы в твердой валюте за содержание советских военных в египетской армии. Поскольку ни то, ни другое не соответствовало действительности, во время одной из встреч с ним я, сославшись на это интервью, в шутку заметил, что советские военные удивляются, почему они не получают твердой валюты. Садат поморщился и наигранно обиженным тоном сказал: «Это все газетчики перевирают». Однако дать опровержение не согласился. Новый заместитель министра иностранных дел Фахми заявил в печати, что Советский Союз ненадежный союзник, он не пойдет с Египтом «до конца» (какого?). Министр иностранных дел Галеб, бывший посол Египта в Москве, был настолько возмущен этим, что добился отставки Фахми (позднее сам Галеб был снят с поста, а министром иностранных дел стал Фахми).

В июне 1972 года в Москве состоялась встреча Л. И. Брежнева с Р. Никсоном. Садат в связи с этим проявлял большую нервозность. Ему очень не хотелось, чтобы была достигнута какая-либо советско-американская договоренность по Ближнему Востоку. Свое будущее он уже связывал только с американцами, и договоренность могла нарушить какие-то его планы. Ощущая эту нервозность, мы предложили, чтобы после завершения встречи из Москвы приехал кто-нибудь из ее участников для информирования египетского руководства. Это было крайне необходимо, ибо краткая передача содержания переговоров не дает «эффекта присутствия»; кроме того, у египтян могут возникнуть вопросы. Приезд послужил бы и жестом расположения к Садату.

Визит Никсона между тем закончился. В коммюнике ничего не было сказано о существе решения ближневосточного конфликта, зато содержалась двусмысленная фраза относительно переговоров о необходимости сокращения поставок вооружения на Ближний Восток. Можно себе представить, какое впечатление произвела эта фраза! Ведь Садат внушал себе и другим, что Советский Союз якобы не удовлетворяет просьбы Египта, а США снабжают Израиль (и будут снабжать, несмотря на любые договоренности, как он утверждал) всем, в чем тот нуждается.

Из канцелярии президента время от времени интересовались, нет ли информации из Москвы, мы отвечали, что вот-вот ожидаем ее. Стало известно, что Никсон направил Садату *личное* письмо с изложением итогов московских переговоров. В нем пространно и явно неискренне сообщалось о возможности легко достигнуть договоренности с русскими по вопросам международной политики. (Дескать, смотри, Садат, с русскими мы можем поладить!) О ближневосточных делах, больше всего интересовавших Садата, *не было ни слова*. Искусственно создавалось впечатление, что либо СССР и США не считают этот вопрос важным, либо они договорились, но не хотят сообщать об этом Садату. Надо сказать, то был тонкий и умный ход психологического воздействия на Садата, и не в нашу пользу. Наконец мы получили из Москвы указание, о чем следует информировать Садата. Невольно вспомнился анекдот: «Телеграфный столб — это хорошо отредактированная сосна». Вот с этим-то, предчувствуя недоброе, пришлось идти к Садату. Он мрачно выслушал расцвеченное мною сообщение с добавлением другой интересующей его информации. Судя по всему, его уже *до встречи* задели запоздание информации и невнимание к нему, а может, подвернулся наконец удобный предлог «поговорить строго с Советами». Внезапно с большим раздражением он попросил передать в Москву без всякой мотивировки, что отказывается от услуг советских военных в Египте. Ни слова благодарности, ни слова о причинах этого даже формально необъяснимого решения, которое, несомненно, приведет к значительным политическим последствиям. Лишь язвительные замечания о советских военных. Сколько я ни пытался, президент не хотел говорить по существу. Пришлось напомнить, что советские военные прибыли в Египет в связи с настоятельными и многочисленными просьбами президента Насера, а затем и самого Садата, с единственной целью — помочь Египту стать сильным. Они не заслуживают тех слов, которые сказал о них президент, эти слова я им передавать не буду. Поскольку он стал вновь порочить наших военных, ничего иного не оставалось, как сказать, что, если у президента нет других сообщений, я передам его слова в Москву. С этим и ушел, кивнув головой на прощание.

Как рассказал позднее Хейкал, после моего ухода Садат вызвал его, премьер-министра Азиза Сидки, военного министра Садека и сообщил им о своем решении. «Что ты наделал?! — вскричал Хейкал.— Думаешь ли ты о последствиях для армии, для страны?» Он почувствовал себя уязвленным, поскольку именно в его присутствии Насер настойчиво просил советское руководство прислать военных, а теперь Садат единолично отменяет то, чего Насер так упорно добивался. Мы тогда, конечно, не знали, что, как свидетельствует Хейкал в своей книге «Дорога к Рамадану», в секретном послании президента США Никсона Садату говорилось, что тот может чувствовать себя спокойно и *делать все, что хочет*, но при этом помнить: ключом к решению ближневосточной проблемы владеют США. Недаром Киссинджер в своих воспоминаниях пишет относительно удаления советского военного персонала, что получил от Садата все, не дав ничего.

Конечно, советские военные советники и специалисты покинули Египет. В египетской армии трогательно прощались с ними, многие офицеры и солдаты плакали, говорили, что ощущают стыд за действия своего президента.

Мы много размышляли над решением Садата, ослаблявшим Египет и в политическом, и в военном плане. Несомненно, оно было продумано заранее. На что же он рассчитывал? Наличие советских военных не только укрепляло египетскую армию на срок, пока ее подготовка достигнет необходимого уровня, но и удерживало Израиль от крупных военных акций против Египта. Достаточно упомянуть о полном прекращении воздушных налетов израильтян на египетские населенные пункты.

Английский посол с необычной откровенностью говорил мне через несколько дней после того, как было опубликовано решение Садата: «Если раньше, когда в Египте присутствовали советские военные, мы еще как-то стремились к ближневосточному урегулированию, поскольку в этом случае советские военные ушли бы, то теперь у нас нет побудительных стимулов заниматься урегулированием». Таким образом, Садат, кроме всего прочего, отказался от сильного рычага в руках арабов, который мог содействовать урегулированию ближневосточного конфликта. Значит, у него были какие-то планы в отношении США, он как бы подавал знак: «Я с вами!» Но сближение Египта с США, всячески поддерживающими Израиль, необходимо как-то обосновать, оправдать. Это было возможно только в том случае, если бы США явились в необычном для них облике миротворца на Ближнем Востоке.

В 1973 году на Ближнем Востоке произошло событие мирового значения, проливающее свет на пути появления здесь Соединенных Штатов: разразился военный конфликт, в котором непосредственно участвовали Египет, Сирия и Израиль,— так называемая «октябрьская война», или «война Рамадана».

III

Разрешение арабо-израильского конфликта, а точнее, возвращение оккупированных Израилем арабских, в том числе египетских, земель и обеспечение прав арабского народа Палестины, было для Египта не только главнейшей внешнеполитической проблемой, но и в значительной степени проблемой внутриполитической. И потому понятно стремление патриотически настроенных кругов поскорее добиться восстановления справедливости. Для этого Насер укреплял экономику страны, восстанавливал с помощью Советского Союза вооруженные силы, предпринимал крупные политические шаги на международной арене, где Египет обрел много искренних друзей.

Нельзя было не видеть, что после смерти Насера вопрос о ликвидации последствий израильской агрессии все чаще становился предметом политической спекуляции во внутриполитической борьбе Садата со своими противниками, а во внешней политике — средством в попытках оказать давление либо на Советский Союз (чтобы переложить на него ответственность за сложившееся положение, а заодно выдвинуть просьбы о получении особой помощи), либо на США (чтобы привлечь внимание к намерениям изменить политический курс страны и получить себе в этом деле союзника).

Новый президент Египта, так же, как и Насер, хорошо понимал, что решить ближневосточный конфликт без участия Египта — самой крупной и развитой арабской страны с наиболее мощными вооруженными силами — невозможно. Поскольку Израиль, имея за плечами безоговорочную поддержку США, занимал непреклонную позицию в отношении захваченных им территорий, решение конфликта мирными путями для многих арабских стран представлялось малореальным. Оставалось надеяться только на силу, ее применение было законным, ведь речь шла о возврате захваченного в результате агрессии. Без Египта меряться силами с Израилем другие арабские государства вряд ли решились бы.

Несомненно, Садат понимал: Израилю проще пойти на договоренность о возврате собственно египетских земель — пустынного Синайского полуострова — в обмен на мир, чем восстановить права палестинцев, освободить Западный берег реки Иордан, возвратить Сирии Голанские высоты, или уйти с ливанской территории. Ценой сепаратного мира с Израилем Египет всегда мог получить обратно свою территорию, но это означало бы предательство общеарабских интересов, в первую очередь интересов палестинцев, Сирии, Иордании и Ливана. Насеру и в голову не приходила такая возможность. Садат же решил ее использовать. Именно на этом пути он мог рассчитывать на поддержку Соединенных Штатов. Надо было лишь найти средства для «логичного» появления США на Ближнем Востоке. Укреплению связей с США мешали развитые отношения Египта с Советским Союзом. Садат пошел, как мы знаем, на их ухудшение, несмотря на то, что это ослабляло Египет и общеарабский фронт.

...После такого вызывающего жеста, как удаление советского военного персонала из Египта, меня часто спрашивали: разве не было сразу видно истинное лицо, не был понятен истинный курс Садата? Конечно, многие детали, и важные в том числе, тщательно скрывались, они стали известны позже, но общее наше представление о новой линии египетского руководства оказалось правильным. Однако наша политика строится в расчете не на те или иные личности.

Генеральной линией на Ближнем Востоке было и остается достижение справедливого мира для всех государств региона. А это немыслимо без возврата оккупированных Израилем арабских земель, обеспечения неотъемлемых прав палестинцев, вплоть до создания их собственного государства, обеспечения безопасного существования всех народов, включая народ Израиля.

...В самом начале своего правления, как уже говорилось, президент Садат провозгласил: «1971 год станет решающим в арабо-израильском конфликте!» Как, когда, какими средствами, на каких основах — не пояснялось, «решающий» — и все тут. Позднее новому окружению Садата пришлось все же давать разъяснения: 1971-й год «решающий» в том смысле, что должно быть принято р е ш е н и е, ч т о с л е д у е т п р е д п р и н я т ь д л я р е ш е н и я проблемы. Это была уже увертка. Затем «решающим» был назван 1972 год. Причину того, что в тот год тоже ничего не было «решено», Садат свалил на Советский Союз, который, дескать, был отвлечен оказанием помощи... Индии! Наступил 1973 год. Усилились закулисные контакты Садата с американцами.

Линия американцев в давлении на Египет, главным образом на его президента, состояла в постоянном внушении ему мысли о том, что только США могут сдвинуть дело ближневосточного урегулирования, то есть «оказать влияние» на Израиль. Но не «бесплатно»; цена — уменьшение, а затем и полная ликвидация так называемого «советского присутствия» на Ближнем Востоке, в первую очередь в Египте. Если не будет «советского военного присутствия», Израиль заключит мир на приемлемых для Египта условиях. Это была, конечно, спекуляция чистейшей воды, что и подтвердилось позднее, однако кое-кто в Египте поддавался ей, прежде всего Садат.

В конце лета 1973 года в США был направлен помощник президента по вопросам национальной безопасности Хафез Исмаил, который, как оказалось, имел секретные встречи с Никсоном и Киссинджером. Для маскировки Хафез Исмаил посетил также Лондон и Москву. Что-то готовилось. Еще до этого, к маю 1973 года, Садат сконцентрировал в своих руках всю власть, какая только возможна. Он был и президентом с широчайшими полномочиями, и премьер-министром, и верховным главнокомандующим, и председателем Арабского Социалистического Союза. Мало того, он стал еще номинальным президентом Федерации арабских республик и обладателем уж совершенно невероятного титула — верховного военного правителя.

Контакты с нами египтяне поддерживали, хотя и не весьма интенсивно. Искренности в них, во всяком случае, было все меньше. 22 сентября после возвращения из отпуска я посетил Садата. На этот раз передали, что он примет меня в Бург-эл-Арабе — местечке западнее Александрии посреди пустыни.

На площадке у небольшого домика стояло несколько больших легковых машин, по номерным знакам можно было судить, что они из тех, которые выделяются для иностранных государственных гостей. Оказалось, Садат принимал Нельсона Рокфеллера и еще каких-то американцев. Нас провели в одну из приемных, где пришлось ждать. Прошло более двадцати минут после назначенного времени, и мы сказали дежурному офицеру, что если президент так занят сегодня, то пусть он назначит нам другое время. Офицер куда-то ушел, а вернувшись, сказал, что президент сейчас освободится. Действительно, американцы вскоре уехали, их провели через другие двери, чтобы мы с ними не встретились.

Президент, видимо, находился под впечатлением только что законченного разговора, глядел куда-то мимо меня, долго не мог сосредоточиться. Наконец начал, тщательно подбирая слова: «Обстановка с ближневосточным урегулированием становится невыносимой. Что случится, если взорвать обстановку? Что могут подумать об этом другие?» Неужели Садат решил начать военные действия? А как же его заверения, что, находясь в тесных отношениях с Советским Союзом, он будет обмениваться мнениями, консультироваться, ведь военные действия — крайнее средство в политике, и в большинстве случаев результаты их непредсказуемы. Каждая сторона верит, что победит она, а побеждает лишь одна — другая проигрывает, и чаще всего та, что начинает войну.

3 октября я был у Садата в его частном доме неподалеку от нашего посольства. Он говорил о постоянных провокациях Израиля, о возможности вооруженного ответа Египта на «большую провокацию», а дальше «будь, что будет». На мой вопрос, есть ли какие-либо соображения о времени и масштабах ответных действий, Садат ответил, что, если понадобится, он обязательно все сообщит «в свое время». Опять ничего конкретного он не сказал, однако попросил меня не выезжать из Каира, быть в пределах досягаемости по телефону. На следующий день я сообщил президенту о принятом Москвой решении отправить из Египта членов семей советских работников, попросил содействия в этом.

В очень короткие сроки мы вывезли более 2700 советских детей и женщин, а также около тысячи членов семей сотрудников посольств и специалистов других социалистических стран. Отправляли, как правило, в Александрию на советские суда или по ночам, пока не был закрыт аэропорт, спецрейсами самолетов из Каира. В посольстве работал штаб по эвакуации. Эвакуация была произведена так, что не привлекла к себе ненужного внимания. Нам же пришлось спать по два-три часа в сутки. Не могу не отметить работу в те дни экономического советника Н. А. Лопатина, торгового представителя А. И. Лобачева, советника П. С. Акопова, первого секретаря В. Н. Юдина.

6 октября Садат, пригласив к себе во дворец Тахра, сообщил, что «ситуация находится в постоянном развитии». Израильские провокации усиливаются, и «можно ожидать событий» через... четыре часа. Он хотел бы, чтобы советский посол был рядом с ним, однако это невозможно, так как посол должен поддерживать связь с Москвой. И хотя Садат вновь уклонился от какой-либо конкретной информации, как мы ни пытались ее услышать, стало ясно: сегодня начнутся военные действия. Вот каким образом «в свое время» сообщил президент об этом важнейшем событии — менее чем за четыре часа до начала военных действий. Вот вам и обещание консультироваться![1].

Я поспешил вернуться в посольство. Было около полудня. Примерно в 14 часов в резиденции зазвонил городской телефон. Я попросил секретаря Вафу Гулизаде взять трубку. Оказалось, со мной хочет говорить президент. Я усомнился: президент, и звонит по простому городскому телефону? Взял трубку — слышу ликующий голос Садата: «Сафир! Мы на восточном берегу канала! Египетский флаг на восточном берегу! Мы пересекли канал!» Так началась «октябрьская война», оказавшая столь большое влияние на развитие всей обстановки на Ближнем Востоке...

[1] В своей книге «Дорога к Рамадану» Хейкал свидетельствует, что вопрос о том, информировать или нет советского посла о начале боевых действий, вызвал большую дискуссию.

В октябре — начале ноября с президентом приходилось встречаться практически ежедневно, иногда и по нескольку раз. Часто велись телефонные переговоры — по его указанию у меня был установлен аппарат закрытой правительственной связи «Би-би-экс».

Непрерывно работала радио- и телефонная связь с Москвой. В посольстве была введена строгая светомаскировка, оборудованы бомбоубежища, созданы аварийные запасы продуктов, питьевой воды, аккумуляторных фонарей, свечей, спичек, медикаментов. С помощью оставшихся женщин организовали общественное питание в помещении школы. Одним словом, перешли на казарменное положение. Спали не больше трех-четырех часов в сутки.

Военные действия вначале развивались успешно для египтян. За несколько часов они форсировали Суэцкий канал практически на всем протяжении и закрепились на его восточном берегу. Ранее на эту часть операции планировалось не менее суток. По расчетам, потери египетских войск, непосредственно участвовавших в форсировании канала, могли составить до одной трети, фактически они были порядка 10—15 процентов. Контратаки израильтян успеха не имели, да и сила их сопротивления была незначительна. Зенитно-ракетные комплексы египтян поставили непроницаемый барьер израильским самолетам, создали зенитный «зонтик» над своими войсками. А на земле с необычайно высокой точностью действовали противотанковые ракетные средства — «малютки»; израильтяне сразу же понесли громадные потери в танках. Отлично показали себя в жестких условиях раскаленной пустыни находившиеся на вооружении египетской армии стрелковое оружие и самоходная техника.

Садат был в восторге от вооружения, постоянно в беседах со мной в самых выспренних выражениях благодарил Советский Союз, восклицал: «Настанет время, и я расскажу о великой помощи советских братьев!» Но дело было не только в высоких качествах советской военной техники, показавшей свое превосходство над находившейся на вооружении у израильтян. Сказалась долголетняя кропотливая работа советских военных советников и технических специалистов, которые помогли сначала поднять на ноги разбитую и деморализованную в 1967 году египетскую армию, а затем хорошенько ее обучить.

Египтяне начали войну успешно, но кое-что смущало. Почему же хорошо работавшая разведка израильтян не заметила концентрации египетских войск у канала? (Не говоря уже об американской разведке с ее техническим оснащением.) Оказались ли военные действия египтян и сирийцев столь уж неожиданными для Израиля? Почему основные силы израильтян были сосредоточены на севере — у границы с Сирией, в то время как главные силы арабов, египетские, на юге? Почему Садат не разрешил королю Иордании Хусейну присоединиться к военным действиям, ведь его войска могли перерезать пути израильским частям, направлявшимся с севера, с сирийского фронта, на юг — на египетский фронт? Почему израильские войска на Суэцком канале не оказали решительного сопротивления и через короткое время даже получили приказ отходить по собственному усмотрению? Как можно объяснить, например, публикацию египетского агентства новостей МЕН 2 октября о приведении в боевую готовность II-й и III-й египетских армий? Разве израильские средства информации не обратили на это внимание, как и на крупную эвакуацию жен и детей иностранцев из Египта? Остается еще много неясных вопросов об «октябрьской войне» 1973 года. Недаром многие авторы исследований задумывались: а не были ли «спланированы» с обеих сторон боевые действия? Если это так, то стали бы понятнее конечные политические итоги войны и то, что произошло позже,— срыв Женевской мирной конференции, «Кэмп-Дэвид» и т. д.

...Одновременно с египетской перешла в наступление сирийская армия и отбросила израильские войска с оккупированных ими Голанских высот. Египтяне продвинулись еще вперед, а затем... встали. Израильтяне сконцентрировали все свои усилия на сирийском фронте и вскоре вновь захватили то, что недавно оставили, пошли на Дамаск, начали жестокие воздушные бомбардировки городов и портов. Египетская же армия бездействовала, хотя суть стратегического маневра израильтян была ясна — по частям разбить своих противников, сначала Сирию,

а затем Египет. Логически напрашивались активные действия египтян: войну на два фронта, я уверен, Израиль не выдержал бы...

В ответ на мой вопрос об общих планах действий Садат весьма раздраженно отвечал, что «не собирается бегать по Синаю», что его цель нанести как можно больше военного урона израильтянам, а не «захват» территории. Он будет ждать подхода главных (!) вооруженных сил израильтян, чтобы перемолоть их. Странная военная логика и тактика, ведь до перевалов Гидди и Миттла на Синае египтянам оставалось совсем немного, путь к ним был фактически открыт. А тот, кто владеет этими перевалами, владеет всем Синаем.

9—10 октября сирийцы начали откатываться. Египетские войска не двигались. Это была уже политика. Невольно создавалось впечатление, что они как бы «перевыполнили» назначенное, а на дальнейшее планов не оказалось. Военных планов, возможно, и не было. Планы существовали политические.

С возникновением конфликта развернулась бурная политическая активность в ООН и столицах большинства государств. В Совет Безопасности был предложен проект американской резолюции, требовавший немедленно прекратить огонь и отвести войска на позиции, которые они занимали до 6 октября. Однако, видимо, и сами США понимали политическую неправомерность этого требования, ведь его выполнение арабами означало бы согласие с «законностью» оккупации их земель израильтянами. Арабы освобождали свои земли, чужих они не захватывали. Разумеется, проект этот был отвергнут. Да, видимо, и внесен он был, чтобы выиграть время, нужное Соединенным Штатам для развертывания массовых военных поставок Израилю. Позднее об этой тактике затяжек писал в своих мемуарах Киссинджер.

Выдвигалась в ООН и резолюция, требовавшая прекращения огня с оставлением войск на занимаемых позициях; одновременно предусматривалось выполнение предыдущих решений ООН об уходе Израиля с оккупированных арабских земель. Сейчас представляется, что принять такую резолюцию в тот момент, когда Сирия вернула практически все свои захваченные Израилем территории, а египетские войска продвинулись на двенадцать — пятнадцать километров по всему восточному берегу канала, было бы выгодно арабам. Тем более что прекращение военных действий в таком положении дало бы хороший шанс для урегулирования на справедливых принципах всего арабо-израильского конфликта. Однако принятию этой резолюции энергично противились США и... Египет! Такое «совпадение» казалось странным, поскольку египетские войска перестали вести военные действия. Если бы они продолжали освобождать свои земли, тогда позиция Египта была бы понятной [1]. А США, видимо, ожидали крупного наступления израильских войск и в преддверии этого усиленно снабжали их.

Израиль, получая по воздушному мосту из США и американских баз в Европе военные поставки, навалился на Сирию. Садат раздраженно говорил: если Сирия не может наступать, пусть обороняется (как будто бы оборона — легкое дело), пусть перейдет к партизанской войне — у нее большая территория и т. д. Положение на сирийском фронте его мало трогало. Он тянул время, чего-то ждал. Чего? А израильтяне уже начали бомбить египетские переправы через канал.

16 октября поступило неожиданное сообщение: пять-шесть израильских танков просочились на западный берег Суэцкого канала! Еще примерно за неделю до этого, когда вырисовалась линия фронта на восточном берегу, мы обратили внимание на то, что между флангами армий, высадившихся за каналом, существовал большой разрыв. Это означало, что фланги открыты для атак израильтян и те могут попытаться отрезать их от канала. Советских военных советников в египетской армии уже не было. Египетские военные на наши вопросы отвечали кратко: «Такова утвержденная диспозиция». Израильские танки под покровом ночи переправились на африканский (египетский) берег именно в месте этого разрыва. Садат объяснил нам, что эти танки — «диверсионная группа», они «обречены», даже почему-то сказал, что это «политический» (?) маневр израильтян.

[1] Позднее из мемуаров, в частности Киссинджера и Садата, стало ясно, что в это время шли интенсивные закулисные американо-египетские переговоры.

Вечером 16 октября для консультаций с Садатом в Каир прибыл А. Н. Косыгин. В аэропорту, когда ждали его, я спросил советника президента по вопросам национальной безопасности Хафеза Исмаила о прорвавшихся танках. Он ответил, что этой «неприятной историей» занимаются военные и беспокоиться не следует. На самом деле, как выяснилось позднее, военные, ссылаясь на указания «сверху», не принимали никаких мер к ликвидации прорыва. Таким образом, положение теперь уже на обоих фронтах складывалось отнюдь не в пользу арабов. Египет, если бы даже и хотел, не мог помочь сирийскому фронту, где наступление израильтян с трудом было остановлено неподалеку от Дамаска.

Визит А. Н. Косыгина считался секретным, однако для входа в международный аэропорт, который стал базой ВВС, были розданы особые пропуска с надписью «По случаю визита премьер-министра СССР», на предназначенной для него машине укрепили два флажка — советский и египетский, машину сопровождали мотоциклисты. По дороге А. Н. Косыгин смотрел на ночной, так сказать, военный Каир. Замечал и небрежную светомаскировку, и множество слоняющейся молодежи — полное отсутствие всего, что в нашем представлении связано с военной обстановкой. Война для рядовых египтян была где-то там, далеко на канале, ее вели военные, а в каких целях, об этом мало что было известно. Фамилии героев не упоминались (а их было много), о позиции Советского Союза не сообщалось (Садат говорил мне, что все это «из соображений безопасности»). Странная война.

...Косыгин и Садат обменивались мнениями и наедине, и в присутствии советского посла и помощника президента. Садат держался внешне дружественно, но упрямо отрицал какие-либо неблагоприятные изменения в военной обстановке, требовал каких-то «гарантий», касающихся дальнейших действий израильтян, их прорыв на западный берег канала вновь назвал событием незначительным, «политическим маневром».

После долгого и обстоятельного обсуждения политической позиции Египта Садат сообщил, что мог бы согласиться с прекращением огня, если Израиль, в свою очередь, согласится выполнить резолюцию 242 Совета Безопасности ООН от 23 ноября 1967 года о выводе израильских войск с оккупированных арабских территорий. На время вывода израильских войск между ними и египетскими войсками Садат просит для гарантии сделать «прокладку» из советских и американских войск.

После отъезда А. Н. Косыгина стали поступать еще более тревожные сведения: израильтяне переправили на западный берег Суэцкого канала уже 30—40 танков, затем число их дошло до 150; захватили полевой военный аэродром, спешно расширяли свой плацдарм, особенно к югу, выбили важный пункт из сети египетской ПВО, прикрывавшей Каир и армии на восточном берегу канала. Большого сопротивления они не встречали.

В беседах с Садатом 19 и 20 октября мы настойчиво спрашивали его об этом прорыве. Ведь израильтяне уже начали строить насыпной мост через канал; на запад беспрепятственно шли все новые их воинские части. Об этом свидетельствовали аэрофотоснимки. Что думает предпринять президент? Садат с досадой отмахивался. Прорыв израильтян, говорил он, ничего не стоит с военной точки зрения, он имеет лишь политическое значение (опять!), советским друзьям не следует беспокоиться. Становилось все яснее, что президент скрывает свои намерения, а намерения эти весьма серьезны, коли ради них он жертвует жизнью тысяч египетских солдат и офицеров.

...Примерно в 1 час 45 минут ночи на 21 октября меня поднял с постели телефонный звонок. Президент просил срочно прибыть во дворец Тахра. Мчались с В. Гулизаде по ночному Каиру, гадая, что на этот раз нас ждет. На-

встречу попалось несколько автоколонн, фары замазаны синей краской. Санитарные фургоны везли с фронта искалеченных людей. Многие из них умрут. За что?

Вошли в затемненный дворец. Нас проводили не в одну из гостиных, как обычно, а на террасу первого этажа. Электричество не было зажжено, луна освещала только ту часть веранды, которая выходила в небольшой сад. Садат сидел у мраморной балюстрады за небольшим столиком, сбоку примостился Абдала Фаттах, министр военного снабжения, как всегда, с большой тетрадью, готовый записать беседу. Здесь же стоял Хафез Исмаил, нервно курил.

Вид у президента был неважный: помятый военный мундир с распахнутым воротом, лицо отражает усилия держаться спокойно, даже уверенно. Начал он по-английски: «В полночь военные пригласили меня на командный пункт. Доложили обстановку. После этого я принял решение немедленно пригласить вас.— Он сделал паузу, пыхнул трубкой, продолжал: — Я могу сражаться с Израилем, но не с Соединенными Штатами Америки. Египет не может противостоять США».

Как всегда, говоря по-английски, он четко произносил слова и правильно употреблял несложные конструкции. Сперва голос звучал ровно, а затем стали прорываться эмоции: «Я не могу справиться с этими потоками американских танков и самолетов. Сколько мы ни уничтожаем, их поток не иссякает. Только вчера мы подбили двести танков, но появляются все новые и новые. Я не могу противостоять Соединенным Штатам...— Снова затянулся трубкой.— Я прошу вас срочно передать в Москву мою просьбу как можно скорее установить прекращение огня. У вас ведь есть контакты с американцами. Я прошу вас действовать как можно скорее».

«Я понял вас,— сказал я насколько мог спокойно.— Хотел бы повторить: вы просите, чтобы как можно скорее было установлено прекращение огня с оставлением войск на занимаемых позициях». «Да»,— кивнул Садат. «Хотел бы уточнить: как следует рассматривать израильскую группировку на западном берегу канала, останется ли она там?» «Да,— ответил Садат,— хотя ее можно считать «просочившейся», ничего другого не остается».

Мы поспешили в посольство. Часа через два вновь помчались к президенту, чтобы уточнить некоторые вопросы о дальнейшей позиции египтян. Президент уже спал (!). Наша настоятельная просьба разбудить его привела адъютанта в ужас, но просьбу он выполнил. Садат принял нас в комнате рядом со спальней. Он был в халате, накинутом поверх пижамы. Сел, поджав ноги, на диван. Лицо его было уже здорового цвета, глаза блестели, улыбка не сходила с губ. Всем своим видом он как бы говорил, что для него война окончилась...

После сложных советско-американских переговоров, которые американцы пытались преднамеренно тянуть, чтобы дать возможность израильским войскам глубже вклиниться в египетскую территорию и тем самым поставить Египет в еще более тяжелое положение, 22 октября Совет Безопасности ООН принял резолюцию 338 о прекращении огня не позднее чем через 12 часов. (Киссинджер настаивал на прекращении огня не позднее чем через 48 часов; встретившись с нашей твердой позицией, снизил время до 24 часов, затем согласился на 12.) Во время переговоров мы поддерживали непрерывный контакт с Садатом. Их результатом он был вполне удовлетворен.

Обо всем этом пишу потому, что позднее Садат и некоторые его приближенные распространяли ложь о позиции Советского Союза во время «октябрьской войны». Утверждалось, что Советский Союз не оказывал Египту помощи, «давил» на него, заставлял пойти на прекращение «успешных» боевых действий и «лишил победы», «навязав» прекращение огня.

Утверждения, повторяю, лживые. Египет не консультировался с Советским Союзом по поводу открытия военных действий и не информировал заранее хотя бы о времени их начала. Однако Советский Союз поддержал Египет,

поскольку он осуществлял права на освобождение от оккупации своей территории. Египту немедленно была оказана разнообразная помощь (каирцы хорошо помнят, что после того, как был закрыт Каирский аэропорт, в воздухе через каждые полчаса гудели советские грузовые «Антеи»)[1]; с президентом постоянно велись консультации по политическим вопросам, касающимся конфликта; когда президент срочно попросил добиться прекращения огня, Советский Союз сумел этого добиться, используя все свои возможности и авторитет.

Вернемся, однако, к резолюции 338, требовавшей прекращения огня. Израильтяне, опираясь, видимо, на советы США, решили не считаться с ней, продолжали наступать на западном берегу, особенно на юге — отрезали примерно сорокатысячную III-ю египетскую армию на восточном берегу. Обстановка и в военном, и в политическом плане становилась необычайно сложной. Израиль бросал вызов всему миру.

Последовавшие за 22 октября дни были заполнены взволнованными телефонными разговорами, встречами с Садатом, перепиской. Уже 23 октября Садат дважды обращался ко мне по телефону с официальной просьбой о срочном «советском военном вмешательстве», чтобы заставить Израиль выполнить решение Совета Безопасности.

Переговоры между Москвой и Вашингтоном привели к тому, что 24 октября была принята еще одна резолюция Совета Безопасности ООН — № 339, вновь требующая немедленного прекращения огня и возврата сторон на позиции, существовавшие 22 октября. Израильтяне игнорировали и эту резолюцию. Их передовые части ворвались на окраины Суэца. Садат позвонил мне и сказал, что вновь официально обращается с самой настоятельной просьбой: сегодня же ночью прислать советские войска или наблюдателей, с такой же просьбой он обращается и к Никсону. Это обращение к СССР и США было продублировано по каирскому радио.

Как известно из позднее опубликованных материалов, американцы под всяческими предлогами уходили от ясных ответов в интенсивных переговорах, которые велись между Москвой и Вашингтоном. Садат же проявлял все большее нетерпение, называл американцев лжецами. Чувствовалось, что они в чем-то его переиграли или «наказывали» Египет за слишком успешные боевые действия. Когда израильские войска полностью отрезали Суэц и вышли на позиции значительно южнее этого важного города-порта, Садат опять обратился к Советскому Союзу с просьбой срочно прислать совместно с США воинские контингенты, чтобы обеспечить выполнение резолюций Совета Безопасности ООН. В случае, если США вновь уклонятся, президент просил Советский Союз действовать отдельно.

Положение было критическим. Советская сторона недвусмысленно и твердо заявила американской администрации о своей готовности немедленно выполнить просьбу Египта. В Вашингтоне и Тель-Авиве, видимо, поняли, что с Советским Союзом шутить нельзя, и израильтяне, как бы споткнувшись, мгновенно прекратили наступление... Так Советский Союз вновь оказал неоценимую помощь Египту. Война была окончена.

Соединенные Штаты, желая скрыть провал, объявили... тревогу на своих заморских военных базах, не спросив согласия и даже не информировав об этом правительстаа тех стран, где расположены базы. Садат, надо отдать ему должное, в разговоре со мной 25 октября с усмешкой назвал эти меры шантажом. А вообще в Египте, да и в других странах, мало кто обратил внимание на колокольный звон американцев. В свете фактов бледно выглядят утверждения Киссинджера, что именно эта (колокольная) решимость США принудила Советы «отступить». Позднее, во время одного из приездов Киссинджера в Каир, я спросил, с какой стати была объявлена тревога на американских военных базах за границей, ведь никто не угрожал Соединенным Штатам. Киссинджер нехотя ответил: «Это у Никсона нервы не выдержали».

---

[1] Между тем президент позднее с серьезным видом утверждал, что из Советского Союза во все время военных действий поступил лишь... один чемодан с запчастями!

27 октября Хафез Исмаил сообщил мне, что получил послание Киссинджера: госсекретарь приглашает и далее обращаться к США. Таким образом, США уже открыто начали навязывать Египту свою посредническую роль. Информация, несомненно, была передана мне в расчете узнать о нашей реакции. Я сказал: если Египет не будет в дальнейшем опираться на советско-американскую договоренность об обеспечении прекращения огня, то его позиции окажутся значительно слабее, ведь США связаны обязательствами перед СССР, а не перед Египтом. Хафез Исмаил почему-то стал горячо говорить о необходимости предотвратить попытки американцев стать посредником между Египтом и Израилем.

Садат тем временем срочно послал в Вашингтон Фахми, быстро назначенного и. о. министра иностранных дел, в то время как никем не смещенный министр иностранных дел Египта Зайят еще находился в США! Видимо, «двойная дипломатия» Садата в это время усилилась. Тут уж было не до таких «деталей», как наличие двух министров иностранных дел.

...На консультации в Каир по вопросу созыва международной конференции в первых числах ноября прибыл В. В. Кузнецов, тогда первый заместитель министра иностранных дел СССР. Садат несколько раз подчеркивал, что Египту, как никогда, нужно быть вместе с Советским Союзом, действовать согласованно и координированно и что Египет желает участия представителей обеих великих держав — СССР и США — на всех уровнях предстоящих переговоров. Итак, на словах — с Советским Союзом. На деле... О переговорах Фахми в Вашингтоне ничего не было известно. И вдруг сообщение: 7 ноября в Каир прибывает Киссинджер! В тот же день он дважды беседовал наедине с Садатом, а вечером каирское радио объявило: достигнуто соглашение о восстановлении египетско-американских дипломатических отношений! И это — итог войны?!

В тот же вечер Фахми дал обед в честь Киссинджера, на котором присутствовало практически все египетское правительство. Были приглашены также послы СССР, Испании (представляющей США), Англии и Франции, Хейкал. Откровенно говоря, желания идти не было никакого, хотя американцы передали, что Киссинджер хотел бы поговорить со мной,— уж очень бесцеремонно, недружески вели себя последние дни египтяне, включая самого Фахми.

На обед я приехал последним. Когда вошел в небольшой зал, увидел рассевшихся по стенам гостей со скучающими лицами и теплыми стаканами виски в руках. Посреди зальца стоял Киссинджер, вяло говорил с испанским послом. Меня представили, Киссинджер оживился и после нескольких любезных фраз поинтересовался общей оценкой обстановки в районе Ближнего Востока. Я ответил, что, несмотря на прекращение огня, обстановка сложная и взрывоопасная. Поэтому надо принять меры и краткосрочного, и долгосрочного характера. Сейчас необходимо, чтобы Израиль перестал валять дурака, заявляя, что «никто не знает, где находятся линии, существовавшие на 22 октября с. г.», то есть куда должны быть отведены его войска в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН №№ 338 и 339. Эти линии можно показать на карте. Когда израильтяне отведут свои войска, автоматически отпадут проблемы снабжения III-й египетской армии и Суэца. Это — немедленные действия. В долгосрочном плане сейчас самое удобное время предпринять усилия для подлинного всеобщего урегулирования всей ближневосточной проблемы.

Киссинджер заинтересовался: «Почему вы считаете, что именно сейчас наиболее благоприятные условия для всеобщего урегулирования?» Я перечислил эти условия.

1) Израиль понял, что непобедимость израильской армии — миф, что он может быть побит.

2) Арабы осознали, что обладают силой, это дает им сейчас возможность идти на политические переговоры.

3) Создалось не существовавшее прежде общеарабское единство, важный показатель которого — эмбарго на поставку нефти США и их союзникам.

4) Мировое общественное мнение сейчас практически на стороне арабов, никто не обвиняет их в «агрессии» против Израиля.

5) Нынешний характер советско-американских отношений позволяет, несмотря на известные разногласия, обсуждать любые вопросы и сотрудничать.

Все эти благоприятные факторы, закончил я, имеют, однако, временный характер — ведь вполне вероятно, что в будущем один или несколько из них исчезнут, поэтому важно не терять времени.

Киссинджер внимательно слушал, сказал, что со многим согласен, кроме вопроса об эмбарго. А что касается возможности возникновения новой войны, то ее может не быть, если Советский Союз не будет в этом районе искать для себя выгод и заниматься подстрекательством (monkey business). Пришлось резко ответить, что поиски выгод и подстрекательство не наша специальность.

Прощаясь после обеда, Киссинджер сказал: он и ранее слышал, что советский посол в Каире «tough boy» («твердый парень»), но все равно просит сотрудничать с только что назначенным послом США в Египте Германом Эйлтсом (он переводится в Египет с поста посла США в Саудовской Аравии, арабист). «Ну, что ж,— так же в шутку ответил я,— можно и сотрудничать с американским Лоуренсом Аравийским, если только не возникнет проблема с «monkey business» с американской стороны».

На следующий же день печать сообщила о некоторых элементах договоренности между Садатом и Киссинджером, в частности, относительно отвода израильских войск на позиции 22 октября в рамках «общего соглашения» о разъединении египетских и израильских войск. Это уже было нечто новое. Вместо безусловного выполнения решений об отводе войск — переговоры, да еще и в рамках какого-то нового соглашения «о разъединении». Переговоры и, следовательно, урегулирование явно уводили с логической прямой на извилистую дорогу, в хляби. О существе этого соглашения египтяне нас так и не информировали. Через четыре дня Фахми, пригласив меня, передал бумагу, содержащую то, что было опубликовано в газетах. Прочитав, я небрежно сказал, что уже давно знаю все это. Реплика взбесила Фахми.

В связи с практической организацией международной мирной конференции начались сложные переговоры между Москвой, Вашингтоном, Нью-Йорком, Каиром, Дамаском и Тель-Авивом. Теперь нам приходилось держать постоянные рабочие контакты не только с Фахми, но и со срочно прибывшим в Каир американским послом Эйлтсом. Однажды в декабре Эйлтс позвонил мне и сказал: «В Каир вновь прилетает Киссинджер, он хотел бы с вами встретиться». Я ответил согласием. Эйлтс замялся: «Киссинджер сообщил, что хотел бы встретиться с советским послом в аэропорту при прилете или отлете». Уловка была ясна: госсекретарь намеревался показать, что его встречает или провожает советский посол! Я ответил, что такая «возможность» встречи с госсекретарем меня не устраивает ни по существу, ни по форме. Разве в аэропорту поговоришь серьезно, по-деловому? Киссинджер ведь прибывает к египетскому правительству, какое может иметь отношение советский посол к его встрече или проводам? Эйлтс смутился, ответил, что понимает, какая получилась неловкость, и что попробует вновь связаться с Киссинджером и придумать что-либо другое. Через несколько часов он позвонил снова, сказал, что Киссинджер предлагает встретиться в отведенной для него резиденции в Каире — отеле «Хилтон» — после беседы с Садатом, но это будет около полуночи. Ответил согласием — для дипломатов время суток не имеет значения.

К этой поре Киссинджера повсюду превозносили за «успехи» в его посредничестве, сравнивали с Меттернихом. Видимо, ему это нравилось, и встреча с советским послом была задумана лишь для вида, для того, чтобы о ней появилось сообщение и создалось впечатление «совместных действий».

...Киссинджер ничего не сказал мне о своих переговорах с египтянами. «Современный Меттерних», совсем не дипломатично ковыряя пальцем в зубах, пустился в общие рассуждения о необходимости советско-американского сотрудничества на Ближнем Востоке, согласованности в соответствии с договоренностями и т. д.

В следующие дни пришлось много работать в связи с созывом международной конференции по Ближнему Востоку в Женеве, на которой будут сопредседатели от СССР и США. Меня назначили советским сопредседателем.

Созыв мирной конференции по Ближнему Востоку был нелегким делом. Каждый вопрос — о предмете переговоров, об участниках, порядке, времени — приобрел вполне определенное и важное политическое звучание. Положения о конференции разрабатывались в переговорах между Москвой и Вашингтоном с участием генерального секретаря ООН, затем о достигнутой договоренности сообщалось в Каир для согласования с египтянами. Здесь советский и американский послы должны были представить совместную позицию министру иностранных дел Фахми и, разумеется, отстаивать ее, хотя часто она была результатом советско-американского компромисса. Иногда американская сторона информировала египтян не о согласованном в результате переговоров советско-американском мнении, а о своем первоначальном, не принятом нами. Египтяне соглашались с американцами, и тогда те, ссылаясь уже якобы на «требования» египтян, ставили перед нами вопрос о пересмотре согласованной позиции. Эти уловки приходилось разоблачать. Неприятно было, что новый министр иностранных дел Фахми в вопросах подготовки конференции явно сотрудничал с американцами, а не с нами. У себя дома он повесил большую фотографию, запечатлевшую его с Никсоном в Белом доме. И всячески угодничал перед американцами. А ведь недавно, во время военных действий, все было иначе...

Наиболее разительно изменилось поведение египтян, когда речь пошла об участии в конференции палестинцев. Сердцевина ближневосточного конфликта, как известно,— судьба арабского народа Палестины, насильственно лишенного родины. На Ближнем Востоке я не раз слышал поговорку: «Арабам невозможно вести успешную войну без Египта, но мир нельзя установить без палестинцев». Советский Союз всегда исходил из того, что палестинцы непременно должны участвовать в конференции. Израиль, который делал вид, что арабского народа Палестины вообще не существует, конечно, возражал против этого, и его были склонны поддержать США. Тогда арабские государства еще не приняли решения (к которому закономерно пришли впоследствии) о том, что Организация Освобождения Палестины является единственным представителем палестинского народа. Поэтому в согласованном в результате переговоров документе о конференции было указано, что представители палестинского народа *примут в ней участие* в соответствующее время. Египтяне согласились с этим, но затем под давлением США начали требовать другой формулировки, которая, как они говорили, была согласована с американцами: «Вопрос о *времени участия* палестинцев в конференции *будет обсужден* на первой стадии ее работы».

Однажды меня пригласил Фахми. Когда я пришел, у него сидел американский посол Эйлтс. Было не совсем вежливо со стороны Фахми не предупредить об этом, а главное, не спросить, согласен ли я на тройственную встречу. Фахми передал мне бумагу с текстом, напечатанным, как я заметил, в посольстве США, сказав, что это новая *египетская* формулировка, с которой США согласны. Я прочел: «*Вопрос* об участии палестинцев *будет обсужден* на первой стадии работы конференции». Это уже было нечто новое. Прежде *участие* палестинцев не ставилось под сомнение. (Позже появилась еще менее определенная формулировка, в которой палестинцы вообще не упоминались: «Вопрос об участии других представителей стран района будет обсужден на первой стадии работы конференции».) Я сказал, что новая формулировка меняет суть дела и с ней я согласиться не могу. Прежде всего, подчеркнул я, мне важно знать, как к этому относятся сами палестинцы. Фахми стал горячо убеждать, что формулировку он лично согласовал с палестинцами и со всеми другими участниками конференции. Это был последний вопрос, из-за которого задерживались официальные приглашения странам для участия

в конференции. (Позднее палестинцы говорили мне, что никакого согласования с ними египтяне не проводили.)

...Открытие конференции назначено на 21 декабря 1973 года. Проводится она в Женеве, во Дворце Наций.

Накануне моего отлета из Каира поступило известие о том, что Сирия отказывается участвовать в конференции — заявила она об этом сразу же после посещения Киссинджером Дамаска. Фахми отнесся к неожиданному известию на удивление безразлично. Раздумывая, как могло такое случиться, я почему-то часто вспоминаю, что Киссинджер *несколько раз* (одним и тем же людям) рассказывал юмористически, как президент Сирии Асад заявил ему, не объясняя якобы причин, что Сирия не будет участвовать в конференции. Своего отношения к этому заявлению Киссинджер не выражал, но, во всяком случае, не порицал сирийцев.

19 декабря египетская делегация, возглавлявшаяся Фахми, который пригласил в самолет и меня, а также множество иностранных корреспондентов вылетели в Женеву. Когда самолет египетской авиакомпании приземлился, бросились в глаза необычайно строгие меры безопасности: военные патрули, сотни полицейских, бронетранспортеры, пулеметы, оцепления, особые пропуска. В тот же день в Женеву прилетели министр иностранных дел СССР А. А. Громыко, генеральный секретарь ООН К. Вальдхайм, госсекретарь США Г. Киссинджер, министр иностранных дел Израиля Абба Эбан, премьер-министр Иордании З. Рифаи.

На следующий вечер встретились с Киссинджером. Он изложил свой план. В Израиле 31 декабря выборы в парламент, и до сформирования нового правительства израильтянам будет «трудно» вести переговоры. Поэтому конференцию можно было бы открыть 21 декабря, а на следующий день, 22 декабря, всем разъехаться. Сопредседатели — послы Виноградов и американец Банкер — вернутся в Женеву 7 января; конференция возобновит работу 15 января. А. А. Громыко возразил: мы собрались сюда не для церемонии, а для работы, конференция должна продолжаться, если не на пленарных заседаниях, то в рабочих группах. Киссинджер нехотя согласился.

Наступило 21 декабря — день исторический: впервые собралась столь представительная международная конференция. Очень хотелось, чтобы она привела к миру на Ближнем Востоке, ведь обстановка, как никогда, благоприятствовала: арабы и израильтяне встретились, наконец, за столом переговоров, хотя устремления их и разнились. Но все ли хотят прийти в результате конференции к справедливому миру? Кое-что настораживает.

Перед открытием заседаний мы с Вальдхаймом договорились о том, как рассадить участников конференции. Сидеть они должны были по кругу. Приняли два варианта. Первый — алфавитный: в середине генеральный секретарь ООН, по правую руку от него — СССР, по левую — США, далее по часовой стрелке от США — Сирия, Израиль, Иордания, Египет. Второй вариант — скорее политический: по часовой стрелке от США — Израиль, Иордания, Сирия, Египет.

Охрана с автоматами повсюду — даже на крышах Дворца Наций. В залах уже гудят журналисты, отсюда передачи пойдут по телевидению на весь мир.

Внезапно в комнату, отведенную советской делегации, входит Вальдхайм. У него проблема: иорданцы отказываются сидеть рядом с израильтянами, так как с другой стороны будут пустые места, отведенные сирийцам. При другом варианте израильтяне не соглашаются на пустые места справа от них... «Есть еще предложение,— мнется Вальдхайм,— от генерального секретаря ООН по часовой стрелке: Израиль, СССР, Сирия, Иордания, США, Египет». Это пожелание американцев. А. А. Громыко отвечает: «Мы не малые дети, согласны,— и уже с улыбкой: — Только поменяем местами сопредседателей». Тогда порядок будет такой: генсек ООН, Израиль, США, Сирия, Иордания, СССР, Египет. Вальдхайм радостно соглашается. Через несколько минут влетает бледный и взволнованный Киссинджер, за ним Вальдхайм. Киссинджер каким-то дрожа-

щим басом обращается к А. А. Громыко: США очень, очень просят советскую делегацию поменяться с их делегацией местами, иначе получается одна сторона вроде бы чисто израильская (Израиль, США); в глазах у госсекретаря такая мольба, будто речь о невесть каком важном деле. А. А. Громыко так, чтобы все слышали, шутит: «Прошу генерального секретаря ООН официально констатировать факт, что США отказываются сидеть рядом с Израилем». Взрыв смеха. «А нам все равно, мы приехали сюда не в игрушки играть»,— добавляет А. А. Громыко под аплодисменты. Вальдхайм вытирает пот со лба.

Направляемся в зал заседаний. Вальдхайму, кстати говоря, сегодня исполняется 55 лет. «Какое совпадение,— говорит он,— неужели это будет исторический день, который положит начало строительству мира на Ближнем Востоке!» В зале на нас направлены лучи прожекторов и объективы теле-, кино- и фотокамер. Рассаживаемся.

Конференцию открыл кратким приветственным словом Вальдхайм. Затем выступил А. А. Громыко. Речь советского министра иностранных дел содержала объективную оценку положения на Ближнем Востоке, призывала к справедливому решению накопившихся проблем, создавала уверенное впечатление о готовности Советского Союза самым деловым образом сотрудничать на конференции со всеми, чтобы вывести, наконец, народы и страны Ближнего Востока из полосы военных конфликтов к прочному миру.

Последовавшее выступление Киссинджера мало кого удовлетворило: общие слова и пословицы на еврейском и арабском языках... А произношение!

Речи общего характера произнесли Фахми и Эбан, после чего возникла небольшая перепалка — Фахми резко, явно играя на публику, ответил Эбану.

На следующий день состоялось закрытое заседание конференции; было решено создать Военную рабочую группу (ВРГ), которая немедленно займется вопросом разъединения войск на египетско-израильском фронте. Вальдхайм объявляет перерыв в работе конференции. К нашей делегации подходит Киссинджер с послом Банкером — американским сопредседателем конференции. Банкер высокий, худощавый, подтянутый, ему за 80. «Знаете, почему мы назначили посла Банкера американским сопредседателем? — обращается Киссинджер к Громыко и сам отвечает: — Потому что Банкер ни одни переговоры не проводит быстрее, чем за восемь лет!» — И, довольный собой, смеется. (Банкер был формально руководителем американской делегации на многолетних американо-панамских переговорах о статусе Панамского канала и, следовательно, правах американцев в этом государстве.) Мне почудился намек в словах Киссинджера. Он спросил: «Итак, Виноградов остается в Женеве?» А. А. Громыко ответил, что да, остается, поскольку, как договорились, конференция продолжается. Киссинджер сделал плаксивое лицо и сказал, что у Элсворта (Банкера) есть дети и внуки, с которыми он хотел бы встретить рождество, поэтому он вылетит в США «на пару дней», а 26-го, самое позднее 27 декабря, вернется в Женеву. Обещание выглядело деловым. До сих пор мне не приходилось встречать американца, нарушившего слово в том, что касается сроков.

Утром следующего дня Банкер пригласил нас на завтрак, во время которого чиновник госдепартамента Стернер начал осторожно развивать «оригинальную» концепцию возможного хода конференции. Египтяне, утверждал он, не хотят, чтобы сопредседатели или их представители участвовали в работе Военной рабочей группы, поэтому нужно «работать за кулисами». Банкер осторожно предложил: а не были бы целесообразными большие перерывы в переговорах «для охлаждения страстей» сторон? Иначе говоря, не согласимся ли мы вести дело годами к частичным, не всеобъемлющего характера, решениям путем двусторонних переговоров арабских стран в Женеве без участия сопредседателей, вернее, Советского Союза, поскольку США всегда будут за кулисами Израиля и, как мы уже видели, египетской делегации. Вся идея международной конференции, таким образом, фактически начисто искажалась.

Вечером А. А. Громыко встретился с Фахми и на основе нашей информации о беседе с Банкером и Стернером прямо спросил его мнение относительно дальнейшей работы конференции, в частности о роли сопредседателей. Ответы Фахми напоминали детскую игру: «да» и «нет» не говорите, черное и белое не упоминайте. Полчаса он извивался, не сказал ничего определенного, бранил переводчиков за якобы неточную передачу его слов. А мы укрепились в мысли о сговоре египтян с американцами. Еще более ясно это стало через день после отлета А. А. Громыко из Женевы. Ко мне пришел Стернер, показал свою записную книжку, где якобы записана формулировка египтян: «Не против участия Советского Союза». Вот, видите, горячился Стернер, здесь ведь не записано: «За участие Советского Союза». Пришлось дать ему хорошую отповедь.

Спросил у заместителя египетского министра иностранных дел Риада, правду ли говорит Стернер. Тот взорвался: «Американцы — обманщики, а Стернер — провокатор!» Вечером меня пригласил на ужин Фахми. Угощая с напускным радушием, он постепенно все более открыто излагал свои идеи: Советскому Союзу не следует настаивать на участии в переговорах; никаких вопросов без его, Фахми, согласия поднимать не следует и т. д. Вот так. А в разговоре с А. А. Громыко он утверждал совсем другое! Я ответил, что у меня есть свои руководители, у нас есть свои мысли и концепции. Жаль только, что египтяне запутали многие вопросы, по которым ранее была ясность, к хорошему для интересов Египта, палестинцев и всех арабов это не приведет.

Так оно и было. Переговоры в ВРГ не двигались с места, а затем египтяне, американцы и израильтяне вообще перенесли их из Женевы — там осталась только наша делегация. Перед отлетом ко мне зашли попрощаться и делегаты Израиля во главе с Эвроном. Рассказали, что поначалу интерес к конференции был в Израиле громадный — все сидели у телевизоров. У многих раскрылись глаза, когда они узнали позицию советского министра иностранных дел, справедливую антивоенную позицию. Непринужденная беседа была продолжительной. Мы пытались убедить израильтян, что надо стремиться к подлинному миру, пока условия для этого благоприятны. Они говорили, что без участия и помощи Советского Союза установить мир на Ближнем Востоке немыслимо. Прощаясь, Эврон доверительно спросил: понимают ли египтяне, что именно Советский Союз спас их от поражения в последние дни «октябрьской войны»? Я внутренне вздрогнул: значит, израильтяне правильно оценивали ситуацию и роль нашей страны, ее решительную позицию!

...Банкер, увы, прилетел в Женеву не 26 декабря, а почти через месяц — 21 января; спустя несколько дней снова улетел, сообщив, что прибудет не ранее второй половины февраля (!). Вот и верь слову делового американца! А затем Египет и Израиль подписали — но не на конференции, а вне ее — известное соглашение о «разъединении войск». Начало сепаратным сделкам Египта с США и Израилем было положено.

Общеарабское дело Египет забыл, как и недавнего своего союзника Сирию, на интересы палестинцев вообще махнул рукой. Помню встретившееся в печати заявление палестинцев: египтяне помогают США пробраться на Ближний Восток.

...Шло время. Женеву покинули все делегации, прибывшие на конференцию. Сенсаций особых не было. Рутинно заседали во Дворце Наций многочисленные «комитеты», «комиссии», «рабочие группы» с названиями длинными или непонятными, обозначенными лишь аббревиатурами. Заседания шли по разным вопросам, только не по ближневосточному. Создавалось впечатление нелепости. Мотался из Иерусалима в Каир, затем в Вашингтон, снова в Иерусалим, Каир, иногда в Дамаск и Амман Генри Киссинджер — «челнок» американской дипломатии. Он спешил добиться уступок и у Египта, и у Израиля, чтобы любой ценой доказать возможность сепаратного мира между ними при условии, что оккупированные палестинские земли не будут возвращены.

А мы сидели в Женеве. Банкер прилетал раз в месяц, а то и реже для ничего не значащей беседы; никогда не высказывал своего мнения, но говорил:

«Ваши соображения очень интересны, я доложу о них госдепартаменту»,— и все. На просьбы разрешить нам уехать из Женевы, дать возможность заняться делом Москва отвечала отказом, а то и просто не отвечала. Приезжавшие оттуда говорили: «Не нервируйте...» Мы продолжали изучать обстановку вокруг ближневосточного урегулирования, как говорится, с «женевского угла», беседовали с постоянно аккредитованными в Женеве дипломатами арабских и западноевропейских стран. С американцами контакта не было — их делегация покинула Женеву, часть ее моталась вместе с Киссинджером по Ближнему Востоку. В постоянном представительстве США нам отвечали, что сейчас в Женеве у них нет компетентных лиц по ближневосточному вопросу. Нам же предписывалось продолжать вести работу с американской делегацией.

Поскольку поступило сообщение, что в связи с назначением главой советской делегации на мирной конференции по Ближнему Востоку и сопредседателем конференции меня освобождают от обязанностей советского посла в Каире (наконец-то!), я получил разрешение съездить туда, чтобы, как полагается, попрощаться и тем самым завершить свою миссию в Египте.

...Особо близкие Садату люди разговаривали со мной тепло, но уже проскальзывало отчуждение. Они бездумно и беспрекословно равнялись на президента — никаких международных конференций, все, что надо, будет сделано с помощью американцев, благослови их Аллах. Конференция отзвука у них не находила. Значительно большая часть думающих и, следовательно, авторитетных политиков не скрывала возмущения деятельностью президента, министра иностранных дел Фахми и всех тех, кто отдавал судьбу страны на милость американцев и израильтян: им уже мерещилось новое блестящее положение Египта в арабском мире, пусть ценой отхода от Советского Союза и даже разрыва с ним. Каирские друзья, из тех, кто хорошо информирован, откровенно говорили мне, что американцы заверили Садата: как только будут приняты их условия и заключен сепаратный мир с Израилем (то есть когда страна выйдет из общеарабских рядов и забудет об арабском народе Палестины), Египет в ближневосточной политике США займет роль Израиля (!). Садат, по всей вероятности, поверил. Еще бы: Египет — самая крупная и влиятельная страна в регионе, на кого же еще опираться американцам? Значит, туда потекут многие миллионы, а может, и миллиарды долларов американской «помощи».

Наша информация о Египте не всем пришлась по душе. Кое-кто не хотел и мысли допускать об изменившемся положении — особенно те, кто и раньше не особо прислушивался к нашим тревожным сообщениям. Нам резкий поворот в политике Египта был, конечно, не менее неприятен, но такова была реальность, и приходилось думать, как противодействовать ей, хотя мы и помнили древний обычай рубить головы гонцам, которые приносят правителям дурные вести.

Внезапно в разгар прощальных визитов поступило указание вернуться в Женеву, так как через несколько дней там обещал появиться Банкер. Спешно устроил большой прием. Удивило, что пришли самые крупные политические деятели. Чувствовалось, что им как-то неловко, они как бы выражали извинения за действия президента в отношении Советского Союза и его посла; мы, мол, не причастны ко всему этому, но что мы можем поделать...

Наспех собравшись, поспешил через Москву в Женеву. Конечно, Банкер появился не в назначенный им срок, а дней на двадцать позже. И опять встреча с ним не дала никаких результатов. Ни одной мысли дельной, ни предложения — только вежливость и даже некое смущение тем, что ему, человеку уже за восемьдесят, выпало играть такую незавидную роль. По-человечески он симпатизировал нам. Понимая, что история с ближневосточной конференцией идет к концу (или зная об этом), Банкер дал нашей делегации как бы прощальный обед в одном из самых дорогих ресторанов на берегу Женевского озера. Слова во время обеда произносились добрые, но дипломатически выдержанные: оба мы понимали, что видимся в последний раз — и как участники конференции, и как частные лица. Позднее я прочел в мемуарах Киссинджера, как в разгар своей «челночной дипломатии» он язвил по поводу продолжавшегося бездеятельного сидения советской делегации в Женеве.

Однако я был свидетелем того, как при встречах нашего министра иностранных дел в Женеве с Киссинджером тот обещал, клялся, чуть не божился, что вот-вот — дайте ему только совершить еще один прыжок — делегация США вернется и конференция возобновится.

Ясно, что «октябрьская война» 1973 года была задумана не как шаг к освобождению оккупированных территорий и справедливому миру на Ближнем Востоке. Это был способ проникновения США на Ближний Восток, теперь уже под маской миротворцев, «честных брокеров». Высокое качество вооружения, хорошая подготовка египетских войск и их моральный дух, неожиданные даже для Садата, угрожали Израилю поражением, во всяком случае, не в «запланированных» масштабах. Небольшое, так сказать, «контролируемое» поражение Израиля нужно было американцам, чтобы выглядеть его «спасителями». Но им нужна была и тяжелая ситуация для Египта, чтобы сыграть и тут аналогичную роль. Этой двойной цели послужил казавшийся тогда странным прорыв израильских войск через Суэцкий канал на африканскую территорию Египта в ста километрах от Каира. Он был и своего рода наказанием Египту за излишнюю активность его вооруженных сил. Так жертвовали жизнями в политической игре.

Созыв международной мирной конференции по Ближнему Востоку поэтому был большой победой миролюбивых сил, в первую очередь советской дипломатии. Международный авторитет Советского Союза значительно вырос.

В результате «октябрьской войны» 1973 года объективно сложились наиболее благоприятные условия и существовали вполне реальные шансы, чтобы установить на Ближнем Востоке подлинный, справедливый для всех государств и гарантированный мир. Тогда бы этот регион перестал быть для империалистических сил объектом военной и политической эксплуатации. Такой мир, конечно, не устраивал США.

Американская дипломатия с помощью Садата — а без Египта всеобъемлющее ближневосточное урегулирование, естественно, невозможно — в нарушение взятых Соединенными Штатами обязательств пыталась повернуть Женевскую конференцию на путь прикрытия своих замыслов на Ближнем Востоке. Эти попытки были сорваны Советским Союзом. Раскрылись двурушнические приемы американской дипломатии. Заключение позднее так называемых «кэмп-дэвидских» соглашений — венца сепаратистской проамериканской политики Садата — повело к событиям, погубившим его самого.

Конец любого старого явления означает начало нового. Египетский народ в полной мере ощутил пагубные результаты политики следования проамериканским курсом как в области внутренней экономики, так и в отношениях с другими государствами, особенно арабскими. Этот не унывающий при любых обстоятельствах, добрый народ найдет в себе силы выйти на правильную дорогу независимого существования, ведущую к прогрессу. В это верят все искренние друзья Египта. В обновленный, умудренный недавним горьким опытом Египет.

Здесь автору записок следовало бы поставить точку. Но вот в декабре 1987 года мне довелось снова поехать в Египет — уже в качестве председателя Центрального правления Общества советско-египетской дружбы. А пригласил меня председатель правления Общества египетско-советской дружбы — государственный министр по иностранным делам Арабской Республики Египет Бутрос Гали.

Не скрою, очень хотелось побывать в Египте. Это как своего рода ностальгия — тянет туда, где столько сил, нервов, здоровья отдано, чтобы наши отношения с этой страной, ее народом были добрыми, основанными по-настоящему на взаимном доверии. Сколько там пережито радостного и сколько огорчительного, когда на нашу страну, ее политику обрушивались потоки грязи и клеветы. После Кэмп-Дэвида египетские власти закрыли советские культур-

ные центры в Каире и Александрии. Были удалены все наши технические специалисты с Асуанской ГЭС, других промышленных объектов, построенных с помощью Советского Союза, запрещено продолжать строительство жилого дома для советских сотрудников, закрыты генконсульство СССР в Александрии и консульство СССР в Порт-Саиде, резко сокращен штат посольства и даже — нечто неслыханное — власти потребовали отъезда советского посла. Конечно, запрещено было и Общество египетско-советской дружбы. Печать заполнила обильно поставлявшаяся американскими и другими западными источниками клевета на нашу страну. Египет как бы покрыла тень антисоветизма... Но солнце всегда рассеивает мрак. После трагической смерти Садата постепенно стало проявляться, я бы сказал, нормальное желание вернуться к естественным отношениям между Египтом и Советским Союзом.

В Каире я пробыл всего неделю, за этот короткий срок встретился со многими египетскими деятелями, преимущественно незнакомыми, но также с некоторыми старыми друзьями и почувствовал, что страна, осматриваясь — что же произошло? — раздумывает, куда и как идти дальше, сопоставляет нынешнее с недавним прошлым — тем прошлым, свидетелем которого мне довелось быть.

...В разгар дружбы между правителями Египта и США в Александрию прибыли американские авианосцы, в голубом небе кувыркались, демонстрируя свои возможности, хищные «Фантомы», на улицы высыпали в белоснежной форме тысячи американских моряков. Простодушные египтяне радостно хлопали в ладоши, восклицая: «Доллары прилетели, доллары прилетели!» — будущее казалось обеспеченным.

Когда президент Садат принимал президента Никсона, не было предела ликованию: «США с нами!» Улыбался на фотоснимках довольный Киссинджер. Вместе с президентами США и Египта и их женами он любовался «танцем живота», который исполняла лучшая танцовщица Зухер Заки. Все впереди представлялось радостным и светлым: «США с нами!» Проблема израильской оккупации арабских земель, бедствующие палестинцы — это отодвинулось куда-то в сторону. Да и при чем тут Израиль? Египет — вот что сейчас главное для США на ближневосточной шахматной доске...

Но прошло время ликований. Трагически погиб Садат. Что ж с Египтом? Арабские государства порвали с ним отношения, государственный долг достиг невиданных размеров. На прежде уютных, романтичных берегах Нила в Каире торчат небоскребы — гостиницы для интуристов и бизнесменов, построенные на иностранный капитал. Кое-где проложены на уровне второго-третьего этажей дороги-эстакады. На стенах лозунги исламских экстремистов.

Здания красивейшей архитектуры в Александрии на приморской набережной всегда были гордостью горожан. Сейчас они донельзя обшарпаны, отваливаются целые куски лепнины, кое-где и сами здания разрушились, создавая новые руины по соседству с древнеримскими. Грустная картина запустения. В лавках товаров достаточно — покупателей мало. Продавец встрепенулся: «Русские? Снова? Как хорошо!» На окраине Александрии настоящие трущобы. «Жить людям негде, население города за десять лет увеличилось втрое»,— вздыхает вице-губернатор Александрии.

Тяжелейшие проблемы достались в наследство новому президенту Египта Хосни Мубараку — бывшему офицеру ВВС. Он, не скрывая, говорит о них при встрече, вспоминая прежние наши с ним разговоры. Надо развивать свою собственную промышленность, сотрудничать с Советским Союзом. Нужна мирная конференция по Ближнему Востоку с непременным участием Советского Союза. Держится Хосни Мубарак приветливо, непринужденно.

Возобновило деятельность Общество египетско-советской дружбы, налаживается советско-египетская торговля, прикидываются возможности новых форм экономического сотрудничества с Советским Союзом. Арабские государства уже восстанавливают дипломатические отношения с Египтом.

Участвуя в конференции «круглого стола» в «Институте стратегических исследований» при крупнейшем арабском издательстве «Аль-Ахрам», я почувствовал, какой проявляется громадный интерес к перестройке в Советском Союзе, к нашим мирным инициативам. Та же благожелательность, то же внимание к Советскому Союзу и во время других встреч, которых было множество. Египтяне хотят понять Советский Союз, хотят сотрудничества. Может быть, и потому, что имя Насера вновь стало очень популярно в стране. Все, даже самые простые люди, помнят, понимают, что дало Египту сотрудничество с Советским Союзом. Асуанская плотина несколько раз спасала страну от засухи и мощных наводнений, не говоря уже о дешевой электроэнергии, на которой работает построенный с помощью Советского Союза алюминиевый завод в Наг-Хаммади, вертятся сотни тысяч электромоторов, по вечерам горит свет в городах и деревнях; дает продукцию Хеллуанский металлургический завод — также объект советско-египетского сотрудничества, в стране есть база собственного машиностроения. С благодарностью приводили египтяне и многие другие примеры плодов сотрудничества с Советским Союзом. И уж, конечно, все мои собеседники — от главы государства до официанта в кафе — на первом месте с восторгом упоминали о том, как Советский Союз решающим образом помог Египту фактически выиграть освободительную «октябрьскую войну» 1973 года.

А что же США? Как-то стесняются говорить о «сотрудничестве» с ними мои собеседники. Да я и не настаиваю: и так ясно, что к чему. Если теперь многие осознали суть бескорыстной советской помощи — помощи для укрепления независимости Египта, то американскую они воспринимают как направленную на создание зависимого положения страны. Понимают они и что выбраться из прочной сетки, наброшенной на Египет в семидесятые годы, конечно, нелегко.

Радостным было посещение Каира в декабре 1987 года. Радостно было от сознания, что добрые дела нашей страны и тех советских людей, которые работали в Египте, не только не забыты, но и весьма популярны в народе. Значит, у советско-египетских отношений может быть хорошее будущее.

В. Оскоцкий

И ДЕНЬ, И ВЕК

ЗАМЕТКИ О ТВОРЧЕСТВЕ ЧИНГИЗА АЙТМАТОВА

Как ни много лет минуло, воды утекло, а все помнится случай на одном из писательских собраний.

— Дожили! — недоумевал, возмущался оратор.— Для иных прозаиков, видите ли, узок и недостаточен четкий классовый взгляд на современный мир, им по сердцу всечеловеческие позиции абстрактного гуманизма. Уже до того дошло, что изобрели словесное новообразование: дескать, все мы, люди, населяющие планету, з е м л я н е, и всяк человек человеку, землянин землянину друг и брат.

— Дорогие товарищи, друзья, дорогие земляне! — таким намеренно полемическим, в пику предшественнику, обращением к залу начал выступление следующий оратор. И в знак понимания, согласия был встречен аплодисментами...

Дело происходило в самом начале 80-х, и нетрудно было догадаться, что отвергнутое одним и принятое другим оратором слово — из лексики романа Чингиза Айтматова «И дольше века длится день...» Помните «Послание землянам», которое, отбывая на планету Лесная Грудь, американский и советский паритет-космонавты оставляют в вахтенном журнале орбитальной станции?

В жарких спорах, которые вызвал роман, критике чаще и больше всего подвергалась как раз эта космическая фантазия. И в сюжет-то она не вписывается, и подана на уровне не художественном, а публицистическом, и политически не совсем точна. По меньшей мере сомнительной объявляли тогда ведущую идею паритетности, едва ли не демонстративно противопоставленную и популярному лозунгу обострения идеологической борьбы, и ходульному образу врага.

Повторить сегодня такое — прозвучит замшелым анахронизмом. И десяти лет не прошло, а понятие паритетности — равноправного диалога, взаимовыгодного сотрудничества государств и народов как в далях космоса, так еще в большей степени и на земной тверди — активно вошло в политический словарь современности, стало важнейшим ориентиром нового мышления. И первым условием такого международного климата на планете, в основание которого были бы положены принципы взаимного уважения и доверия. Это ли не наглядное выражение уникальной способности неконъюнктурной художественной мысли, проникшейся глобальными проблемами современного мира, воспринявшей их в неразрывном единстве и дня, и века, предвидеть, прозревать и ближайшее, и — нередко — отдаленное будущее? Невелика беда, если ее прозрения и предвидения обретают подчас нескрываемо публицистическую направленность. Что же до фантастики, в которую облекает их писатель, то генезис ее Чингиз Айтматов обосновал убежденно и убедительно: «Фантастическое — это метафора жизни, позволяющая увидеть ее под новым, неожиданным углом зрения. Метафоры сделались особенно необходимыми в наш век не только из-за вторжения научно-технических свершений в область вчерашней фантастики, но скорее потому, что фантастичен мир, в котором мы живем, раздираемый противоречиями — экономическими, политическими, идеологическими, расовыми».

К такому крупномасштабному — под стать глобальности самих проблем — миропониманию Чингиз Айтматов шел путем исканий, отмеченных обострявшимся видением как наших дней, так и минувших лет и десятилетий. В нынешнем сопоставлении с трагедийными мотивами повести «Белый пароход», романов «И дольше века длится день...», «Плаха» лиризм ранних повестей «Джамиля» или «Тополек мой в красной косынке» вспоминаешь, конечно же, с добрым, благодарным чувством, но, пожалуй, как давнюю, первую любовь. По-юношески трепетную, трогательно-незащищенную и в то же время воздушно-зыбкую, чуть воспарившую над грешной землей, вознесенную над ее горестями и печалями, неизбывными бедами и кровоточащими ранами. Разумеется, и те первые повести вовсе не были бесконфликтными, но их конфликты принадлежали скорее быту, чем бытию, и чаще являли собой психологические драмы человеческой судьбы, нежели социальные драмы судьбы народной, развернутые в пространстве отечественной и мировой истории. Однако по мере того, как социальный драматизм характеров и обстоятельств обретал под

пером Чингиза Айтматова все более полное выражение, трагедийность сюжетных коллизий становилась органичным качеством видения человека во времени и времени в человеке.

Так было в повести «Первый учитель». «Яркое воплощение новой судьбы освобожденной, раскрепощенной киргизской женщины» — шаблонно и несколько фанфарно говорится сейчас о ней. Это и в самом деле так, если иметь в виду героиню повести, академика Алтынай Сулаймановy, от лица которой ведется рассказ-воспоминание о «школе Дюйшена». Но почему он горчит, этот рассказ, хотя все вроде бы в конце концов складывается в нем к лучшему? От краснорожего, рыжебородого бая-насильника, в младшие жены которому Алтынай отдана по обычаю, ее пусть с трудом, но вызволяют и, помогая начать «новую жизнь... на новом месте», посылают учиться сначала во Фрунзе, а потом и в Москву. Куда как щедро возмещает судьба обиды и унижения детства, ничем, кажется, не обделяет — ни счастьем в доме как жену и мать, ни уважением и почетом как ученого. А она, прибыв в родной аил на шумное и, чего греха таить, помпезное торжество по случаю открытия новой школы, неведь почему томится какой-то невысказанной виной: не ей бы принимать «всяческие почести», восседать в президиуме дорогим, знатным гостем. «Такое право имел прежде всего наш первый учитель, первый коммунист нашего аила—старый Дюйшен». Но о Дюйшене, который первым в аиле, как мог и умел, обучал детей тому немногому, что знал сам, попросту забыли, и это «не единственный случай» казенного равнодушия, черствой непамяти.

Не менее важен мотив, несколько приглушенно намеченный поначалу в повести «Первый учитель» и продолженный затем в сценарии фильма с тем же названием. Насилие над малолетней Алтынай освящено жизнестойкой традицией национального быта. Спасая свою ученицу, бесстрашный Дюйшен восставал против стародавних обычаев, которые лишь немногими осознавались как варварские, сокрушал вековечные устои феодально-байской морали, которая вовсе не повсеместно воспринималась как чужеродная, враждебная народу.

Сюжетное заострение такой житейской коллизии вызвало двоякие нарекания на повесть и фильм. Одни полагали, будто непомерно суров писательский суд над обычаями и традициями старины, и, называя их исконно национальными, усматривали в этом высокомерное неуважение к предкам. Другие, напротив, находили внимание к национальной архаике излишне форсированным, избыточным, а в откровенном, беспощадном живописании ее усматривали чуть ли не поэтизацию, хитроумно камуфлирующую — увы, и до такого подчас доходило! — троцкистскую идею невозможности построения социализма в одной стране...

Начиная с «Джамили» все ранние повести Чингиза Айтматова, кроме повести «Тополек мой в красной косынке», печатались в «Новом мире» А. Твардовского. Как писатель, он, следовательно, складывался и формировался в «новомировском» кругу, откуда вышло немало ведущих мастеров современной прозы. Стало быть, искания Чингиза Айтматова в 50-е—60-е годы отвечали творческой платформе, позициям и устремлениям журнала, который полнее и неуклонней других изданий проводил в жизнь судьбоносные идеи XX и XXII съездов партии, продолжал и обогащал последовательно демократические традиции отечественной журналистики и литературы, неизменно ориентировался на классический и современный опыт социально-аналитического реализма и самобытное писательское мастерство, высокое художественное качество, неподвластные никаким преходящим окололитературным конъюнктурам, будь то злободневная тема произведения, вчерашний престиж или сегодняшняя «некритикабельность» автора. Не будет преувеличением признать, что столь авторитетную марку по-своему держала каждая повесть Чингиза Айтматова, но в ряду их «Прощай, Гульсары!» заняла авангардное место.

Нелишне напомнить: время поворачивалось — вернее, его исподволь поворачивали — вспять, к застою, и публикации «Нового мира» почти из номера в номер подвергались разносной, сокрушительной, рассчитанной на изничтожение критике только потому, что они «новомировские». Так случилось с повестями Василя Быкова «Мертвым не больно», «Атака с ходу», «Круглянский мост», романами Федора Абрамова «Две зимы и три лета» и Николая Воронова «Юность в Железнодольске», рядом других произведений, которые охотно признаются сегодня лучшей прозой 60-х годов, но в те самые 60-е угодливо третировались официозной критикой как идейно ущербные.

Повесть Чингиза Айтматова счастливо избежала суда скорого, да неправого и даже была обласкана Государственной премией СССР. Ума не приложить,— с чего вдруг «повезло» ей? Неужто потому только, что финал, в котором появляется новый, достойный и принципиальный секретарь райкома, сменивший прежнего, увертливо-беспринципного, внушает надежду на благотворные перемены к лучшему как в колхозной жизни вообще, так и в судьбе Танабая Бакасова в частности? Если и впрямь так, то, право же, неисповедимы бывали пути проработок и поощрений, и соображения эстетические не в пример вульгарно-социологическим не предрекали их никоим образом. Мало того, что обнадеживающий финал не разработан художественно,— не так уж и оптимистичен на деле его дежурный оптимизм. Ну, восстановит справедливый секретарь Танабая Бакасова в партии, по заслугам взыщет с его гонителей и хулителей, новоявленных «манапов в кожаных паль-

то». Но ведь не снимет тяжести прожитых лет, что без остатка отданы в невозмещенный «залог будущего» — тан и не сбывшейся счастливой жизни, «к которой все это время стремились, ради которой побеждали и умирали на войне». И не облегчит беспокойную, взыскующую совесть, то и дело погружающую в мучительные сомнения: «надо ли было» так ретиво раскулачивать соседей и родню, зная, что никто из них, умелых, крепких хозяев, кулаком не был, ради зыбких миражей колхозного рая, где все теперь «лезет по швам»? А может, ошиблись, не туда пошли, не той дорогой?

«...Нарисовать картину современной национальной жизни, киргизский национальный характер... воспроизвести не национальный «орнамент», а поставить существенные вопросы национального бытия, проникнуть в социальные конфликты и противоречия»,— так раскрывал писатель замысел повести, задачи, которые ставил и решил в ней. В этом и видится ее главный творческий урок: благодаря основательной *социальной* оснастке повествования многотрудная история Танабая Бакасова, не утрачивая самобытных *национальных* черт, обрела масштабы общенародные.

Так же органично приложима формула единства национального и интернационального к повести «Белый пароход (После сказки)» с той, однако, существенной оговоркой, что ее мифологическая образность несет на себе еще более броскую, выразительную печать национальной специфики, так как трансформирует эстетику и поэтику народного творчества. Но крушение, гибель мифа о Рогатой матери-оленихе подается в контексте не специфически национальных, а общезначимых философских, социальных, духовных проблем, катастрофического разлада идеала и действительности, драматического несоответствия в повседневной реальности человеческой жизни сущего и должного.

Разумеется, не легендой, не сказкой снимать разлад, устранять несоответствие, но они дороги как порыв и прорыв к прекрасному, которому не находится места в обыденной текучке бесцветных дней и лет, что так трудно, нескладно, запутанно проживают обитатели глухого лесного кордона в Сан-Ташской пади. Да и этот лучик света, ненадолго блеснувший сквозь густую, плотную тьму, угасает и исчезает с гулким эхом воровского выстрела в красавца марала — душевным сломом старого Момуна, раздавленного злой волей Орозкула, гибелью мальчика, уплывшего «рыбой по реке» в голубой простор Иссык-Куля, навстречу белому пароходу. Такой ценой оплачен кризис не столько древнего мифологического сознания, отступившего перед напором современной цивилизации, как истолковывали повесть некоторые критики, спрямляя и упрощая ее звучание, не календарно временнóе, но и не безвременно отвлеченное, сколько социальных и нравственных идеалов народного благоденствия на обетованной земле правды и добра. Нахраписто теснит их, осиливает и изничтожает неотлучный, извечный спутник любых застойных времен — поощряемое торжество сытой плоти. Писатель мастерски передает его хаос звуков «вальпургиевой ночи», в которую свершается не просто убийство сказки, свершается циничное и глумливое надругательство над естеством жизни, потребительски загнанной в тупиковое — бездуховное, безыдеальное — русло.

Так пришло трагическое завершение повести. Критика рецептурная, если и признающая трагедию, так только оптимистическую, не преминула встретить такой финал в штыки. Отвечая ей, Чингиз Айтматов вынужденно разъяснял вроде бы азы эстетической грамоты, но как быть, если они-то и отвергаются зачастую неусыпными стражами канонов социалистического реализма, которым нестерпимей всего в искусстве именно реализм, как, сдается, и реальный, а не идеальный (развитой, зрелый и т. п.) социализм — в жизни. «Показывая гибель мальчика в «Белом пароходе»,— настаивал писатель,— я отнюдь не возвышаю зло над добром, а преследую цель жизнеутверждающую—через неприятие зла в его самой непримиримой форме, через смерть героя... Такова логика художественного замысла, имеющего свои, неподвластные автору принципы... У меня был только один выбор — писать или не писать повесть. А если писать, то только так».

И еще. Потому, по свидетельству писателя, не получился, перерос в повесть задуманный небольшой элегический рассказ-воспоминание, что замкнутый мир лесного кордона, где правил самодур Орозкул, тупое, мстительное ничтожество, настраивал не на элегию. Драма сломленного старика Момуна, трагедия обреченного мальчика вобрали в себя столько бытийных проблем, что воплощение их требовало больших повествовательных плацдармов.

В романе «И дольше века длится день...» Чингиз Айтматов еще шире раздвинул их, сопрягая быстротекущий нынешний день с веком, а переломный исход нашего XX века — со временами минувшими и грядущими. В соответствии с этим железнодорожный разъезд Боранлы — Буранный, затерянный в Сары-Озеках, Серединных землях желтых степей, оказывается не малой точкой на карте мира, а его средоточием, едва ли меньшим по своему глобальному значению, чем «авианосец «Конвенция» — научно-стратегический штаб» паритетных космических исследований, дрейфующий в тихоокеанском просторе возле Алеутов на «строго одинаковом по воздуху расстоянии между Владивостоком и Сан-Франциско».

Глухой разъезд — не тихая обитель, отгороженная, отъединенная от мира вок-

руг. Бурный век гулко врывается в его обыденно примелькавшийся, размеренный, ничем внешне не выделяющийся, но исполненный скрытого драматизма день и неумолчным грохотом поездов, что мчатся мимо «с востока на запад и с запада на восток», и слепящим «огненным смерчем» ракетных стартов, чьи трепещущие сполохи света, «озаряя округу», устремлены «в темную, звездную высь». Этим «бушующим напряженным пламенем» высвечена фигура главного героя романа, в прошлом, как все любимые герои Чингиза Айтматова, фронтовика, а ныне железнодорожного рабочего Едигея Жангельдина, прозванного Едигеем Буранным. Через его «неприметную судьбу и скромное миросозерцание» писателю хотелось «поведать о масштабах нашей современности». Отсюда стремление «написать своего героя в многосторонних связях со всей нашей страной, со всем миром, более того — с космосом».

Верно замечено: не знай роман «И дольше века длится день...» художественной условности, в ключе которой выдержана космическая фантазия, мы, скорее всего, получили бы пусть добротный, но все-таки еще один вариант повести «Прощай, Гульсары!», благо что духовная родословная Едигея восходит преемственно к таким предшествующим героям, как Данияр из «Джамили», «первый учитель» Дюйшен, но особенно чабан Танабай Бакасов. Однако Чингиз Айтматов не из тех писателей, которым привычно довольствоваться самоповторами, без конца эксплуатировать однажды найденное. Размыкая действие сюжетно во времени и пространстве, космос придает повествованию новое философское качество, обретаемое в результате глубокого погружения художественной мысли в глобальнейшую изо всех глобальных проблем современности — выживания человечества, спасения земной цивилизации, самой планеты от угрожающей им самоубийственной гибели. «Приходится думать и об этом. Человек должен думать обо всем, даже о конце света...» — программно заявил Чингиз Айтматов, комментируя свою гипотетически сконструированную, предельно заостренную «в парадоксальной, гиперболизированной форме ситуацию, чреватую потенциальными опасностями для людей на земле». Представим себе, размышлял он далее, что с нашим миром произошло нечто неожиданное, непредвиденное, вплоть до встречи с внеземным разумом, контакта с иными мирами, и это стало «залогом благоденствия для человечества». Где гарантия, что оно, разъятое на враждующие лагери, раздираемое социальными и идеологическими противоречиями, национальными и расовыми конфликтами, разделенное вековечными барьерами взаимного недоверия и непонимания, не совершит неправильного выбора, прагматически предпочтя вечности всего один миг — утилитарные «соображения предвыборной кампании или сиюминутного политического выигрыша»?

Космической фантазией писателя подсказано смысловое и образное завершение сквозной метафоры, многоступенчато развернутой по ходу действия. Ее начальное звено, исходный плацдарм — легенда о манкуртах, людях, у которых отнята память, которые лишены «понимания собственного «я», не знают ни своего рода-племени, ни даже имен отца и матери. Но оказывается, чтобы превратить человека в такое беспамятливое, нерассуждающее существо, совсем не обязательно прибегать к варварскому обычаю жестоких кочевников — жуаньжуанов. Чем не современный манкурт понаслышке эрудированный пустобрех Сабитжан, не иначе как в «высших интересах» государства грезящий о массовой манкуртизации общества — радиоуправляемых людях, низведенных до послушных роботов?.. А «кречетоглазый» следователь, обосновывающий противозаконный арест Абуталипа Куттыбаева философией и моралью манкуртизма: «В жизни всякое может быть в смысле исторических событий. Но мало ли что было и как было! Важно вспомнить, нарисовать прошлое устно или тем более письменно так, как требуется сейчас, как нужно сейчас для нас. А все, что нам не на пользу, того и не следует вспоминать»? (Как ни пародийно звучит это в романе, а, по свидетельству историка В. М. Кулиша, почти так же, как персонаж Чингиза Айтматова, всерьез рассуждал в 60-е годы начальник Главного политического управления Советской Армии и Военно-Морского Флота генерал А. А. Епишев: «Там, в «Новом мире», говорят, подавай им черный хлеб правды, а на кой черт она нам нужна, если она не выгодна»)... Или однофамилец этого прилежного выученика сталинско-бериевской школы — лейтенант Тансыкбаев, слепо повинующийся букве бесчеловечного «приказа свыше» и не дающий себе труда самостоятельно поразмыслить, что в нем «правильно, что нет»? Сопоставим: на отчужденный «приказ свыше» ссылается и подросток, воспитанный на доносительском комплексе Павлика Морозова: «с холодной ясностью жестких глаз» обвиняет он в предательстве школьного учителя, который бежал в войну из фашистского концлагеря и воевал в отряде югославских партизан. «Недопустимо сдаваться во вражеский плен»,— повторяет он со слов невоевавшего отца: советский воин обязан был застрелиться. (Снова невольная аналогия: недалеко от вымышленного подростка ушли доподлинные полковники в отставке, от чьих судов-пересудов миллионные жертвы фашистского геноцида приходится защищать и по сей день...) Такова вторая ступень метафоры, ее последующее звено, представляющее разномастные типы манкуртов, родовой чертой которых выступают безмыслие и бесчувствие.

И, наконец, последняя ступень, третье, замыкающее звено. В плотном окружении «боевых ракет-роботов» сама Земля

добровольно уподобляется легендарному манкурту, чей череп сдавлен сыромятной верблюжьей кожей. Операция «Обруч», осуществленная в рамках «нашего земного стереотипа мышления», обрекает планету на глобальную самоизоляцию, необратимо приведет «к неизбежной исторической и технологической рутине человеческого общества, на преодоление которой потребуются тысячелетия...»

С публикацией романа «И дольше века длится день...» слово «манкурт» прочно вошло и в литературный, и в повседневный обиход как знак, символ беспамятства. Неудивительно: писателем, помимо всего, проницательно предугадано, распознано и такое социальное явление наших дней, как охранительство, пропитанное психологией и моралью сталинизма. В комментариях к роману Чингиз Айтматов назвал тему «культа личности» не новой для себя. Действительно, он не раз обращался к ней прежде наперекор негласным ограничениям и прямым запретам, возраставшим год от года. Поэтому если в повести «Прощай, Гульсары!» она давалась еще открытым текстом, хотя несколько отретушированным, то в «Белом пароходе» не случайно упрятывалась в подтекст, лишь опосредованно указывающий на исторические корни и социальную природу зла, которое персонифицировал Орозкул, мечтая дорваться до большой власти и взыграть, «как сытый конь на овсе». (Как показал пример Т. Усубалиева, занимавшего в пору действия повести пост первого секретаря республиканского ЦК, мечта не такая уж беспочвенная и желание не из несбыточных). Отсюда его тоска по «времечку», когда «головы летели — и никто ни звука»...

Вновь открытым текстом, прямым называнием античеловечных и антинародных явлений тема сталинских преступлений зазвучала в романе «Плаха». Действующий в нем Обер-Кандалов не в пример предшественнику Орозкулу — оба одного поля ягоды — в намекающем подтексте уже не нуждается и породившую его эпоху славословит без каких бы то ни было околичностей. «Думаешь, Сталина нет, так управы на тебя не найдется?» — угрожает он Авдию Каллистратову, чье праведничество ему, как кость в горле. Не что иное, как психология безнаказанного насилия, агрессивная мораль вседозволенности выплескиваются его неутраченной готовностью перевешать «всех, кто против нас, и одной веревицей весь земной шар, как обручем», обхватить, дабы «никто ни единому нашему слову не сопротивился, и все ходили бы по струнке». Такую агрессию сталинизма заново провоцировали и стимулировали условия застоя, апогей которых дан в ужасающих картинах варварского надругательства, кощунственного глумления над природой. Земной шар потрошат, «как тыкву», и каждый усердствует во что горазд. Так обнаруживаются стыки между отдельными частями романа, которые лишь на первый взгляд кажутся сюжетно разрозненными...

Сопрягая «антикультовские» мотивы обоих романов Чингиза Айтматова, можно определить сталинизм как намеренную манкуртизацию общества, из самосознания которого усиленно вытравлялись память истории, ее знание и чувство. Это не могло пройти и не прошло бесследно для наших дней, оставив реликты или самоуспокоенного беспамятства, или комфортного нежелания помнить. Не воспринять иначе сетований авторитетного критика на «усталость» от прозы, слишком якобы увлеченной обличением сталинизма. Разве все «белые пятна» народной истории уже восполнены? Все ее драмы высказаны?

Нет нужды возвращаться к недавним спорам о романе «Плаха», дозиметрически выверять соотношение его очевидных обретений и досадных потерь. Это уведет в сторону от разговора о главных вехах творческого пути писателя, к которым романы «И дольше века длится день...», «Плаха» принадлежат так же бесспорно, как раньше принадлежали повести «Прощай, Гульсары!», «Белый пароход». И обречет на невольное повторение многого из того, о чем уже доводилось рассуждать на посвященном «Плахе» дискуссионном «круглом столе» журнала «Вопросы литературы» (1987, № 3). Во избежание того и другого остановлюсь всего на одном моменте, который представляется важнее других, так как указывает на органичную сращенность в творчестве Чингиза Айтматова прозы и публицистики, связанной, в частности, с общественной деятельностью инициатора международного Иссык-Кульского форума. Особо примечательна в этом отношении памятная статья «Разум в ядерной осаде» («Правда», 1985, 4 февраля): она проросла из романа «И дольше века длится день...» и, в свою очередь, предвосхитила «Плаху». Одним из первых Чингиз Айтматов отстаивал в ней новое мышление — политическое, историческое, художественное, восставал против идеологических стереотипов, в силу которых таким понятиям, как пацифизм, абстрактный гуманизм, всечеловечность, придавался неизменно бранный смысл. Кто не с нами, тот против нас? По-иному рассудила, откорректировала, повернула история: кто не против нас, тот с нами. Каждый с нами, кто, как и мы, за жизнь на планете. И нет ныне более неотложного веления времени, как «переход от «корпоративного», блокового сознания человечества к глобальному восприятию единства жизни на Земле, к планетарному мышлению, ориентированному на общечеловеческие нравственные, вечные духовные ценности бытия».

Необходимый прорыв к ним современной литературы и знаменует творчество Чингиза Айтматова.

А. Турков

ЧИТАТЕЛЬ ПИШЕТ...

ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ

Ежели в стране уже образовалась восприимчивая читательская среда, способная не только прислушиваться к трепетаниям человеческой мысли, но и свободно выражать свою восприимчивость,— писатель чувствует себя бодрым и сильным.

М. Е. Салтыков-Щедрин

Прочитав подзаголовок, легко обвинить автора в заимствовании: под такой рубрикой, как известно, в «Литературной газете» подчас публикуются статьи о писателях.

Однако при всем уважении к собратьям, смею думать, что применительно к литераторам, часто уже не раз служившим предметом критического анализа, название рубрики не лишено оттенка то ли искусственности, то ли претенциозности, то ли восторженного придыхания: дескать, так велик имярек, столь многообразен, что дай бог хоть какие-то черточки его облика запечатлеть, а не посягать на целый портрет!

Применительно же к читателю эти слова как бы сигнализируют о «положении дел» — о неизученности, приблизительности наших представлений об этом многоликом «адресате» художественной литературы.

Сто с лишним лет назад, в разгар реакции Салтыков-Щедрин предложил в «Мелочах жизни» свою невеселую классификацию читателей: читатель-ненавистник, солидный (слово это как бы заключено в незримые кавычки) читатель, читатель-простец и читатель-друг.

Конечно, ныне руки так и чешутся вывести на бумаге, что, дескать, эта «табель о рангах» безнадежно устарела и все заполонил читатель-друг, решительно потеснив даже наивного простеца... Этакий давний зуд, сохранившийся еще с тех времен, когда, если верить тогдашним статьям, читатели больно уж дружно восторгались одними произведениями и столь же стройными рядами отворачивались от других!

Впрочем, если вспомнить, то и в оные времена находившийся отнюдь не в чести Есенин читался и слушался с упоением, да и более скромный «опальный» автор в самый разгар гремевших над его головой критических гроз мог получить драгоценную читательскую поддержку, как то очевидно из недавней публикации в «Литературной газете» писем И. Ефимова и М. Зверева к Василию Гроссману.

Гулкий словесный монолит: «наш многомиллионный читатель», который то ликующе, то грозно звучал со всяких критических колоколен, постепенно как-то озадаченно примолк, словно смущенный прямым нелицеприятным словом поэта, ставшего в годы войны поистине народным любимцем:

Я так обязан той подмоге
Великой — что там ни толкуй,—
Но и тебя не прочу в боги,
Лепить не буду новый культ.

Читатель, снизу или сверху
Ты за моей следишь строкой,
Ты тоже — всякий на поверку,
Бываешь — мало ли какой.

Да, ты и лучший друг надежный,
Наставник строгий и отец.
Но ты и льстец неосторожный,
И вредный, к случаю, квасец.

И крайним слабостям потатчик,
И на расправу больно скор.
И сам начетчик
И цитатчик,
И не судья,
А прокурор.

Почти тридцать лет минуло с тех пор, как это написано Твардовским, и странным было бы, если бы все пережитое нами за это время не сказалось на читательском облике — или обликах. Признаемся: всякое случалось, от чего он мог и взыграть духом, и упасть оным же. Перепадали ему и величайшие духовные богатства, но нередко предписывалась и непонятная суровая диета («Ах, то-то

нужно, то-то можно, а то-то вредно для тебя!» — насмешливо передразнивал Твардовский заботливую в этом отношении «маменьку-печать»). И снова в одних случаях от читателя требовалось восторженными толпами высыпать на литературную улицу, а в других — «стихийно» негодовать на книги... которых не читал.

...Ах, как опять привычно тянет разлететься пером: «И только после Апрельского пленума...», не стыдясь так же заболтать этот оборот речи, как заштамповали в десятках и сотнях статей и монографий другой: «Только после Великого Октября...», применяя его где надо и где не надо!

Что, народился три года назад другой, совсем новый читатель? Нет, разумеется, если не считать естественного возрастного прироста — прихода в ряды читателей вчерашних «несмышленышей».

Но, право же, читатель, который был «в наличии» и до означенного рубежа, с особенным чувством мог бы повторить нынче пушкинские слова:

...Много
переменилось в жизни для меня.

Вам уже хочется на свой лад продолжить цитату: «И сам... переменился я...» Но задумаемся: стоит ли так торопиться?

Как вглядеться в лица сегодняшних читателей? Провести соответственный опрос? Делается и это. Но вот буквально на днях один из социологов предупреждал: «Опросы эти принимаются за форму истинной демократии. А на самом деле — именно в силу низкого уровня профессионализма (производящих его.— А. Т.) — сплошь и рядом оказываются формой манипуляции общественным мнением» («Советская культура», 1988, 30 августа).

И вот по старинке «груду писем разбираешь», но только совсем не такую, какую можно уподобить остывшей золе, а пышущую всем жаром наших сегодняшних проблем, забот, споров, пусть в данном случае — на первый взгляд — чисто литературных: журнальную почту.

У отдела критики «Знамени» она своя, у других журналов, наверное, существенно иная, у самих писателей — третья, но похоже, что есть и общие черты, которые я определил бы словами Алеся Адамовича: это «красноречивая, неожиданная и спорящая» почта.

С. Гайко (г. Серов Свердловской обл.) пишет, что «рад, что дожил до резких перемен в журнальной литературе». «Какое счастье,— вторит ему И. Сахарова,— что мы живем в такие годы, когда можно читать произведения, содержащие идеи, мысли, факты, столь долго бывшие под запретом». «...Настолько все интересно, смело, информационно, совпадает со своим выстраданным»,— словно бы продолжает ее мысль учитель Б. А. Дехтяр (г. Горький), в прошлом трижды раненный пехотинец.

Некоторые читатели (М. А. Чернова из Уфы, ведущий инженер НИИ москвич И. М. Каримов) пишут в редакцию впервые в жизни. Раньше такой потребности не возникало, а вот теперь... «Присоединяюсь к т. А. Нуйкину,— говорится в письме москвички Н. В. Черниковой,— в том, что сейчас такое время, что отмолчаться просто невозможно...»

Говоря о почте только одного, критического отдела журнала, сразу же надо отметить ее важную особенность. Содержание множества писем далеко выходит «за рамки» этого рода литературы. И оценки статей, вызвавших читательские отклики, прямо пропорциональны степени соотнесенности критических суждений с проблемами самой жизни, волнующими пишущих.

«Весьма отрадно,— делится своими размышлениями Н. Ф. Андрияшин из г. Чернь Тульской области,— что с появлением произведений, некогда «отсроченных» к публикации, стали появляться и критические материалы, читаемые с не меньшим интересом, чем сами романы, повести, поэмы... Эти высказывания захватывают своей неотразимой логикой и вызывают у читателя *свои* «размышления по поводу».»

Значительный интерес вызвали обзоры и статьи Игоря Дедкова, Игоря Золотусского, Натальи Ивановой, Аллы Латыниной, Светланы Семеновой, Сергея Чупринина.

Но особенно характерна в этом смысле читательская реакция на статью Юрия Карякина «Стоит ли наступать на грабли?» (1987, № 9), на которую откликнулось более двухсот человек.

Преподаватели МЭИ О. В. Зимина и А. И. Кириллов называют статью «долгожданным образцом настоящей публицистики», похожие оценки есть и во многих других письмах. «Она из тех,— считает москвич И. Борисов,— что пробуждают от спячки и заставляют душу работать... учат самостоятельно мыслить».

Помню, как весной этого года в колхозе под Ростовом-на-Дону обсуждали роман Бориса Можаева «Мужики и бабы», страстная полемика из-за которого с неким Инкогнито вызвала к жизни карякинскую статью. Подобных мероприятий на нашей памяти было много, и не секрет, что часто они проходили — да и проходят еще — скучно и вымученно. На сей раз роман явно задел людей за живое. Были, правда, и выступления прежнего толка, но тон задавали иные, причем ораторы делились на два разряда.

Нет, вы не угадали — не на сторонников и противников (последние то ли не пришли, то ли предпочитали отмалчиваться), а на тех, старших, которые подтверждали истинность изображенного писателем, порой вдаваясь в собственные воспоминания, и молодежь, благодарившую его за то, что рассказал, как оно все было.

Думается, что это не только «местные» разновидности читателей. Те «уроки правды», о которых страстно говорится с са-

мых высоких трибун и которые, скажем без ложной скромности, дает наша литература, как возвращенная читателю, так и родившаяся в самое недавнее время, раскрепощают и сознание людей, и их память, «легализуют» то, что до сей поры таилось под спудом и только растравляло душу.

И статья Ю. Карякина вызвала отклики людей самых разных поколений — начиная с современников изображенного в можаевской книге (москвичка Л. И. Серебряная и др.) до двадцатилетней студентки из Подольска М. С. Ныровой (в этом смысле, кажется, оказалась неправа Н. В. Пушкина из Евпатории, которая в своем подробном и взволнованном письме считала, что «совсем юные» статью не прочтут).

Участник Великой Отечественной войны Б. Б. Медовой (Московская область) радуется тому, что карякинская статья «беспощадно взламывает коросту фальши». «Большое спасибо Вам за мужество, за то, что вышли на открытый бой...» — пишет М. А. Кытманова, рассказывающая о трагических судьбах «мужиков и баб» из числа ее собственной родни.

Иные из подобных писем даже невозможно назвать отзывами на прочитанное. Это целая исповедь, вызванная им и достигающая огромного драматизма.

«Решила написать и о своей судьбе,— пишет Юрию Карякину Н. К. Мочалова из Кургана.— ...Восемь человек семья, еще в 1930 году. Но высокие налоги выгнали нашего отца из дома... Отец уехал работать в Сред. Азию. Нас раскулачили и выгнали из дома зимой... Садиться на подводу не разрешали — шли мы пешком до станции Курган, 15 км. Мама несла на руках маленьких... Подошел состав из телячьих вагонов, нас погрузили в вагоны, заперли... По дороге люди умирали, трупы на остановках в степи (в городах не останавливались!) выбрасывали!..»

На Урале после смерти родителей детей увезли в детский дом, где рассказчица потеряла еще и брата с сестрой.

«Через эту память о прошлом мне проходить страшно!» — признается Н. К. Мочалова и, обращаясь к адресату, заканчивает фразой, от которой сжимается сердце: «Простите, Ю. Ф., что отняла время!»

«Хочется выговориться. Уж извините меня. Вот навязалась... — «вторит» и М. С. Сапкова из Мариуполя, рассказывая о погибшем отце.— ...Ну, теперь уже все. Сколько времени у Вас отняла!»

«Понимаю, что об этом писать не стоит,— прерывает себя и И. Г. Гентош (г. Советск Калининградской обл.).— Таких искалеченных судеб миллионы... Просто накипело... Простите за длинное письмо».

И, не удержавшись, добавляет в постскриптуме: «Я все думаю, что, может быть, станут составлять списки безвинно погибших, так вот имена моих:

1. Отец — Подшивалин Георгий Васильевич.
2. Бабушка — Тюфекчиева Маргарита Михайловна.
3. Дядя — Изумрудов Константин Александрович
(его журналистский псевдоним — Рудов)».

Карякин-то, да, надеюсь, и большинство из нас на это «отнятое время» никак не посетует, однако за всех, увы, поручиться нельзя. На днях в очереди случилось услышать, как женщина жаловалась: «Огонек» за весь год прочла и так тяжело сделалось, так тяжело! — и в интонации звучало осуждение: зачем об *этом* столько писать?!

Не знаю, кто она, какова ее биография. Но вот знакомая портниха: «Мне лично и моим близким Сталин ничего плохого не сделал!» Доктор экономических наук, упрямо сжав губы, тоже возмущается прессой, которую-де теперь и читать-то не хочется.

Вот З. В. Ярцева (г. Воскресенск Московской области) негодует: «...запоганили литературу, чего Вы лезете со своими жертвами... и голову морочите молодежи». Ленинградцу Г. Ф. Григорьеву тоже не по сердцу «слезоточивая духовная пища». А Е. В. Копнов из Луцка клеймит «фашистским преступником» героя повести Даниила Гранина «Зубр», возмущается реабилитацией Чаянова, фамилию которого по неведению так же искажает («Чуянов»!), как и идеи этого ученого, и облик солженицынского Ивана Денисовича, приписывая последнему... хитрость и злобу.

«И сам... переменился я»? Или, скорее, отчетливее проявился?

Проявился, когда исповедуется, выкладывая, «как на духу», все наболевшее за десятки лет.

Проявился, когда от него начинают ускользать — не власть даже («То ли еще будет! Ой-ой-ой»), не положение или достояние, а «всего-навсего» душевное равновесие и давно привычные представления. Они, было, и раньше заметно пошатнулись, но потом, в эпоху застоя, снова устоялись. И вдруг — на́ тебе, перестройка! И целый поток обнаружившихся, беспокоящих фактов и заново пересмотренных репутаций!

Молодым, пожалуй, проще, даже если они, как вспоминает М. А. Чернова, «в 16—17 лет с опухшими от горя глазами дежурили у портретов Сталина в мартовские дни и ночи».

Впрочем, многие из них тоже ведь росли в семьях, где, по выражению Г. Л. Цесарской, родившейся в год его смерти, «призрак пережитого стоял рядом»: «Мать всегда повторяла: «Промолчи, я прошу тебя...» Это самое «промолчи» так и стоит в моих ушах по сей день»,— горько пишет она.

Да уже и на собственном пути тем, кто не жил в сталинскую эпоху, приходилось болезненно сталкиваться с ее «продуктами» вроде карякинского Ин-

когнито, по-прежнему выступавшими, по выражению В. Ш. Кривоноса из Ельца, «во всеоружии демагогии, лжи и вседозволенности». Конкретные примеры подобных столкновений приводят в своих письмах и москвич, инженер лесного хозяйства Д. Д. Соколов, доктор экономических наук, профессор В. Шаститко, писатель Михаил Чванов (Уфа).

«Вы-то объявили его реликтом,— обращается к Ю. Карякину москвич О. И. Горбанов,— а он, как видите, прекрасно размножается в любых условиях». А двадцатисемилетний Владимир Онищенко предупреждает и против «молодого инкогнитенка, который сейчас, здесь, рядом только постигает азы своей будущей «работы».

«Думаю, что нас ждет долгая и очень трудная дорога на пути к подлинной демократии, справедливости и процветанию»,— сказано в письме из Молдавии, и, увы, горькой иллюстрацией этой мысли является уже то, что сам автор письма поостерегся поставить под ним свою подлинную фамилию, равно как и ростовский студент, признающийся: «у меня слишком мало сил, чтобы бороться с разными Инкогнито, которые меня учат».

Каково же приходится нынче тому, кого молитвенное затверживание «Краткого курса» сопровождало чуть ли не всю долгую жизнь, кто с полнейшей искренностью распевал с многомиллионным хором: «Сталин — наша слава боевая, Сталин — нашей юности полет»? И вот теперь ему предлагается осознать, что слава — сама по себе, а Сталин — сам по себе, что «нашей юности полет» именно по его, сталинской, или взращенной им системы, вине слишком часто трагически обрывался в тюрьме, как у комсомольского вожака Александра Косарева и его сподвижников, или в колымских лагерях, как у романтических воронежских ребят, начавших в послевоенные годы прозревать истину («Черные камни» Анатолия Жигулина)...

Не надо истошно клеймить людей, которые с известным недоверием смотрят на тех, кто незамедлительно и лихо выполняет поворот кругом. «Слова о перестройке и новом мышлении,— иронически замечает по сему поводу и москвич В. Чеботарев, которого никак не упрекнешь в «консерватизме»,— так же легко слетают сегодня с уст иных литераторов, как несколько лет назад — речи о развитом социализме и небывалых успехах». Известный артист З. Гердт также упоминает о «персонах», наподобие Инкогнито, которые не столь прямолинейны и «сегодня славно пристраиваются и к Перестройке, и к Гласности, и к Демократии с таким выражением лица, будто только э т о г о - т о они и ждали!..»

Думается, что и здесь надо отдать предпочтение людям, которых советовал особенно ценить Ленин за то, что ничего не сделают против совести и ничего не примут на веру.

Можно даже в чем-то понять москвича П. А. Павлова, который решил сличить, что писал такой-то в одну пору и что — в другую, тем более, что это на наших глазах проделывают и профессиональные критики, попрекая позднего Юрия Трифонова написанными в конце «сороковых, роковых» годов «Студентами», а автора «Детей Арбата» — «Кортиком» и «Бронзовой птицей», тоже несшими на себе отчетливую печать времени с его предрассудками и заблуждениями.

Итак, и наш читатель обнаружил поэта-«перерожденца», который, «когда можно было, прославлял И(осифа) В(иссарионовича)» и сочинял «послушные стихи», а «когда ему разрешили, стал клеймить» его.

Поэта, чье творчество, следовательно, надо «определять... как хамелеонство», поскольку там «во всей красе отразились приспособленчество и беспринципность» автора, чья «используемая лишь для торжественных песнопений лира, не выдержав триумфального бренчания, развалилась, но очень быстро, по приказу восстановилась и зазвучала в полную мощь вплоть до особого распоряжения».

Ставлю голову об заклад, что вам не догадаться, о ком это все написано! Об авторе «Василия Теркина» и «Дома у дороги», а поводом для письма послужила поэма «По праву памяти», для компрометации которой П. А. Павлов и цитирует стихи Твардовского 30—40-х годов, где фигурирует имя Сталина.

Что ж, разные слышал поэт на своем веку упреки, начиная с «подкулачника»! Хранилась в его архиве даже копия статьи одного, тоже ныне покойного поэта (к счастью для репутации последнего, не напечатанной), где Твардовскому, в частности, вменялось в вину то, что в «Василии Теркине» Сталин был ни разу не упомянут. Вспоминается и оскорбительная надпись поперек газетного листа со знаменитой главой «Так это было» (из книги «За далью — даль»), в которой Твардовский мучительно пробивался к осознанию, к а к ж е в с е э т о случилось, и с себя самого вины отнюдь не снимал, с горячностью и горечью восклицая:

И кто при нем его не славил,
Не возносил —
Найдись такой!
...Я жил, я был — за все на свете
Я отвечаю головой.

Можно было бы задать П. А. Павлову тот же вопрос, который читатели из Томска Н. В. Кацеев и Л. И. Уханов в аналогичном случае задают критику Владимиру Бондаренко по поводу Анатолия Рыбакова: «Приспособленец ли тот, кто расстался с заблуждениями, когда ознакомился с ранее недоступными данными?» — с той естественной оговоркой, что выражение «ознакомился с... данными» лишь в очень приблизительной мере отвечает тому, что доводилось испытывать людям по мере драматического

познания многих обстоятельств минувших десятилетий.

Вот уж поистине:

Писатель, если только он
Волна, а океан — Россия,
Не может быть не возмущен,
Когда возмущена стихия.

Позвольте, позвольте,— могут заступиться за моего «оппонента»,— почему же, однако, писатель не был потрясен много ранее, еще тогда, когда на «океане» гудела буря коллективизации?! И разве не ее восславлял он в «Стране Муравии»?

Не так-то все однозначно и просто... Это уж мы, критики, литературоведы, преподаватели, по большей части трактовали поэму Твардовского как развеселую байку об эдаком недотепе, бегающем по всей стране от своего счастья, уготованного ему колхозной жизнью. Однако этот сюжет, подсказанный поэту А. Фадеевым, привлекшим его внимание к одной фабульной линии панферовских «Брусков», во многом впитал у Твардовского и драматизм происходившего, сквозящий в «Стране Муравии» то тут, то там, начиная с первой же картины переправы, которая в чем-то выглядит чуть ли не символически:

Паром скрипит, канат трещит,
Народ стоит бочком,
Уполномоченный спешит,
И баба с сундучком.
Паром идет, как карусель,
Кружась от быстрины.

Перечитайте и сказку, слышанную Никитой Моргунковым в пути,— о том, как жили дед и баба и вдруг «подняла волна избушку, как кораблик понесла» да и вынесла на колхозную усадьбу: «Тут и стой...»

Сказка ложь, да в ней намек... И вряд ли вправе мы всерьез пенять на то, что лишь в черновиках поэмы остались другие варианты участи подобных избушек:

Дома гниют, дворы гниют,
По трубам галки гнезда вьют,
Зарос хозяйский след.
Тот сам сбежал, того свезли,
Как говорят, на край земли,
Где и земли-то нет.

Увы, то же самое «половодье», которое, как и семью Н. К. Мочаловой, далеко унесло близких поэта, несравненно мягче, но достаточно настойчиво влекло его поэму к вполне благополучному финалу. «Тут и стой...»!

И ныне только намеренно можно не различить в последней, предсмертной поэме Твардовского сдержанных, но горьких покаянных нот — и в портрете отца-«кулака» с его наработавшимися руками, и в описании своего тогдашнего самоощущения, когда «ту боль, что скрытно временами... теснила нам сердца», «глушили мы громами рукоплесканий в честь о т ц а» — творца коллективизации.

...А все его подлинно великие создания, и поэмы — от «Теркина» до ныне напечатанной, и стихи — от «Я убит подо Ржевом» до «Я знаю, никакой моей вины...», о которых и помину нет в этом читательском письме,— разве это не многолетнее противоборство с парадностью, бездушием, казенщиной, беспамятством, глухотой к народным жертвам, болям, нуждам?

Так почему же мишенью для обвинений избран именно Александр Твардовский? Не потому ли, что «кровоточащие строки» (выражение ветерана войны, одессита А. М. Баренбойма) его поэмы подают пример того безоглядного искреннего покаяния за ранее не понятое, пример труднейшей и в то же время очистительной внутренней духовной работы, которой следовать боязно и непросто, которая требует полной открытости и немалой отваги?

Так не проще ли «взять под подозрение» того, кто к ней призывает? («...Извините, но вещи надо называть своими именами»,— как говорит, конечно, по иному поводу, сам П. А. Павлов).

Не стоит, наверное, примеривать к читателям этого рода какое-либо из давних щедринских определений. Я скорее рискнул бы назвать их сердито-растерянными и вымещающими это свое состояние на его «виновниках», на тех, чьи мнения, высказывания, произведения особенно сильно затронули, взбудоражили, лишили «психологического комфорта».

При всей полярности подобных писем и письма Н. К. Мочаловой это лишь разные отголоски одних и тех же огромных сдвигов в общественной жизни. Только в одном случае это чистейший голос потрясенной возможностью высказаться вслух человеческой души. А в другом...

Думаю, что там к понятной растерянности, вполне естественной, когда пошатнулось столь многое, чему прежде слепо верил, присоединяется и досадливый звук некоего идеологического «органчика», прижившегося за десятилетия «культа» и «застоя».

Помните этот сюжет из щедринской «Истории одного города»? В голове у градоначальника оказалось устройство, исполнявшее лишь две «музыкальные пьесы»: «Разорю!» и «Не потерплю!», но вот однажды оно испортилось, и градоначальник, так сказать, потерял дар речи, «...внутри у него зашипело и зажужжало... «П...п...плю!» — наконец вырвалось из его уст...»

И новейшие органчики были в свое время отменно отлажены и, не затрудняя своих обладателей, знай себе наигрывали вошедшие в моду мелодии, но в «оттепель» как-то отсырели и заржавели, и хотя потом их снова старались отремонтировать, теперь они и вовсе постоянно сбиваются на «П...п...плю!».

Я подозреваю, что именно органчик, а не кто иной принялся за старое

устами кандидата философских наук В. А. Юдина (г. Калинин) и москвича В. П. Панова, в одном случае заученно твердя по адресу статьи В. Кардина «На войне как на войне», что она «безоговорочно перечеркивает все и всяческие наши достижения» и «возводит клевету на лучших представителей чекистской школы Дзержинского», а в другом — после аналогичных обвинений повести «Пирамида» — не удерживаясь и от воздыханий о добрых, старых «оргвыводах»: «...хорошо бы сегодня Ю. Аракчеева посадить хотя бы на год в тюрьму за эту полную клеветы... повесть».

(Бывают, надо заметить, и такие находчивые или оригинальные органчики, которые клянутся и божатся, что, выговорив: «П...п...плю!», имели в виду не что иное, как «плюрализм», и ничего более!)

Чрезвычайно разноголосый «шторм» вызвала статья Е. В. Анисимова «Феномен Пикуля» — глазами историка» («Знамя», 1987, № 11). Ее в ряде писем решительно поддержали коллеги, дополняя даже собственными развернутыми отзывами о тех книгах писателя, анализ которых в статье отсутствует (москвич, доктор исторических наук, профессор Е. Д. Черменский прислал разбор романа «У последней черты»). Ленинградец А. Л. Качурин, скромно оговаривающийся, что он — «типичный дилетант», в свободное время занимающийся историей второй мировой войны, высказал несогласие с более «снисходительным» взглядом Е. В. Анисимова на роман «Реквием каравану PQ-17». Некоторые из замечаний «дилетанта» достаточно остры,— к примеру, о том, что Уинстон Черчилль «гораздо более сложная фигура, чем Карабас-Барабас из детской сказки».

Любопытно, что немалое число писем от «простых» читателей начинается сходным образом: «Наконец-то!» (З. И. Муратова из Московской обл., Г. К. Цверава из Бокситогорска, москвич Б. А. Алексюткин, А. Е. Лимановский из Сызрани, С. А. Гайко). Похоже, что безапелляционное утверждение Сергея Воронина в июльском номере журнала «Молодая гвардия» за 1988 год, что «наш многомиллионный читатель (старый знакомый оборот...— **А. Т.**) — неизменный поклонник его (В. Пикуля.— **А. Т.**) творчества»,— есть юбилейное преувеличение.

Однако если Е. Д. Черменский довольно наивно полагает, что статья Е. В. Анисимова уже сыграла определенную роль в том, что недавний «бесспорный лидер читательских предпочтений», судя по данным, опубликованным в журнале «Литературное обозрение» (1988, № 1), переместился в конец первой десятки, то более трезвые читатели (например, семья Кубриных из Зеленогорска, для которой статья стала «лучшим подарком») как раз сожалеют о том, что она вряд ли даже дошла до массы почитателей В. Пикуля.

Многие читатели весьма поддерживают мысль о необходимости заполнить тот «вакуум» в литературе об истории нашей родины, которым в известной мере и вызван означенный «феномен», когда романы В. Пикуля, «как мороженое в жаркий день — нарасхват», по меткому выражению Т. А. Якимкиной (Куйбышев). (Утверждает же волгоградец И. Г. Митрофанов, что «познавать историю по Пикулю — и то хлеб!»)

«Дайте интересующемуся читателю прочитать Ключевского, Соловьева и других историков...— пишет радиоинженер Н. Пронин (Москва).— 16—20 томов, пожалуйста,— я заплачу вперед, хотя и не имею огромных денег (220 р. и двое детей). Что я могу ответить на вопросы сына 14 лет и дочери 13 лет по истории России, если сам знаю чуть больше школьной программы?»

Но, разумеется, читатели, для многих из которых В. С. Пикуль сыграл роль просветителя, вступаются за него, причем нередко в самых решительных выражениях.

«Уж кто-кто, а наши историки должны помалкивать до тех пор, пока не напишут что-либо вразумительное об истории России, об истории СССР»,— воинственно заявляет москвич А. Н. Соколов.

Ох, уж эта привычка к «суммарным» оценкам! Так и тянет осведомиться, читал ли автор письма хотя бы труды С. Б. Веселовского или А. А. Зимина, не говоря о «присутствующих» — ныне здравствующих? Или эта размашистость все от того же, о чем демонстративно пишет И. Г. Митрофанов: «из плеяды историков знаю только Пимена (по Пушкину)»? Иначе трудно было бы так легко отмахнуться даже от сочинений Соловьева и Ключевского: «...ведь эти истории написаны когда и в угоду кому?» (А. Н. Соколов).

Что касается В. И. Макарова (г. Красноармейск Московской обл.), то он заявляет: «редакция вместе с автором (статьи.— **А. Т.**) нанесла мне и десяткам миллионов (так! — **А. Т.**) читателей произведений В. Пикуля оскорбление, назвав нас обывателями».

В самом деле, в недалеком прошлом причины тех или иных читательских или зрительских пристрастий слишком часто прямо сводились к обывательским вкусам и потребностям. (Помнится, как при очередном таком авторитетном устном разъяснении Алексей Сурков не выдержал и подал реплику: «Что-то больно уж много обывателей развелось!»)

Впрочем, В. И. Макаров приводит и совсем свежий пример — слова из нашумевшей статьи В. Горбачева в «Молодой гвардии» (1987, № 7) о том, что журнал «Огонек» «как бы сменил прежнего серьезного читателя на бесшабашного, немного бездумного... увлеченного не размахом перестройки, а лишь ее «разоблачительной» стороной, увлеченного модой, «развлекаловкой»...»

Припомнишь время, когда «Огонек» кипами лежал чуть не по всем киоскам, и подивишься: да неужто тогда была нехватка «серьезных» читателей? Или все же дело в другом — в том, что тогдашний журнал был совершенно под стать недавнему застойному времени, откровенно обслуживал интересы писательской «верхушки» и самого главного редактора — А. В. Софронова, а если с кем и воевал, то с «Новым миром» Твардовского, с Юрием Любимовым, Анатолием Эфросом, да и с любым возмутителем болотного спокойствия и показного благолепия?

Резкая перемена, происшедшая с журналом, привлекла к нему внимание самых разных читательских слоев, а в том числе, вполне возможно, и тех, кто способен воспринимать любое острое критическое выступление исключительно как скандал. Что ж, ведь и в читательской семье не без урода...

Вот и Е. В. Анисимов писал о читателях В. Пикуля, что «среди них немало обывателей». Отсюда, ей-же-ей, бесконечно далеко до причисления всех их скопом к этой категории, а тем более, как то выходит у В. И. Макарова, к «лицам с низменными страстями, представляющими общественную опасность».

«Я вовсе не призываю громы и молнии на голову В. С. Пикуля»,— пишет резко отрицательно относящаяся к его творчеству Анита Рябчук (г. Волжский), но считает, что оно «нуждается в серьезной критике и анализе».

Четко выразил подобное же настроение москвич С. А. Красносельский:

«Надо бороться не с Пикулем, а с «феноменом Пикуля», с историческим бескультурьем... Ведь мы при этом не Пикуля побиваем, а историческое мышление (и художественное, добавил бы я.— **А. Т.**) формируем, заставляем людей сравнивать и думать».

На этой «ноте», по-моему, и должен бы спор о Пикуле идти в дальнейшем.

Крайне бурной была реакция и на выступления Юлии Друниной и Л. Лазарева («Знамя», 1988, № 2), критиковавших статью Станислава Куняева «Ради жизни на земле» в «Молодой гвардии» (1987, № 8).

Впрочем, если бы все решалось на основе «большинства голосов», то авторам статей в «Знамени» оставалось бы только принимать поздравления: изъявлений (причем весьма темпераментных) сочувствия и благодарности им было в почте намного больше, чем возражений.

Не будем, однако, торопиться, тем более что пишущий эти строки сам «лицо заинтересованное», поскольку тоже полемизировал с куняевской статьей («В «Гайд-парке», «Юность», 1987, № 12) и в недавнем ответе «пострадавшего» («Молодая гвардия», 1988, № 7) объединен со «знаменскими» авторами.

В нескольких письмах, пришедших в редакцию «Знамени», высказано подозрение, что Юлией Друниной и Л. Лазаревым «движет просто неприязнь к Куняеву» (сотрудник отдела региональной экономики СО АН СССР М. Л. Беляев, Иркутск), здесь «сводятся какие-то личные счеты» (инженер Э. А. Иванова, г. Львов).

С этими мнениями в известной степени солидаризировалась и критик А. Латынина в статье «Колокольный звон — не молитва» («Новый мир», 1988, № 8).

А. Латынина усматривает причину «дружного взрыва негодования» куняевской статьей исключительно в «переводе» ее содержания «с языка критики на язык окололитературных сплетен» и игнорировании сделанной в ней «попытки разобраться в идеологии, питавшей отряд «высокоодаренных» (как замечает Куняев) поэтов, вскормленных на идеях III Интернационала и эти идеи в своем творчестве воплощавших».

Однако в чем упрекался С. Куняев, например, в моей статье? Поскольку читатель «Знамени» совсем не обязательно одновременно и читатель «Юности», позволю себе некоторые цитаты:

«Легко сегодня грустно улыбнуться над стихами, написанными в 1940 году:

> Есть в наших днях такая точность,
> Что мальчики иных веков,
> Наверно, будут плакать ночью
> О времени большевиков.

Или, как это делает С. Куняев по поводу стихов того же Павла Когана о «земшарной республике Советов», умудренно заметить, что «надо было быть очень большим романтиком, чтобы ставить себе столь фантастические цели, не имеющие ничего общего с ходом реальной истории».

...Да, история пошла другими путями, нежели тогда думали не одни лишь юные «книжные» романтики, но попрекать последних этим, да еще рисовать их чуть ли не любителями кровавых боев, право же, не годится».

Вот о чем шла речь,— о несогласии с тем, чтобы представлять именно «поэтов-ифлийцев» главными провозвестниками неизбежности мировой революции.

Ныне С. Куняев жалуется: «...излагаются якобы «мои» мысли словами оппонентов, произвольно, грубо доводятся, как правило, в эмоционально взвинченном тоне до абсурда», и — в опровержение «противников» — демонстрирует свои мысли в их подлинном, первозданном виде следующим комментарием к юношеским стихам Павла Когана «А мы еще дойдем до Ганга...»:

«...Именно такого рода романтический фанатизм давал мнимые «основания» создавать образ «советского агрессора»...»

Так это, оказывается, молодые, еще и в собственной стране почти никому не известные поэты повинны в создании «мифа о советской угрозе»?!

Позволю себе решительно усомниться и в том, что даже теперь, после не столь уж частых и массовых посмертных публикаций их давних стихов, за рубежом,

как утверждает уже А. Латынина, «с помощью этих строчек... легко объясияют своему народу, к примеру, наше присутствие в Афганистане и внушают необходимость ответить на «земшарные» притязания «земшарной» же системой противостояния им».

Сказав все это, я, правда, виновато вспомнил суровую нотацию читательницы Н. И. Лебедь из Иркутска, писавшей главному редактору «Юности», что, по ее мнению, «А. Турков... ломится в открытые двери, доказывая то, что ясно без доказательств всем».

Еще один пример не искаженного «оппонентами» суждения С. Куняева:

«А вот «интеллигентный» вариант городского Павлика Морозова:

В лице молочниц и мамаши
Мы били контру на дому.
Двенадцатилетние чекисты,
Принявши целый мир в родню».

Павлик Морозов здесь явно ни при чем и привлечен в качестве лишнего «ярлыка». Вспомните «Строгую любовь» Ярослава Смелякова, этого старшего брата «поэтов-ифлийцев», с его грустно-улыбчивыми воспоминаниями о настроениях молодежи начала 30-х годов:

В те дни строительства и битв,
вопросы все решая жестко,
мы отрицали старый быт
с категоричностью подростков.

Вспомните, как грозно (и смешно для нынешнего читателя) насторожились эти наивные подростки, обнаружив, что их подруга Зинка — о, ужас! — «докатилась» до такого мещанства, как занятие вязанием.

Равновелики ли история Павлика Морозова и самые запальчивые схватки «двенадцатилетних чекистов» с домашними или молочницами, о чем даже не весьма умудренный жизнью поэт пишет с явным (как будто предвещающим интонацию смеляковской поэмы) юмором, нарочито игнорируемым С. Куняевым?

С. Куняев с гневным пафосом пишет о единственной книжке А. Копштейна, где очень много стихов о Сталине, а я, читая эту филиппику, вспоминаю размышления читателя В. П. Петина: «Да мог ли кто в том кровавом предвоенном тумане с его непредсказуемостью разобраться в чем-либо серьезно? Тем более могли ли сделать это те мальчики...»

Не во всем можно с этим согласиться; кое-кто и сквозь «туман» истину различал. Но ведь даже честнейший Николай Заболоцкий напечатал во время московских процессов над «врагами народа» стихи, осуждавшие обвиняемых, а позже написал «Горийскую симфонию». Да и Михаил Булгаков, наверное, с еще большим внутренним сопротивлением, но приступал же все-таки к пьесе о молодом вожде...

Нет, уважаемая А. Латынина, в статье С. Куняева «на скамье подсудимых» оказывается не столько «идеология поколения», отнюдь не самими «поэтами-ифлийцами» выработанная, а всего лишь принятая ими на веру, сколько, говоря словами даже одного из защитников статьи С. Куняева — В. П. Петина (кстати, наиболее объективного), «те мальчики, те славные Отрады и Копштейны, которые «падали на финский снег»,— а потом, как писал Борис Слуцкий, погибавшие и «в своей степи глухой».

«Где же ваша культура дискуссии?» — упрекает группа читателей из Новосибирска и Юлию Друнину, той короткой заметки которой им не понравился, и сам журнал, ее опубликовавший.

Но ведь статья С. Куняева, послужившая началом дискуссии, и его ответ оппонентам этой культурой уж вовсе не отличаются — ни по отношению к ныне здравствующим, ни — что, естественно, особенно подлило масла в огонь споров — по отношению к тем, кто уже ничего не может возразить своему критику. И ничуть не странно, что целый ряд критических пассажей С. Куняева, для которых А. Латынина нашла столь чарующе импрессионистическое определение: «Означенный оттенок (! — А. Т.) статьи Куняева очевиден», не только у Л. Лазарева, но и у многих читателей ассоциировался с пулями, чиркающими по солдатским надгробиям.

Итак, что же мы видим, что слышим на нынешнем читательском «форуме»?! Разнобой во мнениях, стычки, взаимные, не всегда справедливые наскоки! Орёр, орёр! Ужас, ужас! — как говорили гоголевские дамы, а ныне порой возглашают с трибун и печатных страниц писатели и критики мужеска пола, видимо, незаметно для себя привыкшие к господству одного непререкаемого мнения («Кто против?.. Кто воздержался?.. Принято единогласно!»).

Так хорошо дремалось под это «робкое дыханье» почтительнейшей критики и еле заметное «колыханье сонного ручья» общественного — и читательского в частности — мнения.

А тут вдруг — разлив, половодье мнений, свежий резкий ветер, так что приходится судорожно придерживать лавровые венки, казалось, так прочно водруженные...

И — знаете? — превесело слушать этот «зеленый шум, весенний шум», в котором отчетливо слышен голос того самого читателя-друга, о котором писал Щедрин,— вернее, читателей-друзей, потому что, как мы даже и в данном случае убедились, это люди самых разных взглядов, вкусов, темпераментов, которым при этом, право же, не тесно «в пределах» нашей обильной литературы.

«Бывают... минуты, когда он,— писал Щедрин о читателе-друге,— внезапно открывается, и непосредственное общение с ним делается возможным. Такие минуты — самые счастливые, которые испытывает убежденный писатель на трудном пути своем».

Не такую же ли минуту переживаем и мы?

В мире журналов и книг

У времени в плену

«Маршак смеялся, получив письмо от одного маленького мальчика: «Милый дедушка! Сколько же тебе лет? Есть уже сто? Ведь еще моя бабушка, когда была маленькая, читала твои стихи, и мои мама и папа тоже...» — так начинает свой рассказ о Маршаке Ст. Рассадин, признаваясь, что подобное чувство испытывали многие взрослые.

Но вот парадокс: Маршаку — 100 лет, а наша первая реакция — удивление. Неужели, прикидываем в уме, он старше Маяковского, Есенина, Мандельштама? Ведь совсем еще недавно он жил среди нас...

Маршак прожил долгую и в многомиллионном читательском восприятии благополучную жизнь: он был любим народом, уважаем критикой, увенчан всевозможными наградами. Его место в отечественной словесности почетно и бесспорно, и сейчас, в связи с юбилеем, остается, казалось бы, просто повторить те торжественные слова, что не однажды были сказаны когда-то, повторить с удовольствием, воздавая должное большому мастеру.

Такова, по-видимому, и была идея вышедшего сборника, представляющего собою переиздание уже существующей книги. Сборник открывается известной статьей А. Твардовского, подробно разбирающей сделанное Маршаком, как бы намечающей основные темы разговора, который, в свой черед, подхватывают остальные авторы. Маршак-переводчик, Маршак — зачинатель детской литературы, Маршак — лирический поэт — из этих трех ипостасей складывается монументальный облик литератора, уже при жизни ставшего классиком. Классическую «ясность» маршаковского творчества, его доступность для каждого читателя с особым удовольствием отмечает Твардовский, в этой связи утверждая: «Трудно назвать среди наших современников писателя, чьи сочинения так мало нуждались бы в предисловиях и комментариях. Дом поэзии Маршака не нуждается в громоздком, оснащенном ступеньками, перильцами и балясинками крыльце — одном для всех. Он открыт с разных сторон, его порог везде легко переступить, и в нем нельзя заблудиться».

Все это так, конечно. Заблудиться действительно нельзя. Поэзия Маршака не нуждается в специальной смысловой расшифровке. Но в комментарии все же нуждается. И, может быть, как это ни покажется странным, больше, чем какая-либо другая. В комментарии, который раньше называли «реальным».

Дело в том, что при всей своей «открытости» поэзия Маршака принципиально неисповедальна. Взяв в руки перо, он как бы перестает быть «частным человеком», становясь поэтом, по маршаковской логике — учителем, наставником других. Житейские впечатления должны были пройти в этой связи строгую фильтровку, все смутное, больное, мрачное, чем полна бывает каждая душа, не смело вылиться в стихи. А если такие стихи и случались, то, как свидетельствуют близкие поэта, он никому их не показывал, прятал в столе. Нечто подобное происходило и с его переводами. Не случайно трагический Блейк, с томиком которого Маршак не расставался, которого переводил всю жизнь, вышел к читателю уже после его смерти. Лев Гинзбург пишет в своих воспоминаниях о маршаковском Блейке: «...этот сборник — открытие не только смутно известного английского поэта, но и открытие подлинного Маршака, его истинной сути, которая состоит отнюдь не в пресловутой «легкости» и «прозрачности» стиха, а в проникновении в глубины «человеческой абстракции»...» Видимо, как раз обнажения этой «истинной сути» Маршак и не хотел, всячески оттягивая издание давным-давно готовых, многократно читанных друзьями работ.

Укротить, обуздать стихию, гнездящуюся в каждой человеческой душе, гармонизировать хаос была вечная задача Маршака, не однажды им продекларированная. К. Чуковский замечает по этому поводу: «Повелительное, требовательное, волевое начало ценилось им превыше всего — даже в детских народных стишках...» Но чтобы почувствовать и

«Я думал, чувствовал, я жил...» Воспоминания о С. Я. Маршаке. М., Советский писатель, 1988.

по достоинству оценить «волевое начало» в самом Маршаке, чтобы понять, ценою каких духовных усилий достигался неизменно светлый, ровный, оптимистический тон его поэзии, надо знать те житейские обстоятельства, о которых последовательно молчат его стихи, надо знать его жизнь.

Такого рода комментарием, правдивым и подробным, позволившим по-настоящему прочесть его поэзию, должны были бы стать в о с п о м и н а н и я о Самуиле Яковлевиче Маршаке. Восстанавливая важнейшие обстоятельства маршаковской биографии, мы постигаем не только его человеческую суть, саму по себе и интересную, и поучительную. Мы постигаем одновременно суть его поэтического характера, в невидимой глубине эти обстоятельства превозмогающего.

Да, именно превозмогающего. Ибо жизнь Маршака, по свидетельству знавших его людей, была далеко не безоблачна.

Она сотрясалась такими катастрофами, как смерти детей, не говоря о других, более «естественных» утратах, в старости идущих одна за другою. Она омрачалась тяжелыми недугами. Уже Е. Шварц, знавший Маршака молодым, пишет в дневнике о его серьезном нездоровье. Те же, кого судьба свела с ним в более позднюю пору, в один голос твердят об изнурительном кашле, бессоннице, вплотную подступившей слепоте.

Совсем не идиллической, вопреки распространенному мнению, была его литературная судьба. Маршак отнюдь не сразу занял свое место «классика», он побывал и средь гонимых. Но вот об этом весьма существенном моменте маршаковской биографии книга, к сожалению, умалчивает. Трагические события, связанные с детским отделом ленинградского Гослита, возглавляемым Маршаком, остаются как бы за кадром.

Собственно, про саму эту детскую редакцию, как ее обычно называют, в книге говорится много. Ведь именно там зарождалась наша детская литература. Очевидцы вспоминают поразительный энтузиазм Маршака-издателя, его поглощенность новым делом, его дар собирать вокруг себя лучшие силы — Хармса, Заболоцкого, Олейникова, Шварца... Да и сугубо взрослых писателей, вроде Мандельштама, Маршак умело вербовал в свои ряды, побуждая их писать для детей. Он вдохновенно искал и находил таланты среди много повидавших, «бывалых» людей (так пришли в литературу Б. Житков и В. Бианки), ночи просиживал, правя чужие рукописи. С неостывшим восторгом вспоминают бывшие маршаковские авторы саму атмосферу детской редакции, ее сотрудников, их общую увлеченность работой. Да и сам Маршак уже гораздо позднее не раз возвращался, по свидетельству его многочисленных собеседников, к этой, видимо, очень дорогой ему теме.

Однако, читая рассказы об этом периоде, рассказы по преимуществу забавные, пребываешь в полнейшей уверенности, что замечательное дело, затеянное Маршаком, развивалось и крепло, что небольшой коллектив детской редакции продолжал так же весело и дружно трудиться.

О том, что стряслось здесь в 1937 году, не сказано ни слова.

Только где-то ближе к концу этой книги, мимоходом сообщается (в воспоминаниях В. Лакшина), что в 1937 году редакция «распалась», но тихую эту фразу, как бы контрабандой проникшую в сборник, не каждый и заметит. А если даже и заметит, если и сообразит, что, собственно, стоит за этим эпическим «распалась», если и соотнесет этот факт с судьбою большинства маршаковских сподвижников (от обэриутов до Мандельштама), то все равно мы остаемся в неведении насчет самого Маршака: он-то как пережил все это?!

Пережил с трудом.

Об этом нам рассказывают воспоминания В. Берестова, недавно опубликованные «Новым миром» (№ 9, 1987). Возвращаясь к своим долгим беседам с Маршаком, Берестов пытается реконструировать хотя б отчасти этот смутный период: «... Тут Маршак вернулся мыслями к 1937 году. Детская редакция была разгромлена, некоторые из редакторов арестованы». На самого Маршака, продолжает Берестов, было заведено дело, чудом не получившее стандартного развития. Но хотя Маршак висел на волоске, «он ринулся в Москву к Вышинскому требовать освобождения арестованных редакторов. Румяный Вышинский (он тогда чувствовал себя прямо-таки именинником) вспылил: «А вы не кричите на меня, товарищ Маршак! Вы понимаете, где и на кого вы кричите!» В результате этого визита кое-кого удалось освободить...»

В свете этой истории по-новому воспринимаются другие факты маршаковской биографии, в первую очередь творческой. По-другому читаются иные воспоминания сборника, в них вспыхивают смыслы, доселе ускользавшие от нас. Так, за, казалось бы, сугубо литературоведческими размышлениями Н. Любимова о переводческом мастерстве Маршака неожиданно открывается новая глубь. Восхищаясь маршаковскими переводами Бернса, Любимов вспоминает, что впервые прочитал их летом 1938-го в «Литературной газете». И цитирует, на его взгляд, самое виртуозное стихотворение этой подборки:

Король лакея своего
Назначит генералом,
Но он не может никого
Назначить честным малым.
При всем при том,
При всем при том
Награды, лесть
И прочее
Не заменяют ум и честь
И все такое прочее!

Каждый сейчас знает эти стихи. Но не каждый знает или помнит, что появились они в 1938 году. В контексте этого времени, о котором мы сейчас все больше узнаем, а главное личных обстоятельств Маршака, наконец, обнародованных, эти строки воспринимаются иначе: перед нами не просто виртуозный перевод, а глубоко личное, удивительное по силе духа слово самого Маршака, не просто веселые, задорные стишки, а гражданский поступок, требовавший немалой отваги.

Думается, Н. Любимов не случайно привел точную дату, таким образом он хотел, вероятно, хоть как-то прояснить ситуацию. Читая сборник, постоянно натыкаешься на скрытые намеки, явные недосказанности, очевидные умолчания. А ведь сейчас появилась возможность какие-то вещи сказать в полный голос.

Непосредственное тому свидетельство — новомировская публикация Берестова. В каком-то смысле она является «расшифровкой» его прежних воспоминаний, написанных еще в 1965 году и безо всяких изменений (!) попавших в настоящий сборник. Как бы предвидя возможные вопросы, Берестов прямо заявляет, что восстанавливаемые им вещи «в те времена нипочем не напечатали бы».

Без сомнения, в точно таком положении оказались тогда многие авторы этого сборника, первое издание которого состоялось в 1971 году. Кое-что добавить, прояснить, уточнить мог бы сегодня, наверное, каждый. И не только о Маршаке, но и о самом себе.

Взять хотя бы воспоминания Ц. Кин. Цецилия Исааковна вспоминает, что с Маршаком они познакомились в Риме, куда был командирован ее муж, Виктор Кин. Далее в ее рассказе как-то фигурируют Париж, Ленинград, Москва, а потом Маршак как бы исчезает из поля ее зрения. Приступая ко второму периоду своей дружбы с Маршаком, Ц. Кин пишет: «Весной 1955 года я, вернувшись в Москву, не знала, где и как мне устроиться на службу после стольких лет, и Самуил Яковлевич предложил мне работать с ним...» Цецилия Исааковна не уточняет, откуда и м е н н о она вернулась — всего естественней решить, что из Парижа. Но вернулась-то она из лагеря, из ссылки! Согласитесь, что после этой небольшой коррекции поступок Маршака имеет цену не просто дружеского жеста.

Таким образом, Маршак получился как бы изъятым из времени (художник ведь всегда «у времени в плену»: в этой формуле не только его жесткая зависимость, но непременное условие существования), и это досадно обеднило, даже исказило его реальный облик. Судьба Маршака лишилась присущего ей драматизма, его личность потеряла одну из своих главных черт.

К. Чуковский писал о Маршаке: «...было заметно, что его больше всего привлекают к себе героические, боевые сюжеты, славящие в человеке его гениальную волю к победе над природой, над болью, над страстью, над стихией, над смертью». Жизнь Маршака представляла собою вполне «героический сюжет»: из обстоятельств сложных, трагических Маршак выходил, по свидетельству знавших его людей, несломленным, не потерявшим твердость духа. В этом — высокое тождество творца и творений, тождество, которого всегда алчет наша душа. И в данном, маршаковском, случае это не просто наивная дань романтическим представлениям. Поэзия Маршака, и детская, и взрослая, насквозь дидактична, а поучение, как известно, получает особую силу, исходя от человека праведного. Так пусть наша вера в «дедушку Маршака», стихийно нас питавшая, обопрется наконец на реальные факты.

И. Винокурова

Продолжение поиска

Гуманизм классики, высота социальных и нравственных запросов, напряженнейший поиск истины — все побуждает вновь обращаться к ее художественному и д у х о в н о м у опыту.

Выделяя слово «духовный», я меньше всего хотел бы выглядеть претенциозным. Но дело в том, что до недавнего времени оно находилось под большим подозрением, а случалось, что и давало повод для гневных отповедей со стороны разного рода ревнителей.

Разумеется, здесь не место уточнять сущность этого понятия, которое в условиях его «полузаконного» бытования действительно стало несколько аморфным. Но что это понятие охватывает важнейшие мировоззренческие вопросы — о смысле жизни и назначении человека, о вере и безверии, о добре и зле — и высшую потребность личности ответить на них — это, кажется, не нуждается в особых доказательствах.

Книга Игоря Виноградова «По живому следу» не монография, в ней собраны

И. Виноградов. По живому следу. Духовные искания русской классики. Литературно-критические статьи. М., Советский писатель, 1987.

работы разных лет, начиная с памятной по публикации в «Новом мире» А. Твардовского статьи о «Герое нашего времени» и кончая не столь давними статьями о Писареве и Белинском. Вошла в сборник и статья о «Мастере и Маргарите» М. Булгакова, хотя включение этого выдающегося романа в один ряд с классикой прошлого века и может показаться не очень корректным.

Но тема духовных исканий, вынесенная автором в подзаголовок книги, действительно пронизывает почти все работы, и прежде всего о Лермонтове, Льве Толстом и Достоевском. Именно в них И. Виноградов ближе всего подходит к наиболее волнующим его как критика и исследователя кардинальным вопросам бытия, поставленным этими художниками; здесь он, вооружившись не только логикой, но и живым сопереживанием, пытается пройти вместе с ними и их героями трудный путь познания.

Исходный посыл И. Виноградова таков: во второй половине XIX века и в XX веке достигает высшей точки эпоха всемирно-исторического кризиса религиозного сознания. Возникает совершенно новая духовная ситуация — «ситуация открытого сознания, покинувшего традиционные религиозные способы духовной ориентации в окружающем мире и оказавшегося поэтому перед необходимостью заново и самостоятельно, на путях «чистого разума» ответить на самые первые, самые «проклятые» нравственно-философские вопросы человеческого бытия...»

Отныне человек вне мифа, ему самостоятельно торить дорогу в опустевшем, обезбоженном мире, заново решая (и обосновывая свое решение), что он есть такое, каково его место в космосе и что ему надлежит делать. Это с неизбежностью вело к пересмотру многих воззрений и ценностей, а то и к их существенной переоценке.

Русская классика прошлого века ощутила эту ситуацию особенно остро. Утверждая христианскую этику любви и сострадания, она вместе с тем провидела ее шаткость перед лицом нарождающейся реальности, ее слабость под опустевшими небесами и метания потерявшегося без незыблемых абсолютов человека. Вот почему она ставит своих героев перед необходимостью «испытания и проверки своей человеческой природой тех мировоззренческих судьбоносных идей», выразителями которых они выступают.

Истоки русского философского романа И. Виноградов выводит из «Героя нашего времени» Лермонтова. Печорин не только порожденный эпохой николаевского безвременья тип «лишнего человека», как мы привыкли со школьной скамьи трактовать этот образ, но герой, социально занимающий «смысловую позицию» в мире.

Критик доказывает, что индивидуализм Печорина не может быть объяснен только общественными условиями или личными качествами героя. Его своеволие — плод «ума холодных наблюдений и сердца горестных замет», вызов слепой вере и утверждение внутренней свободы.

Так что же — Лермонтов, сочувствуя герою, утверждает индивидуализм как естественный и законный способ существования? В том-то и дело, что в «Герое нашего времени» мы находим не утверждение индивидуализма, а его художественное исследование и в конечном счете опровержение.

Потому-то, как подчеркивает И. Виноградов, и по сей день остается важным сам опыт Печорина. Его индивидуализм, его свобода, с одной стороны, обнаруживают мощь суверенного человеческого духа, ищущего истину в обезбоженном мире, а с другой стороны, довольно ясно обозначают тот неминуемый тупик, куда заводит человека его гордыня, отринувшая законы любви и добра.

В таком ракурсе связь философско-нравственной проблематики лермонтовского романа с исканиями и произведениями Л. Толстого и Достоевского прочерчивается особенно четко. Что касается позднего творчества Достоевского, то И. Виноградов видит в нем «типологически новую ступень в развитии мирового реализма».

Именно в великих романах Достоевского в центр художественного исследования выдвигается свобода человека, сфера самых глубинных его мировоззренческих исканий. Не «типические характеры в типических обстоятельствах», не социальная типизация, как у Бальзака, а та важнейшая духовная проблематика, которая и предопределила столь мощное воздействие творчества русского писателя на литературу и философию двадцатого века. Герои Достоевского на себе проверяют свои идеи, на себе ставят нравственно-психологический эксперимент, испытывая тем самым и человеческую природу вообще.

Правда, говоря о «трагических борениях духа» героев Достоевского, критик, мне кажется, слишком уж приподнимает того же Николая Ставрогина (фигуру, бесспорно, ключевую в «Бесах») как искателя «высшей, руководящей идеи жизни». Ведь в романе не только мельтешащие вокруг Ставрогина мелкие бесы являются его карикатурными тенями, но и сам «гражданин кантона Ури» отнюдь не лишен шаржированности.

В том и заключалось гениальное провидение Достоевского, что «трагические борения духа» сильной суверенной личности, метящей в «человекобоги», несут страдания не только ей одной, но и многим другим, подчас оборачиваясь подлинным бедствием.

Да, иные из мятежников Достоевского собственным рассудком и жизнью расплачивались за свой бунт и экспериментаторство. Но расплачивались-то — кто? Преимущественно те, кого вслед за Алешей Карамазовым можно было бы назвать «глубокой совестью».

Другие же — вроде Петруши Верховенского — демонстрировали такой широкий диапазон психологических возможностей, такую страшную и разрушительную свободу от всего и всех, что в пору за голову хвататься и бить в набат.

И тяжеловатая логика И. Виноградова, и некоторая перенасыщенность речи терминологией вроде бы склоняют к тому, чтобы отнестись к его книге как к сугубо литературоведческой.

Однако есть в ней нечто такое, что сделать это не позволяет. Некий смысловой, я бы сказал, мировоззренческий «избыток», определяющий образ самого автора. Его личности. Жесткий в своих логических построениях и анализе, критик в то же время настойчиво зовет нас к сораэмышлению над поставленными серьезнейшими, первостепенными для каждой человеческой жизни вопросами, вовлекает в поиск, в котором русская классика с ее этической чуткостью и прозорливостью не только наставник, но и спутник.

Справедливо усматривая только в реальной жизни, реальном действии сферу действительного бытия духовности и нравственности, И. Виноградов заставляет глубже задуматься о духовном самостоянье, не кем-то там внушенном или снисходительно дозволенном, а добытом собственным трудом разума и души.

Евг. Шкловский

Исповеди специального корреспондента

В новом сборнике прозы А. Нежного «Бумажное дело» 260 из 360 страниц отданы одноименной повести. Она посвящена памяти Саши Порецкого, «корреспондента, умершего тридцати четырех лет от роду». Воспоминание о покойном товарище служит введением и камертоном к разработке основной темы и нескольких сюжетов, развернутых в «Бумажном деле».

Композиция повести простая: триптих. Заголовки частей взяты будто из служебного отчета: «Командировка первая...», «Командировка вторая...», «Командировка третья...».

Первая часть содержит материалы расследования обстоятельств создания печально знаменитой бумагоделательной машины Б-15. Обрисовав финал эпопеи, подчеркнув, что продолжалась она более д в а д ц а т и лет, автор спрашивает нас и себя: «Так что же такое время?» — и удрученно отвечает: «Время, с полной уверенностью скажем теперь мы, это свет истины, обнаруживающий сокровенный смысл помыслов и дел наших... И если бы проходило оно! — в том-то и есть печаль, что проходим — мы». Тут не очень-то складно — «смысл помыслов», но что придираться к словам: суть ясна, и автор, конечно, прав.

«Командировка вторая...» — поездки на север России, к истокам лесного сырья, из которого изготавливают бумагу. Спецкор газеты — главный персонаж «Бумажного дела» (повествование — от первого лица) — ведет нас в конторы, на таежные делянки, в поселки леспромхозов и в «улицы» между штабелями леса на складах. Отборная древесина, взятая у тайги таким образом, что это разорило тайгу, и сплавленная по рекам так, что это сгубило реки, теперь гниет на «нижних складах». Синеющие и чернеющие от гнили торцы могучих смолистых бревен образуют «ущелья скорби». Бесценный товар пропадает из года в год, между тем как в эти же самые годы из-за отсутствия и нехваток лесосырья простаивают бумажные и целлюлозные комбинаты, гидролизные цеха, за лес готова платить нам золотом заграница, и отдадут что угодно жители юга страны.

Третья командировка в «Бумажном деле» — в Прикарпатье. Тут другие сюжеты, хотя материя та же. Тут специальный корреспондент, воистину ошеломленный увиденным, не сразу может понять, как это вышло, что такие же, в общем, люди, тех же профессий и квалификаций, с теми же мыслями и потребностями, что и на Севере, сумели осуществить, казалось, невозможное: наладили рациональное лесопользование!.. Душа спецкора ликует. Отпали сумеречные мысли. На задний план отошли даже перипетии склоки с «маленьким цезарем» — редактором, подсиживающим корреспондента в недрах родной газеты в Москве. Рассказывая, как в Прикарпатье обихаживают лесную шубу предгорий, спецкор наслаждается и видами местной природы, и архитектурой селений, и разговорами. Он пишет веселые и живые портреты людей. В предыдущих частях повествования были сарказмы и сокрушения, увещания и желчные обличения, была злая ирония, а здесь — романтические взлеты, добрый юмор,

Александр Нежный. Бумажное дело. Повесть, очерки. М., Советский писатель, 1987.

даже — сантименты, совсем уже неприличные журналисту-профессионалу, газетчику. Но сами судите: «...в следующую дверь я тихонько ткнулся — и на пороге замер, а потом и отступил: мальчики, наверное, лет двенадцати-тринадцати, в синюю форму лесничих одетые, с серьезными румяными лицами внимали рассказу о том, как надлежит ухаживать за молодыми посадками... Ах, друзья мои! Поверьте, что для меня это было зрелище необычайное в обнадеживающей своей трогательности,— но в то же время оно столь естественно входило в здешнюю общую картину и даже как бы подразумевалось ею, что я вполне мог предполагать, что подобному уроку стану свидетелем... Ибо в лесном краю дети должны расти вместе с деревьями; а здесь, в Прикарпатье, где все проникнуто заботой об улучшении жизни,— разве здесь могло быть иначе?» — восклицает спецкор, а еще через несколько страниц начинает очередное описание со слов: «Следующий день был, наверное, одним из лучших дней моей жизни...» — и тремя страницами дальше читаем: «...удивительная и плодотворная разумность трудовых усилий восхищала и печалила меня. Слишком многим лишенным смысла и даже пагубным деяниям был я свидетель, чтобы не воздать должное карпатским видам и сияющему в них Разуму».

Что же его так бросает — из края в край? То выглядело все ужасающе и наш спецкор почти вопиял, обличая, а то все так превосходно, что уже и опять простых слов не хватает, а нужны наиторжественные. Секрет, наверное, в том, что автор остро чувствует тонус жизни и берет, по сути, намного глубже и шире, чем сам обозначил и пообещал, начиная исследовать «бумажное дело». Обсуждая лесные, бумажные, мебельные и попутные им дела и проблемы, он смотрит и нас склоняет смотреть с к в о з ь эти дела и проблемы на жизнь в целом, всей нашей жизни адресует свой гнев и свои восторги, с перемешами видов жизни невольно соотносятся метания, провалы, полеты своей души. Любимое его слово «душа» в повести многозначаще. Это символ соединения мыслей и чувств, влекущих спецкора упрямо искать главный смысл существования людей в Москве и Ленинграде, в Кондопоге и Коряжме, в Ижевске и Ужгороде. Не зря же именно душу корреспондента желает унизить, купить, обольстить, изгрязнить тухлый дьявол Семен Семеныч... Но о Семен Семеныче — далее.

Помнится, повесть «Бумажное дело» (в книжном издании) не успела еще дойти до магазинных прилавков, а в «Литгазете» вспыхнул как будто красный сигнал светофора и прозвучал свисток постового критика, наблюдающего за движением литературы. Дано было знать читателям: осторожно — публицистика! «Нехудожественно»! Впрочем, как раз был прилив или даже девятый вал ныне уже и самим критикам осточертевшего, кажется, спора о том, что «лучше», что «выше»: беллетристика или публицистика.

Слава богу, в оценках «Бумажного дела» рецензенты «ЛГ», поостыв от диспута, постепенно как будто пришли к тому, что А. Нежный, работая в присущей ему остропублицистической манере, пишет все-таки х у д о ж е с т в е н н о. Для такого вывода могут найтись и, скажем, чисто формальные основания: повесть «Бумажное дело» документальна, проблемна и злободневна, но вместе с тем непосредственно д е л о в ы х разборов и описаний в ней вроде бы поменьше, чем «посторонних» вставных сюжетов и рассуждений. Притом что эти сюжеты и рассуждения опираются на опять-таки мимоходные — попутные — впечатления и приватные воспоминания. Как будто опытный очеркист, мастер жанра писатель А. Нежный не знает — не признает? — «гамбургских» правил документалистики: автор должен держать с в о е при себе, смирять фантазию и не уходить в дебри биографий — собственной и своих персонажей.

Так, может быть, это — и с п о в е д ь? Исповедь рефлексирующего интеллигента, много странствовавшего по казенной — газетной — надобности. А коли исповедь — можно писать, как угодно. Вот он и пишет, в каких направлениях ездил, выполняя задания «маленького цезаря», в каких и как пришлось жить гостиницах, что стоило организовать те и другие интервью и — более всего — сам он, лично, что думал, что чувствовал, что хотел предпринять и предпринял в меняющихся обстоятельствах трех продолжительных командировок.

В тексте почти не различаем абзацев — тут доминируют фразы-многоэтажия, в которые непринужденно встроены и вмещены изрядной длины цитаты и еще скобки, отточия, многоточия, не говоря о восклицательных и вопросительных знаках. Еще, ко всему, автор любит так называемые инверсии. То есть сказуемые заскакивают вперед подлежащих, определения же вставлены после предметов, к которым относятся. Явное непочтение к нормативному синтаксису. Но раз и с п о в е д ь — и это позволено.

О ссылках А. Нежного на писания многих авторов — от Иоанна Грозного до академика Дмитрия Ивановича Менделеева стоит упомянуть отдельно, тем более что некоторые ссылки порой переходят в стилизации, свидетельствующие о литературных пристрастиях и увлечениях автора «Бумажного дела». Для начала он чуть ли не «Новый завет» цитирует и сам — по инерции, надо быть,— изъясняется слогом примерно «Сказания о Борисе и Глебе». «Летописцем» он себя в эти моменты чувствует, а не газетчиком, находящимся в командировке, и его, натурально, посещают в и д е н и я. Скажем, такое: «И над всем этим во грехе погрязшим миром увидел я знамение и его описал: в лето 6618 бысть знамение в Печерьстем монастыре в 11 день февраля месяца: явился столп огнен от земля до небеси, а молньи осветища всю землю, и в небеси прогреме в час первый нощи...» — и так дальше. Это не цитата из летописи, а спецкору попритчилось в Ленинграде, когда он, сидя в ЦНИИбуммаше, пытался осмыслить д в е н а д ц а т ь томов документов истории отечественной бумагоделательной машины Б-15, что, повторю, освещено в первой части «Бумажного дела». Сверяя даты решений, распоряжений и протоколы согласований, корреспондент безнадежно глядит в окно на Дворцовую площадь, где мы знаем, твердо стоит Александрийская колонна, на ней находится ангелок, и вдруг «...сказал мне с вершины столпа Ангел голосом громким — как рыкает лев и гремят семь громов: подумай еще...».

Ничего себе стиль. Фельетон?.. Нет. Специальный корреспондент не теряет достоинства, он и в самом деле обескуражен, видя в документах машины Б-15 чудеса и несообразия политики, экономики и управления бумажной отраслью. Он искренне печален и предельно серьезен. Во всяком случае, не расположен петь тексты Апокалипсиса на мотивы рок-опер.

Разумеется, в поиске формы для обличений и обобщений А. Нежный все-таки в основном обращается к достижениям русской прозы нового времени, а не к опыту протопопа Аввакума или Нестора-летописца. В «Бумажном деле» уместно выглядят прямые отсылки к дневникам и романам Ф. М. Достоевского, в некоторых местах узнаем традицию Н. В. Гоголя — его лирических отступлений, попадаются и «бичи-скорпионы» сатиры, освоенные литературой после М. Е. Салтыкова-Щедрина... Наконец, вот и булгаковская фигура — исчадие современного бюрократического ада Семен Семеныч, фамилии нет и не надо. Этот персонаж, по-нынешнему говоря, курирует специального корреспондента, охотясь за его душой. «Как всегда к твоим услугам», с зловещим смирением повторяет Семен Семеныч, являясь корреспонденту то в коридоре лесного бумажного министерства (он всюду — свой), то на глухом перегоне железного пути Москва — Воркута, то в жутком ущелье между лесных «сортаментов» на нижнем складе близ Сыктывкара. От Семена Семеныча потягивает не серой, а отвратительным запахом дешевых сигарет. Зато в его «дипломате» — коньяк, икра, лимоны, и, демонстрируя свою инфернальную (адскую) природу, прямо в вагоне скорого поезда Семен Семеныч сливает на пол недопитый коньяк из бутылки: прямая издевка над нищим корреспондентом. И еще: от мимолетного касания руки Семена Семеныча у спецкора немеет, потом мучительно ноет плечо.

Честно говоря, эта вся повесть-исповедь, включающая анализ проблем многосложного производства,— очень и очень нелегкое чтение. Но если проймет тебя благородное нетерпение автора, отзовутся в тебе тревоги и боль журналиста-газетчика, попадаешь во власть этой прозы. Согласен ли ты с автором по сути некоторых рассуждений — о «душе», например,— или ты резко против уклонений его мысли и чувств в разреженные пространства, куда «отлетает душа», «покидая мир дольний», не можешь не ощутить серьезность и выстраданность оценок и обличений, содержащихся в этом произведении. Речь ведь о главном — о нравственности общества, в котором мы существуем, и о нашей с вами личной нравственности и совестливости, а вовсе не о «древесностружечных плитах», как, не дай бог, может кому-нибудь показаться при невнимательном чтении.

...В сборник «Бумажное дело», кроме одноименной повести, вошли уже знакомые, вероятно, многим читателям по публикациям в литературных журналах и газетах и написанные в той же исповедальной манере крупные очерки Александра Нежного, объединяемые сейчас названием «Сто дорог—сто забот». Первый из этих очерков — о дорогах России — автору «в жизни» пришлось, увы, продолжить борьбой за честь и доброе имя своего персонажа Абдулхака Салимова — строителя дорог Мордовии. Эта борьба еще, насколько знаю со слов самого А. Нежного, не кончена... Второй очерк — о переменах жизни людей, работающих за Уралом,— констатирующий резкое отставание «социальной сферы» в краю большой нефти, был опубликован задолго до того, как директивные органы приняли соответствующие постановления. Невнимание к культурному, хозяйственному, жилищному, дорожному строительству в Западной Сибири — Александр Нежный писал об этом очень резко и страстно — в конечном счете предопределило и отставания основных производств, то есть нефтеразведки, нефтедобычи и нефтехимии. Так что писатель бил точно в десятку, и материал его публикаций не потерял актуальности.

Книга разошлась, в продаже ее не видно. Выпущенная в свет в насыщенное большими событиями время коренной перестройки нашего сознания и переоборудования материальных основ жизни общества, эта трудная исповедь современника полезно работает среди людей сегодня и будет работать впредь. Она отвечает обострению нашей потребности з н а т ь все, как есть, во всем участвовать полной мерой; от этого зависит, как нам всем вместе жить.

Марк Горчаков

Тридцать три года спустя

Почти тридцать три года как Марка Щеглова не стало; и лишь вспомню его, всплывают в памяти грустные строчки Лермонтова:

Я знал его — мы странствовали
с ним...

Странствовать с Марком Щегловым привелось мне, правда, единственный раз: мы с ним в Ясную Поляну к Толстому провояжировали на дребезжащем моем «Москвиче»; и поглядывая время от времени в зеркальце, видел я позади себя широкое, радостно улыбающееся лицо бессмертного русского студента XIX столетия, просветителя, непременного участника политических сходок, обитателя примыкавших к университету меблирашек, завсегдатая дешевых кухмистерских и курительных комнат в библиотеках. Мне казалось, что Марк Щеглов как бы ехал к себе на родину, возвращался домой, в XIX век, ибо Марк воспринимался и воспринимается мною как неведомо почему долетевшая до нас из этого века искорка. И едучи в Ясную, он именно воз-вра-щал-ся туда, откуда он вышел, вылетел. Молодые искатели истины, спорщики из самых одухотворенных посещали, бывало, и усадьбу Толстого; и я чувствовал себя ямщиком, подрядившимся свозить господина студента к графу Льву Николаичу.

Мой «Москвич» погромыхивал на колдобинах, нас подбрасывало, Марку было труднехонько: здоровье сдавало. Возвращались, Марк бодрился, но до коммунальной квартиры своей добрался уже с явным надрывом: то, что для любого из нас было partie de plaisire, экскурсией, для него было актом скрытого самопожертвования. И выходит, всего-то и было наших странствий пятьсот километров. Но и некие духовные странствия были, тоже совместные, только здесь Марк Щеглов далеко опережал и меня, и других своих однокашников (слова «коллега» тогда не знавали, оно мыслилось в том же ряду, что, скажем, «ваше благородие» или «ваше степенство»).

Марк Щеглов принадлежит к поколению, выбиравшемуся из-под обломков, из-под руин как бы взорванной, а для верности еще и придавленной, разутюженной бульдозерным гнетом всевозможных постановлений и проработок культуры: выбирались и, отряхиваясь, протирая глаза, как могли пытались осмыслить эту культуру заново, в ее целостности и подлинности. Более того, пытались и продолжить ее. И Щеглов оказался лидером, первопроходцем, а свидетельство тому — нынешнее издание его статей, рецензий, дневниковых заметок и писем.

Новый сборник Щеглова преотлично составлен, скуповато, но тщательно прокомментирован. Правда, жаль, что нет статьи о повести Виктора Некрасова «В родном городе», напечатанной когда-то в невзрачной нашей университетской многотиражке: дело в том, что дружба Щеглова с этим писателем носила принципиальный характер; они, смею думать, любили друг друга, были один для другого опорой. А вообще-то — почти полное собрание сочинений: все, что создано за три легендарных года: 1953—1956. Есть проблемные статьи — о том же Л. Н. Толстом, ошеломившие нас когда-то; нашумевшая и обрушившая на критика далеко превосходившую обычные нормы порцию угроз, подозрений, гонений статья о романе Леонова «Русский лес». Не публиковавшаяся при жизни работа о Всеволоде Иванове. И рецензии. А рецензия в критике — то же, что в художественной прозе новелла; и традиция рецензий-новелл, в XIX веке возникнув, добралась до XX. А потом угасла она, потому что возобладали так называемые оценочные рецензии, сколки, копии с разоблачительных директив или с казенных похвал, свидетельств о благонадежности поэта, прозаика, драматурга. Марк Щеглов возродил литературно-критическую новеллистику; и рецензии на «Зеленый луч» Леонида Соболева или на повести Александра Грина суть, конечно, ярко выраженные новеллы со своим динамичным сюжетом, с непременными для новелл неожиданностями, с бесстрашным лиризмом.

Марк Щеглов не имел перед собою титанов, равных тем, в диалоге с коими расцветала классическая русская критика: Белинский предерзостно рассуждал о Пушкине, Гоголе, Лермонтове; Добролюбову открывались Гончаров, Тургенев, А. Н. Островский; Чернышевскому — тот же Тургенев и ранний Толстой. Кто открылся Щеглову, несомненному их преемнику? Хорошо, что «Русский лес» Леонова вышел, и тотчас появилась статья-рассуждение, в большой мере — статья-упрек. Быть другой в то время она не могла, хотя после, по прошествии времени, постепенно обнаруживается и какая-то стихийность ее, и интуитивность методологии. «Русский лес» Леонова в статье выглядит проще, нежели в литературной реальности. Он сложнее и, я бы сказал, изощреннее. Не могу, например, не увидеть в романе Леонова явных отзвуков сказки, и коренной, народной, и сказки литературной. В романе видишь Красную Шапочку и Серого Волка, в лесу затаившегося, но лес же и истребляющего, причем Волк, как ему и положено, и притворно, приторно пристоен бывает, и ласков, хрипловато медоточив. Грацианский — конечно же, Волк. Изобразить его человеком-волком, оборотнем, было правом художника; и на этой степени обобщения не так-то уж, по-моему, важно, откуда проистекает его социальная родословная: дореволюционные ли жандармы лепили его или наш он, всецело нынешний. А сам образ леса? «Лес рубят — щепки летят», залихватской этой пословицей пытались успокоить себя. Она была чем-то вроде порции опиума, но она же открывала и какие-то глубинные связи: человек — и дерево, древо; лес — народ. Леонов не прибегал к аллегориям, нет. Но вырубание леса и в социальном сознании, и, главное, в жизни было странно связано с вырубанием людей; и в Грацианском есть, несомненно, черты палача, тем более страшного, что он и интеллигентен, и ласков, и сентиментален. Он — теоретик опустошения леса, он — человек с пером; но написанное пером давало право орудовать топору. Поэтика романа строится на постоянных переходах границ, разделяющих разные, казалось бы, явления жизни: человек и растение, человек и животное. И метафорические сопряжения, метафорические дебри «Русского леса» требуют чрезвычайной филологической осторожности. Но все тогда горячились; а традиции филологических анализов, еще, в сущности, не окрепшие в критике, в роковые годы были вырублены в зародыше: «формализм» приравнивался к наиболее зловредным проискам всепроникающих вражьих сил; филология истреблялась, требовать ее от кого бы то ни было в середине пятидесятых годов было б неисторично; и за Марком Щегловым останется честь утверждения демократического равноправия в диалоге с произведением, надо думать, зна-чи-тель-ней-шим.

Но полемика Щеглова со значительным и сложным романом — исключение. А вообще-то бросается в глаза несоответствие духовной энергии критика и сугубо преходящего материала, на который она изливается. Не Островский, а Корнейчук; не «Гроза», а «Крылья». Не Тургенев — Антонов. Не Лермонтов, а Доризо, Евтушенко, Ваншенкин, да еще и в бытность их молодыми. Не хочу обижать ни Константина Ваншенкина, ни Евгения Евтушенко, ни Сергея Антонова; но громадности, согласимся, в них нет, и в пространстве того, что создано ими, даже некоей грандиозной ошибки нельзя совершить, наподобие гневных недоумений Белинского по поводу повестей Достоевского «Двойник» и «Хозяйка», им разнесенных в пух и прах. Но тогда откуда же чувство громадности, огромности боя, в который вступил Щеглов и в котором он победил?

«Казалось,— пишет Щеглов в дневнике еще 1947 года,— в этот светлый зал, к этим славным ребятам и девушкам, вошел кто-то дикий, мутноглазый, зловонный и, осклабясь, протягивает к ним огромные жадные лапищи, свирепые и отвратительно похотливые. Хотелось драться, свирепо, жутко драться с этим монстром, с этим огромным и сумасшедшим уродом». Почему же *такое* привиделось двадцатидвухлетнему юноше? Что легло в основу создания им столь страшного образа, для себя, интимно запечатленного и случайно не затерявшегося, сбереженного преданными друзьями? И откуда это чудовище, из глубин подсознания всплывшее, но такое рельефное, будто регулярно, всю жизнь оно где-то неподалеку от Щеглова, рядом с ним топотало, урчало?

А чудовище-то, если чуточку задуматься, традиционно для русской литературы, для ее социальной поэтики. Уж не будем касаться, скажем, Радищева с гениально найденным эпиграфом к его «Путешествию...»: чудище обло, озорно... Обойдем и бредовые фантомы из сна Татьяны у Пушкина, Достоевского проигнорируем. И — в тридцатые годы нашего века, всего лишь полвека тому назад бытовавшее.

Может быть, когда-нибудь зададимся мы и вопросом о посильном писательском сопротивлении мути, поднявшейся в нашей Отчизне в жуткие годы. Мандельштам, написавший про «век-волкодав» и тем самым претворивший в образ чудовища социальный стиль времени: обло, озорно... И давно интересует меня отдаленная провинция поэзии тридцатых годов: поэзия детская, популярные книжечки для детей. Почему-то именно там как ни в чем не бывало жила, и не просто жила, но и неуклонно развивалась традиция: человека одолевает чудовище, и все-таки человек побеждает. И по крайней мере два художника слова создали великие образы, расширенное подобие коих воплотилось и у Щеглова: Карабас-барабас А. Н. Толстого и Бармалей Корнея Чуковского. И вообще над образом чудовища Чуковский неустанно работал.

Не настаиваю на том, что все это были намеки, аллюзии; и во всяком случае, не аллюзия сладострастный старичок-паучок из затейливо нелепой «Мухи-цокотухи» Чуковского. Не аллюзия, а поэтическая традиция, от фольклора, от идолища поганого идущая. Из античности: минотавр, да мало ли их там было, чудовищ, драконов. И социальный контекст тридцатых годов возрождал их новые вариации, а они, возникнув, неуловимо, но внятно комментировали нашу реальность.

Я всегда только диву давался: сколько же *они* проглядели! По тому же Бармалею шарахнуть бы редакционной статьей для начала, а потом для верности и постановлением. Муху-цокотуху прихлопнуть и комарика с фонариком, победившего чудовище-паука (паутина — сеть сексотов-осведомителей, сладострастие же для вящей интеллигентности, что ли, нацепившего на нос пенсне

Марк Щеглов. Любите людей. Статьи. Дневники. Письма. М., Советский писатель, 1987.

старичка-паучка, волочившего в свой уголок позолоченных мушек, ныне стало всенародно известно; и нам остается лишь снова и снова дивиться пророческой силе художественных образов). Но руки, видать, не дошли. И жила, и внедрялась в сознание традиция надвинувшегося на живую реальность мрачного ужаса, побеждаемого, однако, то куклами, которые хотят быть людьми, то людьми, которые не хотят быть куклами: Буратино жил рука об руку с Айболитом. Литература отражает жизнь. Традиции, сущие в этой жизни: осознать себя в окружении ужаса, но, придя домой, записать в дневнике, что с ужасом хочется драться.

Смехотворен повод, давший Марку Щеглову толчок для создания им образа чудища: кинорежиссер Марк Донской «стал говорить об американской кинематографии», «говорил об Америке». Это где-то за океаном, оказывается, угнездилось чудовище, не у нас же! Но проходит три дня, и Щеглов трезвеет; вспомнил вечер встречи с Донским и «воспринял все вспомнившееся с большим скептицизмом. Возбуждение и патетическая — до хрипоты — страстность Д<онского> кажутся мне искусственным пафосом умелого актера». Все верно. Но чудовище-то, однажды возникнув, осталось в сознании. И громадная заслуга Щеглова — в постоянном ощущении им нашего соседства с чудовищем и в умении подтвердить правомерность подобного ощущения.

Но чудовище творит мир, так сказать, по контрасту к себе самому. Будучи уродливым, оно жаждет... лепоты, красоты. Подавай ему кра-со-ту. Бармалею вовсе не светит видеть себя Бармалеем, предпочтительней — Аполлоном. Поэтов, музыкантов и зодчих истребляли прежде всего на том основании, что все-то у них не величественно и совсем не красиво: сумбур вместо музыки.

Марк Щеглов растрачивал себя в полемике с эстетикой Бармалея: с монументализацией, противопоставляя ей естественность, достоверность. Его «Верность деталей» — укор, пронизанный тревогой упрек: из литературы исчезают, выветриваются подробности жизни, и как будто бы самум какой-то прокатился по ней, оскудела она, изображение подчиняется заранее заданной, привносимой в него «идее», при том же непременно громадной. «Подлинное искусство не обязательно строит свои обобщения лишь на уровне «гомериад», отвлекаясь от множества частных, но глубоко присущих жизни случаев...» — кипятился Щеглов. И существеннее всего, по-моему, здесь словечко «гомериады». В той же «Верности деталей» — рассуждение по поводу «эпически величавого», «гомерического» повествования.

Первым, интуитивно Марк Щеглов нашел название тому, что нас окружало: «го-ме-ризм». Первым увидел он до крайности причудливый эпос, воздвигавшийся и в искусстве, и в самой социальной реальности. Тут прозрение, возникавшее на вершинах русской литературно-критической мысли.

Марк Щеглов представляется мне почему-то вдруг внезапно перенесшимся из конца XIX столетия в середину XX. И прозревшим, ибо иначе не объяснишь ощущения им эпической заданности как чего-то неожиданно открытого им, ужасающе нового и нагло противоречащего былым идеалам. И отважно взявшим на себя «выражение тоски читателя по нескрываемой, неупрощаемой внутренней самостоятельности сознания каждого человека со всем его специфическим усвоением общечеловеческих и гражданских, идейных и моральных достижений». Эту деятельную тоску н успел он выразить сам, добросовестно выискивая отклики на нее и в литературе, и в музыке.

А что-то существенное не вошло в его кругозор: еще не смогло войти.

Есть в дневнике и такая запись: Марк Щеглов забрел в церковь. Как водится, зашушукались толпящиеся у входа ханжушки, кто-то рявкнул, что надо снять шляпу. Да, обидеть человека у нас умеют, что в ректорате университета, что в храме. Но отправляясь в университет, Марк перешагивал через боль несправедливых обид, а в церкви как-то не перешагнул через них, и было ему там просто-напросто не-ин-те-рес-но. Постоял, посмотрел и поспешил на свежий воздух, на солнце; а то, на что он мимоходом взглянул, было ему уже совершенно чуждо, и даже почти безграничная его любознательность здесь изменила ему.

Марк Щеглов любил Шостаковича. В дневнике он осмелился спорить с обвинявшими его в формализме: и здесь он отстаивал заветное общее достояние от поползновений чудовища. Но рядом — о Пастернаке: «В целом я его не приемлю. Неестественная усложненность поэтической ткани, за которой часто ничего нет...» Дальше — хлестче. И еще: «Эдуард Багрицкий становится моим самым любимым, самым созвучным поэтом. И в сердце своем я оглушаю Пастернака Багрицким». Наш, сугубо условно говоря, авангард и наши многовековые предания, с которыми Россия как бы то ни было, а тысячу лет прожила,— из кругозора исключается и то, и другое. Марк Щеглов предстает перед нами выразителем тенденции существеннейшей, развивавшейся с конца XIX столетия, искусственно заглушенной или, хуже того, донельзя изуродованной, но после снова воспрянувшей и сказавшей его устами еще одно слово свое. Но любая тенденция ценна способностью ориентироваться на сущее, расширяясь и, если надо, даже преодолевая себя.

Перспективнейшая работа Щеглова — «Реализм современной драмы». Там уже изнеможение не только от эпической пышности, от дидактики, но и от монотонности реализма, возводимого в норму и в догму. Ностальгия по старым «новым формам». По условности театра: еще чуточку, и Щеглов помянул бы Мейерхольда. Начинался, полагаю, следующий этап; но смерть почему-то караулит одаренных людей именно в преддверии новых этапов их творческой жизни. А жизнь, как это всегда бывает у людей выдающихся, завершилась вопросом: что было бы, проживи Марк Щеглов хотя бы немного еще? Или проживи он какой-то богатырский, эпический срок, тридцать лет и три года, ныне его от нас отделяющие и нас с ним соединяющие?

Вернусь-ка к началу, к стихам Лермонтова об Александре Одоевском:

Ты умер, как и многие, без шума,
Но с твердостью. Таинственная дума
Еще блуждала на челе твоем,
Когда глаза закрылись вечным сном;
И то, что ты сказал перед кончиной,
Из слушавших тебя не понял ни единый...

Тридцать три года прошло!

Марк Щеглов неустанно присутствовал в нашей литературе, а в то же время как ей не хватало его!

И особенно не хватает его сейчас...

В. Турбин

«Без остановки, без оглядки!..»

Александру Аронову и его первой книге очень легко предъявить обвинение в эклектике. В самом деле: тут притча соседствует со стихотворной прибауткой, моментальная зарисовка — с почти монументальным повествованием (о Монферране — строителе Исаакия, к примеру), рядом с шутливой песенкой может оказаться грустная медитация и тут же ироническое, едва ли не сатирическое стихотворение... (То же самое, кстати, обнаруживается и в самой крупной послекнижной публикации поэта в «Огоньке»: перепад, резкая «стычка» душевных настроений и стихотворных форм.)

Нынче, когда стихотворцы предъявляют к собственным книгам требования единства настроения и жанра и очень пекутся о том, чтобы сборник являл собой нечто единое, целостное, «Островок безопасности» может кого-то и удивить, а может и раздражить вольностью, с какой он составлен.

Не знаю, насколько сознательно это сделано. Скорее тут проявилось реально существующее, а потому и неискоренимое свойство человеческого и поэтического характера Аронова, то самое, про которое говорят, мол, «существует — и ни в зуб ногой». Хотя, очевидно, автор и пытался соблюсти негласные каноны, разделил свою книгу на три части, уверяя то ли читателя, то ли самого себя, что и у него тоже все, как у других: вот тут — про одно, а тут ...про третье. Это придуманное деление не убеждает меня в том, что его нужно было делать. Почему, скажем, стихотворение «Телефон в 42-й» (горестные и гордые строки которого, думаю, достойны войти в антологию стихов о войне) помещено в разделе «Метромост», а не в разделе «Голоса»? «Пророку» же, по-моему, лучше бы находиться в маленьком цикле «Неэвклидова лирика». И так далее.

На самом деле книга привлекает именно непредсказуемостью следующей страницы: то заставит улыбнуться, то опечалиться, то испытать эти чувства одновременно. И потому, кстати, стихи Аронова зависимы от настроения читателя, в каком расположении духа он приступил к чтению... Но ведь на то и свобода — автор не перестает быть ей верным: она от духа шестидесятых, когда он формировался как человек и как поэт.

«Островок...» — первая книга, но Аронов, однако, давно известен знатокам поэзии: немало из того, что читаем сейчас на ее страницах, встречали мы в периодике лет 10, 15 и даже 20 назад. Пожалуй, самая известная строчка Аронова — «Остановиться, оглянуться...». Ставшая названием романа, спектакля, десятков статей, она давно гуляет по свету, забыв про автора, обрастая смыслами, которых в ней не было и в помине при рождении.

И, если исходить из этой крылатой строки — а именно она открывает книгу,— можно предположить, что должна произойти встреча со стихами-итогами, подводящими черту под периодами и этапами биографии, судьбы. Но вот тут-то как раз мы ошибемся.

Время этой поэзии — миг, миг, в который она зарождается и начинает звучать. Пространство же стихов — то, что видимо в этот миг внешним или внутренним взором. Ни вчера, ни завтра, ни то, что «за окоемом», поэзию эту не волнуют — всего этого просто не существует для нее в данную минуту. Все это явится потом и, может быть, вызовет к жизни иные строки, но сейчас есть только именно этот и никакой другой момент во всей его полноте, со всеми жизненными заботами и волнениями.

Александр Аронов. Островок безопасности. Книга стихов. М., «Советский писатель», 1987; Остановиться, оглянуться... Стихи. Огонек, № 32, 1988.

И начинаются-то стихи нередко с противительного или соединительного союза, с междометия, с возражения, а то и с вопроса. Будто автор застигнут налетевшей строкой, остановленным мгновением. Строки как бы рождаются сразу, стремительно и упруго. Точное совпадение девиза поэта: «Внутри мгновенья располагайся, внутри секунды» — и его дела: стихи действительно вырастают из мига, из его нечаянных и внезапных даров («Зря месяц денется, день обманет, а миг не выдаст»).

Так что естественно, что книга пунктирна. Иной она и не могла быть. Небольшая (около сотни стихотворений), но за ней тридцать с лишним лет поэтической работы. Более чем уверен: будь у нее объем втрое, вчетверо больший, характер ее не изменился бы, потому что мгновения, чреватые и разрешающиеся поэзией, не идут одно за другим, но отстоят друг от друга, иногда на час, иногда на год.

И за час, и за год с человеком, естественно, многое происходит. Словно дерево, он сбрасывает листья, лишается каких-то ветвей, пускает новые корни... Стихи в сборнике расположены не в хронологическом порядке, так что процесс развития не выражен наглядно. И все же, если всмотреться пристальнее, то можно увидеть, как автор вольно или невольно уходит от молодой естественной резвости к зрелым размышлениям, по возможности оптимистическим, даже мажорным. Стараясь при этом сохранить, сберечь многогранность человеческой души, не поддаться на искушение писать в одной, излюбленной манере.

Автор настаивает на своем методе уловления, познания и отображения действительности, но настаивает делом — стихами, ни с кем не споря, ничего никому не доказывая и не навязывая. Впрочем, спорит однажды, но с самим собой прежним, сказавшим о надобности «остановиться, оглянуться», привести жизнь — свою или общую — в некую систему. Нынешний же знает, что живая жизнь важнее любой надуманной системы, и заявляет: «Мы станем жить наоборот, как, в сущности, и жизнь идет: без остановки, без оглядки!»

Возникают ли при подобном подходе ошибки, неудачи, пустоты? Наверное, как при всяком другом.

Долгое отсутствие первой книги хочешь не хочешь, а сказывается на поэте. Прежде казалось, что к Аронову это отношения не имеет. Сейчас, вчитавшись в «огоньковскую» публикацию, вижу, что стихи, вошедшие в нее,— это действительно стихи уже будущей, второй книги: что-то в них звучит еще неопределимое, свежее. Но, слава богу, остается и прежнее, то, что всегда привлекало в его поэзии: жизнелюбие, вера в правду и красоту жизни, чем бы она ни обернулась — ясной утренней прохладой, безответной любовью, трудной и счастливой работой, горестным страданием... Когда поэт заявляет: «Наша специальность — любовная лирика», то ясно, что речь не только о любви к женщине (хоть и этому посвящено не одно стихотворение), но о любви к жизни, о восторге и, может быть, смирении перед ней.

По Аронову, это и есть главная тема поэзии. Вот как об этом говорится в одном из стихотворений поэтического сборника:

Строчки помогают нам не часто.
Так они ослабить не вольны
Грубые житейские несчастья:
Голод, смерть отца, уход жены.
Если нам такого слишком много,
Строчкам не поделать ничего.
Тут уже искусство не подмога.
Даже и совсем не до него.
Слово — не удар, не страх, не похоть.
Слово — это буквы или шум.
В предложенье: «Я пишу, что плохо»,
Главный член не «плохо», а «пишу».
Если над обрывом я рисую
Пропасть, подступившую, как весть,
Это значит, там, где я рискую,
Место для мольберта все же есть.
Время есть. Годится настроенье.
Холст и краски. Тишина в семье.
Потому-то каждое творенье
Есть хвала порядку на Земле.

Двадцать лет я знаю и люблю эти стихи — впервые увидели они свет в 1948 году, а как врываются в сегодняшние споры о том, что такое поэзия! Согласен, искусство не может не говорить о жгучих жизненных проблемах. Поэзия — это чудо, без которого немыслима жизнь. Автор стихов сборника «Островок безопасности» испытал это на себе в полной мере.

Юрий Болдырев

Из почты «Знамени»

О статье Л. Н. Гумилева «Биография научной теории, или Автонекролог»

По профессии я юрист, меня интересуют, как и многих лиц, с которыми я общаюсь, проблемы истории, социологии, общественного развития. Много говорим об этом, размышляем. Но всегда и я, и люди, с которыми общаюсь, сталкивались с проблемой отрывочности, несистематичности знаний по глобальным проблемам развития человеческой истории, мешающей сложить системное представление.

С огромным интересом прочитали статью Л. Н. Гумилева «Биография научной теории, или Автонекролог». И я, и многие другие считаем, что теория, изложенная Гумилевым, является открытием! Наука развития человечества еще только подошла к порогу открытий, и, на мой взгляд, это связано с тем, что наука биологии, одна из самых молодых, а именно комплексный подход к глобальным проблемам развития человечества возможен на основе биологии и «сопричастности людей к биосфере».

Убедительная просьба, вернитесь к теме, поднятой Л. Н. Гумилевым, дайте информацию о сторонниках его открытия, явилась ли тема данной статьи предметом дискуссий, какова оценка его открытия другими учеными?

С уважением

Л. О. Павлова

г. Москва

ПО ПОВОДУ ОДНОГО «АВТОНЕКРОЛОГА»

Недавно опубликованная в журнале «Знамя» (№ 4, 1988 г.) статья Л. Н. Гумилева «Биография научной теории, или Автонекролог» привлекает внимание необычностью взглядов автора. Прежде всего это относится к концепции пассионариев, играющих, по его мнению, особую роль в судьбах народов-этносов. Под пассионарностью при этом понимается генетически унаследованная или приобретенная в результате мутаций повышенная способность поглощать отдельными людьми больше энергии из окружающей среды. В отличие от них субпассионарии — лица, абсорбирующие «меньше энергии, чем это требуется для уравновешивания потребностей инстинкта» (с. 214). Казалось бы, автор «перебросил мост» между социальными явлениями и природной средой. Однако вопрос не столь прост. Ведь совершенно очевидна неправомерность отождествлять абсорбируемую людьми физическую энергию с их социальной активностью. Можно быть весьма сильным в физическом отношении человеком, но в то же время достаточно пассивным в социальном плане и наоборот. Впрочем, главное не в этом, а в том, что автор отнес к субпассионариям наряду с олигофренами вообще всех лиц пониженного социального статуса: неаполитанских лаццарони, бродяг, описываемых М. Горьким, подонков капиталистических городов и даже вымирающие племена Андаманских островов.

Если судьба олигофренов действительно во многом (хотя далеко не полностью) предопределена генетически, то вопрос о деклассированных элементах гораздо сложнее. Если исходить из того, что они результат генетически унаследованного свойства меньше абсорбировать энергию, то неизбежно окажется,

будто их социальный статус предопределен от рождения. Между тем подобное «натуралистское» обоснование классового неравенства уже давно исчезло из арсенала даже самых рьяных зарубежных поборников этого неравенства.

Но особенно меня как этнографа встревожила трактовка судьбы так называемых отсталых народов, отнесенных к числу субпассионариев, то есть тех, чей приниженный статус обусловлен якобы генетически. В результате вымирание андаманцев вольно или невольно оказалось предопределенным не социальными, а биологическими факторами. Между тем наша страна да и некоторые другие страны дали немало примеров того, как меняется судьба отсталых в прошлом народов именно в результате социальных преобразований. Не менее наглядно о несостоятельности развиваемой автором точки зрения свидетельствуют и хорошо известные этнографам случаи воспитания с раннего возраста в семьях европейцев детей, родители которых принадлежали к отсталым народам.

В свете всего сказанного становится достаточно очевидным, что идея высокого процента пассионариев у одних народов и низкого у других (так сказать ущербных) — это лишь слегка закамуфлированная «учеными словами» давняя концепция «полноценных» и «неполноценных» народов или этносов, концепция, мягко говоря, далеко не самая гуманистическая.

В том же ряду стоит идея Л. Н. Гумилева, согласно которой при взаимодействии несхожих этносов возникают химерные[1] суперэтносы. При этом заключение межэтнических браков (экзогамия) «оказывается реальным деструктивным фактором при контактах на суперэтническом уровне»[2]. Сущность этих на первый взгляд весьма нейтральных рассуждений Л. Н. Гумилева раскрыл популяризатор его идей Ю. М. Бородай, утверждавший, что в ряде случаев межэтническое смешение на уровне одной семьи может «какофонически» отразиться на детях, ассимилирующих «несовместимые поведенческие стереотипы»[3]. Впрочем, речь идет не о Ю. М. Бородае. Поэтому предоставим слово самому Л. Н. Гумилеву. А он между тем считает, что небрежение к познанию подобных вопросов «будь то в масштабах государства, родового союза или моногамной семьи, следует квалифицировать как легкомыслие, преступное по отношению к потомкам»[4]. Между тем истории хорошо известны отдельные случаи (и не только в сравнительно недавние времена, но и даже в наши дни) соответствующего этой установке «государственного подхода» к межэтническому смешению. Но почему-то такая практика вызывает отнюдь не самые положительные ассоциации.

Далеко не разделяя подобные построения, с удивлением узнал из статьи Л. Н. Гумилева, что теория этногенеза, которую он создавал, руководствуясь «натуралистскими принципами», приписывается мне (с. 202). Это удивление тем более велико, что у меня с ним диаметрально противоположные взгляды не только по отдельным вопросам, но и в понимании сути теории этногенеза (иначе говоря, теории этноса). Уже одно это исключает возможность и правомерность приписывания мне взглядов Л. Н. Гумилева по данному вопросу. Об этих расхождениях наглядно свидетельствует давняя полемика между нами, начиная с дискуссии в 1970 г. в журнале «Природа».

Для Л. Н. Гумилева этнос — прежде всего не относится к категории социальных явлений. Правда, при этом само определение им сущности этноса не оставалось неизменным. Если первоначально такая сущность сводилась к биологической популяции[5], то позднее он отказался от данного тезиса, заявив, что «этнос — это элементарное понятие, несводимое ни к социальным, ни к биологи-

---

[1] От древнегреческого «химера» — мифологическое существо с огнедышащей львиной пастью, змеиным хвостом и козьим туловищем.

[2] Гумилев Л. Н. «Этнос — состояние или процесс?». Вестник ЛГУ, 1971, № 12, в. 2, с. 92.

[3] Бородай Ю. М. «Этнические контакты и окружающая среда», Природа, 1981, № 9, с. 84.

[4] Гумилев Л. Н. «Этногенез и биосфера земли». Вып. 2. Пассионарность. Л., 1979 (ВИНИТИ. Деп. 3734-79), с. 213.

[5] Гумилев Л. Н. «О термине «этнос». Доклады отделений Географического общества СССР. Л., 1987, вып. 3, с. 14—15.

ческим категориям»[1]. Но поскольку такая «промежуточная» позиция неизбежно вызывает недоумение, он в конечном счете оказался вынужденным вернуться к представлению, согласно которому «этнос — это феномен биосферы» (с. 212). Впрочем, в такой трактовке этноса он не оригинален. Еще в 20-е годы ее развивал русский этнограф С. М. Широкогоров[2].

Автор же этих строк, как и подавляющее большинство отечественных и зарубежных специалистов, отнюдь не исключая взаимодействие этноса с природной средой, считает, что не биологические связи объединяют людей в подобные образования, а такие их свойства, как общность языка, культуры, наличие общих черт психики, а также единое самосознание, включающее не только самоназвание, но и представление об общности исторических судеб. (Не случайно ныне все дискуссии по национальной, этнической проблематике концентрируются вокруг вопросов национального языка, культурных традиций и истории народов, а не относительно биологических особенностей того или иного этноса.)

В рассматриваемой связи особое внимание привлекает утверждение Л. Н. Гумилева, что все попытки истолковать феномен этноса «через социальные законы развития общества приводят к абсурду» (с. 212). В качестве единственного доказательства этого тезиса он ссылается на то, что «национально-освободительные движения несопоставимы однозначно с социальными конфликтами в рамках какой-либо страны». Этот пассаж представляется автору наглядным и бесспорным. Однако достаточно тривиально, что в действительности национально-освободительные движения обусловлены не биологическими, а в конечном счете социальными факторами, и в первую очередь социально-классовыми интересами определенных общественных групп колониальных и зависимых народов-этносов.

Вообще гиперболизация в этносах биологического начала за счет социального не столь безобидна, как это может показаться на первый взгляд (особенно в современных условиях, когда важнейшее значение приобретает задача взвешенного подхода и осмотрительности во всем, что затрагивает национальные чувства). В самом деле, представление об этносе-народе прежде всего как о биологической единице неизбежно выдвигает на передний план межэтнических, межнациональных отношений биологический фактор. И, стало быть, оказывается по меньшей мере малоэффективным всякое социокультурное воздействие на них, в том числе удовлетворение специфических бытовых и языковых потребностей национальных групп. А как быть с усилиями ученых, политиков, общественности во всем мире в их стремлении найти пути взаимопонимания между народами, преодолеть конфликты и вражду, если взаимоотношения народов предопределяются в первую очередь их биологической природой, а она, как известно, трудно поддается подобного рода воздействиям? По словам самого Л. Н. Гумилева, «изменение законов Природы вне людских возможностей» (с. 215).

Но не все благополучно в статье и с точки зрения научной этики. Обвиняя меня по сути дела в цитировании его положений «без отсылочных сносок» (с. 202) и апеллируя в этой связи к статье своего ученика К. П. Иванова, Л. Н. Гумилев «забыл» упомянуть об одном факте, имеющем в данном отношении принципиальное значение. А именно то, что такого рода утверждения были специально рассмотрены и опровергнуты в другой опубликованной в том же журнале статье — Я. Г. Машбица и К. В. Чистова. В ней, в частности, подчеркивалось, что некоторое чисто внешнее (главным образом терминологическое) совпадение в работах двух авторов «объясняется тем, что оба они пишут об одном и том же явлении», причем о тех его свойствах и признаках, которые задолго до них отмечались другими учеными. Наглядный пример — употребление ими введенного в научный обиход еще в первой половине XIX в. слова «этнос», а также производных от него терминов[3].

---

[1] Гумилев Л. Н. «Этногенез и биосфера земли». Вып. 2. Пассионарность. Л., 1979 (ВИНИТИ. Дп. № 3734-79), с. 79, 243.

[2] См.: Широкогоров С. М. «Этнос». Шанхай, 1923, с. 8, 100.

[3] Машбиц Я. Г., Чистов К. В. «Еще раз к вопросу о двух концепциях «этноса» (по поводу статьи К. П. Иванова)». Известия ВГО, т. 118, вып. 7, 1988, с. 30—33.

Есть также отдельные совпадения, обусловленные тем, что речь идет о явлениях достаточно очевидных для специалистов. В этой связи хотелось бы, в частности, поддержать тезис Л. Н. Гумилева о том, что историческому прошлому человечества неизвестны вечные народы. (Иное дело вопрос о сроках их существования.)

Не могу не заметить также, что в статье, хотя и названной некролог, но с приставкой «авто» явным диссонансом звучат такие даваемые автором самому себе характеристики, как ему «посчастливилось добраться до третьей степени совершенства» (с. 202), к автору пришло «открытие» (с. 213, 216), автор решил «алгебраически трудные задачи» (с. 215) и т. п.

В заключение остается выразить сожаление, что читатели столь солидного издания на время оказались введенными в заблуждение.

Академик Ю. В. Бромлей

Бурные события нашей жизни заставляют нас особенно внимательно относиться к тому, что принято называть историческим процессом. Судя по тому, как быстро с прилавков магазинов исчезают отдельные специальные книги по антропологии, этносоциогенезу, истории культуры, в то время как множество других безмятежно ждут своих тонких ценителей, у нас либо самая начитанная в мире публика, либо острый дефицит в научных произведениях особого рода.

Это род междисциплинарных исследований — тех, где осуществляется синтез научных фактов и результатов, представляющих «собственность» различных научных дисциплин: геологии, биохимии, биологии, географии, этнографии, социальной науки и др. Существует и общее основание для такого синтеза — это идея эволюции материального мира: сплав истории природы и истории человечества. Есть великая потребность в таком соединении: людям науки да и всем любознательным членам общества интересно не только то, как народы делятся на классы, но и то, что их объединяет; не только история государства, экономических, политических и других отношений, но и история народа как представителя человеческого рода.

Трудность в том, что мы не привыкли к междисциплинарному стилю мышления, и есть опасение, что многое из того, что изложено у Гумилева, окажется непонятным и раздражающим даже для подготовленного читателя.

Когда Л. Н. Гумилев пишет, что в гуманитарных науках системный подход не привился (речь идет о глубоком содержании системных принципов, а не о модной системной терминологии, которой предостаточно), это следует отнести прежде всего к методологии гуманитарных наук, т. е. к тому идейному потенциалу, который лежит за пределами, например, истории, теории культуры, но по своему предназначению обязан реорганизовывать и скреплять частное научное знание, создавая единую концепцию мира. Это и есть препятствие номер один и для научного признания междисциплинарного исследования и просто для его адекватного понимания. Именно здесь лежат причины того удивления и раздражения, которые могут возникнуть в связи с утверждениями автора о прогрессивной, стабильной и деградационной фазах в жизни этносов, о том, что ни один этнос не вечен, об этносе как феномене биосферы. «Однако этнос — это феномен биосферы, и все попытки истолковать его через социальные законы развития общества приводили к абсурду».

Есть науки, которые изучают природу как систему. Есть науки, которые изучают общество как систему (но другую). Но реальные природа и общество не разграфлены подобным образом. «Нам надо найти ту форму движения материи, в которой наряду с социальной и независимо от нее живут люди уже более 50 тысяч лет и которая, будучи природной, является формой существования Homo sapiens». Такая постановка вопроса, если не знать, что за ней стоит, точнее, какой смысл вкладывается в термин «социальный», может вызвать недоумение. Особенно слова: «наряду» и «независимо».

Речь здесь идет о «социальном» в узком смысле: об экономико-политико-правовой и т. д. системе, а не об «общественном». Этнос как специфический биологический вид, конечно же, отличается от других биологических видов, причем именно тем, что он и есть о б щ е с т в о. Так ищется особая форма эволюционного развития биологического вида — общества, не общества как экономико-политической и т. п. системы, а общества — этноса. И можно понять Л. Н. Гумилева, когда он отделяет учение об этносе от учения о производственных отношениях: слишком уж часто развиваемая у нас социально-экономическая концепция проглатывала все то, что связано с изучением человека.

Признавая полное право развивать теорию этноса как учения о биологических законах вида Homo sapiens, следует оговориться. Системный подход не только разводит одни теории с другими, он немыслим и без обратного движения. Так что рано или поздно нам придется соединять этнологию и социальную теорию воедино и изучать сложный объект — природно-социальные системы. Собственно с этого и начинал К. Маркс, рассматривая развитие общественно-экономических формаций как естественноисторический процесс.

«Биологический» подход к этносам вовлекает в оборот такие понятия, как «биохимическая энергия» и «инстинкт», которые являются не просто непривычными для историка и социолога, но расцениваются в определенных научных кругах как идеологически чуждые. Даже высокий авторитет В. И. Вернадского, использовавшего понятие энергии для описания человеческой активности, тут мало что может сделать. Но междисциплинарные исследования требуют именно таких понятий!

Упорство, педантизм, аккуратность и т. п.— все это, взятое со знаком плюс или минус, мы относим к народам, к чертам национального характера. Последний обычно объясняется социально-экономическими особенностями истории данного этноса, к которым присоединяются еще и особенности быта. Но национальный характер не делится поровну на членов этноса, даже если социально-экономические и бытовые исторические условия одинаковы. В этносе функционируют особые типы: пассионарии и субпассионарии, число которых находится в прямой связи с тремя фазами в жизни этноса. Оно, по Л. Н. Гумилеву, и определяет то, какую фазу в своем развитии проходит этнос.

Что такое пассионарность и чем объяснить такую зависимость? Гумилев предлагает объяснить это механизмами мутации биологического вида: и пассионарии, и субпассионарии — биологические мутанты в рамках этноса. Сразу отмечу, что вопрос этот требует проведения объемных статистических исследований.

Когда человек ставит цели и мобилизует всю свою деятельность на их достижение, плохо это или хорошо? Очень хорошо! А если цель ложная, а он этого не ведает и продолжает стремиться? Очень плохо! Между «очень хорошо» и «очень плохо» лежит громадная область нормальной человеческой жизнедеятельности, где целевое поведение имеет свои границы.

Отрицать существование пассионарности как явления вряд ли кто будет. Другое дело — объяснить, каковы его внутренние и внешние условия и источники, как происходит распределение человеческой активности в рамках этноса, каковы другие этнические типы, обладающие иной степенью активности, нежели пассионарии и субпассионарии, какие механизмы этноса порождают те и другие типы?

Множество вопросов; возможно, на какую-то часть из них ответит книга Л. Н. Гумилева, которую мы ждем, какие-то, возможно, пока останутся без ответа. Тем не менее рано еще писать некролог теории. Ее нужно развивать дальше.

В. Л. Доблаев,
кандидат философских наук

Советуем прочитать

Виктор Конецкий. Рассказы и повести разных лет. М., Высшая школа. 1988.

«Читать Конецкого одно удовольствие...» — констатирует критик Евгений Сидоров в послесловии к новой книге, куда вошли произведения Конецкого, впервые опубликованные в разные годы. Запоминающиеся черты эпопеи блокадников Ленинграда, военный тыл страны, работа моряков в Арктике, «частная» жизнь современников в разных ее поворотах — смешных и печальных... Каждая из историй, рассказанных писателем, возбуждает наше воображение, удивляет неожиданными деталями и неизменно взывает к добрым чувствам.

Михаил Рощин. Полоса. Повести, рассказы, статьи. М., Современник, 1987.

Книгу составили повести и рассказы, написанные в разные годы. Однако соседство произведений сравнительно новых, таких, как «Роковая ошибка», «Синдром Сушкина», и тех, что увидели свет два десятилетия назад («Первый, второй», «Лермонтов в Тарханах»), не оставляет ощущения неоднородности, напротив, оно позволяет проследить, как совершенствуется мастерство прозаика, который в своем творчестве продолжает традиции русской классической литературы,— в центре пристального писательского внимания человек с его сложным мировосприятием.

Среди рассказов последнего времени есть «подлинно фантастические», по авторскому определению, рассказы-притчи: о власти вещей над людьми, их сотворившими, об утраченной способности многих наших современников сопереживать чужой беде.

Читатель познакомится и с Рощиным-эссеистом, критиком: в новую книгу вошли статьи о Чехове, Маркесе, Казакове, Нилине, Высоцком, размышления о современной драматургии и театре.

Овидий Горчаков. Накануне, или Трагедия Кассандры. Повесть в документах. Горизонт. (Москва), №№ 6—7, 1988.

Работу над повестью автор завершил в год XX съезда партии, но тогда она не увидела света. Однако и ныне, три десятилетия спустя, эти документы нельзя читать без боли и горечи.

В архивах чекистов, военных и дипломатов писатель обнаружил неизвестные ранее свидетельства о событиях, происходивших накануне войны — весной и в начале лета 1941 года. Разведчики с тревогой извещали Кремль о готовящемся фашистами нападении на СССР. Об этом сообщали военно-морской атташе в Берлине адмирал Воронцов, посол в Стокгольме Коллонтай, заместитель военного атташе в Берлине Хлопов, военный атташе в Берлине генерал Тупиков, посол в Лондоне Майский, некоторые сотрудники германского посольства в Москве, в том числе и посол Шуленбург... «Всюду — провокации,— ответил Сталин на одно из таких предупреждений.— Все наши враги и ложные друзья пытаются стравить нас с Гитлером в своих интересах...»

Мы, увы, не знаем имен отважных чекистов, которые, рискуя жизнью, добывали эти сведения, передавали на Родину. Но под словами резолюции — «...Секретных сотрудников «Кармен», «Вериого», «Ястреба», «Гладиатора»... за систематическую дезинформацию стереть в лагерную пыль, как пособников международных провокаторов, желающих поссорить нас с Германией»,— стоит имя, хорошо знакомое: Л. Берия. И дата — 21 июня 1941 года...

Николае Есиненку. Деревянная пушка. Повести и рассказы. Авторизованный перевод с молдавского Александра Бродского. М., Советский писатель. 1987.

Николае Есиненку. Моя семья и наши старики. Рассказы и повести. Кишинев. Литература артистикэ. 1987.

Проза Н. Есиненку привлекает лиризмом, поэтичностью, душевной открытостью. Вот рассказ «Дедушка не хочет умирать». Это светлая и одновременно трагическая история. «Не вовремя» умирает старик, внук приехал с невестой, свадьбу надо играть. Родственникам — кукурузу пропалывать, за виноградником ухаживать: всем некогда, у всех заботы, и работа не ждет. А дед умирает третий день. Собравшиеся у постели отходящего в мир иной односельчане извиняются, идут на виноградники... Повседневная реальность, почти фотографически точно воспроизведенный быт, а ощущения приземленности прозы не возникает, повествование проникнуто чувством любви, милосердия, прощения.

Н. Есиненку не только романтик и психолог, он сатирик, комедиограф, мастер гротеска.

Л. Генина. Если не сейчас, то когда? Советская музыка, № 4, 1988.

Разговор о музыке — так уж сложилось — нечасто возникает на страницах литературных журналов. Но ведь при всей специфике, свойственной каждому из видов искусства, есть общие закономерности творческого процесса, общие «болевые точки», общие проблемы развития.

Статья музыковеда Л. Гениной — об одной из таких проблем, равно значительной для писателя и композитора, художника и артиста: о необходимости свободного самоосуществления и о том, что происходит с искусством, когда его этой свободы лишают. В статье «Стоит ли наступать на грабли? (Ответ инкогнито)» («Знамя», № 9, 1987) Ю. Карякин исследовал эту проблему применительно к литературе. Л. Генина расширяет сферу разговора, анализируя драматическую ситуацию, сложившуюся в музыкальной культуре на исходе 40-х годов — в пору известного совещания деятелей советской музыки, проводившегося А. А. Ждановым, постановления ЦК ВКП(б) об опере В. Мурадели «Великая дружба», I съезда Союза композиторов СССР. Автор показывает, как губительно сказалась «ждановщина» на развитии советской музыкальной культуры, к каким тяжким не только эстетическим, но и нравственным последствиям привела, оставив глубокие, незаживающие следы в судьбах многих крупных музыкантов, одних заставив надолго замолчать, других — кривить душой, стать — вольно или невольно — соучастниками расправы над подлинным, высоким искусством. Две темы определяют содержание этой статьи: «родство» беды и вины музыкантов, нравственной ответственности художника за свое общественное и творческое поведение.

Алла Ахундова. Воскресный сад. Книга стихотворений. М., Советский писатель, 1987.

Москве посвящали стихи многие поэты. Среди них А. Пушкин и М. Лермонтов, А. Блок и С. Есенин, Марина Цветаева и Рюрик Ивнев... Древняя столица всегда была мила сердцу россиянина, и век XX не стал в этом отношении исключением. Свое слово в поэтическую летопись города нынче вносят и наши современники, среди них Алла Ахундова. О себе она говорит: «Я девочка с Пресни, Я внучка «Трехгорки», Я тку свои песни, пряду поговорки». Нежностью и любовью к Москве проникнуты стихи сборника «Воскресный сад». И еще есть в этой книге искренние строки о высоком и сильном чувстве — дружбе и верности, есть размышления и надежды — лирическая исповедь поэтессы.

Воспоминания о Вере Пановой. Сборник. М., Советский писатель, 1988.

Вера Федоровна Панова (1905—1973) прожила жизнь нелегкую, во многом типичную для людей ее поколения. Творческая судьба В. Пановой связана прежде всего с Ленинградом, городом, где были написаны ею книги «Спутники», «Кружилиха», «Сережа»...

Сборник воспоминаний составили статьи и очерки Е. Воробьева, А. Кондратовича, С. Баруздина, А. Борщаговского, Ю. Рытхэу, А. Битова, С. Апта и многих других литераторов, близко знавших писательницу, человека незаурядного, требовательного к себе. Она жила с «сердцем, открытым всем», «не зная ни равнодушия, ни покоя».

Монгане Сероте. Каждый рождается в муках. Роман. Перевод с английского Ю. Сергеева. Предисловие В. Бушина. М., Художественная литература, 1987.

Ведущая тема прогрессивной южноафриканской литературы — борьба против апартеида. Действие романа происходит в поселке Александра близ Йоханнесбурга, типичном африканском гетто, каких немало в ЮАР. Его герои — люди с обостренным чувством социальной справедливости.

Расистская пропаганда утверждает, что в Южной Африке против правительства выступает лишь горстка отчаянных головорезов, не пользующихся поддержкой большинства. Монгане Сероте показывает истинное настроение африканцев, их отношение к господствующему в стране режиму. ЮАР накануне решительных перемен, ибо все больше людей понимают, что жить по-прежнему невозможно. Роман «Каждый рождается в муках» исследует острые социальные конфликты зашедшего в тупик общества.

Галина Умывакина. Под небом родины моей. Стихотворения. Воронеж, Центрально-Черноземное книжное издательство, 1987.

Стихи Галины Умывакиной пришли к читателю в прошлом году. Несмотря на то, что всего несколько лет назад молодая поэтесса училась в аспирантуре филологического факультета Воронежского университета, в кратких справках о ней читаем: она автор уже двух поэтических сборников, член Союза писателей СССР. Взволнованные, откровенные, проникнутые любовью к родному краю стихи запомнились и по недавней подборке в журнале «Знамя». Помните?..

Да, с одной иль с другой поглядишь
стороны
и, куда ни свернешь, все вернешься
сюда:
наше чувство страны — в целом чувство
вины;
в нашем чувстве любви — что-то есть
от стыда.

Лучшие стихотворения из нового сборника — это раздумья о месте поэзии в наш век, воспоминания о людях военной поры. И страстный призыв к «товарищам из горсовета» — назвать парк, где формировалось подразделение ополченцев, Добровольческим парком. Словом, Г. Умывакиной близко все, чем живет народ «под небом родины моей».

В. И. Уколова. «Последний римлянин Боэций». М., Наука, 1987.

«Всякий, кто возьмется за исследования природы вещей, не усвоив прежде науки рассуждений, не минует ошибок»,— записывал в своем главном труде «Об утешении философией» римский философ, поэт и политический деятель, бывший магистр оффи-

ций (первый министр) остготского короля Теодориха Боэций в ожидании смертной казни. Живший в переломный период истории европейской цивилизации, Боэций (ок. 480—525) олицетворял собой духовную связь не только поколений, разных народов (римлян и остготов-«варваров»), но и дух эпох. Личность ученого и политика уже при жизни давала немало оснований для легенд. И поныне для посвященных он — «латинский Аристотель», «последний римлянин», один из основоположников средневековой эстетики и логики. Наставником мудрости и нравственности называли его Петрарка и Анатоль Франс...

Работа Виктории Уколовой привлечет внимание любителей истории философии и культуры, ибо позиция Боэция, утверждавшего мысль о том, что «преемственность разума, духовности и добра всегда была показателем истинной культуры», близка и понятна нам, духовным потомкам «последнего римлянина», живущим в XX веке.

Сергей Романюк. Из истории московских переулков. М., Московский рабочий, 1988.

Оторваться от этой книги трудно. Невозможно, прочитав ее, усидеть дома. Так и тянет, узнав, скажем, что в Плотниковом переулке сохранились «остатки сада, в котором растет старый, двухсотлетний дуб, имеющий собственное имя — Филимон»,— скорее в Плотников! Увидеть Филимона!..

Книга С. К. Романюка в своем роде уникальна — это первое исследование истории городских переулков. Здесь в уютных особнячках или квартирах доходных домов стиля модерн обдумывались великие открытия, писались стихи и романы, решались судьбы революционной России. Но и горечи в книге немало. Очень уж беспощадны мы к собственному прошлому! В том же Плотниковом, рядом с Филимоном, ради новой, безликой комфортабельной гостиницы разрушен дом, в котором родился великий шахматист Алехин. Напротив снесено здание, в котором жил философ и литературовед Гершензон. Не уцелел и другой дом, дававший приют молодому Рахманинову.

А. Г. Коган. Уроки памяти. Литературно-критические очерки. М., Художественная литература, 1988.

Критик и литературовед Александр Коган — человек фронтового поколения. Почти все, что он сделал в литературе за долгие годы,— дань памяти «навеки девятнадцатилетних», оставшихся на полях войны.

В новой книге несколько прежних работ — о С. Гудзенко, П. Шубине. В разделах «О Константине Симонове», «Простреленные памятью страницы», «Остановиться, оглянуться...» — раздумья об уроках писательской судьбы Константина Симонова, путях-дорогах «Сашки» В. Кондратьева, о романе В. Сальковского «На старой Смоленской дороге», повести К. Колесова «Самоходка номер 120», о «возвращенной» литературе 20—30-х годов.

Рисунки русских писателей XVII — начала XX века. Альбом. Автор-составитель Р. В. Дуганов. М., Советская Россия, 1988.

Последняя фраза Н. В. Гоголя, написанная за три дня до смерти, оборвана на полуслове и завершается рисунком: то ли поднятый верх коляски, то ли полузакрытая книга, и за ней — профиль человека...

Альбом, составленный Р. В. Дугановым, знакомит с изобразительным творчеством писателей — от Симеона Полоцкого до Маяковского. Автопортреты Батюшкова — от первого, юношеского, до «портрета уже с той стороны», сделанного во время смертельной болезни, рисунки на полях произведений Пушкина «портреты, числа, имена, да буквы, тайны письмена», готическая архитектура в рукописях Достоевского и округлые луковицы православных соборов в черновиках его последнего романа «Братья Карамазовы», «страсть изобразить мысль», запечатленная в рисунках Андрея Белого...

В альбоме собраны работы протопопа Аввакума, Державина, Баратынского, Лермонтова, Полонского, Л. Толстого, Андреева, Блока, Ремизова, Хлебникова...

А. Азольский. Степан Сергеич. М., Московский рабочий, 1988.

Роман А. Азольского, написанный в 1968 году, принял для публикации в «Новом мире» А. Т. Твардовский. Но времена для острой, правдивой прозы тогда были не самые лучшие, и автор увидел свое произведение напечатанным лишь в 1987-м.

Кто же такой Степан Сергеич Шелагин, герой романа? В аннотации ответ прост и бесхитростен: «Офицер Советской Армии, а затем, на гражданской службе — работник НИИ,— прямой и честный человек, борющийся против безнравственности и фальши, выходит на поединок с мертвящей мысль и дело бюрократией». Но его порой прямолинейное рвение, как талант и профессионализм другого героя, Виталия Игумнова, постоянно «натыкаются» на штурмовщину, безделье, приписки, слепое преклонение перед планом.

Процесс, названный в наши дни застоем, начал формироваться в 60-х, и А. Азольский убедительно это явление анализирует.

Содержание журнала «Знамя» за 1988 год

ПРОЗА

Романы и повести

Рассказы

ПОЭЗИЯ

ПУБЛИЦИСТИКА

Мемуары. Архивы. Свидетельства

КРИТИКА

Статьи

Рецензии

К сведению уважаемых авторов:

Редакция не рецензирует рукописи, а только сообщает о своем решении.

Рукописи, присылаемые на дом работникам редакции, не рассматриваются.

Рукописи менее двух печатных листов редакция не возвращает.

Адрес редакции: 103863, ГСП, Москва, ул. 25 Октября, 8/1
Телефоны: главный редактор — 921-24-30, заместители главного редактора — 921-13-81 и 921-08-09, ответственный секретарь — 928-22-78, отдел прозы — 923-72-91, отдел публицистики — 923-75-82, отдел критики и библиографии — 928-29-42, отдел поэзии — 921-59-67, для справок — 924-13-46

Технический редактор Л. С. Алексеева.

Сдано в набор 30.09.88. Подписано к печати 01.11.88. А 05429. Формат 70×108 1/16. Высокая печать. Усл. печ. л. 21,00. Усл. кр.-отт. 21,17. Учетно-изд. л. 23,27. Тираж 516 000 экз. Заказ № 3159.

Ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции типография имени В. И. Ленина издательства ЦК КПСС «Правда», 125865, ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 24.